



**ДЕМОКРАТИЯ
В РОССИЙСКОМ ЗЕРКАЛЕ**



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ

Кафедра сравнительной политологии

ДЕМОКРАТИЯ

в российском зеркале

составители А.М. Мигранян, А. Пшеворский

Монография

Издательство «МГИМО-Университет»
2013

УДК 32
ББК 66.3(2Рос)
Д30

Д30 **Демократия в российском зеркале** : монография / редакторы-составители А.М. Мигранян, А. Пшеворский; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России; каф. сравнительной политологии. — М. : МГИМО-Университет, 2013. — 519 с.

ISBN 978-5-9228-0961-0

Настоящее издание стало результатом дискуссий представителей российского и американского политологического сообщества, которые были организованы в Москве и Нью-Йорке директором нью-йоркского представительства Института демократии и сотрудничества А.М. Миграняном. Обсуждение известными политологами острейших политических и научных вопросов современного развития демократических процессов в России велось открыто и непредвзято. Оно объективно отражает разные, порой полярные взгляды участников дискуссии на глубину демократических преобразований российского общества.

Мнение издательства МГИМО не всегда совпадает с некоторыми подходами и оценками, прозвучавшими в ходе этих дискуссий и опубликованными в данной книге.

УДК 32
ББК 66.3(2Рос)

ISBN 978-5-9228-0961-0

© Московский государственный институт
международных отношений (университет)
МИД России, 2013

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОЯЗЫЧНОМУ ИЗДАНИЮ

Можно ли понять происходящие процессы в России, если исходить из мировой практики уже существующей демократии? И можно ли узнать что-то новое о демократии, если рассматривать её с точки зрения развития современной России? Сегодня эти два вопроса для нас наиболее актуальны.

Сопоставление двух данных перспектив — демократия в российском преломлении и Россия в зеркале мировой демократии — предполагает глубокий и строгий анализ. В целом понятно, и это не должно вызывать удивления, что посткоммунистическая Россия в рамках своей новой политической практики почти не создала тех политических институтов, которые сегодня принято называть «демократией». Более корректен вопрос, не почему в России нет демократии, а почему кто-то вообще допускал такую возможность?

В книге подчёркивается, что в наши намерения не входит задача приклеивания ярлыков или поддержка отдельных политических режимов.

Мы ставим во главу угла анализ. Мы хотим разобраться, как демократия на самом деле работает, каких целей удаётся достичь, а каких — нет. Мы намерены выяснить, что можно ожидать от наиболее эффективной демократии и также то, почему она не всегда оказывается таковой. В круг наших задач входит выяснение генезиса демократии и анализ периодов её развития. Поэтому мы намерены исследовать демократию не только как состояние, но и как процесс.

В книге собраны основные противоположные оценки в отношении сегодняшней ситуации в России, а также в отношении её будущего. Это не те противоречия, которые можно разрешить научным путём: все они логически связаны и подтверждаются конкретным фактическим материалом.

Цель данной работы состоит в том, чтобы рассмотреть российскую политическую практику в свете того, что мы знаем о «реально существующих демократиях» — демократиях со всеми их издержками и недостатками, — а также обогатить теории о демократии, используя специфический и представляющий особый интерес российский опыт за последние двадцать лет. Обе задачи представляют известные трудности.

Книга содержит самые противоречивые версии о формировании сегодняшней российской политической системы, её стабильности и развитии, о теоретических основах, объясняющих изменения в российской политике, равно как о нормативных подходах, позволяющих оценить современный политический режим в России.

Противоречивость мнений в этой книге сводится к следующему: существуют ли некоторые условия, необходимые для установления демократии и присутствуют ли такие условия на самом деле сегодня в России. Все мы абсолютно согласны в том, что в России демократия возможна, существенные расхождения начинаются в вопросе, насколько эта возможность будет реализована в ближайшем будущем. Вне всяких сомнений, если можно извлечь какой-то исторический урок из практики создания постоянных демократических режимов, то нужно иметь в виду, что этот процесс полон случайностей и неопределённостей. Мы можем скорбеть и мы можем надеяться, но вместе с тем мы должны принять как данность, что Россия широко открыта для веяний будущего и только сами россияне могут решить, каким оно будет.

ВВЕДЕНИЕ

Можно ли понять происходящие процессы в России, если исходить из мировой практики уже существующей демократии? И можно ли узнать что-то новое о демократии, если рассматривать её с точки зрения развития современной России? Сегодня эти два вопроса для нас наиболее актуальны.

Сопоставление двух данных перспектив — демократия в российском преломлении и Россия в зеркале мировой демократии — предполагает глубокий и строгий анализ. В целом понятно, и это не должно вызывать удивления, что посткоммунистическая Россия в рамках своей новой политической практики почти не создала тех политических институтов, которые сегодня принято называть «демократией». Более корректен вопрос, не почему в России нет демократии, а почему она там вообще могла возникнуть? Демократия — даже в минималистском понимании как система с «честными и справедливыми» выборами, с которыми соглашаются проигравшие, — на самом деле является историческим «чудом», случайным результатом обстоятельств и намерений. Демократия как некое политическое устройство случается — в исторических масштабах — чрезвычайно редко и в истории человечества играет столь малую роль, что для её возникновения и выживания требуются особые предпосылки. Пути к демократии извилисты, и, как показывает российский опыт, она легко может «провиснуть» или перейти в новую форму авторитаризма (см. гл. 14).

Но зачем же вообще вступать на этот путь? Поставьте, например, себя на место любого, кто считает, что не может быть мирного политического порядка, если он не поддерживается современным авторитарным режимом, что демократия может быть только «управляемой», «опекаемой» или «ведомой», и проанализируйте опыт страны, позиционирующей себя как колыбель и пример современной демократии. Вы обнаружите общество, где

почти половина граждан не принимает участия в президентских выборах, где деньги глубоко проникли в политику и где самый высокий среди развитых стран уровень социального неравенства, сопровождаемый самым большим в мире числом заключённых. Таковую картину нелегко сбросить со счетов. Большинство людей во всём мире оценивают демократию с точки зрения результатов — политических свобод, а также экономического развития и социально-экономического равенства. Чтобы оценивать демократию, включая демократию в России, необходимо сопоставить опыт демократий в том виде, в каком они существуют в данный момент. Совсем недостаточно потребовать, «делайте, как мы говорим, а не так, как мы делаем».

Во время одной из наших дискуссий российский коллега воскликнул: «Если демократия — фальшивая, то какая разница?» Мы всё же считаем, что отличие есть. Но нелегко установить ценность демократии, ценность соревновательных выборов и политических свобод в период между выборами, и ответ будет непростым.

Ниже предлагаются некоторые варианты ответа на данный вопрос. Возможно, самой важной характеристикой демократии является то, что источником ее жизнеспособности являются не только реформы сверху, но и голоса снизу. Как заявил Адольфо Суарес, первый премьер-министр демократической Испании, в своём первом обращении к парламенту: «Будущее не прописано заранее, поскольку только народ может написать свое будущее».

Вот почему все, кто выбирает этот путь — как Россия, так и другие страны, — могут искать свои варианты решения, решения проблем свободы, благосостояния и равенства. Вот почему те из нас, кто живут в странах с уже устоявшимися демократиями, не боятся обнаруживать издержки наших демократических систем, но боятся того, что они могут обесценить саму сущность демократии: мы постоянно подвергаем критике некоторые проявления её существования и поддерживаем её основные достоинства.

Наша задача заключается в безусловном принятии опыта функционирования демократий во всём мире как с нормативными, так и реальными концепциями. Мы особенно заинтересованы включить сегодняшнюю политическую ситуацию в России — точку

отсчёта, существующую форму, возможные варианты развития — в общий багаж знаний о функционировании и развитии различных политических режимов.

Мы рассчитываем на то, что эти знания послужат уроками, на которых мы все сможем учиться, даже если кто-то придёт к другим заключениям. Было бы самонадеянным полагать, что со стороны виднее: практика оказания консультативной помощи, которая имела место со стороны США в период Ельцина, сводившейся к принципу «Подражайте нам!», была катастрофичной не только для становления и развития демократии в России, но также и для её позитивного восприятия в этой стране. Демократия имеет геополитический акцент и использовалась для демонстрации превосходства одних стран перед другими. Книга о России и Западе не может игнорировать это идеологическое наследие.

В книге подчёркивается, что в наши намерения не входит задача приклеивания ярлыков или поддержка отдельных политических режимов. Ключевой вопрос состоит в следующем: Россия является демократией или не является ли она менее демократической страной, чем США, Италия или Япония? Но любые попытки ставить подобные вопросы начинают вязнуть в болоте формулировок, которые, возможно, внешне вполне приемлемы, но не проливают свет на проблему. С нашей точки зрения, следует избегать западни поляризации, в частности, дихотомии авторитаризм-демократия; это привело тех, кто считает себя победителем в «холодной войне», к выводам, что достаточно избавиться от предыдущего, чтобы получить последующее. Такой подход, впрочем, не подразумевает, что мы не признаём определённых стандартов, по которым все политические режимы должны быть оценены: политические свободы, социально-экономическое процветание и гражданский мир обязательны в качестве критериев оценки.

Наш подход — аналитический. Мы хотим разобраться, как демократия работает на самом деле, каких целей удаётся достичь, а каких — нет. Мы намерены выяснить, что можно ожидать от наиболее эффективной демократии и также то, почему она не всегда оказывается таковой. В круг наших задач входит выяснение генезиса демократии и этапы её развития. Поэтому

мы рассматриваем демократию не только как состояние, но и как процесс. Различные политии могут находиться на разных этапах развития и ставить разные цели в условиях разных вызовов.

Кто-то столетиями наслаждался последовательным демократическим развитием, а кто-то сталкивался одновременно с вызовами государственного строительства, национальной интеграции и политической конкуренции. Поэтому нам нужно выяснить «предпосылки»: когда, где и что возможно.

В книге собраны основные противоположные оценки сегодняшней ситуации в России, а также её будущего. Это не те противоречия, которые можно разрешить научным путём: все они логически связаны и подтверждаются конкретным фактическим материалом. Анализ конкретных исторических ситуаций — своего рода искусство. Правда, оно ограничено требованиями науки, но лишь в той степени, чтобы не противоречить общим теориям; научные критерии позволяют использовать фактический материал для рационализации точки зрения. Но в итоге ряд противоречий остался неразрешимым. Они отражают критерии оценки политических режимов, они включают интерпретации намерений или моральных качеств политиков, они просто следуют интуиции.

Безусловно, в качестве основной задачи мы ставим необходимость прояснить различия во мнениях, признать погрешности в анализе, подчеркнуть неопределенность, содержащуюся в оценках сложных ситуаций. История интерпретаций Советского Союза, равно как и посткоммунистической России, являет собой кладбище неверных выводов: от мифа о стабильности «тоталитаризма» до объявления преждевременного триумфа: «как Россия создала рыночную экономику». Советский Союз распался, а мы чрезвычайно далеки от ответа на вопрос, что такое сегодняшняя Россия и какой она становится. Так и должно быть: претензии на определённую — рецепт катастрофы.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Эта монография появилась в результате проекта, инициированного и осуществленного под руководством и при финансировании Института демократии и сотрудничества (Нью-Йорк), филиала Московского фонда Института демократии и сотрудничества.

Идея создания Фонда принадлежит президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Во время встречи с руководством ЕС, отвечая на упреки европейских партнеров относительно состояния демократии в России, он высказал мнение о необходимости проведения дискуссий между российскими и западными политологами, политиками и общественными деятелями, которые должны привести к лучшему пониманию демократии и политического развития на Западе и в России. Эту идею воплотили пятнадцать негосударственных организаций, создавших Фонд демократии и сотрудничества в Москве.

Нью-йоркский филиал Института был зарегистрирован 28 января 2008 года. В течение двух лет Нью-йоркский институт организовал пять семинаров по проблемам демократии в Нью-Йорке и Москве, результатом которых стала монография, которую мы представляем общественности.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. РОССИЯ

АНДРАНИК МИГРАНЯН

Глава 1. Особенности российской политики	15
О законе маятника	15
О выборах	17
О суверенной демократии	25

СТИВЕН ХОЛМС

Глава 2. Имитация демократии и имитация авторитаризма	65
Вступление	65
Прокрустова дихотомия	66
Инкарнаций — две, система — одна	70
Великое разъединение	78
Почему нет честных выборов?	85
Противоударные партии	91
Демократия и предпосылки	96
Изолированные и разобщённые	100

МИХАИЛ ИЛЫИН

Глава 3. Как растут свобода и демократия на российской почве?	102
Вступление	102
Истоки	111
Власть против народа	116
Суверенитет самодержавного народа	124
Демократия советов	128
Перестройка: больше демократии — больше социализма	131
Ущербная демократия	133
Суверенная демократия	136
Как вы строй свой назовете	138

ВАЛЕРИЙ СОЛОВЕЙ

Глава 4. Цветные революции и Россия	144
Вступление	144
Были ли революции?	145
Причины революций	148
Революционные результаты	152
По стезям Николая I.	156
Почему не Россия, или когда Россия?	159
Заключение	163

ЧАСТЬ II. ДЕМОКРАТИЯ В РОССИЙСКОМ ЗЕРКАЛЕ

ДЖОН ДАНН

Глава 5. Оценка демократии как формы правления для определенных территорий: утопия или апологетика?	165
Демократическая власть как отречение от самоуполномочивания	165
Повестка дня	167
Метод	169
Выборы	171
Российские особенности и универсальные дилеммы. . .	182

ПАСКУАЛЕ ПАСКУИНО

Глава 6. Демократия: античная и современная	185
Вступление	185
Афины	187
Концептуальная революция Аквинского.	190
Плюсы и минусы современной демократии (выборы)	196

БОРИС МАКАРЕНКО

Глава 7. Роль выборов в демократии	211
В чем важность выборов?	211
Дело не только в конкуренции... ..	211
Зачем нужны выборы?	216
Уровень конкурентности	219
Функции конкурентных выборов.	221
Становление и консолидация демократии.	221
Легитимация победителей и проигравших	222

Формирование политического режима и институтов конкуренции	223
Определение стиля политики	227
Программы или личности? За что голосуют?	229
Свободные и справедливые: как разоблачить махинации?	232
Предварительные выводы	236

ХОСЕ МАРИЯ МАРАВАЛЬ

Глава 8. Выборы и вызов «большей демократии»	238
Защита электоральной демократии	238
Страх демократических выборов:	
российский опыт	242
Недостатки электоральных демократий	245
Асимметрия информации	245
Предсказуемость инкубентов	250
Конфликт в отношении разделенной власти	254
Нарушение правил соревнования	257
Узурпация голоса народа	262
Являются ли демократии угрозой?	265
Действительно ли избранные правительства менее способны обеспечивать экономический рост?	268
Действительно ли избранные правительства менее способны обеспечивать социально- экономическое равенство?	270
Заключение	273

ЯН ШАПИРО

Глава 9. Демократия между выборами	277
Вступление	277
Лояльная оппозиция	278
Группы интересов	282
Гражданское общество	286

А.Д. ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Глава 10. Общие закономерности, региональная специфика и концепция незападной демократии ...	289
Вступление	289

Принципы сравнительного анализа политических систем. Системный подход к обществу и политике . . .	290
Анализ политического развития на Востоке / и на Западе: общее и особенное	295
Оценка пространственной и аналитической систем координат	307
Сравнительный анализ восточной специфики политических систем и политического процесса: общие закономерности, региональная специфика и модели демократии	310
Роль социальных порядков в концептуализации вариативности моделей демократического правления	316
Концепция незападной демократии	327
Заключение	343

АДАМ ПШЕВОРСКИЙ

Глава 11. Незападная демократия на Западе	350
Вступление	350
«Запад»	354
Вступление	354
Гармония интересов	355
Боязнь расколов	358
Оппозиция как препятствие	360
Выводы	364
О политическом использовании «традиций»	364

ЧАСТЬ III. РАЗНООБРАЗИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

ДЖОН ФЕРДЖОН

Глава 12. Институционализация политических изменений.	371
Вступление	371
Что хорошего или плохого в демократии?	378
Строительство демократии в реальном времени	382
Две модели демократии	385
Дискуссия: политика после транзита	395

АДАМ ПШЕВОРСКИЙ

Глава 13. Политический институт и политический порядок	398
Вступление	398
Политические институты и политические конфликты	400
Прембула	400
Структурирование конфликтов	402
Мотивация к участию и повиновению	405
Не все одинаковы	416
Разные порядки	421
Динамика режима	425
Выводы	428

БОРИС МАКАРЕНКО, АНДРЕЙ МЕЛЬВИЛЬ

Глава 14. Как и почему «зависают» демократические транзиты? Посткоммунистические уроки	429
Проблема	429
Условия vs. действия: две парадигмы в изучении демократии и демократизации	433
Как и почему попытки демократизации не удавались?	438
Влияние структурных предпосылок и процедурных факторов на исход транзита: благоприятные и неблагоприятные случаи	447
Последствия политических решений	457
Центральная Азия	457
Закавказье	461
Восточная Европа	463
Некоторые выводы	471

Послесловие: противоречия и неразрешенные вопросы	477
Вступление	477
Открытые вопросы	478
Государство и демократия	478
Стабильность режима и реформы «сверху»	481
Будущее демократии	486

Библиография	488
---------------------------	-----

Часть I. РОССИЯ

АНДРАНИК МИГРАНЯН

Глава 1. Особенности российской политики

О законе маятника

Одной из характерных особенностей российской политики является то, что за последние почти двести лет попыток модернизации российской политической системы явным образом проявляется закон маятника, когда политическая система из одной крайности переходит в другую. Попытки модернизации авторитарно-самодержавной власти царской России закончились хаосом февраля-октября 1917-го года, из которой вышла тоталитарная власть большевистской России. Маятник российской власти прошел от крайне правой точки до крайне левой, задержавшись недолго в центре в состоянии хаотического распада старых институтов и ценностей.

Отсутствие культуры демократической самоорганизации, навыков достижения компромиссов через переговоры и взаимные уступки, устойчивых институтов гражданского общества и наличие глубоких разделительных линий по социальным, экономическим, национальным, культурным и конфессиональным измерениям предопределили как распад старого государства, так и становление новой деспотической власти на месте царской России.

Всё произошло в России в 1917 году так, как описывал Токвиль революционные преобразования во Франции при переходе от старого режима. Он отмечал, что следует быть очень осторожным с демократизацией политической системы в стране, где нет укоренившихся демократических традиций и культуры. Народ не успевает переварить быстрые изменения, ситуация выходит из под контроля реформаторов, сам процесс обретает свою логику развития, который чаще всего приводит к хаосу и распаду старой институциональной и ценностной системы, из которой выраста-

ет новая форма тирании, иногда еще более страшная, чем та, от которой радикальные реформаторы хотели бы избавиться.

Именно понимание этой угрозы нового хаоса и распада СССР в результате радикальных реформ Горбачева в годы перестройки побудило меня в серии статей в 1988–1990 гг. (Мигранян 1988, 1989а, 1989б) предупредить о невозможности непосредственного перехода в СССР от бюрократического тоталитаризма к демократии, так как такой переход в стране, не имеющей никаких инфраструктур для установления демократических институтов и ценностей, неминуемо закончился бы ее распадом, чреватым новым хаосом и угрозой новой гражданской войны в стране, напичканной десятками тысяч ядерных боеголовок.

В силу ряда объективных и особенно субъективных причин перестройка Горбачева закончилась хаосом и распадом СССР (Мигранян 1997, 2005а, 2005б), из-под обломков которого вышла Россия, которой было суждено трансформировать советскую государственную машину и перенастроить её на выполнение новых функций для нового государства. Сразу же после распада СССР в России сложился режим, близкий к тому, что описал в концепции делегативной демократии Г. О’Доннелл (1994). Слабость институтов, отсутствие обратной связи и влияния электората на власть компенсировались избыточным присутствием харизматичного лидера Ельцина, избранного президентом России на всеобщих выборах, который и олицетворял на тот момент российское государство, которое не имело ни четких границ, ни работающих институтов. Характеристика режима Ельцина мною дана в целом ряде публикаций (Мигранян 2004), и поэтому я не хочу на этом специально останавливаться. Отмечу лишь то, что, согласно закону о маятнике российской власти следовало ожидать, что рано или поздно из этого хаоса начнется процесс консолидации власти и захват государством почти всего политического пространства, резкое сужение возможностей других политических акторов оказывать влияние на политические и экономические решения государственной власти.

Однако, добившись консолидации власти по вертикали (ограничение власти и возможностей региональных руководителей, которые при Ельцине превратили Россию в де-факто конфедерацию) и по горизонтали (отстранив от политической сферы оли-

гархов и лишив их возможности диктовать условия госорганам власти), создав доминирующую в парламенте и в регионах партию власти «Единая Россия», ликвидировав мажоритарную систему и проводя выборы только по партийным спискам и отменив прямые выборы губернаторов, новая российская власть во главе с Путиным столкнулась с очень серьезным новым вызовом. Как сохранить открытость общества и власти в условиях, когда из неё уходит институционально оформленная оппозиция, когда нет внутриинституционального или межинституционального конфликта, который, только согласно Веберу (1978), способен динамизировать политическую систему. Теперь уже, обретя потерянную государственность, российским руководителям снова предстоит решить сложную задачу создания институтов конфликта и соперничества в политической сфере и независимых, не подконтрольных государству институционально оформленных интересов в сфере экономики, социальной, культурной и религиозной жизни общества. При этом надо иметь в виду, что угроза распада государства, которую Россия испытала на себе дважды в ходе демократической модернизации, является очень серьезным сдерживающим фактором для российского руководства при принятии решений о формировании конкурентной среды в политической жизни страны. Слишком еще свежи воспоминания о недавнем распаде страны и о тяжелых последствиях хаоса 90-х, что часто называют результатом радикальных либеральных реформ в экономике, политике и социальной жизни России.

О выборах

Одним из наиболее цитируемых в политической науке о выборах является утверждение Пшеворского (1991, 1996) о том, что вся суть демократии и альтернативных выборов заключается в том, что всегда есть некая неопределенность результата выборов. Это положение является неоспоримым для оценки уровня демократичности той или иной страны.

Однако, на мой взгляд, нельзя механически переносить это положение на страны, которые находятся в процессе перехода к демократии, и на этой основе давать оценку уровня их демократичности. Дело в том, что процес участия в выборах и соперничество партии в современных демократиях имеет свою историю

развития. Вот почему, если не ставить в исторический контекст положение об участии и соперничестве партий в новых демократиях, мы не сможем адекватно оценить ситуацию со складывающейся институциональной системой, особенно по части выборов.

Как отмечает Р. Даль (2000), вовлечение масс в политический процесс происходило в Великобритании, стране, которая дала образец формирования либерально-демократической институциональной и ценностной системы, в течение столетий, небольшими контингентами населения. Участники политического процесса обладали собственностью, образованием и т.д. Они обладали навыками самоорганизации и культурой горизонтальных отношений и при конфликте интересов были готовы вместо насилия пойти на компромиссы и взаимные уступки. В течение длительного времени они также приучились справляться со сложной государственной машиной и её институтами, в том числе с механизмом сдержек и противовесов. При этом политическая борьба в Великобритании разворачивалась между партиями, члены которых не ставили под сомнение существующую институциональную и ценностную систему. В дальнейшем даже появление массовых партий и замена в политической системе либералов лейбористами не привели к серьезной дестабилизации партийно-политической системы. На сущностном уровне по поводу институциональной и ценностной систем существовал консенсус между либералами, консерваторами и лейбористами. Вот почему такой проницательный ум, как Шпенглер, отмечал после Первой мировой войны, что нельзя механически перенести на немецкую почву английскую политическую систему. Если в Англии в политической сфере и межпартийной борьбе на поверхности — конфликт, то этот конфликт по вопросу о том, как решать те или иные социально-экономические вопросы, что не ставит под сомнение основы самой системы. Если такой конфликт интересов возникнет в немецкой политической сфере, то он не ограничится только лишь конфликтом о способах решения тех или иных проблем, он пойдет глубже и затронет вопрос об основах, на которых зиждется система, что неминуемо приведет к гибели как системы, так и государства. Предупреждение Шпенглера оказались пророческими. Из Веймарской системы вырос

национал-социалистический тоталитарный режим в Германии. Поэтому как в английской, так и в американской политических системах появление оппозиционных партий, партийная борьба с неопределенным исходом выборов появились только тогда, когда была уверенность, что такая неопределенность проявляется в контексте гораздо большей определенности, что независимо от того, кто победит на выборах, основы систем не будут поставлены под сомнение. Особенно знаменательным в этом отношении является блестящая книга Хофстадтера (1969), где автор на основе обширного материала показывает, как в США происходил процесс формирования партийной системы через преодоление представлений отцов-основателей, которые видели в партийной борьбе угрозу для существования республики.

Идея оппозиционной партии в США оказалась возможной тогда, когда можно было сказать, что для республиканцев федералисты перестали представлять партию радикального разрыва и сторонников монархии, и когда Джефферсон мог сказать, что разница во мнениях не означает разницу в принципах, вследствие чего он мог заявить: «Мы все республиканцы, мы все федералисты» [Хофстадтер, 1969, с. 152]. Джефферсон готов был принять наличие партий в одном случае, когда, «какими бы именами ни назывались партии, реальное разделение всегда будет только между умеренным и ярым республиканизмом. В этом разделении нет великого зла, даже если меньшинство получает власть с вступлением в должность их кандидата на федеральных выборах, потому что мы получаем не что-то принципиально другое, а всего лишь один оттенок республиканизма вместо другого» [Хофстадтер, 1969, с. 168]. Вот почему Хофстадтер пишет: «Абстрактно Джефферсон принял реальность того факта, что оппозиция реализует себя в межпартийной борьбе на выборах, но конкретно он никогда не мог признать легитимность никакой оппозиции в своей стране».

Однако в течение десятилетий это отношение к оппозиционной партии изменилось и уже во времена Ван Бурена Майкл Уоллес пишет [Хофстадтер, 1969, с. 248]. «Следовательно, они осознали то, что постоянное существование оппозиции необходимо с точки зрения сохранения живучести своей партии; она является весьма полезным, постоянным фактором, способству-

ющим поддержанию необходимой дисциплины в собственных партийных рядах». Развивая подобный подход к роли оппозиции, Стивен Холмс (1995) справедливо отмечает, что наличие оппозиции в значительной степени помогает власти не допустить больших ошибок, что возможно в случае абсолютной её бесконтрольности.

Возвращаясь к ситуации с выборами в России и отношением власти к оппозиции, следует отметить, что если сегодня России не грозит приход к власти оппозиции, способной изменить институциональные и ценностные основы существующей власти, угроза чего была реальной в 1996 году, если бы победили коммунисты, то теперь власти в этой сфере сталкиваются с рядом других проблем.

Политика новых российских властей по маргинализации и кооптации оппозиционных партий с конца 90-х – начала 2000-х годов привели к тому, что партия власти «Единая Россия» оказалась доминирующей партией в федеральном собрании и в законодательных собраниях субъектов федерации. Подавляющее большинство губернаторов также являются членами «Единой России». Помимо действий властей по маргинализации и кооптации левой и правой оппозиции были и объективные причины, приведшие к резкому ослаблению позиции коммунистов и так называемых либеральных партий «Яблоко» и «СПС». Но здесь мне хотелось бы подчеркнуть, что сложившееся положение серьезно тревожит архитекторов такой партийной системы в российской политике. Они понимают, что доминирование «Единой России», отсутствие эффективной партийной конкуренции при фактическом отсутствии механизмов сдержек и противовесов в действующей Конституции России обрекают эту систему на потенциальный застой со всеми отсюда вытекающими последствиями, что известно в России каждому, кто хоть как-то знаком с историей этой страны в брежневский период. Однако они также понимают, что есть еще одно обстоятельство, которое делает будущее существующей системы весьма уязвимым при любых угрозах стабильности системы. Дело в том, что в 90-е годы прошла неслыханная по своим масштабам приватизация многотриллионной государственной собственности, которая перешла весьма сомнительным образом в руки новых собственников, что в

глазах большинства населения страны воспринималось как грабеж их имущества. Как отмечают теоретики демократии, страну можно назвать демократической, если в ней дважды, как считает Хантингтон, или хотя бы один раз власть на выборах переходит от одной партии к другой. Этот переход для России имеет еще более существенное значение. Переход власти от одной партии к другой может означать не только факт консолидированности демократии и укрепленности новой системы в стране, но, что еще более важно для России, это может означать легитимацию передела собственности, который до сих пор воспринимается как нелегитимный. В целом ряде стран Южной и Восточной Европы нужен был приход к власти левых, социалистических партий, чтобы они легитимировали и фактически закрепили переход к новой системе и установили новый статус-кво, приемлемый для общества. Для российских властей стоит задача в выращивании просистемной левой партии, которая в случае прихода к власти легитимировала бы как передел собственности, так и становление новых институциональной и ценностной систем. Так как КПРФ оказалась слишком ригидной для выполнения роли новой умеренно социалистической партии, власти помогли появлению державно-патриотической левой партии «Родина» и, когда в силу определенных обстоятельств этот проект оказался не совсем удачным, помогли созданию левой социалистической партии «Справедливая Россия». При этом чтобы «Единая Россия» не превратилась в партию типа КПСС, кремлевские партстроители пошли на создание внутри «Единой России» партийных клубов, фактически фракций, чтобы изнутри создавать конфликт мнений и интересов с целью динамизировать партию и, стимулируя межпартийную конкуренцию, динамизировать политическую систему в целом. При этом подспудно была поставлена еще одна очень серьезная задача по формированию новой политической культуры в России.

Сегодня очевидно, что в развитых демократиях механизм сдержек и противовесов, культура горизонтальных отношений между конфликтующими интересами по достижению компромиссов и уступок направлены на преодоление культуры игры с нулевой суммой, при которой победитель берет всё. К сожалению, в России существует многовековая культура иерар-

хических отношений, при которой всем должно быть очевидно, «who is the boss». Поэтому искусственный перенос на российскую почву разделения властей и механизма сдержек и противовесов привел к конфликту между законодательной властью в лице Съезда народных депутатов и президентом России, избранными населением страны. Итогом конфликта стал в октябре 1993 года обстрел здания парламента и его разгон. Новая Конституция поставила институт президентства над политической системой, ликвидировав тем самым необходимость согласования интересов по горизонтали между различными ветвями властей.

Это не означает, что такая культура иерархических отношений во властных структурах дана раз и навсегда для России. По мере усвоения демократических норм и традиций российское общество и политический класс вполне смогут освоить и культуру горизонтальных отношений. Как пишет Пшеворский, «утверждения о том, что есть в цивилизациях раз и навсегда данные факторы, которые препятствуют установлению демократических институтов и ценностей в той или иной стране, противоречат историческому опыту. Возвращаясь к Милю: люди легче склонны делать и делают легче то, что они уже привыкли делать, но они также учатся делать новые вещи» (Пшеворский 2003. С. 128).

Тем более что свидетельства, которые мы имеем, заключает Пшеворский, не подтверждают утверждений о том, что некоторые культуры несовместимы с демократией (Пшеворский 2003. С. 129).

За последние несколько лет президентской администрацией взят курс на формирование культуры горизонтальных отношений как внутри партии власти, так и между партией власти «Единая Россия» и созданной с помощью Кремля левой партией «Справедливая Россия».

В 2008 году произошло еще одно знаменательное событие, которое, на мой взгляд, может оказать серьезное влияние на формирование новой культуры горизонтальных отношений между различными институтами власти. Речь идет об отношениях между институтом президентства и правительством. С начала второго срока его президентства В. Путину постоянно задавали вопрос о том, что он будет делать после 2008 года, когда закончится его второй срок президентства. Российская

политическая традиция, как впрочем и европейская, не предполагает уход действующего президента в цветущем возрасте, имеющего высокий рейтинг доверия у электората и занимающего ключевое положение в политической системе не только формально как глава государства, но и неформально как гарант внутриэлитного консенсуса в этот переходный для страны и режима период, в небытие. Тем более что российская Конституция допускает возможность занятия должности президента после того, как действующий президент пропустит очередные выборы после истечения второго президентского срока. Как бы то ни было, уже к 2006 году стало очевидным, что страна, электорат, политическая элита страны и сам Путин готовы к тому, что и после 2008 года он останется одним из ключевых фигур в российской политике. Наиболее простым вариантом для многих как в партии «Единая Россия», так и в элитных и аналитических кругах, заинтересованных в сохранении стабильности и статуса-кво в России, считалось изменение Конституции. У действующей партии были все необходимые ресурсы для того, чтобы снять ограничение по срокам для участия на президентских выборах. Это дало бы возможность Путину и в 2008 году без особых трудов в третий раз избраться на пост президента. Однако принятие такого варианта развития политического процесса откровенно поставило бы Россию в ряд центральноазиатских государств постсоветского пространства и перечеркнула бы возможность дальнейшего развития российской политической системы в сторону формирования более эффективных институтов власти и демократической политической культуры, одной из важнейших характеристик которой является уважение к конституции и недопустимость поправок к конституции в угоду действующему президенту и власти.

В октябре 2006 года, в разгар дискуссии о судьбе Путина после 2008 года и требований третьего срока для действующего президента, я предложил другой вариант сохранения в российской политике Путина после 2008 года (Мигранян 2006). Предложенный вариант, не изменяя действующей Конституции, также обеспечивал решающую роль Путина в российской политике и сохранял ему возможность возврата на пост президента России в 2012 году.

Согласно этому варианту, Путину необходимо было выдвинуть кандидатуру одного из своих соратников, использовать собственный авторитет и популярность для продвижения этой кандидатуры, представляя его как человека, готового продолжить курс Путина, а самому занять при новом президенте пост премьер-министра и руководителя доминирующей в российской политике партии «Единая Россия». К удовлетворению сторонников укрепления и развития российской политической системы по западному пути развития президент Путин отказался от идеи своих сторонников по изменению Конституции и предоставлению ему возможности избрания на третий срок и пошел по пути усложнения российской политической системы. Он передал власть новому президенту, обладающему наделёнными Конституцией практически неограниченными полномочиями, а сам занял пост премьер-министра и руководителя правящей партии. Это создало беспрецедентную для России ситуацию во властных отношениях. Возник в России дуумвират, при этом конституционные полномочия института президентства балансировались наработанным Путиным за девять предыдущих лет авторитетом у электората, ресурсом института руководителя правительства и лидера правящей партии, имеющего в парламенте конституционное большинство. Таким образом, российская власть вступила в качественно новую полосу, когда межинституциональный баланс властей становится не столь очевидным и зиждется не только на чисто конституционных полномочиях. Впервые, наверное, в истории новой России возникла ситуация, требующая формирования новой культуры горизонтальных отношений между институтами президентства и правительства. Многие политики и аналитики скептически относились к перспективам такой конфигурации власти, справедливо указывая на то, что в российской политической культуре необходимо четкое понимание для бюрократии, бизнеса и населения, кто в доме хозяин. Но, как ни странно, этот тандем не только оказался жизнеспособным сам по себе, но и прошел испытание серьезным мировым экономическим кризисом 2008–2009 гг.

Уже можно констатировать, что годы дуумвирата внесли большой вклад в формирование новой культуры горизонтальных отношений в сфере исполнительной власти, где формиру-

ются навыки достижения компромиссов и консенсуса путем взаимных уступок и договоренностей.

О суверенной демократии

На Западе за последние годы было опубликовано много работ, описывающих режим, сложившийся при Путине в России в 2000-е годы, в том числе работы, претендующие на осмысление феномена «суверенной демократии» (Крастев 2008). К сожалению, многие работы весьма поверхностны, часто политически мотивированы и в значительной степени опираются на оценки «Freedom House», которая оценивает уровень демократичности той или иной страны на основе чисто формальных признаков вне контекста внутреннего развития политического процесса той или иной страны. Как справедливо отмечает Г. О'Доннелл, при оценке уровня демократичности новых государств следует рассмотреть развитие процесса демократии в историческом контексте, как это происходило в странах северо-запада Европы, не ожидая мгновенного появления высших образцов демократии в новых государствах. Отмечая изъяны такого формального подхода к оценке демократичности, О'Доннелл (2007: 35) пишет: «Справедливо ли, теоретически и нормативно, применять к новым демократиям те критерии, которые в настоящее время северо-западные страны применяют к себе, или же мы должны применять к ним более ограниченный набор критериев, которые эти старые демократии применяли к себе десятилетия назад, — или есть другая альтернатива?» Дальше О'Доннелл отмечает: «Задавая такой вопрос, мы пытаемся разобраться в степени или качестве демократичности общего социального контекста, а не только режима и государства».

Становление демократии в Великобритании и других странах северо-запада Европы и США было результатом, как отмечал Вебер (О'Доннелл 2007: 24), «исторически уникальных обстоятельств, которые имели глубокое влияние на формирование характерных особенностей этих стран». С другой стороны, как пишет О'Доннелл (2007. С. 22), «в большинстве других демократий, новых и старых, на Востоке и на Юге, эти процессы происходили позже, в разных последовательностях и оказались далеко не завершенными, а результаты оказались менее упорядо-

ченными и однородными, чем в странах, где первоначально возникли демократии. Эти различия, в изобилии подтвержденные соответствующими историческими документами, также оказали глубокое влияние на формирование характерных особенностей демократий стран, находившихся вне ареала Северо-Запада Европы, включая характеристики их режимов и государств».

О'Доннелл далее справедливо отмечает, что (2007. С. 24) «исторический уклон и сосредоточенное внимание к формальным аспектам режима со стороны многих существующих теорий демократии являются помехой в изучении этих факторов. Так как эти факторы имели сильное влияние на формирование характерных особенностей многих современных демократий, это упущение является серьезной помехой для надлежащего сравнительного анализа данных процессов со стороны этих демократических теорий».

Рассматривая в историческом контексте развитие прав и свобод и становление демократических режимов, О'Доннелл считает очень важным понимание того, что в странах, где появились в начале современные демократии, сначала граждане стали обладателями в массовом порядке индивидуальными правами, которые регулировали значительную часть их жизнедеятельности, в то время как большинство населения было исключено из политического процесса и не обладало политическими правами. Вышеназванные права были «гражданские права, права, которые относились к частной социальной и экономической деятельности. Эти права были в совокупности названы Т.Г. Маршаллом «социальным гражданством», а недавно Хабермасом — «буржуазными правами» (О'Доннелл 2007. С. 22).

Далее О'Доннелл подчеркивает (2007. С. 23), что *«когда встал вопрос об участии в политике всех, в странах, где первоначально возникли демократии, уже существовал богатый набор юридически оформленных и тщательно разработанных критериев, касающихся предоставления права участия огромному количеству лиц в сфере гражданских прав. Истинные масштабы этих прав, принадлежащих к «частной» сфере, были ограниченными по современным меркам. Однако именно этот процесс обретения гражданских прав значительным числом населения подготовил почву для расширенного толкования концепций, законо-*

дательства, юриспруденции и идеологий, которые сначала были предназначены для обоснования социального гражданства, но затем с их помощью стали обосновывать политическое гражданство».

Таким образом, О'Доннелл (2007. С. 23) еще раз подчеркивает, что к тому моменту, когда «в северо-западных странах в конце концов все члены общества были допущены в политический процесс, многие (но далеко не все) чувствовали себя комфортно и были готовы к этому. Они не считали это прыжком в бездну. К тому времени правительства уже были ограничены тщательно разработанными и распространяемыми на многие сферы жизни правами граждан, некоторые из которых были закреплены в качестве конституционных норм».

Из всего сказанного О'Доннелл заключает, что (2007. С. 23) «результатом этого долгого и сложного пути развития института гражданства стало то, что современная демократия основывается на идее юридически установленного и защищенного права участия. В результате правительство, режим и власти могут существовать только с учетом того, что они действуют в интересах граждан, являющимися носителями индивидуальных прав».

Таким образом, еще до того, как демократия с её всеобщим участием населения в политике стала реальностью, были созданы основы легальной институциональной архитектуры демократического государства с гражданскими правами индивида и с временными ограничениями на правление избранных на должность политиков, а также с разделением властей внутри режима и с идеями ограниченности власти государства (government), т.к. власть должна сама подчиняться существующей легальной системе, от которой она получает свой авторитет и полномочия.

О'Доннелл не устает повторять, что (2007. С. 26) «эти характерные особенности политического гражданства гомологичны — а точнее они являются составной частью индивидуальных гражданских прав, о котором я говорил выше. Политические свободы, которые мы отмечаем при рассмотрении различных определений демократии, являются неотъемлемой частью гражданских прав, которые являются исторически первоначальными и наиболее часто проявляются при реализации таких свобод, как свобода слова, религиозного убеждения, свобода митингов

и собраний, передвижения, что происходит в обычной жизни общества, а не в политической сфере. Это означает, что социальное и политическое гражданства имеют исторические, правовые и концептуальные связи, которые являются гораздо более тесными, чем это распознается многими демократическими теориями».

Это означает, что политическим свободам и политическому гражданству предшествуют общественное гражданство и индивидуальные права; сначала развиваются институты гражданства и правовая система для участия ограниченного количества людей. Но когда наступает время участия всех права, ценности, институциональный механизм оказываются готовыми для функционирования в интересах большинства и с их участием. Не понимая этого, нельзя понять и то, почему для многих стран приход к демократии оказывается таким сложным, а для иных и невозможным. Для многих необходимый пласт *civil citizenship* отсутствует, поэтому *political citizenship* не работает или работает с изъянами.

Из всего сказанного О'Доннелл делает вывод, который необходим для всех тех, которые хотели бы понять уровень и глубину демократии не на основе формальных признаков «Freedom House», а из контекста развития самой страны и наличия потенциала демократичности во всей предыдущей истории этой страны в процессе *civil citizenship building*, на основе которой только и строится *political citizenship*. О'Доннелл выделяет главные характеристики, которые дают адекватное представление о том, какова глубина и уровень демократичности того или иного государства. «Может казаться, что некоторые демократии имеют основной набор политических прав, окруженных, поддерживаемых и усиливаемых плотной сетью гражданских прав. Другие демократии, наоборот, могут иметь эти же политические права, но окружающая их ткань гражданских прав может быть тонкой и/или неравномерно распределенной между различными категориями физических лиц, социальных групп и регионов. Мне кажется, что различия, которые обнаруживаются в этих измерениях в зависимости от конкретного случая или времени, оказывают сильное воздействие на то, что мы называем глубиной, или степенью гражданско-правовой демократизации, или же на

всеобъемлющее качество демократии в каждом конкретном случае или времени» (О’Доннелл 2007. С. 26) .

Не случайно О’Доннелл снова и снова подчеркивает, что многие права, которые затем стали политическими, сначала возникли в странах, в которых затем впервые возникли демократические режимы, как права гражданские. Он постоянно делает упор на то, что «трудно представить, что, скажем, право на свободу слова и право на собрания будут эффективно реализовываться в сфере политики, в то время как их грубо отрицают в других сферах общественной жизни. Политические права могут быть растворены в более широком наборе гражданских прав потому, что, как я уже отметил, большая часть их конкретной практики, исторического происхождения и основной правовой формулировки может быть найдена в последнем. Свобода слова и собраний являются типичными гражданскими свободами; они становятся узаконенными правами задолго до того, как они становятся признанными “политическими” правами, относящимися к демократическому режиму. Следовательно, не существует четкой и твердой разделительной линии между гражданской и политической сторонами этих прав» (О’Доннелл 2007. С. 31). Не так элегантно, как О’Доннелл, я также в 1980-е годы исходил из понимания того, что, до тех пор пока не созреет всеобщий социальный контекст (*overall social context*), трудно будет ожидать, что перенесенные формальным образом на российскую почву либерально-демократические институты и ценности смогут пустить глубокие корни, могут быть усвоены российским обществом и будут эффективно функционировать. Как будет показано ниже, и первый заместитель руководителя Администрации президента России Владислав Сурков, пытаясь обосновать свое понимание суверенной демократии, также старается поставить процесс становления демократии в современной России в сравнительно-исторический контекст развития западных стран, где этот процесс органичным образом продолжался в течение длительного периода времени.

К сожалению, как в России, так и на Западе часто оценки политического режима опираются всего лишь на формальные критерии “Freedom House” и грешат своей поверхностностью. Такой формальный подход тем более далек от действительности, когда речь идет о такой сложной стране, как Россия. Например, чего

стоят такие поверхностные утверждения, что позволяет себе Лари Даймонд (2008. С. 67): «На мой взгляд, Россия перестала быть демократией в 2000 году, когда Путин активно приступил к ликвидации всех сдержек и противовесов скрипучей конституционной системы». Если бы Лари Даймонд был знаком с российской Конституцией 1993 года, принятой при Ельцине, то он бы наверняка удивился, узнав, что сама Конституция не содержит в себе никаких механизмов сдержек и противовесов. Так что Путин не мог ликвидировать то, чего не было. Не выдерживает никакой критики и утверждение о том, что демократия деградировала от Ельцина к Путину и Россия стала, по оценке «Freedom House» к 2004 году несвободной страной. Мало-мальски знакомый с российской политической историей и российскими выборами человек, если он политически не ангажирован, знает, что самые грязные выборы в новой России прошли в 1996 году. Самые грубые нарушения закона и действующей Конституции с государственным переворотом произошли в 1993 году, что закончилось обстрелом здания парламента. Из такого подхода многих так называемых либеральных исследователей выходит, что фальсификация выборов, если она направлена против коммунистов, госпереворот в нарушение Конституции и обстрел парламента, если там сидят коммунисты и им сочувствующие, признаки более высокого уровня демократии, чем арест или уголовное преследование провинившихся олигархов типа Гусинского, Ходорковского, Березовского и им подобных. Никто в сегодняшней России не утверждает о наличии там развитой демократической политической системы, включая президента Медведева и премьера Путина, однако нет ничего более далекого от истины, чем утверждение о гибели демократии в России в 2000-е годы.

Британский журналист Джон Кэмпфнер (2010. С. 86) в своей недавно вышедшей книге справедливо отмечает, что «демократия была обанкрочена намного ранее того времени, когда он [Путин] пришел к власти».

Еще большее удивление вызывает претенциозная статья болгарского исследователя Ивана Крастева, претендующего на теоретическое осмысление феномена суверенной демократии. Тут каждое утверждение построено на фантазии самого автора. Во-

первых, он абсолютно произвольно определяет Россию от имени Европейского совета по международным отношениям «как идеологическую альтернативу ЕС, с иным подходом к суверенитету, власти и мировому порядку» (Крастев 2008. С. 16). На самом деле новая Россия никогда не претендовала при Путине на роль идеологической альтернативы Европейскому союзу или еще шире Западу, она стремится найти свое место в новой системе международных отношений, только не в качестве страны с ограниченным суверенитетом при внешнем управлении со стороны Международного валютного фонда и Вашингтона, а в качестве самостоятельного субъекта международных отношений. Из той же области фантазии Крастева (2008. С. 24) его утверждение о том, что концепция суверенной демократии для описания и объяснения режима Путина появилась как ответ на Оранжевую революцию в Украине в 2004–2005 годах. Не могут не вызвать удивления и такие утверждения Крастева (2008. С. 48), что Россия идет к *realpolitik* XIX века в своей внешней политике и что главный конфликт России с Европейским союзом в том, что Россия олицетворяет традиционное современное государство, в то время как Европейский союз строит государство постмодерна. В том же русле находится утверждение о том, что «чем более капиталистической и похожей на Запад становится Россия, тем более антизападной становится её политика».

Даже в том, что Путин и новое российское руководство хотят восстановить историческую связь времен, критики нынешнего российского режима, видят смертный грех Путина. Как пишет Пьер Аснер (2008. С. 7), «одной из самых шокирующих особенностей политики Путина являются его попытки утверждать преемственность от царского и советского прошлого». Создается такое впечатление, как будто французский автор забыл, что новое летоисчисление, введенное после Великой французской революции, было затем отменено именно с целью восстановить историческую связь между дореволюционной и послереволюционной Францией.

На самом деле понятие «суверенной демократии» возникло в результате восстановления субъектности российского государства как выразителя совокупного интереса народа, чего не было в 90-е годы (Мигранян 2005). Как отмечают исследовате-

ли, режимам, находящимся в транзите к демократии, до того как формировать эффективно функционирующие демократические институты и ценности необходимо иметь государство в качестве эффективного и пригодного для использования инструмента (О'Доннелл 2007. С. 34, Линц и Степан 1996. С. 37).

Как отмечает Ч. Тилли (2007. С. 227), «режимы, развивающиеся как сильные государства, проводят изменения по вертикали (сверху вниз) более эффективно, но также представляют правительства средства и стимулы для сопротивления покушениям на их власть». Сильные государства имеют больше шансов инициировать изменения сверху и добиться результатов, правда многое при этом зависит от лидеров и политической элиты. Так как если новые раскрепощенные общественные силы и структуры не вовлекаются в публичную политику и власти не рассматривают их в качестве своих партнеров, с которыми необходимо согласовывать важные экономические и политические решения, то такие сильные государства могут стать тормозами для дальнейшей демократизации.

Восстановление субъектности государства было настоящей необходимостью не только для восстановления контроля госинститутов над страной, превратившейся к концу 90-х фактически в конфедерацию, но и для — что еще более важно — восстановления российского государства в качестве субъекта международных отношений. Распад СССР, экономическая и политическая зависимость Москвы от Вашингтона, МВФ, Мирового банка и других западных финансово-экономических структур превратили Россию в страну с ограниченным суверенитетом, который, как в случае с обанкротившимися компаниями, находился фактически под внешним управлением. Параметры бюджета и экономической политики согласовались с МВФ и Мировым банком; только на этих условиях можно было получить кредиты от западных стран и финансовых институтов, находящихся под контролем западных государств и особенно Вашингтона. В 90-е годы эта экономическая зависимость сопровождалась сдачей внешнеполитических позиций России по всем проблемам, связанным с бывшей Югославией и Балканами, с расширением НАТО на восток и формированием геополитического плюрализма на постсоветском пространстве. Именно в этот период особенно сильны были позиции Запада в

определении как внутривластной, так и внешнеполитической линии страны. Наиболее ярко об этом написано в книге Струба Тэлбота (2002) «Билл и Борис».

В первый срок президентства Путина пришло восстановление субъектности государства, завершилась консолидация власти, укрепилась властная вертикаль и произошел еще целый ряд других изменений. Качественно новая ситуация в политической сфере требовала нового определения сложившейся власти для того, чтобы, во-первых, объяснить общий вектор развития России и, во-вторых, заново определить её в координатах новых международных отношений.

Путинская власть должна была обозначить основной вектор развития страны для того, чтобы дать сигнал своим партнерам вовне и обществу внутри России, в какую сторону она движется. Было совершенно очевидно как для Путина, так и для его главных идеологов, и в первую очередь В. Суркова, заместителя главы Администрации президента, что нормативно направление развития страны должно быть определено однозначно: движение в сторону демократии как магистральное направление развития российской политической системы, движение к рыночным преобразованиям и создание эффективных механизмов рыночного хозяйствования, обеспечение индивидуальных прав и свобод, гарантия неприкосновенности частной собственности и целый ряд других идеологических установок, которые должны определять характер власти в России в обозримой перспективе под руководством В. Путина.

Несмотря на утверждения многих аналитиков и политиков на Западе о враждебности России к Европе, российское руководство регулярно и однозначно заявляет, что «Россия — это европейская страна». Очень важным является то обстоятельство, что Сурков (2007. С. 35)¹ в своей программной речи ставит Россию в сравнительно исторический контекст развития европейских народов с тем, чтобы показать, что в принципе Россия уже несколько столетий старается овладеть той сложной институцио-

¹ Это наиболее систематическое изложение позиций российского руководства о характере российского режима, о роли и месте России в современном мире. — Прим. авт.

нальной и ценностной системой, на фундаменте которой сегодня функционируют все современные демократии. Главный вывод из этого историческо-сравнительного анализа, который делает Сурков, сводится к тому, что если пройдя через абсолютизм, торговлю людьми и фашизм, многие европейские страны и США в конечном итоге пришли к современной демократии с ценностями свободы и справедливости, то россияне должны понять, что «мы в этом смысле не уникальны и мы не должны считать себя какими-то изгоями, у которых не получается то, что получается у других» (Сурков 2007. С. 35). В этом выступлении дается и однозначно негативная оценка советскому режиму, который оказался неконкурентоспособным и не смог адекватно ответить как на внутренние, так и на внешние вызовы. «Это общество было не только несправедливым и несвободным. Оно и не решило материальные вопросы, оно явно отстало по удовлетворению потребностей людей в новом качестве жизни от тех же западных стран». И как закономерный вывод из этого он справедливо заключает: «Ну и кому была нужна такая империя, которая не могла дать своим гражданам ни хлеба, ни зрелищ? Вполне естественно, что она распалась» (Сурков 2007. С. 36).

Развенчивая миф о расцвете демократии в 90-х и якобы о сворачивании этой демократии при Путине, Сурков справедливо отмечает о контроле олигархов над государством, о чем много сказано выше, и также упоминает беспрецедентные фальсификации итогов выборов 1996 года, которые оправдывались российскими «либералами» и находили сочувствие на Западе, так как только так можно было не допустить возврата коммунистов к власти. Именно в этот период российские СМИ из средств информирования «стали оружием в руках известных олигархических групп и большей частью использовались для вышибания новых объектов госсобственности и участия в разделе таковых» (Сурков 2007. С. 39–40).

Вот что пишет о состоянии СМИ в этот период английский журналист Джон Кэмпфнер (2010. С. 85, 87), много лет работавший в России: «В 1996 году олигархи превратили телевидение в пропагандистскую машину и руководствовались в избирательной кампании Ельцина принципом “цель оправдывает средства”. Поэтому не случайно согласно, одному из опросов, уже в ноябре 2000 года только 7% россиян считало, что основные СМИ явля-

ются независимыми, в то время как 79% опрошенных считали, что они зависят от олигархов. Не случайно поэтому изгнание олигархов из сферы владения государственными СМИ было одобрительно воспринято населением России».

Для того чтобы Россия могла стать успешной европейской страной, требуется утверждение в ней демократии и суверенитета, подчеркивает далее Сурков (2007. С. 46). Необходимость демократии для России он объясняет тем, что «только общество, основанное на соревновании и сотрудничестве свободных людей, может быть эффективным и конкурентоспособным». И далее он делает вывод: «Мне кажется, в демократическом обществе жить все-таки комфортнее». Мне этот вывод напоминает то утверждение Пшевурского (2000), что, может быть, демократии и не обеспечивают наибольшие темпы развития, но «жизни в условиях диктатуры ужасны. Мнение Черчилля может быть и не совсем достаточное, но оно точное. Демократии далеки от совершенства, но они лучше всех остальных альтернатив».

Предвидя критику концепции суверенной демократии как призыва к обособлению России от Запада, Сурков (2007. С. 46) отмечает, что суверенитет нужен России вовсе не для того, чтобы отгородиться от мира и строить крепость-Россию. «Суверенность, — говорит он, — это открытость, это выход в мир, это участие в открытой борьбе. Я бы сказал, что суверенитет — это политический синоним конкурентоспособности». Но главное, для чего нужны реально суверенные государства, подчеркивает Сурков, это чтобы в международных отношениях не было диктата. В XIX веке лорд Эктон говорил: «Любая власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно». Это правильно как относительно действий властей внутри страны, если они не имеют никаких сдержек и противовесов. Это справедливо и в международных отношениях, когда одна страна пытается всем остальным диктовать свою волю. Недавний пример США при президенте Буше — замечательный образец для иллюстрации.

Таким образом, из высказываний Суркова и оценок независимых аналитиков становится очевидным, что оформление в политическом пространстве России понятия «суверенная демократия» не имеет никакого отношения ни к антизападничеству, ни к оранжевой революции.

С самого начала понятие «суверенная демократия» вызвало неоднозначную реакцию в политических и аналитических кругах — от полного неприятия до искаженных интерпретаций смысла и содержания этого понятия. Попытаемся разобраться, почему это понятие спровоцировало такие неоднозначные отклики как в России, так и за рубежом.

Во-первых, в концепции «суверенная демократия» присутствуют два разнородных понятия, которые, видимо, не позволяют её однозначно воспринимать. С одной стороны, в ней присутствует понятие «суверенитет», который, как правило, применяется к государству как к субъекту международных отношений. С другой стороны, понятие «демократия», которая характеризует форму правления, что в принципе не зависит от степени суверенитета государства. Государство может иметь ограниченный суверенитет вне зависимости от формы правления — демократическая ли она, авторитарная или даже тоталитарная. Однако многие критики этой концепции просто игнорируют сурковское объяснение внутренней связи между понятиями «суверенитета» и «демократии».

Либеральные критики этой концепции утверждают, что если применительно к существующей власти используется термин «суверенная демократия», то предполагается, что это какая-то особая демократия, которая отрицает само понимание универсальных демократических институтов и ценностей, присущих ведущим западным странам. Путин, Медведев, Сурков, да и все руководители России постоянно говорят о том, что у России, как и у любой другой страны, есть свои национальные особенности, но никогда не ставили и не ставят под сомнение универсальный характер либерально-демократической институциональной и ценностной системы. Как было показано выше, об этом однозначно высказывается В. Сурков в своих многочисленных выступлениях. Об этом постоянно говорят Путин и Медведев.

Иногда критики понятия «суверенная демократия» (такие, в частности, как Евгений Примаков) спрашивают, а что, разве существуют и несuverенные демократии? Хотел бы отметить, что даже среди современных развитых держав имеются несuverенные демократии, то есть когда демократия навязывается извне в течение длительного времени, когда внешними усилиями обес-

печивается развитие демократических ценностей и политических институтов, которые со временем усваиваются большинством народа.

Например, после Второй мировой войны немецкий народ усваивал демократические институты и ценности в условиях оккупации страны союзными державами. В течение длительного периода времени в этой стране извне поддерживались становление и развитие демократических политических институтов. Когда экономика Германии встала на ноги, политические институты стали более или менее эффективно функционировать, только тогда внешнее влияние и подстраховка стали уменьшаться. Включение Германии в структуры ЕС и НАТО также ставило целью «приручать» Германию и воздействовать извне на ее внешнюю и военную политику, при этом германская экономика вовлекалась в транснациональные структуры. Таким образом, страна постоянно находилась и до сих пор находится под опекой.

Следует напомнить также, что часто автором конституции Японии считают американского генерала Макартура. Долгосрочная оккупация Японии войсками США способствовала внедрению демократических институтов и ценностей в политической и экономической жизни Японии. Только в результате длительной внешней опеки Япония оказалась интегрированной в японо-американские и японо-западные структуры. Как в Германии, так и в Японии этому способствовал и серьезный подъем экономики и общее улучшение социально-экономического положения благодаря плану Маршалла для Европы и экономической помощи Японии со стороны США.

Так что в принципе существовали и суверенные, и несuverенные демократии. К суверенным относятся демократии, которые не навязывались, а возникали на собственной почве — в Великобритании, а затем и в США. И, пожалуй, можно сказать, что из числа великих держав, помимо Великобритании и США, только во Франции современная либеральная демократия развивалась без прямого внешнего воздействия, на собственной почве. Это заняло, конечно, очень длительный период времени и сопровождалось серьезными социальными потрясениями.

Критики концепции суверенной демократии считают, что демократия не бывает с прилагательным, она или есть, или её нет.

Думаю, что без прилагательного «демократия» это просто пустой звук. Как раз демократия обретает какой-либо смысл только с прилагательным. Когда мы говорим «античная демократия», то мы понимаем, что речь идет о прямой демократии, об ограниченном числе людей, которые участвовали в принятии решений, о демократии рабовладельческой, о демократии, где индивид общества и государства существовали в нерасчлененном виде.

Когда мы говорим о становлении «демократии нового времени», мы понимаем, что она осуществляет качественный разрыв с античной демократией, и особенно в своей либеральной версии. Осуществляется некий синтез между принципом равенства, которым характеризуется демократия, и принципом свободы, которым характеризуется либерализм, чего и в помине не было в античном полисе. Это означает, что как гарантируются равные права для всех перед законом, так и гарантируются основные неотчуждаемые права у отдельных индивидов по отношению к обществу и государству, гарантируется возможность формирования ассоциаций по профессиональным, социальным, корпоративным интересам, обеспечивается контроль общества над государством и, конечно же, гарантируются не только права и свободы отдельного человека, но и в политическом процессе победитель не забирает все, как это бывало в античном полисе. Правление большинства не означает тотальное господство этого большинства над меньшинством. Меньшинство сохраняет свои права, свои возможности, свои структуры, институты и ресурсы для политической борьбы, для оппонирования существующей власти, что является совершенно неслыханным по отношению к античной полисной демократии.

Хотя Джон Данн (2010. С. 55) в своей рецензии на книгу Джона Кэмпфнера и пишет, что «Свобода на продажу» является легким и приятным чтением. Но его вклад в политическое суждение невелик, мне, однако, кажется, что некоторые наблюдения автора все-таки заслуживают внимания. Обращаясь к проблеме суверенной демократии, Джон Кэмпфнер отмечает, что, может быть, правы те, которые считают, что когда перед словом «демократия» есть некий префикс типа «управляемая демократия» или «суверенная демократия», то, видимо, там нет настоящей демократии. Но далее он задается вопросом: означает ли это, что страны За-

пада достигли демократии без «префикса». Ответ на этот вопрос у него отрицательный. Он считает, что понятие «контролируемая демократия» подходит для Великобритании, Франции и других европейских стран. Италия уж точно может характеризоваться как «коррупцированная демократия». «Что касается Соединенных Штатов, — продолжает Кемпфнер (2010. С. 259) — здесь может быть применен целый ряд нелестных префиксов». Далее Кэмпфнер отмечает, что демократические системы со временем становятся более закрытыми, качественный разрыв между демократиями и авторитаризмом уменьшается повсюду в мире из-за ограничения демократических норм и процедур в странах Запада и из-за стремлений существующих демократических систем к сохранению статуса-кво. Вместо соревнования идей между различными партиями, что призвано, по мысли Дж. С. Милля, способствовать просвещению в общественной жизни, приходит растущий консенсус между ними, что грозит ростом рабского конформизма. Вот что пишет по этому поводу Шапиро (2003. С. 149) относительно нынешней американской политической системы: «Чрезмерное количество вето при принятии важнейших политических решений, являющихся результатом федерализма и разделения властей; роль денег в замещении конкуренции за голоса избирателей конкуренцией за взносы в предвыборные кампании — зачастую от одних и тех же богатых спонсоров для обеих партий; огромные преимущества пребывания в должности, которые способствуют чрезвычайно низкому уровню текучести кадров среди государственных должностных лиц; и доминирование системы избирательного регулирования двухпартийными, а не беспартийными учреждениями — всё это делает американскую демократию чрезвычайно неконкурентоспособной по любым сравнительным стандартам — не говоря уже об идеальных стандартах. Проблемой здесь является не конкурентная демократия, а её отсутствие, и решение этой проблемы, конечно же, состоит не в замене её институтами, которые являются ещё менее конкурентоспособными. Мы скорее должны идти в противоположном направлении и использовать логику монополизации политического процесса для выработки теорий о том, как система может стать более конкурентоспособной».

Этим утверждениям очень созвучны мысли британского писателя Филлипа Блонда. В целом ряде своих интервью и публикаций

(Брукс 2010. 19 марта) он утверждает, что «революция свободного рынка не создала плюралистическую децентрализованную экономику. Она создала централизованную финансовую монокультуру, которая требует гигантского правительства для аудита её деятельности. Усилия по освобождению людей от репрессивных социальных ограничений не привели к «расцвету» свободы, они ослабили семьи, увеличили случаи рождения детей вне брака и превратили соседей в незнакомцев. Теперь Великобритания — страна с растущей преступностью и, как следствие, четырьмя миллионами камерами слежения». В журнале «Prospect» (февраль, 2009) Блонд пишет: «Взгляните на общество, в которое мы превратились. Мы — биполярная нация; бюрократическое, централизованное государство, которое дисфункционально правит над всё более фрагментированным, обессиленным и разрозненным населением». В другом месте к этому он добавляет: «Государство всеобщего благосостояния и рыночное государство — теперь два вымирающих и поддерживающих друг друга провала». (Брукс 2010. 19 марта)

Может быть, наиболее важным сегодня мне представляется вопрос: а зачем в наше время России нужна такая концепция как «суверенная демократия»? Мне представляется, что власти были не удовлетворены теми определениями, которые давались сложившемуся в России в 2000-е годы режиму и которые, кстати, не совсем адекватно отражали его характер, как, например, «управляемой демократии» или «авторитарного режима».

Вспомним, что в 70-е годы прошлого века в целях вмешательства во внутренние дела других стран США придумали универсальную концепцию — обеспечение прав человека и демократических свобод повсюду в мире. Под этими лозунгами осуществлялось давление на входившие в советский блок страны Восточной Европы, на Советский Союз, на другие страны.

С учетом этого опыта в качестве идеологической и внешнеполитической контрконцепции можно рассматривать понятие «суверенная демократия», которое, на мой взгляд, может быть использовано такими странами, как Россия, Китай, некоторые страны СНГ, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, как противодействие вмешательству США.

Эта концепция может объяснить два очень важных процесса, через которые проходят перечисленные страны. В них идет

процесс формирования политических институтов и ценностей либеральной демократии. Но вышеназванные страны усваивают политические институты и ценности либеральной демократии исходя из собственных исторических традиций и особенностей. Они не хотят и даже при желании не могут перенести на свою национальную почву готовые политические институты и ценности из стран Запада, и особенно США. Механически перенесенные институты и ценности из одной страны в другую могут пустить корни после многолетних и настойчивых усилий, как это было в Германии и Японии, где находились союзнические войска, были союзнические деньги, продовольствие, инвестиции, которые создавали благоприятную почву. В противном случае происходит отторжение, как это многократно бывало, когда страны пытались на собственную почву механически переносить американские, британские или европейские конституционные модели, в которых идеально прописывались все демократические права и свободы, идеальные механизмы функционирования системы, но которые не имели никаких шансов пустить корни в этих странах и обеспечить эффективную работу сформированной таким образом политической системы.

Второй очень важный момент сводится к тому, что при «суверенной демократии» руководители этих стран сами определяют время, темпы и последовательность развития политических институтов и ценностей без искусственного подталкивания извне.

Конечно, для того чтобы позволить себе это, безоговорочным условием является государственный суверенитет. Если у страны нет реального государственного суверенитета, то она практически не сможет обезопасить себя от вмешательства внешних сил.

Термин «суверенная демократия» вызывает в России некую аллергию и неприятие у определенной части политиков и аналитиков в силу значительной степени политической ангажированности критиков этой концепции. Если они согласятся с тем, что эта концепция не отрицает базисных ценностей либеральной демократии, а предполагает выращивание их на собственной почве в течение определенного периода времени, тогда таким критикам невозможно будет заявлять о том, что Путин и Медведев являются душителями демократических прав и свобод и что они загоняют Россию в тупик.

А на Западе многие негативно относятся к концепции «суверенной демократии» по другой причине. Их меньше интересует проблема демократии, они больше озабочены тем, что Россия стремится восстановить суверенитет над своей внешней и внутренней политикой. В XX веке мало какие государства имели полный суверенитет при определении своей внутренней и внешней политики. Такими были лишь США, Советский Союз и в меньшей степени Китай. После развала Советского Союза стало очевидно, что слишком сильно изменился баланс сил в мире и доминирующая над миром держава США не стали рассматривать остальные страны как равноправных субъектов международных отношений. США скорее стали рассматривать мир как конгломерат государств с ограниченным суверенитетом, существующим под патронажем Америки. Очевидно, что после Второй мировой войны многие страны потеряли свой суверенитет. Достаточно посмотреть на Японию, которая имеет очень ограниченный контроль над собственной оборонной и внешней политикой. Это в значительной степени относится к Германии, Великобритании и целому ряду других государств. Страны Восточной Европы и многие новые государства на постсоветском пространстве также торопятся передать свой суверенитет и право решать важнейшие экономические, политические, военные вопросы из своих столиц в Брюссель и Вашингтон. Это также говорит о том, что мир сегодня, в условиях доминирования одной страны, стал гораздо более зависим от этого центра силы. А этот центр силы не терпит никакого равного себе суверенитета.

В этих условиях обретение субъектности России в международных отношениях и попытки превратиться в серьезный полюс мировой политики воспринимается как вызов Западу, как попытка восстановления империи с претензиями на доминирование над окружающими странами вне зависимости от того, какие реальные цели ставят перед Россией её нынешние руководители во внешней политике. Именно поэтому концепция «суверенной демократии» становится национальной идеологией и основой политики для всего российского политического класса, которая призвана обеспечить преемственность курса от Путина к Медведеву и дальше, с тем чтобы укрепить Российское государство.

В ходе проекта возникали вопросы, которые задавал участникам, и в первую очередь мне, Адам Пшеворский — интеллектуальный двигатель всего проекта. Мне приходилось отвечать на них, делать комментарии и отвечать на критические замечания других участников проекта.

По предложению А. Пшеворского, ответы на эти вопросы и критические замечания других участников проекта стали частью проекта и завершают мой раздел монографии. Этот раздел с некоторыми сокращениями войдет и в английскую версию, которая будет опубликована в “Cambridge University Press”.

Действительно ли демократия должна быть «управляемой», когда государство является слабым: логика этого довода не совсем очевидна? Является ли теория «суверенной демократии» «developmentalist», то есть сможет ли Россия двигаться в сторону либеральной демократии, когда государство станет достаточно сильным и суверенным?

Мне кажется, ответ на первый вопрос может быть только отрицательным, так как «управлять» процессом становления демократических институтов и ценностей может только сильное государство. Это вытекает из опыта и процесса демократизации советского режима Горбачевым, когда ослабленный радикальной политической реформой советский режим просто рухнул, не будучи в состоянии формировать ни рыночных структур в экономической сфере, ни работающих структур в гражданском обществе и государстве. Так было и при Ельцине, когда слабое государство 90-х привело не к «управлению» процессом становления демократии, а скорее к хаосу и олигархическому беспределу.

Ответ на второй вопрос еще более очевиден и вытекает из того, что говорят российские руководители и как я интерпретирую концепцию «суверенной демократии». Эта концепция конечно же *developmentalist*, российское руководство понимает, что есть некий идеальный тип демократии на Западе, который не лишен своих имманентных недостатков, однако этот тип обеспечивает наилучшие возможности для роста экономики, обеспечивает благополучие граждан, позволяет стране быть более конкурентоспособной на мировых рынках товаров, произведенных

в отраслях высоких технологий. Однако для того, чтобы Россия двигалась в этом направлении органично, а не из-под палки внешних сил, она должна быть реально суверенной страной, которая сама определяет направления развития собственной экономики, темпы экономических и политических преобразований и очередность их реализации.

Политическое руководство России, серьезные аналитики и общественные деятели не заблуждаются по поводу состояния демократии в России, они прекрасно осознают, что ей предстоит осуществить серьезные преобразования во всех сферах жизни, чтобы приблизиться к европейским и западным образцам развитой демократии. Из западных исследователей и аналитиков наиболее адекватную оценку постельцинскому российскому режиму дал бывший шеф бюро газеты «Файнаншл Таймс» Эндрю Джэк². Он отмечает, что Россия еще далека от западных образцов демократии, однако если учесть ее исходные позиции движения к демократии, то можно уверенно сказать, что страна добилась на этом пути огромных успехов. Таким образом, объективная оценка тому или иному режиму зависит от того, насколько оценка происходящих процессов рассматривается в историческом контексте и с учетом национальных особенностей страны.

Почему не формировалась соревновательная партийная система при Ельцине?

Короткий ответ на этот вопрос сводится к тому, что практически никто после распада Советского Союза и после указа Ельцина о прекращении деятельности КПСС в новой России не был заинтересован в формировании нормальной соревновательной партийной системы. Развал Советского Союза и запрет Компартии оказались настолько неожиданными, что не позволили демократической оппозиции формировать дееспособную институционально оформленную партию, которая конкурировала бы в обществе за голоса избирателей в борьбе с Коммунистической партией. Ельцин пришел к власти с помощью широкого движения «Демократическая Россия», которая была коалицией самых разнонаправленных социальных, этнических, политических сил, и в первую очередь — на основе негативного голосования

² Andrew Jack. Inside Putin's Russia. Granta Books, London, 2004.

против кандидатов от Компартии. Поэтому движение «Демократическая Россия» не смогла оформиться как реальная партия. В итоге, когда развалился Советский Союз и была запрещена Коммунистическая партия, единственной более или менее дееспособной партией с постоянными членами, охватывающими более полумиллиона человек по всей стране, оказалась Коммунистическая партия Российской Федерации. Так как до очередных президентских выборов было еще далеко, а Ельцин был избран президентом в 1991 году, то в первую очередь Ельцин не был заинтересован в формировании и реальном оформлении новой демократической партии. Он еще никак не мог забыть те унижения, которые он претерпел, будучи членом Коммунистической партии, когда его полоскали на пленумах, когда он униженно просил о реабилитации на XIX партийной конференции. Он был счастлив, что избавился от любой партийной опеки и оказался фактически абсолютно бесконтрольным и ни перед кем не отчитывающимся президентом. Такое положение его абсолютно устраивало, и он не имел никакого интереса изменить это положение. Компартия была деморализована, был суд над компартией, но, тем не менее, КПРФ жила, и в 1993, и особенно в 1995 годах добилась серьезных результатов на парламентских выборах. В течение всего периода правления Ельцина до выборов в Думу 1999 года коммунисты были серьезной политической силой как в стране, так и в парламенте. Однако исполнительная власть находилась в руках так называемых демократов и либералов-западников, которые проводили свою внутреннюю и внешнюю политику, опираясь не на партийную поддержку, а исключительно на административный ресурс. Государство в тот период могло себе это позволить, потому что хоть оно и было очень слабое, но общество было еще слабее. Страна находилась в состоянии полураспада, региональные власти делали все, что они хотели, на своих территориях. Они тоже не были заинтересованы в появлении дееспособных партийных структур, которые могли бы контролировать их действия в ходе приватизации государственной собственности. В процессе осуществления собственной власти они не хотели никаких для себя ограничений. Не было желания и со стороны олигархов иметь реальные партии, хотя некоторые олигархи, захватив средства массовой инфор-

мации и особенно общенациональные телевизионные каналы, превратили эти каналы в подобие политических партий. Они через эти каналы мобилизовывали общественное мнение по тому или иному вопросу, решали свои вопросы с правительством или другими группировками, выдвигали собственных кандидатов в президенты, создавали собственные группы экспертов и журналистов, которые обслуживали их интересы, пытаясь представить эти интересы как общенациональные.

В принципе, если чего и не хватало в российском обществе, то это реальной демократической партии, достаточно сильной, имеющей организационные и мобилизационные возможности, чтобы конкурировать с коммунистами. Как уже было сказано, так как в этом не нуждались ни Ельцин, ни олигархи, ни региональные лидеры, то такая партия и не формировалась. В 1993 году противостояние президентской власти с Верховным советом закончилось обстрелом Белого дома, после которого прошли выборы, и так как это были только парламентские выборы, то после них в сфере партстроительства ситуация существенно не изменилась. Ельцин не хотел появления сильной демократической партии, которая могла бы его поставить под контроль, поэтому на выборах 1993 года победила партия Жириновского, за ним шли «Демократический выбор России», коммунисты, Аграрная партия, «Женщины России». Собственно говоря, все эти партии сами по себе были слабы, чтобы реально формировать правительство и быть в состоянии контролировать деятельность исполнительной власти. Не говоря о том, что на этих же выборах прошел референдум новой конституции, которая наделила президента огромными полномочиями, практически выведя его из системы сдержек и противовесов и поставив институт президента над политической системой. Таким образом, у президента оказалось еще меньше интереса к формированию партии, через которую можно было бы управлять страной.

Только в 1996 году возникла проблема партии, которая нужна была бы Ельцину для сохранения своей власти и власти так называемых демократов. В 1995 году коммунисты победили на выборах и упрочили свое положение в парламенте, а вместе с Аграрной партией и движением «Народовластие» практически контролировали парламент. К этому времени популярность Ель-

цина была критически низка. Ожидалось, что на президентских выборах следующего года может победить кандидат от Коммунистической партии. Однако в 1996 году был мобилизован весь внутренний ресурс российской власти, административный финансовый и информационный, а также поддержка Запада для того, чтобы не допустить представителя коммунистов к власти. В 1996 году массовые фальсификации выборов и массовые нарушения избирательного законодательства обеспечили Ельцину победу на выборах. Вышедшие из недр КПСС лидеры новой России помнили, что, хотя КПСС лишь формально отчитывалось перед страной, но внутри высшего руководства Компартии была определенная система сдержек и противовесов, и принцип коллективного руководства не позволял, чтобы даже генеральный секретарь выходил за пределы определенным образом очерченных прав и полномочий. Только к концу правления Ельцина, накануне парламентских выборов 1999 года, после того как прошла основная часть приватизации, появился новый класс богатей и сверхбогатей, когда олигархи укрепили свои позиции, возникла потребность в укреплении государства, власти и законов для того, чтобы обеспечить права как на собственность, так и на власть того нового слоя, который возник в результате всех этих переделов и реформ 90-х годов.

В какой-то момент в 1999 году возникла реальная ситуация, при которой могла бы появиться система реальной конкуренции и реальной соревновательности в партийной системе. На парламентских выборах 1999 года образовались три реальные партийные группировки. Одна из них традиционно была КПРФ, вторая и третья представляли два крыла новой власти и новых богатых, которые оформились за время реформ ельцинского правления. Это блок «Отечество — вся Россия», состоящий из двух движений «Отечество» и «Вся Россия». Движение «Отечество» формировалось вокруг мэра Москвы Лужкова и бывшего премьер-министра Примакова. В движение «Вся Россия» входили губернаторы и президенты многих регионов России. Третья сила на выборах образовалась в лице движения «Единство», которое поддерживало действующего премьера Путина. В него также входили губернаторы и олигархи со своими административными, финансовыми и информационными ресурсами. Впервые в новой России возникла

накануне парламентских выборов ситуация, когда два образовавшихся блока были ориентированы на продолжение реформ, не хотели возврата назад, были против возвращения коммунистов к власти и при этом обладали финансовыми, административными и информационными ресурсами и могли бы на равных конкурировать друг с другом. Если бы к этому времени в России была бы культура горизонтальных политических отношений и договоренностей, компромисса и консенсуса, то, может быть, мы могли бы иметь сначала трехпартийную, а потом уже по мере маргинализации коммунистов и инкорпорации их в одну из этих новых партийных структур нормальную двухпартийную систему. Однако российская политическая культура — это игра с нулевой суммой, в которой отсутствует культура горизонтальных отношений, договоренностей, консенсуса и компромисса. Поэтому когда стало очевидным, что на президентских выборах может победить в качестве кандидата от партии «Единство» Путин, то был страх, что исполнительная власть, опираясь на партию «Единство», разрушит финансово-экономические и политические возможности членов блока «Отечество — Вся Россия». Поэтому руководство «Отечество — Вся Россия» уже к президентским выборам решила объединиться с «Единством», тем самым образовав единую партию власти, и поддержать кандидатуру Путина на выборах. В итоге произошло объединение двух крыльев партий власти, которые могли бы оформиться как самостоятельные партии. Таким образом, новый этап партстроительства закончился формированием фактической основы реальной партии власти со сосредоточением всего финансового, административного, информационного ресурса в одном центре с тем, чтобы действительно превратить эту партию в надежную опору власти. То есть в отличие от Ельцина, который не занимался партстроительством и не хотел вообще никаких партий, при Путине формировалась эта партия власти, но для этого нужно было, чтобы этим занималась сама Администрация президента, и сигналы шли с самого верха до низа по всей стране, надо было, чтобы в этом были задействованы региональные власти, чтобы этим занимались олигархи, используя свои финансовые и информационные ресурсы, а те, которые этому сопротивлялись, оказались бы изгнанными или маргинализированными. Таким образом, формировалась основа для того, чтобы подобная партия в

дальнейшем превратилась в доминирующую силу в политической системе.

Нельзя не сказать несколько слов о так называемой демократической оппозиции, которая образовалась в 90-е годы сначала в рамках партии «Яблоко», а потом, уже в начале 2000-х, остатки «Демократического выбора России» и другие правые силы образовали «Союз правых сил». В обществе был запрос на либеральную партию, которая защищала бы незыблемое право на собственность, индивидуальные права и свободы, требовала бы контроля общества над властью, осуществления принципа разделения властей, эффективности независимого суда и так далее. Однако, во-первых, эти партии не смогли стать массовыми в условиях серьезного экономического спада, хаоса и дикого передела собственности. В первых правительствах Ельцина были люди типа Гайдара и Чубайса, которые проводили радикальные реформы и позиционировали себя как либералы и демократы. Глубокий кризис, возникший в стране в результате реформ, ассоциировался с этими людьми и с их идеями. Именно поэтому идеи демократии и либерализма в России были надолго дискредитированы, так как результаты реформ оказались катастрофическими для страны и общества. Находясь в оппозиции, деятели правых партий и движений, будучи безумно амбициозными и честолюбивыми, не были готовы к сотрудничеству и объединению друг с другом, что также оказалось одной из серьезных причин отсутствия на правом фланге демократической оппозиции, которая могла бы быть полезной для политической системы в качестве оппонента действующей власти, имеющей внутри общества поддержку и сочувствие наиболее образованных и продвинутых сил и пользовавшейся поддержкой западных политических кругов и общественности. Увы, эти партии как были, так и остались «диванными» и не смогли превратиться в реальную политическую силу. Многие либералы просто вошли в состав «Единой России» и в ее рамках составляют ядро правого крыла, представляя внутри этой партии либерально-демократические ценности.

Какое влияние оказали цветные революции в Грузии, на Украине на российский внутривнутриполитический процесс?

Как я уже писал в своем основном тексте, на самом деле цветные революции не оказали никакого влияния на формирование

концепции суверенной демократии, но имели определенное влияние на другие решения российских властей. В первую очередь это было связано с тем, что как во время грузинской, так и украинской революций стало очевидным, что когда оппозиция мобилизует своих сторонников в процессе выборов и имеет возможность захватить все пространство вокруг правительственных зданий и держать институты власти в заложниках, то в таком случае, каким бы не был реальный результат этих выборов, президентских или парламентских, очень трудно действующим властям, даже если они победили, реализовать эту победу. Потому что оппозиция в таком случае не готова принять никакой иной результат этих выборов, кроме как собственную победу, как это было в случае как с грузинской, так и украинской революций. Особенно если эти революции как политически, так и информационно поддерживаются со стороны Вашингтона и Брюсселя. Возможно, что на этих выборах со стороны властей были массовые нарушения, возможно, что оппозиция в этих двух странах на самом деле победила. Но если предположить, что как в Грузии, так и в Украине победили провластные партии и кандидаты, то для того, чтобы как-то реализовать эту победу, властям потребовалось бы широкомасштабное применение силы против мобилизованной оппозицией массы населения, которая захватила правительственные здания, центральные площади и парализовала действия властей. В таких условиях, как правило, силовые структуры объявляют о своем нейтралитете, а это фактически означает, что кто контролирует улицу, тот контролирует и власть.

Аналогичный процесс происходил и на президентских выборах в Армении. Однако армянская элита оказалась менее раздробленна, власть оказалась более консолидирована, она прибегла к силе. В результате кандидат от партии власти победил, но среди оппозиционеров оказались убитые и раненные в результате их столкновений с полицией. Как правило, если действующие власти хотят добиться сохранения власти и победы в результате выборов в новых демократиях, им следует быть готовыми на случай развития ситуации по грузинскому и украинскому сценарию.

Чтобы быть готовыми адекватно ответить на подобные уличные акции со стороны оппозиции, если они вдруг возникнут,

российские власти решили усилить свои мобилизационные возможности. С одной стороны, Кремль решил ускорить процесс партстроительства, Вовлекая губернаторов, олигархов, интеллектуалов, журналистов — людей, которые формируют общественное мнение, — в партию «Единая Россия» хотел усилить ее мобилизационные возможности. С другой стороны, исходя из опыта массовых выступлений со стороны оппозиции российские власти предприняли усилие по созданию молодежных движений, которые могли бы быть мобилизованы, в случае если оппозиция попытается захватить улицы. Как явствует опыт успешных цветных революций, кто контролирует улицу, тот контролирует власть. В результате был создан целый ряд молодежных организаций, поддерживающих действующую власть, таких как «Наши», «Молодая гвардия», «Движение в поддержку президента Путина» и ряд других. Таким образом, если на самом деле цветные революции не оказали никакого влияния на формирование концепции суверенной демократии, о чем по недоразумению писали некоторые аналитики как у нас в стране, так и на Западе, то их очевидное влияние было в том, что в России были созданы мобилизационные возможности для возможной борьбы с оппозицией на улицах, с тем чтобы не допустить, чтобы в ходе выборов институты власти были парализованы и чтобы действующая власть, если она честным путем одержала победу, могла бы реализовать собственную победу.

Насколько правомерна параллель, которую проводит Валерий Соловей в своем разделе данной книги между идеей Графа Уварова, сформированной в период правления Николая I в XIX веке, «Самодержавие, Православие, Народность» с современной концепцией суверенной демократии?

Мне представляется, что при всей соблазнительности провести такие параллели и попытаться показать, что обе эти идеологические конструкции являются однопорядковыми, на самом деле между ними пропасть, разделяемая несколькими историческими эпохами. Видимо, Соловей оказался в плену красивой схемы и поэтому не увидел качественную разницу между этими двумя несопоставимыми эпохами в истории России, в которых эти концепции формировались. В действительности при Николае I царская Россия была во всех смыслах другой страной, качест-

венно отличающейся как в институциональном, так и ценностном плане от Западной Европы. Если к этому времени в Англии уже несколько столетий формировались институты и ценности либеральной демократии, если Франция прошла через несколько буржуазных революций и утвердила новые принципы индивидуальных прав и свобод, священное право частной собственности и целый ряд других, то в царской России эпохи Николая I доминировали феодальные порядки, местами напоминающие даже рабовладельческие. В неизменном виде функционировало крепостничество, аристократия доминировала в политической и экономической жизни, новые классы буржуазии и мелких городских собственников проявляли определенную активность в экономической сфере, но политически были практически бесправны, церковь и государство были неразделимы, а формула «Содержание, Православие и Народность» имела своей главной целью показать единство в России индивида, общества и государства, утвердить то мнение, что Российское государство и общество в экономическом, политическом и духовном отношении представляют собой некое неделимое единство, воплощенное в идее соборности, в рамках которой живет и функционирует это нерасторжимое единство. В таком качестве Россия, согласно идеологам этой концепции, представляла собой альтернативу как нечто качественно другое, противостоящее бездуховному, безбожному, материалистическому Западу.

В современных условиях концепция суверенной демократии преследует прямо противоположные цели, показать: что Россия находится на пути модернизации и движется в сторону формирования либерально-демократических институтов и ценностей, она ни в коем случае не рассматривает себя в качестве альтернативы Западу и пытается освоить, интегрировать эту либерально-демократическую модель. Единственное, что российские власти подчеркивают при этом, что они хотят все делать сами, двигаться в этом направлении по мере собственного понимания времени и последовательности шагов и не быть под постоянным давлением со стороны Запада, который мог бы указать им, когда, куда и какими темпами двигаться. Но это качественно иная ситуация. Сегодня ни одна серьезная политическая сила не ставит под сомнение индивидуальные права и свободы человека,

принцип разделения властей, необходимость контроля общества над государством, важность развития институтов гражданского общества, интеграция России в мир в качестве равноправного члена цивилизованного сообщества. Вот почему мне кажется, что при всей соблазнительности провести красивые параллели попытка, предпринятая Соловьевом, не выдерживает никакой серьезной критики.

Если даже верно, что государство должно быть сильным, чтобы возникла демократия, можно ли создавать демократию сверху? Когда государство окажется достаточно сильным и когда власть реально сочтет, что уже созрели условия для перехода к соревновательным выборам? Почему не сейчас? Почему люди, которые монополизировали политическую власть, могут сделать ее открытой для конкуренции? Вы цитируете Суркова, но почему мы должны верить, что он говорит правду?

В литературе о демократии достаточно хорошо отработан вопрос о том, каким образом в недемократических обществах возникает демократия. В Англии и странах северо-западной Европы процесс становления демократии исторически, как показывает О'Доннелл, также проходил в два этапа. Сначала возникает *civil citizenship*, за которым в результате либо революции, либо договоров между элитными группами осуществляется переход к политическому гражданству с вовлечением всех в политический процесс, обеспечением для основных участников политического процесса, которые объединяются в политические партии, возможности конкурентного соревновательного процесса на выборах. В новых демократиях, которые приходят на смену авторитарным режимам, этот процесс также проходит в два этапа. Сначала возникают и развиваются институты гражданского общества, сглаживаются острые конфликты между радикалами слева и справа, в результате успехов авторитарной власти в сфере решения социально-экономических проблем, формируется умеренно левый и правый центр, складывается культура горизонтальных отношений, культура разрешения конфликтов через компромисс и взаимные уступки, через законом определенные процедуры и институциональные механизмы разрешения этих конфликтов, после чего осуществляется радикальный разрыв с

авторитаризмом и общество движется в сторону консолидированной демократии. Это происходит или через договор, как это было в Испании или в Польше, или в результате острого национального кризиса, как это было в Греции с черными полковниками. Это может произойти в виде масштабной или локальной революции или переворота, как это было в Португалии, после которого более или менее подготовленная политическая система пытается уже функционировать без опеки авторитарной власти. Как отмечал Маркс, в рамках феодализма созревали основы капиталистического строя в экономике, но, мне кажется, там же созревали и основы демократической политической системы. Революции только убирали то лишнее, которое как в экономике, так и политической сфере, как отмечает Токвиль, уже давно перестали играть существенную, функциональную роль в жизни общества. Вот почему для всех стало удивительным, с какой легкостью новые власти после революции во Франции отбросили все громоздкие, но уже мертвые декорации старого режима. Таким образом, в новых демократиях сначала идет процесс формирования основ демократии в недрах авторитарного режима, а затем уже количественные изменения в какой-то момент приводят к качественному изменению политического режима.

1. В Российских условиях для начала этого процесса чрезвычайно важно иметь сильное государство, потому что, как я уже отмечал раньше, ссылаясь на Чарльза Тили, при наличии сильного государства легко начать этот процесс сверху. С другой стороны сильное государство может стать и тормозом для продвижения страны в сторону демократии, если не создаются и не укрепляются независимые от государства институты гражданского общества снизу, которые институционально оформляются, которые получают возможность формировать собственные ассоциации, формировать политические партии и соревноваться друг с другом за политическую власть. На самом деле сильная власть и сильное государство необходимы для запуска этого процесса и в течение всего процесса до того, как новые, неконтролируемые со стороны государства силы в рамках законом определенных правил обретут навыки взаимодействия как друг с другом, так и с государством, не разрушая его и не допуская возможного возникновения хаоса и неуправляемости. Это требует просве-

щенной элиты и определенного согласия в элитных группах о необходимости осуществляемых изменений. Так было в российской истории при Александре II. Не случайно, именно в период его правления были проведены наиболее успешные реформы во всех сферах жизни общества без серьезных социальных конфликтов и катаклизмов. Как правило, демократические реформы становятся результатом сильнейших национальных кризисов.

В частности, для России первая волна демократизации с отменой крепостничества стала результатом поражения России в Крымской войне в середине XIX века. Вторая волна демократизации — результат поражения в Русско-японской войне уже в начале XX века. Стивен Холмс в своих комментариях к тексту Адама Пшеворского, ссылаясь на утверждение Закарии «государство вначале — демократия потом», считает, что это сомнительный тезис, который требует дальнейшего обсуждения. Соглашаясь с ним, что это требует обсуждения, не могу не высказать своего удивления, что об этом пишет Холмс, который сам неоднократно писал об особой роли государства, отмечая, что, если нет государства, нет и права, если нет сильного государства, нет и никакой защищенности индивида, что если нет государства, то мы получаем хаос. Понятно, что в данном случае государство является первичным просто потому, что, когда нет государства, тогда вообще ничего нет. В российской истории дважды при осуществлении процесса демократизации рухнуло государство, и в обоих случаях вместо демократии сначала возник хаос, а затем в первом случае из этого хаоса вышел советский тоталитаризм, а из ельцинского хаоса с приватизацией государства вышел путинский режим суверенной демократии.

Мне кажется, что в российских условиях государство, когда начинает процесс демократизации, оно, к сожалению, как это было во всех предыдущих случаях, теряет контроль над этими процессами и все завершается крахом и контролем разных корыстных интересов над обществом до тех пор, пока из этого хаотического конфликта корыстных интересов не возникает снова мощная государственная структура, которая под себя подминает всех остальных. Так было с крахом царской России, так было с перестройкой и реформами Горбачева, так было с Ельциным в 90-е годы. В нынешних условиях перед российской властью сто-

ит чрезвычайно сложная задача — добиться того, чтобы, с одной стороны, способствовать формированию институтов гражданского общества, чтобы формировалась реальная многопартийная система, чтобы сложилась новая культура горизонтальных отношений. Но, с другой стороны, чтобы сложился определенный баланс в отношениях между государством и обществом и не было бы того, что происходило в царской России накануне революции 1917 года, при Горбачеве и при Ельцине, когда ослабление государства приводило к резкому усилению других акторов, которые потом ставили государство под собственный контроль. Не под контроль общества, а именно под контроль ограниченного числа корыстных интересов.

2. Трудно однозначно ответить на вопрос, когда государство достаточно сильно, чтобы допустить свободную конкурентную борьбу между политическими партиями. Если согласиться с тем, что переход к консолидированной демократии это довольно длительный процесс, то это зависит от того, насколько накоплен демократический потенциал, который может придать новое качество существующему режиму. Но для этого необходимо, чтобы для элитных групп было не столь важным побеждает ли «Единая Россия» или «Справедливая Россия», которая сейчас формируется как левая альтернатива консервативной партии «Единая Россия», так как от этого не будет меняться суть ни политической, ни социальной системы, а просто часть элиты получит больше возможностей пользоваться ресурсами государства, а другая часть — будет ожидать своей очереди, чтобы потом иметь возможность, придя к власти, так же воспользоваться этими ресурсами.

Невозможно точно предсказать, когда это время наступит, но однозначно можно сказать, какие предпосылки должны иметься в наличии. Когда эти объективные условия имеются в наличии, необходим и субъективный фактор, чтобы осуществить этот качественный сдвиг. Начало этого сдвига может быть или договор элит, осознающих, что для этого назрели условия, или очень серьезный национальный кризис, в результате которого действующая власть уступает место уже оформившейся оппозиции, которая является системной, то есть ее приход к власти не сопровождается большими потрясениями и революцией. Я тут

согласен со Стивом Холмсом, что история человечества — это не история классово́й борьбы, а история борьбы элит. В данном случае мне кажется интересным первое в политической литературе наблюдение по этому вопросу, сделанное Платоном, который говорил, что никогда нижние классы не побеждают верхних, если сам этот верхний класс внутри себя не расколот. Только после того, как в элите возникает раскол и одна часть элиты борется против другой, только тогда они подключают массы к этой борьбе и только тогда массы обретают определенное значение и роль в этой политической борьбе. Увы, в российских условиях все те периоды, в которых происходили процессы модернизации, они, как правило, заканчивались в одном случае убийством царя, который осуществлял этот процесс демократизации, и наступлением реакции. В тот период государство не ломалось и было достаточно сильным для того, чтобы выдержать этот удар, а в трех других случаях этот процесс заканчивался крахом государства. В двух случаях (царская Россия и коммунистическая СССР) государство было ликвидировано, а в третьем случае при Ельцине в 90-е годы государство было приватизировано новообразовавшимся классом богатых олигархов, которые практически подчинили его своим интересам, после чего в 2000-е годы при правлении Путина государству приходилось с большим трудом восстанавливать свою субъектность.

3. Хосе Мария Мараваль и Джон Данн в своих разделах в этой книге отмечают, что президент Медведев определяет российскую политическую систему как демократию. И если Данн не имеет никаких проблем с этим определением, то Хосе Мария отрицательно к нему относится и рассматривает российский режим как псевдодемократию. Стивен Холмс в этой же книге характеризует российский политический режим как «не демократия и не авторитаризм».

По моему мнению, определение президента Медведева понятия «демократия» более адекватное, более объясняющее, чем у Маравалья или Холмса. В своей речи на ярославском форуме 2010 года президент Медведев сказал: «Демократия в прикладном плане способна избавить от унижений и бедности миллионы людей и в нашей стране, и миллиарды людей в мире... Демократическая общность ценностей объединяет страны... Я катего-

рически не согласен с теми, кто утверждает, что в России нет демократии, что в ней господствуют авторитарные традиции. Это не так — Россия, вне всякого сомнения, является демократией. В России есть демократия. *Да, она молодая, незрелая, несовершенная, неопытная, но это все-таки демократия»* (курсив мой — А.М.).

Не только президент, но и подавляющее большинство политологов не говорят о том, что России нужна какая-то особая форма демократии. Они понимают под демократией определенную систему институтов и ценностей, функционирующую на Западе, которую Россия начинает развивать у себя, рассматривая эту модель как цель, которую надо достичь.

4. Мне хотелось бы прокомментировать два вопроса, поднятые Хосе Марией Маравалем и Джоном Ферджоном в этой книге относительно моей статьи. Они отмечают, что я пропустил очень важный аспект, объясняя особенности российской политической системы — подотчетность. Подотчетность или контроль общества над властью является очень важной характеристикой политического режима. Но я пропустил это, не потому что я не знаю, что само государство является проблемой. Отцы-основатели США пытались ограничить его власть и поэтому приняли систему разделения властей с механизмом сдержек и противовесов для того, чтобы предотвратить произвол государственной власти. Однако я пишу, исходя из российских реалий. Если у вас есть конституция, в которой нет системы разделения властей и механизма сдержек и противовесов, а президент находится над политической системой, вы не можете всерьез говорить о подотчетности. С другой стороны, нельзя обеспечить подотчетность, если нет хорошо развитого гражданского общества. Подотчетность возникает тогда, когда политические ресурсы государства и общества более или менее равны, где общество имеет достаточно ресурсов для контроля над государством. Если нет хорошо развитой партийной системы и многих других элементов — как тогда говорить о подотчетности? Это непродуктивная трата времени. Понимая необходимость подотчетности, роли разделения властей, механизма сдержек и противовесов, я говорю о процессе, когда государство под просвещенным руководством создает конкурентоспособную партийную систему, после чего, изме-

нив конституцию, мы можем иметь сначала систему разделения властей с механизмом сдержек и противовесов, а затем лишь подотчетность государства перед обществом.

5. В этой книге Стивен Холмс утверждает, что режим Путина не имеет качественной разницы с режимом Ельцина, а скорее является его продолжением, так как и режим Ельцина, и режим Путина «неподотчетны» перед обществом. По этой же логике можно сказать, что не было качественной разницы между царской и коммунистической властью, так же как между коммунистическим режимом и режимом Ельцина и Путина, так как при всех этих режимах власти были «неподотчетны» обществу. Тем не менее любой человек, знающий политическую историю России, знает, что царский режим имел качественные отличия от коммунистического, а коммунистический, в свою очередь, от режима Ельцина, и режим Ельцина от режима Путина. Более подробно о качественных различиях между режимами Ельцина и Путина можно прочесть в моей статье «Что такое Путинизм?», опубликованной в № 3 2004 г. журнала «Стратегия России».

Хотя я согласен, что неподотчетность присутствовала в обоих случаях, но в первом случае, при Ельцине, не было государства, чтобы быть подотчетным перед обществом, а во втором случае, при Путине, еще не сформировалось гражданское общество, перед которым государство было бы подотчетным.

6. Сегодня мы видим в России новый этап движения в сторону демократии. Серьезные исследователи не могут доверять высказываниям руководителей тех или иных режимов, которые говорят, что они ведут свои страны в сторону демократии, защиты прав человека и формированию конкурирующей партийной системы. Это должно быть доказано в определенных действиях этих властей. Мне кажется, некоторые действия российских властей в этом направлении я отметил уже в основном разделе моего текста. Можно отметить еще несколько мер, предпринятых уже после ухода Путина с поста президента. Для того чтобы преодолеть растущее отчуждение общества от власти, уже при президенте Медведеве были предприняты целые серии шагов по вовлечению в политический процесс тех партий, которые не прошли в парламент. Во-первых, на уровне регионов для тех партий, которые не добивают один-два процента голосов для прохождения

в местный парламент, им дается возможность иметь одного или двух депутатов в местном парламенте с правом формирования фракций для того, чтобы они могли донести свои идеи, подходы к решению тех или иных вопросов. Предполагается понижение порога на выборах в Государственную Думу и предоставление таких же возможностей партиям, не преодолевшим барьер на общенациональных выборах. Уменьшается необходимая численность членов партий для того, чтобы они могли быть зарегистрированы как общенациональные партии, восстанавливается старая система прямых выборов губернаторов, принят закон о равном доступе как правящих, так и оппозиционных партий к средствам массовой информации, предоставляется возможность один раз в год непарламентским партиям обратиться с трибуны Госдумы как к парламенту, так и к стране. Конечно, можно сказать, что эти меры являются недостаточными. Они качественно не меняют природу режима, где власть в основном сосредоточена в одном центре. Да, это все недостаточно, но российские власти, идя по этому пути, пытаются формировать новую культуру горизонтальных отношений с тем, чтобы потом дать возможность образовавшимся партиям или партийным коалициям бороться за власть, чтобы политическая борьба не свелась к очередной игре с нулевой суммой, чтобы между государством и обществом сложились реальные партнерские отношения, которые пришли бы на смену традиционным для России отношениям господства и подчинения.

7. Чрезвычайно важным является вопрос — почему люди, которые монополизировали власть и пользуются основными рычагами финансового, информационного и административного воздействия, должны создавать эту конкурентную среду. Если предположить, что российская элита абсолютно враждебна к обществу и даже враждебна к самой себе, то, конечно, можно сказать, что она не должна этого делать. Но сегодня не только профессиональные политологи, но и политики понимают, что выборы, соревновательная партийная система и демократия нужны для того, чтобы накопившееся недовольство в обществе не вылилось бы в революцию или убийства держателей верховной власти, как это происходило в Риме, как нас учит Холмс, и во многих других системах, когда отчуждение общества в усло-

виях кризиса приводит к тому, что власть оказывается незащищенной со всех сторон и становится жертвой террора. Поэтому любая элита путем определенных уступок и вовлечения более или менее значительных институционально оформившихся интересов общества в легальный политический процесс пытается их приручить и создавать некую опору для себя, обеспечивая стабильность режима. Этот процесс довольно длительный. Применительно к политической системе США это хорошо описано у Джеймса Шлезинджера в его ритмах демократизации американской политической системы. Ну и конечно, этот процесс требует достаточного времени и готовности конструктивного взаимодействия элитных групп. Но, как правило, для России никогда не хватало ни этого времени, ни конструктивного взаимодействия элит. Навалившиеся друг на друга социально-экономические, межэтнические, политические кризисы приводили к тому, что этот процесс всегда приостанавливался и страна оказывалась отброшенной далеко назад. Еще одной, может быть, еще более важной причиной, которая заставляет российские элиты всерьез взяться за модернизацию экономической и политической системы, являются внешние вызовы. Если ты неэффективен и плохо развиваешься, но владеешь большими ресурсами и территорией, ты всегда можешь стать добычей внешних сил. А также при невозможности закрыть общество от информационных потоков извне, это общество всегда сравнивает себя и свои условия жизни с внешними — другими странами, что приводит к делигитимации существующих институциональной и ценностной систем, если они являются неконкурентными по отношению к внешним моделям, которые более успешно функционируют в этом конкурентном мире. Именно эти внешние вызовы всегда были причиной российских модернизаций и движения в сторону демократии начиная с петровских реформ, потому что уже тогда была угроза колонизации России со стороны западных держав. Это было необходимым условием реформы Александра II после поражения в Крымской войне, когда стало очевидным серьезное отставание России от Запада. Это было причиной реформ в начале XX века до Первой мировой войны из-за поражения в Русско-японской войне. Это было причиной реформ Горбачева, когда стало очевидным, что существующая модель не может обеспечить

должный уровень жизни для общества и ответить на внешние военные и технологические вызовы Запада. Для того чтобы России в этом новом, динамично развивающемся мире сохранить свои конкурентные позиции и контроль над своей территорией и ресурсами, придется уже бороться не только со странами Запада, которые были традиционно более развиты и продвинуты. Сегодня складывается ситуация в мире, когда такими же или еще более динамично развивающимися стали Китай на Дальнем Востоке, Индия и целый ряд других государств, которые бросают вызов России. Для России модернизация социально-экономической и политической систем является экзистенциальной проблемой. Конечно, во многом ответ России на эти вызовы зависит от того, насколько адекватно понимает это российская элита. Но, судя потому, что говорят и пишут сегодня в России и как действуют российские власти, растет во всех слоях общества понимание того, что без демократизации, без создания конкурентной среды, без искоренения коррупции, без обеспечения права собственности, без гарантии личных прав и свобод нельзя адекватно ответить на эти вызовы. Это понимание стало общим местом как для президента, так и для последнего уборщика улиц. В России, однако, вопрос упирается не в то, что делать, а в то, как это делать, и хватит ли у российских политических лидеров терпения, настойчивости и, самое главное, времени.

Библиография:

1. Brooks David. The Broken Society // New York Times Op-ed, 2010. March 19.
2. Weber Max. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology (2 volume set). Berkley and Los Angeles, CA: University of California Press, 1978.
3. Diamond Larry. The Spirit of Democracy. New York: Times Books/Henry Holt and Company, 2008.
4. Dahl Robert. On Democracy. New Haven and London: Yale University Press, 2000.
5. Dunn John. Democracy and its Discontents. The National Interest. March/April 2010.
6. Hassner Pierre. Russia's Transition to Autocracy, *Journal of Democracy*. April 2008.
7. Jack Andrew. Inside Putin's Russia. London: Granta Books, 2004.
8. Kampfner John. Freedom for Sale. New York: Basic Books, 2010.
9. Krastev Ivan. Russia and the European Order, Sovereign Democracy Explained. The American Interest. 2008. Nov/Dec.
10. Мигранян Андраник. Переход от тоталитарно-авторитарных режимов к демократии. // *Век XX и мир*. 1988. № 12.
11. Мигранян Андраник. 1988. Механизм торможения в политической системе и пути его преодоления. *Иного не дано*.
12. Мигранян Андраник. Долгая дорога к европейскому дому. // *Новый мир*. 1989. № 7.
13. Мигранян Андраник. Нужна железная рука? // *Литературная газета*. 1989. 16 августа.
14. Мигранян Андраник. Россия в поисках идентичности. // *Международные отношения*. 1997.
15. Мигранян Андраник. Нищета Лидерства. // *Политический класс*. 2005. № 9.
16. Мигранян Андраник. Век Империи Прошёл? Почему перестройка закончилась распадом страны. // *Стратегия России*. 2005. № 4.
17. Мигранян Андраник. Что такое путинизм? // *Стратегия России*. 2004. № 3 (Март).
18. Мигранян Андраник. Приемником Путина будет сам Путин. // *Известия*. 2006. 9 октября.
19. O'Donnell G. Delegative Democracy. // *Journal of Democracy*, 1994. Vol. 5. № 1.

20. O'Donnell G. Democratic Theory and Comparative Politics // Dissonances. Democratic Critiques of Democracy: Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 2007.

21. Przeworski Adam. Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P.10.

22. Przeworski, Alvarez, Cheibub and Limongy. What Makes Democracies Endure? // Journal of Democracy. 1996. Vol. 7. № 1.

23. Przeworski A, Alvarez M.E., Cherbub J.A. and Limongi F. Democracy and Development. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

24. Przeworski Adam. 2003. Why Do Political Parties Obey Results of Elections? Democracy and the Rule of Law edited by A. Przeworski, J.M. Maravall, Cambridge: Cambridge University Press.

25. Сурков, Владислав. Суверенитет — это политический синоним конкурентоспособности // *Про суверенную демократию*. М.: Европа, 2007.

26. Tilly Charles. Democracy. Cambridge : Cambridge University Press, 2007.

27. Talbott S. The Russia Hand. A Memoir of Presidential Diplomacy. New York : Random House, 2002.

28. Holmes S. Passions and Constraints: on the Liberal Theory of Democracy. Chicago: University of Chicago Press, 1995.

29. Hofstadter Richard. The Idea of a Party System. The Rise of Legitimate Opposition in the United States, 1780–1840. Berkeley: University of California Press, 1969.

30. Shapiro I. The State of Democratic Theory. Princeton: Princeton University Press, 2003. P.149

Глава 2. Имитация демократии и имитация авторитаризма

Вступление

Среди наиболее авторитетных российских политологов, включая авторов данной книги, развернулась острейшая дискуссия по вопросу стабильности существующего в стране политического режима, что делает имидж России, и так не отличающийся четкостью, еще более неопределенным и туманным. Некоторые из них, отмечая противостояние группы олигархов, стоящих за Медведевым, и группы силовиков, стоящих за Путиным, говорят, используя известную метафору Черчилля, о борьбе бульдогов под ковром. Скорее всего это слишком сильное упрощение, но оно, тем не менее, отражает отчаянные попытки объяснения сути такой обескураживающей ситуации. На деле это лишь догадки, и мало кто из этих политологов может выдвинуть аргументированные гипотезы из множества мнений и домыслов. И если диагноз, поставленный на базе самой достоверной и доступной информации, является таким неточным и неопределенным, то неудивительно, что не существует серьезных оснований для обобщения всего политического комплекса лечебных средств.

Когда иностранные исследователи стремятся понять появившиеся в России новые общественные тенденции, почти неуловимые и к тому же с печатью дворцовых интриг, то они обнаруживают абсолютно необоснованный налет секретности. Эта тенденция, усиливающая вышеупомянутую неопределенность, проистекает из сорокапятилетнего периода вынужденного противостояния в период холодной войны и тем самым обуславливает и провоцирует рассмотрение всех существующих конфликтов через призму полюсов

«демократия или авторитаризм». Такая упрощенная дихотомия демонстрирует извечное американское желание провести четкие границы между добродетелью и пороком. Подобное желание едва ли можно считать серьезным недостатком; тем не менее представляется важным отметить, что при исследовании, скажем, конфликтов внутри российского правительства вокруг политики в отношении миллиардеров или чеченских сепаратистов не стоит слишком идеализировать одну сторону и демонизировать другую.

Прокрустова дихотомия

Проблема противопоставления демократии и авторитаризма характеризуется определенной двойственностью: во-первых, в ситуации распада авторитарной системы естественным образом «по умолчанию» возникнет демократия; во-вторых, если попытки установить демократию оказываются неудачными, то ношу ответственности за это должны нести авторитарные силы. И хотя данные предположения редко артикулируются с достаточной четкостью, такие интуитивные выводы о причинно-следственной связи мешают пониманию как самого процесса развития демократии, так и причины его провалов, в том числе и в сегодняшней России.

Если исходить из понимания весьма ограниченного места демократии в истории человечества, то попытки исследования процессов ее развития окажутся куда более плодотворными. Данное политическое устройство устанавливалось так редко в историческом ракурсе, что для его возникновения и сохранения должны были появиться совершенно необычные предпосылки. Все становится очевидным, если мы определяем демократию как систему, где в результате честных выборов хорошо организованная правящая партия (или коалиция) со значительной поддержкой избирателей может проиграть другой хорошо организованной оппозиционной партии, также способной управлять страной, и после подсчета голосов добровольно передает ей власть¹.

¹ Это определение демократии приобрело конкретные формы на вертолете, в котором экс-президент Джордж Буш улетел после инаугурации Барака Обамы в январе 2009 года. Чудо демократии в том, что передача власти от одной партии другой, зависит от голосов избирателей и может произойти, даже если стороны являются враждебными друг к другу и ставки высоки. — Прим. авт.

Как правило, всё так и происходит, когда проигравшие уверены в том, что они не будут подвергаться преследованиям, а их экономическим интересам не будет нанесен ущерб. Кроме того, они должны быть уверены в том, что они получают возможность участвовать в следующих выборах, назначенных через несколько лет. Другими словами, главное, чтобы у выбывших из игры сформировалось ощущение, что они, если и проиграли, то всё же не слишком. Смена власти в результате выборов (а в этом и есть смысл демократии) предполагает «мягкую посадку» для проигравших. Но для капитулировавших «всадников от власти», лишившихся её «шпор и поводьев», обеспечение физической безопасности и правового иммунитета не бывает мгновенным. Уходящие представители власти за время правления неизбежно наживают врагов, поэтому их защита требует определённой политической согласованности, что, как показывает история, является эволюционным достижением, а не данностью. Если социально-политическая организация общества ещё не достигла такого уровня, при котором созданы условия безопасности для «бывших», все, даже самые искренние, попытки проведения демократизации в стране окажутся тщетными и бесплодными.

Поэтому нет никаких оснований рассчитывать, что динамичная демократия, при которой конкурирующие политические силы сменяют друг друга во власти, сформируется сразу же после ослабления репрессивной системы, как «тост выскакивает из тостера». Отсутствие препятствий не тождественно наличию предпосылок, и ослабление авторитарных ограничений может служить необходимым, но явно недостаточным условием для развития и сохранения демократии.

Безусловно, данные выводы, хотя очевидны и понятны до банальности, не определяют точку отсчета большинства исследований посткоммунистической России. Напротив, даже российские политологи, классифицирующие систему Путина как «полу-авторитарный» или «гибридный» режим, имплицитно следуют иллюзорной дихотомии демократия — авторитаризм в качестве подходящей теоретической рамки для определения пункта, в котором «застряла» Россия, следуя по естественной и желательной траектории развития от авторитаризма к демократии. Тех же взглядов придерживаются и политологи, анализировавшие

«суверенную демократию» (напр., А. Мигранян в данной книге): они являются рьяными сторонниками нынешних российских политических лидеров, представляя их как авторитарических модернизаторов, временно прибегших к стратегии «Разделяй и властвуй» с целью превратить Россию в такое успешно консолидированное государство, где, наконец, впервые будет возможна истинная демократия.

На Западе специалисты подвергают Россию, безусловно, более критическому и строгому анализу, но и они являются заложниками концепции политической траектории с двумя полюсами — демократия и авторитаризм. Правда, они расходятся в том, почему же путинская Россия не смогла прорасти те зерна демократии, которые так очевидно были засеяны в 1990-е годы. Критики Путина, о которых я знаю, условно делятся на волюнтаристов и фаталистов. Волюнтаристы полагают, что Путин и его окружение, пришедшие к власти случайно, подавили оппозиционное ТВ, превратили Думу в предприятие, штампующее законы, ликвидировали выборы губернаторов и пр. По их мнению, новые правящие круги, пришедшие к власти после 2000 года и набранные в основном из силового сектора государственного чиновничества, обладая соответствующими навыками и инстинктами автократии, в зародыше задушили российскую демократию. Они уверены: это политическое «детоубийство» было бы невозможно, если бы Ельцин выбрал другого преемника — практически любого без путинских тенденций и возможностей подбирать лояльные кадры из рядов силовиков.

У фаталистов совершенно иной взгляд на вещи. Они считают, что личность Путина ни при чем — российская авторитарическая ДНК неизбежно должна была бы проявить себя после слабых попыток демократизации в 1990-х годах (Hedlund, 2005). Они вполне справедливо отмечают, что российские «демократы» (Немцов, Явлинский) никогда не смогли завоевать массовую поддержку избирателей не только потому, что система была фальшивой, что действительно имело место, а потому, что они сами не имели идеологической и эмоциональной связи с электоратом. Фаталисты также подчеркивают, что, по крайней мере, по сегодняшний день сам Путин пользуется колоссальной и, по-видимому, истинной популярностью. Если он уничтожил полити-

ческий плюрализм в обществе, то сделал это при значительной общественной поддержке. Популярность Путина внутри России с точки зрения культурного детерминизма была обеспечена теми его действиями, которые на Западе вызывают шквал критики, в частности продолжающееся заключение Ходорковского², война в Грузии 2008 г.

Стоит отметить, что апологеты Путина в не меньшей степени, чем и его критики находятся в плену противопоставления понятий «демократия» и «авторитаризм». И они тоже обращаются к данной дихотомии, чтобы придать правдоподобия этой условной хронологической последовательности. В то время как путинские противники тщательно выискивают зеленые ростки демократии в 1990-х годах с тем, чтобы обрушиться с критикой на разрушительную поступь авторитаризма 2000-х, защитники Путина описывают 1990-е годы как время расцвета хаоса, дикой приватизации, организованной преступности, слабости государственной власти и унижения России в международном сообществе. Поэтому они активно ратуют за Путина-президента, с которым ассоциируется восстановление порядка, подъём России с колен, а также постепенное усиление государственной состоятельности (или объединение разрозненных фрагментов власти в единую унифицированную властную вертикаль), что рассматривается ими как необходимые предпосылки демократии и верховенства закона.

Таким образом, и апологеты, и критики разделяют понимание тектонического сдвига в управленческом подходе между Ельциным и Путиным, которое подозрительно совпадает с международной тенденцией разграничивать 1990-е и 2000-е годы.

² Кстати, следует отметить, что переход от выборов к назначениям произошёл в правовых рамках. В Государственной Думе была отменена существовавшая ранее смешанная система выборов, при которой одну половину мест занимали депутаты из партийных списков, а вторую — кандидаты-одномандатники; вместо неё была введена пропорциональная система, которая начиная с 2007 г. превратила «выборы» в Думу в непрозрачную систему назначений по партийному списку «Единой России». Одновременно «начиная с 2003 г. по крайней мере, половина одномандатных кандидатов в местные законодательные органы должны были избираться по партийным спискам, что уменьшило возможности конкуренции». См.: Petrov, Lipman, Hale, 2012, p. 7.

Первый этап часто рассматривается как эра экономической глобализации и развития, благонамеренно приправленная отсылком к правам человека. Второй этап, напротив, обычно воспринимается как эпоха контртерроризма, когда лидеры использовали общественную тревогу за национальную безопасность с целью ухода от ответственности за коррупцию, некомпетентность и уголовно наказуемое поведение. Эта стилизованная периодизация синхронизирует переход от Ельцина к Путину с процессом мировой истории.

Несмотря на такое практически совершенное совпадение, все участники сегодняшней дискуссии по России все же признают отсутствие преемственности между Россией Ельцина и Россией Путина. Одни политологи рассматривают процесс перехода от Ельцина к Путину как демонтаж демократии, другие — как восстановление порядка. Но все единодушны во мнении, что изменения были значительными и значимыми.

В этом и кроется ошибка.

Инкарнаций — две, система — одна

Корни «путинизма» следует искать в «ельцинизме». Сам Путин представляет собой продукт прошлого, сформированный не столько КГБ, сколько ельцинским режимом. Он не был избранником народа. На самом деле Путина выдвинула команда Ельцина после того, как он помог подавить антиельцинский протест, инициированный премьер-министром Евгением Примаковым и поддержанный независимо избранными губернаторами и генеральным прокурором Юрием Скуратовым, занимавшимся расследованием коррупции в семье и ближайшем окружении Ельцина. С 2000 до 2008 года президентство Путина опиралось на поддержку спецслужб, сети теневого бизнеса и базировалось на «пропрезидентской» Конституции, принятой в 1993 году «под Ельцина».

Нам следует — если мы хотим добиться каких-то результатов в обсуждении демократии в контексте посткоммунистической России — абстрагироваться от политизированной, основанной на противопоставлении авторитаризма и демократии истории отсутствия преемственности политического режима. Нам, на-

против, нужно очень тщательно проанализировать те многие нити, которые соединили режимы Ельцина и Путина. Сторонники и критики Ельцина и Путина вряд ли будут удовлетворены подобным подходом, но, тем не менее, он явит собой торжество здравого смысла, замешанного на скептицизме.

Несмотря на видимые отличия стиля и самопрезентации, системы Ельцина и Путина при тщательном рассмотрении демонстрируют впечатляющее сходство, которое критики и апологеты каждого режима предпочитают не замечать. Фокус на замаскированной преемственности может пролить свет и на теорию демократии. В частности, когда Майкл МакФол и Кэтрин Стоунер-Вайс утверждают, что «режим, Ельцина был, безусловно, более демократичным, чем в сегодняшней России», (2008, с. 70), они непреднамеренно исключают из концепта демократии важный компонент — ответственность власти перед обществом. Никто не сможет согласиться с тем, что ельцинский режим проявлял большую ответственность, чем сегодняшний. Если бы такое утверждение соответствовало истине, то при Ельцине не могло бы быть расстрела Верховного совета в 1993 г., нечестно проведенных в 1996 г. президентских выборов, утаивания от всенародного обсуждения программы Гайдара или предоставления «узкому кругу будущих олигархов возможности грабить страну с полного одобрения Ельцина и его команды реформаторов» (Пушков, 2008).

Как показала история, безответственная элита, сформировавшаяся в эпоху Ельцина, без особых социальных потрясений трансформировалась в элиту эпохи Путина.

Для понимания сути дискуссии о проблеме преемственности российских политических режимов важно понять и то, что установить и поддерживать авторитарный режим так же трудно, как и демократический. Даже при наличии авторитарных фантазий путинская команда не имела ни потребности, ни возможностей навязать обществу авторитарную дисциплину. «Железный кулак» как стиль правления в равной степени является как трудно осуществимым, так и невыгодным. Без вдохновляющей идеологии с целью сплочения сторонников, путинские авторитарные тенденции всегда отличались скромностью. Истинная реставрация просоветского режима потребовала бы закрытия границ или, по меньшей мере, радикального уменьшения свободных

контактов с Западом. Подобный возврат к автократии никогда не предусматривался, и по многим причинам. Прежде всего это задело бы материальные интересы наиболее влиятельных членов истеблишмента и обрекло бы на вечное изгнание состоятельных россиян, беспечно выезжающих за пределы страны. Кроме того, Россия оказалась бы наедине со своими проблемами (такими как обеспечение территориальной целостности в условиях военных угроз со стороны южного фланга), с которыми было бы трудно справиться без долгосрочной поддержки Запада.

Говоря о поездках российских граждан за границу, надо отметить, что наиболее активные граждане, может, и нерегулярно участвуют в выборах, но они регулярно путешествуют. На самом деле «только за первую половину этого года россияне совершили рекордные 60 млн. поездок, потратив рекордное количество снятых с кредитных карт денег, по информации туристических компаний и банков. Как утверждают эксперты «Ситибанка», россияне до конца года потратят 40 млрд долл., то есть 3% от ВВП» (Нарыжная, 2011). Этот пример резко контрастирует с ситуацией авторитарного правления недавнего прошлого. Если Сталин строго контролировал неформальные контакты своей элиты с иностранцами и препятствовал им, то Путин поступает совершенно противоположным образом. Открытые границы представляют собой факт огромной важности и являются наилучшим ответом на обвинения Путина в откате к авторитаризму.

Так что же помешало полномасштабному восстановлению автократии в путинской России? Без сомнения, тому препятствовало не упорное сопротивление демократических сил или борцов за права человека, которых просто, строго говоря, не было. Эти силы, если и были, то оставались слабо организованными, не имели глубоких социальных корней и в целом были неэффективными. Конструирование по-настоящему авторитарного режима в России столкнулось совсем с другими трудностями. Главным препятствием на пути к восстановлению всеобъемлющего, жесткого, централизованного контроля стало несоответствие между устрашающим количеством нависших над страной проблем и скудными средствами и ресурсами, оказавшимися в распоряжении Кремля для их решения.

Говоря о множестве проблем, я в той или иной степени имею в виду то, что подразумевал Путин в своей речи 24 сентября 2011 г., содержавшей его планы на президентство в 2012 г.: как заявил Путин, «нужно открыто сказать о зависимости нашей экономики от сырьевых ресурсов, об опасном уровне социального неравенства, насилия, коррупции, об ощущениях несправедливости и незащищённости, которые часто возникают у людей при обращении в госучреждения, в суды или в правоохранительные органы (Barry, 2011b: A1).

Это свидетельствует о многообразии вызовов, стоящих перед российским правительством. Под недостаточностью инструментов, способных справиться с таким количеством проблем, я имею в виду в основном «ползучий паралич политического руководства» (Petrov, 2010), отражающий бескомпромиссную подковерную борьбу, фракционность и конкуренцию «с нулевой суммой» в сфере контроля над финансовыми потоками внутри самой политической элиты, а также невозможность обязать к дисциплине или реализации общих целей фрагментированную и самоуправляемую бюрократию, живущую за счет взяток и практикующую угрозы и насилие в своей борьбе за захват и перераспределение государственного и частного имущества между собой и своими деловыми партнерами.

По общему мнению, «коррупция продолжается в тех же масштабах, что и 10 лет назад, если не в больших» (Tsyvinskii, Guriev). Но даже без массовой коррупции исполнительные агентства и министерства — исполнительная власть — практикуют сокрытие важной информации о своих взаимоотношениях, преследуя прямо противоположные цели, результатом чего является непоследовательная и саморазрушительная политика, а в случаях периодически возникающих тупиковых и кризисных ситуаций реагируют на них с опасной медлительностью. То, что представители власти в России «дуют не в одну дудку», проявляется в борьбе за влияние между, скажем, Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом или в шокирующем письме Виктора Черкесова, сослуживца Путина по ФСБ, опубликованного Коммерсантом 8 октября 2007, предупреждающего о «войне всех против всех» внутри служб безопасности (Knight, 2011). Сегодня схватки между аппаратчиками в Кремле (Piontkovsky,

2008: 37) зачастую перерастают в соревновательное рейдерство, причем настолько большое, что его нельзя полностью скрыть от общественности. Такие схватки внутри элиты свидетельствуют о значительной, хотя пока и завуалированной слабости государственной власти, а также о том, что широко разрекламированное укрепление вертикали власти в путинскую эпоху — скорее миф, чем реальность.

Российские бюрократы производят впечатление сирот, брошенных на произвол судьбы давно почившей в бозе Коммунистической партией СССР. Такая модель фрагментации бюрократии выкристаллизовалась в начале 1992 г. Структуры старой системы, например «Газпром» (бывшее Министерство газовой промышленности) и прокуратура, были выведены из-под контроля Коммунистической партии. Сотрудник КГБ в прошлом, а также агент английской разведки МИ-6 Олег Гордиевский высказался схожим образом о своём бывшем работодателе: «КГБ без Коммунистической партии представляло собой банду гангстеров» (LeVine, p. 35). Эти «брошенные» институты стали проводить политику конкретных индивидов и развития собственных корпоративных интересов — и эти интересы не всегда совпадали с интересами Кремля. А «Единая Россия» — партия, созданная правящей элитой, — явно не обладает возможностями Коммунистической партии советской эпохи, в частности, не может подчинить руководителей промышленности и немислимо разросшуюся бюрократию дисциплине и осуществить определенную координацию деятельности как на местном, так и на федеральном уровне. «Единая Россия» не смогла занять освободившееся место Коммунистической партии и восстановить былое единство правящей элиты. Эта партия не смогла восстановить военно-командную иерархию управления, поэтому Путину пришлось прибегнуть к имитации.

В этом-то и состоит истинное своеобразие посткоммунистического политического развития России. После ухода Коммунистической партии с политического ландшафта разрозненные фрагменты в прошлом мощной системы еще оставались в рабочем состоянии, но были лишены традиционной практики согласований и координации и возглавлялись бесчисленными руководящими структурами с неопределенными и пересекающимися юрисдикциями. История еще не знала такого хаоса. Мо-

гущественная советская бюрократия, сохранившись отдельными сегментами, окончательно не исчезла, продолжая выживать под слабым кремлевским контролем. Осталось ей присуще и стремление к неконтролируемым формам личного обогащения и «финансовой подпитки» из всего, что плохо лежит. Солидаризировавшаяся партийная номенклатура полностью проиграла противоборствующим бюрократическим бизнес-кланам в борьбе за приватизацию оставшегося от советской эпохи наследия. Коррупция, пронизавшая все ступени власти снизу доверху в условиях практически фрагментированного государства, и непрекращающаяся внутривластная борьба за контроль над огромными финансовыми потоками представляют собой наиболее важные препятствия на пути к политической консолидации посткоммунистической России. Это — на самом деле практически непреодолимые препятствия для консолидации как авторитаризма, так и демократии.

Ключом к пониманию путинской России может стать разница между авторитарной властью и её видимостью. Культивирование незаслуженной репутации властей — древнее искусство политиков. Но в условиях, когда ростки протеста, с которыми нужно бороться и иногда искоренять, чрезвычайно слабы и беззащитны и когда их корни неглубоки, становится особенно сложно адекватно оценить силу государства. Ничего не стоит вырвать ростки, не имеющие корней. Принуждение к выезду из страны Владимира Гусинского и Бориса Березовского, закрытие сатирического кукольного телевизионного шоу «Куклы», запрет на деятельность филиалов Британского совета, отключение света во время пресс-конференции неудобного кандидата в ходе предвыборной кампании, вытеснение на политическую периферию «любимцев западных СМИ Бориса Немцова и Гарри Каспарова» (Ioffe, 2009a), мобилизация спецназа для разгона на Триумфальной площади сотни оппозиционеров, «всё ещё живущих чаяниями начала эпохи Ельцина» (Ioffe, 2010b), или арест Ходорковского — ни одно из этих действий не являлось острой необходимостью. Они, как следствие, исподволь создавали ощущение сильной власти, в которой не было необходимости.

Чтобы определить успехи Путина в консолидации власти, нам необходимо оценить масштаб сопротивления, которое он

так бурно подавил. Победа над одним или двумя миллиардерами-приватизаторами нам практически ни о чем не говорит. Если выяснится, что Путин смог справиться с оппозиционерами, действительно поднявшими большой шум, но на самом деле не представляющими ничего серьезного и практически беззащитными, вряд ли нам стоит присоединяться к хору прославляющих или порицающих Путина за восстановление ранее раздробленной власти. Наилучшим индикатором путинской ограниченной власти служит тот факт, что, несмотря на периодические обращения к прокуратуре по вопросам, касающимся финансовых долгов частных лиц, Путину не удалось ее трансформировать в дисциплинированную структуру, способную служить государственным, а не частным интересам.

К слову об олигархах, общепризнанным является тот факт (все известные исключения уже отмечены), что Путин не только не лишил их влияния, но, напротив, расширил их ряды наиболее приближенными и существенно ограничил их голос. Никогда Путин не требовал пересмотра приватизации. Он лишь заставил некогда — в эпоху Ельцина — неприкасаемых олигархов почувствовать себя не столь защищенными, но вместе с тем оставил им возможность пользоваться их нечестно нажитым богатством.

Скромнее вести себя стали не только олигархи — усовершенствовала свое искусство становиться незаметнее и политическая элита. В ситуациях кризисов, сталкиваясь с некомпетентным поведением государственных чиновников («Курск», Беслан и пр.), Путин и его окружение вместо тщательного анализа проблемы и изменений в системе управления предпочли сделать государственный почерк еще менее понятным. Недавний пример — реакция Кремля на возгорания торфяников вокруг Москвы: «Московская областная администрация запретила журналистам находиться в лесах без специальных разрешений в целях безопасности» (Одинова, 2010). Непрозрачность работы государственных органов и отсутствие независимых и надежных источников информации затрудняет критику государственных решений со стороны граждан.

Стоит поэтому простить внешних аналитиков, предполагающих, что после того, как Путин восстановит своё президентство

в 2012 г., тенденция к засекречиванию работы госорганов будет превалировать над тенденцией большей открытости этой работы. Возможно, политическая власть в России не представляет, как справиться с бесконечной чередой кризисов, и поэтому с целью поддержания общественного доверия (или чтобы избежать публичного унижения, расписавшись в собственной несостоятельности) пользуется единственным доступным механизмом влияния — подавлением прессы. То что власть обладает способностью и готовностью облекать свои действия в непрозрачную и неразборчивую для общественности форму, не делает режим авторитарным в классическом смысле.

Всеобъемлющая страсть к засекречиванию не является простым следствием подготовки Путина в КГБ. Это также ключ к пониманию. Скорее всего те, кто принимают политические решения, отчетливо сознают, насколько слабо их правительство и ограничен выбор их возможностей. Актуальности классическому политическому императиву «никогда не показывать слабость» (Mendras, p. 34) добавляет осознание неадекватности ресурсов, которыми они обладают для решения стоящих перед ними проблем. Власть, неспособная решить наиболее острые проблемы страны, должна тщательно скрывать свою несостоятельность, поскольку любой намек на уязвимость может спровоцировать неповиновение, мятеж и в конечном счете даже насильственный захват. Дабы удержать ситуацию под контролем лучшее, что может сделать Путин, это имитировать с помощью дыма и зеркал авторитаризм и таким образом театрально подпитывать свою репутацию во власти.

В связи с этим представляется уместным напомнить, что советская система не была свергнута в результате какой-то оранжевой революции, а рухнула вследствие собственного банкротства. Советская система являлась истинно авторитарной и, тем не менее, рухнула. По мнению Крастева (Крастев, 2009), Путин и его люди знают, что «в итоге даже спецслужбы не смогут прийти на помощь. Они сами были в спецслужбе и не смогли сохранить советскую систему или предотвратить распад СССР». Другими словами, российские лидеры обладают незабываемым личным опытом наблюдения за неспособностью авторитаризма укрепить падающую государственную конструкцию. Это отнюдь не

обратит их в демократов, но будет препятствовать погружению в ностальгию по авторитарному прошлому, оставившему нерешенные проблемы в качестве своего наследия.

Великое разъединение

Никто всерьез не полагает, что ослабление авторитаризма автоматически провоцирует начало процесса демократизации. Но у этого банального утверждения есть и другая сторона. Ясно, что те же самые обстоятельства, мешающие сейчас Путину и Медведеву провести подлинную, не имитационную консолидацию авторитаризма, мешали Ельцину консолидировать подлинную, а не имитационную демократию. Безусловно, среди этих факторов важную роль играет «неустойчивость глубинной структуры государства», что, по сути, означает, «фракционную конкуренцию» (Sakwa, p. 105) политико-экономической элиты, усиленную раздробленностью государственных институтов и учреждений. Но истинная проблема находится гораздо глубже.

На протяжении последних 20 лет мы наблюдаем неустойчивое государство, слабо связанное с политически неорганизованным и немобилизованным обществом. Такое устройство не является ни демократией, ни авторитаризмом. Грубо говоря, в условиях демократии управляемые контролируют управляющих, а в условиях авторитаризма, наоборот, управляющие доминируют над управляемыми. Как при Ельцине, так и при Путине государство и общество повернулись спиной друг к другу, скрывая друг от друга все, что можно скрыть. В отличие от коммунистической посткоммунистическая элита не интересуется жизнью обычных людей, чтобы тратить время и ресурсы на управление сложной системой информаторов и надзора за обществом. Обычные граждане также далеки от власти: «Никто и не ждёт каких-то благородных действий от правительства. Власть, в лучшем случае, представляет собой источник беспокойства». (Politkovskaya, p. 210). Имушие и неимушие граждане «обитают в совершенно разных мирах» (Harding, p. 153). Чудовищная несправедливость распределения доходов в пересчёте на душу населения (ВВП) завуалирована в неоспоримой статистике, данные которой, касаясь общего уровня благосостояния страны, игнорируют такие пока-

затели, как неравенство, смертность, болезни, усиление загрязнения окружающей среды, деградация жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры. От объективного наблюдателя такие факторы трудно скрыть, на них основываются комментарии политических журналистов, пишущих, что «лишь некоторая доля российских миллиардов доходит до беднейших социальных групп» и даже что путинская система управления привела к «самому высокому уровню неравенства внутри общества за всю российскую историю» (Harding, p. 155). Когда имущие и неимущие случайно встречаются, а иногда они просто вынуждены это делать, как, например, на московских улицах, градус общественной напряжённости резко повышается (Ioffe, 2011a). Но в большинстве случаев таких неожиданных столкновений удаётся избежать. Наиболее характерной чертой путинского режима может считаться то, что «между элитой и простыми гражданами практически нет вертикальных отношений» (Sakwa, p. 104).

Под пресловутой и несколько давящей формулировкой «вертикаль власти» на самом деле имеется в виду не вертикаль управления, а вертикаль бегства: фигурально выражаясь, это верёвка альпиниста для небольшого количества друзей и приятелей, которые могут подняться по ней наверх и тем самым ускользнуть от своих менее удачливых сограждан, как тот самый герой Владимира Высоцкого в фильме «Вертикаль» 1967 г. (Monaghan, p. 12). Влиятельные и состоятельные представители элит не эксплуатируют и не угнетают граждан, не обладающих «правом доступа» — они просто избегают последних. Не привязанная к проблемам государственного развития многочисленная безответственная элита, занятая личным обогащением, спокойно пережила переход власти от Ельцина к Путину. Вот почему мы не считаем переход власти в 1999/2000 г. ни демонтажем демократии, ни восстановлением авторитаризма. На самом деле это была тщательно замаскированная и блестяще выполненная миссия по спасению системы привилегий от новых угроз, преподнесённая как героическая и даже популистская попытка её изменения.

В российской политике в 1990-е годы бесконтрольно доминировали многочисленные корыстолюбивые группы. Многопартийные выборы проводились, но они никоим образом не мотивировали богатых и влиятельных граждан на проявление интереса

к улучшению благосостояния всех остальных. В период президентства Ельцина действия думской оппозиции, кульминацией которых стали уступки по импичменту и отражение вызовов со стороны Примакова, ничего не изменили для среднего россиянина.

На протяжении двух посткоммунистических десятилетий политика, хоть и приправленная демократическими обрядами и символами, воспринималась обществом как игра, организованная режимом для узкого круга посвященных. И тогда и сегодня это мало или практически никак не связано с повседневной жизнью большинства граждан.

Почти то же самое относится и к свободе печати. Надо признать, что плюрализм при Ельцине придал ряду печатных изданий яркость и откровенность и печатавшиеся в СМИ репортажи о первой чеченской войне смогли заставить власть пойти на временное перемирие с учётом приближавшихся в 1996 президентских выборов. Но вместе с тем они оказывали весьма скромное влияние на ответственность власти. Прежде всего основной причиной нужно считать чрезмерную концентрацию медиахолдингов в руках нескольких олигархов с их специфическими интересами, не связанными с правом граждан на получение информации из многосторонних источников. (Hoffman, 2002, p. 476–485). В результате свобода печати при Ельцине вылилась в свободу использования нового оружия — борьбы компроматов — в войнах между конкурирующими финансово-промышленными группами. В силу того, что свобода печати при Ельцине очевидно служила защите интересов небольшой части населения в ущерб надеждам большей части на улучшение качества жизни, неудивительно, что государственный контроль над СМИ после прихода к власти Путина не вызвал особого протеста у широкого круга граждан.

Каждое действующее государство обязано дружить с партийными единомышленниками или иметь политическую поддержку. Это подразумевает, в некоторой степени, появление фаворитов, поскольку выбор предполагает работу во власти либо с одной командой, либо с другой. Россия представляет собой слабое государство и не потому, что её руководители не имеют «политической воли», а потому, что у Кремля весьма ограниченные возможности мобилизации политически полезных

сторонников. На кого был обращен взор Анатолия Чубайса в поисках финансирования президентской кампании, когда Ельцин, претендовавший на второй президентский срок, столкнулся с яростным вызовом остатков Коммунистической партии? Чубайс не обращался к хорошо организованным группам граждан, чьи интересы вписывались в процветание и рост благополучия всей страны, поскольку таких групп в России не было. Он конструировал деловые отношения с теми же самыми кругами, что составляли основу распределительной системы и тайно грабили страну («залоговые аукционы», Freeland, 2000). Сделка с олигархами администрации Ельцина является предвестницей включения в политико-экономическую элиту эпохи Путина доверенных силовиков, бизнес-ориентированной гражданской бюрократии и близких соратников по Санкт-Петербургу. Поэтому президентские выборы 1996 года были не более «демократическими», чем выборы в марте 2012 г., хотя антидемократические тактики в этих двух случаях проявлялись по-разному.

Вопрос о преемственности между Ельциным и Путиным следует рассматривать в плоскости распавшихся связей двух президентов и их элит с обществом. И при Ельцине, и при Путине элита, как судно на воздушной подушке, продолжала монополизировать власть и привилегии. Состоятельная и влиятельная прослойка существенно отчуждена от населения и основательно сконцентрирована на личном обогащении. Её черствость и безразличие по отношению к обычным гражданам отражены в дореволюционной шутке, которую любит рассказывать российский оscarоносный кинорежиссёр Никита Михалков: «Крестьянин таит и таит злобу на своего хозяина, а тот плюёт на него к чёртовой матери...» (Ioffe, 2011a). Правда, за прошедшие два десятилетия российская власть учредила демократические ритуалы. Но при этом она не проявляет никакой серьезной заинтересованности в систематических консультациях с законопослушными силами гражданского общества, поскольку считает, что им нечего ей предложить.

Правда, старые фигуры иногда уходят в отставку и на их месте появляются новые. И наиболее ярким примером является Медведев. Но такие кадровые перестановки, по сути, являются косметическими, под которыми маскируется «служебное долго-

жительство старших во властной иерархии — почти все из них удерживают свои должности в течение многих лет», выживают во власти чиновники и пониже рангом, несмотря на требования Медведева и Путина уволить их» (Monaghan, p. 7, 12).

Безусловно, ожидаются новые кадровые перестановки как следствие вступления Путина на пост президента в третий раз. Но практика показывает, что вряд ли мы станем свидетелями того, что появление новой формы откликнется новым содержанием по отношению к рядовым гражданам. Государство останется глухим и безучастным к их нуждам. Оно останется «корпорацией», которая, хотя и будет сотрясаться от внутренней борьбы, в основном будет занята своими проблемами. Такая безответственность российского государства перед обществом является общей нитью, объединяющей два десятилетия. Если что и удалось добиться Путину в ельцинской системе, так это скорее всего не создание для общества возможностей контроля над властью, а существенное сокращение публичных стычек между группами внутри элит, чего Ельцину не удалось ни погасить, ни скрыть. Опасаясь, что серьёзные конфликты между противоборствующими группировками внутри политической и бизнес-элиты за влияние и финансовые потоки могут выйти из-под его контроля, Путин поставил себе целью сделать их менее заметными для широкой публики. Именно по этой причине он также взял под жёсткий контроль публичные предвыборные дебаты, в частности по ТВ и в Государственной Думе, поскольку в них сразу обнажается суть взаимоотношений между кланами, что было заметно в годы правления Ельцина. Задачей Путина являлось не сворачивание демократии (поскольку её и не было), а взятие под контроль конфликтов внутри элиты (которые как раз были), чтобы ими было легче управлять. Грабительский класс российского общества не имеет ничего против «непрозрачности», поскольку явно не относится к тому «среднему классу», который, по теории Сеймура Мартина Липсета, стремится разрешать конфликты мирным путём в рамках открытого политического процесса (Shlapentokh, 2008). Отсутствие экономически процветающего большинства граждан, столь необходимого для демократии, объединяет ельцинскую и путинскую Россию, хотя в других аспектах имеются различия.

Эпоха Путина принципиально отличается от эпохи Ельцина не мнимой трансформацией демократии в авторитаризм, а скорее значением природных ресурсов в российской экономике. На январь 1999 г. цена барреля нефти составляла 17 долларов. Этого недостаточно, чтобы понять отличия между эпохами Ельцина и Путина, но это начало понимания. В отличие от ельцинского путинский Кремль подпитывался нефтедолларами. Обильный поток годового дохода стекал в государственные закрома и уменьшал необходимость облагать население слишком высокими налогами. Исключительно высокий уровень доходов за проданные иностранным потребителям газ и нефть как-то объясняет тот факт, что Москва и Санкт-Петербург, а также окружающие их области оказались более преуспевающими, чем при Ельцине. Но экономика, базирующаяся на продаже иностранцам сырьевых запасов, никак не стимулирует элиты обратить своё внимание на проблемы большинства избирателей. В отличие от извлечения углеводородов взывание налогов провоцирует протестные настроения граждан, которые могут уменьшиться при условии, что государство предложит населению качественные услуги. Как гласит классическая теория демократии, противостояние граждан и власти возникает в тех случаях, когда государство старается увеличить свои доходы за счёт граждан (налоги и военная служба), и протест граждан усиливается до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение мирным путём.

Даже если ресурсное проклятье и является единственным объяснением анемичной природы политического общества и гражданской жизни России, тем не менее демократический процесс взаимных уступок между властью и обществом был успешен только благодаря возможности заполнить бюджет государства нефтедолларами, а не налогами. Политическая элита, ориентированная на добычу ради экспорта, мало мотивирована на инвестиции на благо процветания собственного населения. Нет никаких сомнений в том, что российские «нефтяные бароны» скорее предпочтут продавать газ иностранцам по завышенным ценам, чем своим пенсионерам, которым он нужен для отопления домов. Следует признать, что такая политика предпочтения иностранных покупателей — с их способностью заплатить высокую цену — своим согражданам, не обладающими такими

возможностями, весьма близорука. Увлечение сиюминутными доходами может разрушить достигнутый социальный баланс, который защищает имущих от гнева неимущих, и подвергнуть опасности будущие потоки нефтедолларов. Марксист может даже сказать, что путинская команда скорее воспринимается как исполнительный комитет противоборствующих группировок в бизнес-бюрократической элите. Этот класс слишком близорук и фрагментирован, чтобы продуманно вести свои дела, поэтому им необходим Кремль для управления. Одной из важнейших задач этого исполнительного комитета является выделение части национальных доходов от продажи сырьевых материалов на пенсии и другие немногочисленные субсидии с тем, чтобы предотвратить беспокойство и мобилизацию населения. Даже если это немного уменьшит доходы состоятельной прослойки, в среднесрочной перспективе очень мудро раздавать успокоительные средства для обеспечения тишины на улицах.

Вот как объясняет задачи Кремля Лилия Шевцова: «Накапливающиеся от продажи сырьевых и энергетических материалов деньги становятся наилучшим способом поддерживать Россию в состоянии сонного забвения. Правительство, например, собирается потратить небывалую сумму денег на увеличение пенсий. С чего вдруг правительство стало проявлять такую заботу о пенсионерах? Потому что начинается очередной электоральный цикл и необходимо подкупить наиболее дисциплинированный сегмент общества, который ходит на выборы и обычно голосует за режим» (Shevtsova, p. 338–339).

Расходы в рамках избирательной кампании скорее направляются на то, чтобы снизить горечь разочарований и обид значительной низкодоходной части населения, чем на подкуп голосов и шумные призывы к голосованию. Это значит, что тактика направлена скорее на демобилизацию, чем на мобилизацию. Эта гипотеза подтверждается драматическим падением рейтингов правительства в 2005 г. после того, как тысячи пенсионеров по всей стране вышли с протестом против предложенного сокращения пенсий, заработанных в советское время (Osborn, 2005). Чрезвычайно актуальны топливные субсидии, учитывая неэластичность спроса на отопление. Также весьма эффективны снижение задолженностей по выплатам зарплат государственным служащим или

минимизация увольнений рабочих с неприбыльных предприятий экономического сектора. К перераспределительной политике не прибегают не столько из моральных соображений, сколько из желания избежать возникновения общественной фрустрации, что может пробудить оранжевую революцию в России.

Почему нет честных выборов?

В связи с высказанным выше мнением Л. Шевцовой в отношении нового электорального цикла у нас возникает следующий вопрос: на каких основаниях российское правительство считает (а это совершенно очевидно), что управление государством невозможно без выборов? Большинство комментаторов сходятся во мнении, что без всеобщих выборов было бы невозможно передать власть Путину в 2000 г. и Медведеву в 2008 г. Они подтвердили это и тогда, когда было объявлено о третьем сроке Путина: «Даже несмотря на то, что выборы (в марте 2012 г.) были превращены в фарс, тем не менее, они были нужны для легитимного возвращения Путина в Кремль» (Kim). Но почему?

Путин в 2004 г. упразднил выборы губернаторов. А после того, как весной 2010 г. кандидаты от «Единой России» проиграли выборы мэров в Иркутске и Братске, он взялся и за выборы мэров. По сообщениям в СМИ, к 2011 г. «прямые выборы мэров были отменены в половине российских городов с численностью населения свыше 200 000 чел» (Bratersky, 2011). Путинская команда точно может добиться победы своих кандидатов на президентских выборах или, по крайней мере, при подсчете голосов. Но ее административного ресурса не достаточно для победы на 83 губернаторских выборах, не говоря уже о бесчисленных выборах мэров. Таким образом, выборы губернаторов и мэров продемонстрировали отсутствие рычагов и неспособность федерального правительства добиться нужных результатов. Ликвидация выборов была необходима для скрывания этой слабости, но остаётся загадкой, почему центральное правительство, покончив с выборами на муниципальном и региональном уровнях, считает себя обязанным проводить их на общенациональном?

Ни Путину, ни Медведеву не было необходимости соревноваться с другим жизнеспособным кандидатом в борьбе за голоса

избирателей. В итоге российское общество, лишённое альтернатив, не сыграло никакой роли в переходе президентства ни от Ельцина к Путину в 2000 г., ни от Путина к Медведеву в 2008 г., ни от Медведева к Путину в 2012 г. Как обобщает Пшеворский (Przeworski, 1991, p. 10), выборы имеют смысл только тогда, когда результаты неизвестны заранее — так что нам говорить о переходе власти от Ельцина к Путину, от Путина к Медведеву и от Медведева к Путину в свете его выводов? Можно ли считать, что абсолютная предсказуемость выборов президента в России делает их бессмысленными или ненужными? И если, в противовес мнению Пшеворского, полностью предсказуемые выборы на самом деле так же важны, как думают в Кремле, то, что такие выборы говорят о российской политической системе?

Впервые Путина привело к власти в 2000 г. окружение Ельцина. «Демократия, казалось, проявляла себя повсюду — телеканалы, реклама, газеты и журналы были заполнены выступлениями кандидатов и их бесстыдно подготовленными с помощью фотошопа фотографиями, а также разнообразными программами развития страны. Но на самом деле это были не ростки новой жизнеспособной политической культуры, а олицетворение обмана и демонстрация искусства показухи на время предвыборного шоу» (Baker, Glasser, 2005: 5).

В итоге политологи назвали Россию «имитационной демократией» (Shevtsova, p. 319–328, 330–332), «виртуальной демократией» (Wilson, 2005), «псевдодемократией» (Robertson, p. 2), а также «фасадной демократией, лишь скрывающей политическое и бюрократическое доминирование эгоистичной бюрократической корпорации» (Silitski, p. 42). Но то, что российские выборы были проведены с нарушениями, является бесспорной истиной и должно стать началом, а не концом исследования. Остаётся без ответа весьма существенный вопрос, а именно: что выигрывает в политическом отношении Кремль в результате таких выборов?

Почему Путину пришлось избираться в 2000 г., 2004 г., а также в 2012 г., а Медведеву — в 2008 г.? Вот как комментирует столь серьёзный вопрос Николай Петров: «От выборов больше не зависит политическая повестка дня, и они не обеспечивают совершенствование политических программ. Они также не являются механизмом обратной связи между обществом и властью,

равно как они не создают никаких серьезных политических альтернатив и не служат тренировочной площадкой для политиков. Они не могут также выполнить роль клапана безопасности для выпуска пара накопившегося недовольства. И поскольку административный контроль за проведением выборов всё время усиливается, они всё в меньшей степени способны выполнить свою единственную функцию легитимизации режима» (Petrov, 2011).

Выборы с заведомо известным результатом не помогут разрешить конфликты без применения силы. В равной степени они не могут перенаправить отток недовольства и разочарования внутрь политической системы таким образом, чтобы он не трансформировался в мощные внепарламентские движения. Они не способствуют сокращению коррупции и не приводят к прозрачности деятельности государства. Простые граждане лишаются возможности периодически сбрасывать власть имущих с пьедесталов. Совершенно очевидно, что выборы без конкурентной борьбы за общественную поддержку и отсутствие ответственности перед критически настроенной аудиторией никак не способствуют усилению дисциплины элиты. Они даже не заставляют официально избранных кандидатов придерживаться данных избирателям обещаний. Тогда какое же у них предназначение?

Первое, что приходит в голову, это то, что правительство публично демонстрирует свою силу и способность вытащить «зайца из шляпы». Медведев победил на президентских выборах, получив поддержку 71% избирателей. Это значительный успех для человека, впервые баллотировавшегося на политический пост, причем пост президента Российской Федерации. За несколько лет до этого он был никому не известным бюрократам. Такие выборы демонстрируют власть в обществе, в котором «популярность» лидера является следствием, а не причиной власти.

Но этим дискуссия не исчерпывается. Существует и другая полезная гипотеза, которую можно проиллюстрировать следующим образом: российские «выборы без выбора» выполняют функцию военных маневров, генеральных репетиций перед настоящим «боем», включающих стрельбу по искусственным мишеням и демонстрирующих уверенность в победе. Такие выборы могут давать Кремлю возможность поднять боевой дух в поникших войсках и выяснить степень компетентности и зави-

симости региональных лидеров. Местные чиновники могут получить инструкции заполнить избирательные урны фальшивыми бюллетенями (Ryzhkov, 2011a) или произвести нечестный подсчёт голосов. Их могут обязать организовать обязательную явку на выборах студентов или государственных служащих (Garmazhapova, Eremenko, Harding, p 56; Ryzhkov, 2010; Odyнова, 2011b). Только с помощью искусного или грубого использования политики кнута и пряника местные чиновники способны противостоять апатии избирателей, спровоцированную предсказуемостью выборов. Выборы дают возможность Кремлю отделить эффективных местных чиновников от неэффективных, при этом вряд ли стоит рассчитывать на достоверность их отчетности. После того как во время последних выборов в местные органы власти в Твери «Единая Россия» набрала 35% голосов, губернатор Дмитрий Зеленин был смещён со своей должности частично из соображений «предупредить других, что чересчур много работать не нужно, а следует просто лучше считать голоса» (Latynina, 2011b).

Другими словами, нечестные выборы способствуют выявлению наиболее слабых мест в бюрократической машине Кремля. Они помогают уволить не очень старательных чиновников, которые иначе могли бы остаться незамеченными: «Перед каждым национальными и региональными выборами местные отделения партии получают неформальные указания добиться большего числа поданных за неё голосов по сравнению с предыдущими выборами. Неудачи на выборах влекут за собой репрессии, вплоть до увольнений» (Loginov, 2011). Показательные публичные увольнения недостаточно послушных мелких сошек должны, предположительно, заставить других «единороссов» на местах тщательнее играть свою роль, обеспечивая ауру непобедимости вокруг находящихся во власти, что, безусловно, включает и обеспечение парламентского большинства, если не сказать супербольшинства, в Государственной Думе.

Режим, по общему признанию, недемократический, склонен к проведению нечестных выборов с целью получения дополнительной информации, необходимой для поддержания собственной власти. По мнению Петрова (Petrov, 2011),

власть не интересуется «обратной связью» с обществом. Речь идёт лишь о получении информации о чиновниках низшего звена и членах партии, не справившихся во время выборов со своими обязанностями. Электоральные интриги позволяют регулярно обеспечивать пополнение кадров на местах по решению Москвы. Если бы не было регулярных выборов, у руководства было бы намного меньше возможностей публично поощрить эффективных и лояльных и наказать неэффективных и нелояльных местных чиновников, принимая решения, кого именно внести в партийный список «Единой России» и кому занять место в Государственной Думе. Поэтому можно предположить, что нечестные выборы не такие уж декоративные и несовершенные или показательные, предназначенные для охмурения демократических идеалистов внутри страны и ярых сторонников демократии за рубежом. В случае принятия данных аргументов регулярные выборы представляют собой удобный инструмент в аварийном комплекте недемократических режимов, даже если никого нельзя не обмануть идеей честных и свободных выборов.

Никто, собственно, и не полагает всерьёз, что российские «выборы без выбора» должны имитировать демократию. Российские граждане прекрасно понимают, что выборы не дают им никаких рычагов влияния на власть: «Согласно опросам общественного мнения, проведённым «Левада-Центром», российские граждане не строят иллюзий относительно демократии: лишь 9% из них верят, что сегодняшний режим можно назвать демократией» (Ioffe, 2010a). И разочарованных россиян трудно винить в чём-то: «Со времени прихода Путина к власти в 2000 г. Кремль использует избирательные комиссии и суды в качестве внутреннего ресурса построения “потёмкинской демократии”», но «фасад зачастую выглядит так нелепо сконструированным, то даже большинство наивных и преданных сторонников Путина замечают то, что находится за этим фасадом» (Bohm, 2011a: 8). Иначе говоря, то, что российские выборы «конструируются», известно всем в стране и принимается как данность, независимо от риторики и политических убеждений. Но если нечестные выборы никого не обманывают, то зачем они нужны?

В России, и не только, кандидаты на высокие государственные должности получают власть не обязательно по причине своей популярности. Время от времени лидеры моментально становятся популярными после прихода к власти. Некоторым гражданам свойственен определённый предсказуемый оппортунизм, заставляющий их массово поддерживать тех, кто занял прочные позиции во власти, но, как показывает пример Юрия Лужкова, смещенного с поста мэра Москвы в 2010 г., даже подтвержденная опросами «популярность» может мгновенно исчезнуть после потери власти.

Пытаясь скрыть свою слабость и осознавая, что поддержку избирателей можно искусственно подогреть иллюзиями власти, команда Путина, естественно, прибегает к театральным постановкам, которые без больших затрат внушают зрителям завышенное представление о возможностях власти. В частности, к таким приёмам можно отнести массовое тиражирование фотографий Путина в образе героя боевика в пожарном самолёте-спасателе, бросающего на пол партнёров по дзюдо, за рулём «Харлей-Дэвидсона», ныряющим в Азовское море в поисках греческой амфоры VI века, или усыпляющего выстрелом тигрицу и стреляющим в серого кита из арбалета и т.д. — всё это было придумано PR-командой Путина с тем, чтобы приукрасить его мужественный образ.

Нечестные выборы не так много усилий требуют от администрации, а нечестный подсчёт голосов, особенно в регионах, где сохранились воспоминания о безальтернативных выборах, позволяет коррумпированному режиму, имитировать определённую степень авторитаризма.

Неоднозначные выборы обеспечили приход Путина во власть, несмотря на массовое воровство чиновников на всех уровнях и очевидную неспособность режима ответить на стоящие перед страной вызовы развития. Они, таким образом, стараются придать больший вес режиму, который не может справиться сам с собой, а уж тем более — с проблемами всей страны. Неоднозначные выборы лишают Путина необходимости использовать элементы устрашения общества, исторически сопутствующие авторитаризму, но к которым структурно неприспособлен установленный им режим. Путин и его команда ценят «управляемую

демократию», поскольку она имитирует не столько демократию, сколько управление, то есть, то, что другим способом трудно продемонстрировать.

Противоударные партии

Если присмотреться к тому, как кремлёвские кукловоды (Pomerantsev, 2011) манипулируют декоративной партийной системой с целью усмирения антирежимных настроений среди населения, предотвращения раскола внутри элиты и использования фракциями предвыборной конкуренции с целью обогащения за счет других фракций, можно обнаружить ещё одно политическое назначение нечестных выборов. Совершенно ясно, что «Кремлю нужна абсолютно управляемая и красиво задрапированная оппозиция» (Ioffe, 2009b). Тогда вновь возникает вопрос: «Зачем?» Чтобы получить на него ответ, стоит вкратце проанализировать деятельность некоторых «искусственно созданных марионеточных партий» и «партий-сателлитов или зависимых партий» (Ryzhkov, 2011b), населяющих политический мир Путина.

По-настоящему политической партией признана только Коммунистическая партия Российской Федерации (Mendras, p. 249). Она является не только второй по численности и ассоциируется с рассерженными пенсионерами» (Antonova, 2011). Будучи партией-долгожительницей, коль скоро её популярность среди населения остаётся на разумном уровне, она, бесспорно, помогает правительству, нейтрализуя некоторые протестные настроения, защищая режим от общественного сарказма и невыполнимых требований. То же самое можно утверждать и в отношении ненормального Жириновского из Либерально-демократической партии (ЛДПР), которая в соответствии со своим оруэлским названием явилась проектом КГБ в начале 90-х гг. для привлечения популистских и националистических избирателей. Правящей клике довольно сложно призвать к порядку как антииммигрантские, националистические и расистские элементы, так и экономически уязвимых избирателей старшего поколения. Препяды для доступа в политическую игру являются неуклюжим способом парирования таких потенциально дестабилизирующих

социальных проблем. Более изощренная техника, заимствованная у царской России, предполагает создание потёмкинских ассоциаций для объединения недовольных граждан и распыления их энергии под пристальным контролем со стороны режима³.

«Управляемая демократия» не означает стремление руководства удовлетворять или игнорировать потребности населения, а, напротив, предполагает стратегический подход к реагированию на жалобы и нужды без излишних усилий. Главной целью режима становится противостояние любым попыткам объединений в весомые коалиции, в которые могут вступить и некоторые несогласные из правящей элиты, которые могут захотеть бросить вызов внутреннему кругу лидеров. Можно сказать, политическая популярность для правящей группировки представляет собой нечто иное, что обычно имеют в виду некоторые аналитики. Не народная поддержка помогает Путину управлять страной, а отсутствие поддержки сдерживает конкурирующие фракции от противостояния его господствующим позициям. Смысл подлинной власти в России заключен в сделках внутри элиты и контроле над финансовыми потоками. Поддержка электората, безусловно, играет роль, но только в негативном смысле. Потенциальные конкуренты должны быть лишены политической популярности. Этот факт объясняет странную одержимость команды Путина опросами общественного мнения (Barry, 2011a). Они изучают опросы с тщательностью врача, обследующего своего пациента перед тем, как решить, какое жаропонижающее лекарство ему прописать.

По мнению Даниэля Трейсмана (Daniel, Treisman, 2011), «удивляет стремление российского руководства дисквалифицировать реформистски настроенных кандидатов, не имеющих шансов на получение голосов, исчисляемых двузначными цифрами» (349). Объяснение скрывается за опасениями Кремля перед возможным появлением презентабельных альтернативных лидеров, благодаря чему может быстро разрушиться обществен-

³ По словам бывшего генерала КГБ Олега Калугина, советские власти регулярно использовали подобную технику: «Мы никогда не нападали на диссидентов прямо, мы манипулировали ими: мы создали конкурирующие диссидентские организации, чтобы держать их под контролем» (Jack, 2004, p. 60).

ный консенсус вокруг Путина. В 2007 г. 35% респондентов, по мнению специалистов «Левада-Центра», заявляли о своём «доверии» Путину, поскольку они не видели никакой другой альтернативы (Lukin, 2009, p. 80). Политологи размещали впечатляющие данные для иллюстрации способности Путина «поддерживать тесные связи с электоратом» (Cotton, Hale, 2009, p. 503). Но результаты выборов ничего нам не говорят о способности Путина завоевывать голоса, учитывая недопущение появления в избирательном бюллетене любой серьёзной альтернативы. Безусловно, опросы общественного мнения в 2011 г. подтверждали то, что путинская «популярность» отражает «отсутствие других альтернатив» (Schwartz, 2011). Если избиратели будут уверены в отсутствии возможной альтернативы существующему руководству, они, как овцы, будут поддерживать статус-кво. И это объясняет, почему кремлёвские политтехнологи так усердно боролись даже с намёком на возможную альтернативу Путину и старались ввести в игру абсолютно неприемлемых кандидатов. Их непомерный страх перед политически слабыми конкурентами свидетельствует об их внутренней неустойчивости на олимпе власти. Они хотели быть уверенными в том, что никакая контролита не имела бы шансов формировать или выстраивать свою электоральную базу.

За три месяца до выборов в Государственную Думу 2003 года путинское окружение, обеспокоенное общественным отчуждением, создало мнимую оппозиционную партию — «Родину». Этот кремлёвский проект задумывался как противоударный и декларировал левые, пронационалистические, антизападные и антиолигархические идеи. Его задачей было оттянуть голоса избирателей от КПРФ. План удался. Не прошло и нескольких месяцев со дня основания партии, как её рейтинг достиг 9,2% голосов, в результате чего она получила в Государственной Думе 37 мест из 450 на 2003–2007 гг. Рейтинг коммунистов сократился вдвое и упал до 13%. (В данном контексте следует вспомнить, что в 1999 г. коммунисты вели борьбу за импичмент Ельцина. Сокращая, но не ликвидируя полностью представительство КПРФ в Думе, руководство страны, таким образом, гарантировало предотвращение подобной акции в будущем.)

Но Кремль никогда не позволяет подставным партиям, как «Родина», существовать длительное время. При условии существования более одного электорального цикла они на самом деле могут объединить вокруг себя антирежимные настроения. Особую опасность такие партии могут представлять в случае завоевания голосов на платформе заигрывания с националистическими кругами и разжигания расовой ненависти по отношению к выходцам с Кавказа (Wilson, 2011). Поэтому, как только «Родина» стала проявлять независимость по отношению к Кремлю, партию не допустили к региональным выборам и в 2006 г. она была распущена и, объединившись с малочисленной, но играющей символическую роль «Партией пенсионеров», растворилась в «Справедливой России».

Майкл Бом (Michael, Bohm) на примерах «Родины» и «Справедливой России» объясняет, каким образом регулярное создание и роспуск противоударных партий позволяет сохранить власть и богатство нынешних лидеров.

В ноябре 2005 г. «Родина» выступила на телевидении с открыто ксенофобским политическим призывом — «Очистим Москву от мусора», которое носило уничижительный и оскорбительный характер по отношению к смуглым выходцам с Кавказа. Как выяснилось, националистическая кампания «Родины» в период с 2004 по 2006 г. пользовалась неожиданной для Путина поддержкой среди российских граждан. Кремль опасался не столько того, что поднимется новая волна межэтнических конфликтов, сколько того, что растущая популярность «Родины» может оттянуть голоса от «Единой России» — и даже способствовать победе этой партии над последней во время большинства федеральных и региональных выборов. Вот почему Дмитрия Рогозина заставили уйти с поста лидера партии в 2006 г. и отправили в «ссылку» в Брюссель в качестве представителя России в НАТО. «Родина» была объединена с более умеренной и ручной «Справедливой Россией» (Bohm, 2011b, p. 8).

Партия «Справедливая Россия» стала ещё одним «сконструированным проектом Кремля левоцентристского толка для притягивания оппозиционных сил» (Ioffe, 2009b). Это была партия «левого толка», «образованная с благословения Кремля в 2006 г. как противоядие против коммунистов» (Bratersky,

2011b), — «проект, предназначенный режимом для заполнения левоцентристской ниши» и «с благословения Путина» запрограммированный на «завоевание протестных и коммунистических голосов» (Sakwa, 2011, p. 221–222), ещё один «особый кремлёвский проект с целью сдвинуть КППРФ с политической сцены» (Golosov, 2011). Новая партия, созданная как социалистическая альтернатива коммунистам, на выборах в Государственную Думу в 2006–2007 гг., куда ранее допускались только три партии — «Единая Россия», КППРФ и ЛДПР — завоевала 38 мест. Твёрдая решимость Путина поощрять накопление капиталов в частных руках привела к тому, что левый фланг остался незащищённым. По опросам общественного мнения, в 2008 г. 64% опрошенных признали рост неравенства доходов при Путине (Petrov, Lipman, Hale, 2010, p. 27). Необходимость куда-то направлять бурлящее эгалитаристское негодование против «новых русских» объясняет, почему Кремлю понадобилась тщательно контролируемая, прекрасно задекорированная оппозиция. Противоударные партии могут удержать рассерженных граждан от истинных альтернатив правящим кругам. Поэтому после уничтожения «Родины» потребовалась очередная оппозиционно-партийная подделка с целью канализировать и нейтрализовать недовольство, созданное растущим неравенством. Провозглашая принципы социальной справедливости, прогрессивного налогообложения, государства всеобщего благосостояния и осуждения варварства олигархического капитализма, при этом обходясь без неуправляемых проявлений русского расизма, «Справедливая Россия» должна была бы обеспечить Путину контроль над левым флангом и оторвать голоса избирателей от КППРФ в духе классической технологии «разделяй и властвуй». Но и эта вторая по счёту противоударная партия просуществовала недолго. В 2011 г. «Справедливая Россия» «лишилась благосклонности... после того, как она стала отнимать голоса у “Единой России”» (Bratersky, 2011b).

Анализ перемещений партий-пешек при режиме должен коснуться и неудачной попытки летом 2011 г. поставить Михаила Прохорова, миллиардера и владельца американского баскетбольного клуба «Нью-Джерси Нетс», во главе партии крупного бизнеса «Правое дело». Но после того как Прохоров начал пред-

выборную кампанию с флирта с левыми и националистически-ми лозунгами, Кремль поспешил прекратить это непродуманное предприятие. Путинская команда решила, что под руководством Прохорова «Правое дело» «объединит высокообразованных, постоянно бывающих за рубежом и хорошо обеспеченных либералов, чьё недовольство системой постоянно возрастает» (Ioffe, 2011b). Но «прохоровское обещание — раздать землю всем желающим её обрабатывать» несколько повторило «лозунг большевиков “Землю — крестьянам!”» (Pankin, 2011). К тому же, он «нарушил правила, прибегнув к националистической риторике» (Barry, 2011c). Предположив, что и он может переманить избирателей от стремительно становящейся непопулярной «Единой России», путинская команда бесцеремонно убрала его со сцены.

Если абстрагироваться от всех сложностей, то становится очевидным, что заигрывание Кремля с бутафорской партийной системой приоткрывает тщательно разработанные стратегии «разделяй и властвуй» и «завлечь и переключить». Регулярно проводимые нечестные выборы становятся площадкой, на которой правящие круги отрабатывают стратегии и борются, чтобы остаться на плаву. Общественное разочарование и фрустрацию невозможно подавить силой и устрашением. Это было бы не столько затратно, сколько бесполезно. Вместо этого, как полагают правящие круги, можно искусно управлять отстранением от власти, тем самым усиливая проблемы коллективных действий при оппозиции режиму. Декоративные выборы как раз и становятся таким плацдармом, на котором осуществляется эта стратегия, включающая периодический раскол политически враждебных электоральных блоков, циклическое создание и раскол конкурирующих коалиций, а также регулярные чистки еще не окрепших потенциальных конкурентов.

Демократия и предпосылки

Вопрос, почему демократия оказалась несостоятельной как при Ельцине, так и при Путине, равносителен вопросу, что именно включает демократия *помимо* регулярных соревновательных выборов. Какой урок мы можем извлечь из опыта двух десятилетий и неудавшейся демократизации посткоммунистической

России и что сможем понять в отношении необходимых предпосылок демократии? Есть ли что-то в этом российском опыте, что делает процесс демократизации особенно трудным или даже невозможным?

Выдвинуто множество причин, объясняющих провал демократизации в России, включая временной интервал (Trenin, 2007), как будто время может придать импульс демократическим процессам или уничтожить их. Но наиболее широко распространена и уже обсуждается версия, касающаяся вопроса «культуры». Российская культура — категория враждебная по отношению к демократии. Но трактовка политики на платформе культуры не может быть удовлетворительной, поскольку исходит из понятия единой «культуры», в то время как на самом деле культура является гетерогенной и пластичной настолько, что в разные периоды поддерживала взаимоисключающие структуры. Например, одна и та же культура Германии на протяжении нескольких десятилетий поддерживала или приспособливалась к монархии, либеральной республике, нацистскому режиму и продвинутой либеральной демократии. Когда-то Мольер полагал, что благодаря усыпляющему эффекту опиум хорош как средство от бессонницы. Точно так же нелепо полагать, что Россия не смогла создать политическую, судебную и экономическую системы по причине несовместимости своей культуры с демократическими идеями. Даже мнимое понимание сути российской культуры как тормозящего фактора, «усыпляющего» все демократические устремления и действия, не должно положить конец исследованиям.

Нам следует сосредоточиться на исследовании структурных факторов, а не дискутировать по поводу культурных ориентаций. В частности, российская посткоммунистическая экономика больше, чем культура, страдала от бремени тяжелого советского наследия, включающего отсталость промышленности, которая развивалась и выживала в условиях изоляции от мирового рынка и которую нельзя было автоматически конвертировать. Единственным возможным вариантом было разрушить все до основания, выстраивать с нуля, при этом несколько не заботясь о судьбах тысяч обученных и стареющих рабочих (Коткин, 2001). Но советское наследие в наибольшей степени разрушило демократические порывы среди фрагментированной и коррумпи-

ванной бюрократии, которая могла успешно запугивать впавших в немилость, присваивать финансы, но оказалась неспособна к внедрению основных правил игры при рыночной экономике.

После ухода с политической сцены советской Коммунистической партии российское государство оказалось парадоксальным образом слишком слабым и несогласованным для демократизации. Адам Пшеворский отмечая, что «без эффективного государства демократия невозможна» (Przeworsky, 1995, p. 110), разделял это же мнение. Безусловно, проблема государственного строительства лежит в более глубокой плоскости, чем проблема демократизации, поскольку самоуправление невозможно без управления. Зачем общественности пытаться оказывать влияние на содержание законов, если законы никто не соблюдает? Зачем общественно-политическим движениям обращаться за помощью к чиновникам, если у дезорганизованного и коррумпированного государства нет подходящих и своевременных средств для решения их проблем?

Перефразируя Джеймса Мэдисона, демократия являет собой такую систему, которая, с одной стороны, обеспечивает государство возможностями, чтобы подавить произвольное насилие и мошенничество со стороны отдельных граждан и, с другой — предотвращает государство от использования нечестных и силовых методов в своих корпоративных интересах. Даже если бы Путин справился с первой задачей, то нет причин думать, что он добьется успеха при решении второй. А он, находясь на олимпе власти в течение десяти лет, не предпринял ничего в этом направлении. У состоятельных и влиятельных граждан нет причин проявлять заботу о благополучии бедных и слабых.

Но лежит ли вся вина на Путине? Может быть, на него давили внешние ограничители? Можно сформулировать вопрос с позиции граждан: какие условия могли бы обеспечить обычным гражданам определенный контроль за деятельностью политиков? Пока я обращаю внимание лишь на проблему несогласованности в процессе демократизации как на тормозящее её обстоятельство. Государство, лишённое способности контролировать само себя, не может и обеспечить такой контроль со стороны своих граждан. Но каковы другие факторы, противостоящие демократизации или делающие её вообще невозможной?

Чтобы граждане контролировали политиков, недостаточно поводить регулярные соревновательные (Schumpeter, 1950) и даже честные выборы. По крайней мере, в промежутках между выборами следует подвергать избранные правительства постоянным испытаниям и вызовам. Но это осуществимо только при определённых институциональных и социальных условиях, а именно при наличии организованной оппозиционной партии; законодательного органа власти, в котором бы оппозиция могла бы принудить правительство к разъяснению своей политики; судебной системы, при которой прокурор (представитель исполнительной ветви власти) обязан представить независимым судьям доказательства вины подсудимого прежде, чем отправить его в тюрьму; многочисленных источников информации, включая федеральные новостные каналы ТВ без тотального государственного контроля; активного гражданского общества, которое бы могло выражать публично свой протест, не опасаясь преследований со стороны государственных служб безопасности.

В России нет ни одной из вышеупомянутых институциональных и социальных предпосылок. Поэтому исследователи демократии на примере России должны понять значение своего теоретического вклада и помнить о несовершенстве теории Шумпетера, который говорил только о регулярных соревновательных выборах. Например, «в России нет функционального парламента». «Депутаты невероятно богаты», и этому способствует то, что «их основные занятия далеки от их парламентской деятельности. Большинство из них — прежде всего бизнесмены» (Sonin, 2010). Партийная система представляет собой проект манипуляций Кремля, и политические партии никак не представляют интересы избирателей (Hale, 2006). Гражданская активность проявляется лишь спорадически, то в Калининграде, например, то во Владивостоке (Schwartz, 2010; Rap, 2010). Исключая разгул преступности, Москва стала ареной нескольких митингов протеста с умеренной численностью (Barry, 2010). Некоторые журналисты писали, что Кремль «был очень напуган “арабской весной” в связи с тем, что подобное могло случиться и в России» (Harding, 2011, p. 277). Маловероятно, что стареющее население, рассредоточенное на огромной территории страны, способно участво-

вать в беспощадных городских выступлениях в духе 1917 г. То, что российские улицы можно усмирить вовремя выплачиваемыми пенсиями, становится удручающим свидетельством демократического потенциала российского «гражданского общества».

Изолированные и разобщённые

Теория демократии гласит, что укрепление государства происходит в том случае, когда оно удовлетворяет социальные запросы большинства. Разворот в сторону социальной сферы, хотя бы теоретически, усиливает государство за счет концентрации социальной осведомленности и мобилизации сотрудничества для идентификации и решения под руководством правительства насущных общественных проблем. Поэтому демократия считается такой политической системой, которая обеспечивает взаимосвязь государства и общества, не лишая государство способности проводить последовательную политику, а только направляя его в сторону общественных нужд и чаяний, интересов и мнений.

Путинский режим, хоть и лишённый признаков истинного авторитаризма, тем не менее антидемократичен в том смысле, что власть отчуждена от населения.

Сторонники Путина, в частности наш коллега Мигранян, неоднократно повторяли, что нынешний премьер-министр и, по существу, лидер страны постоянно работает над укреплением российского государства. Но позиция критиков теории «суверенной демократии» Миграняна, отстаиваемая в данном сборнике Джоном Ферджоном и имплицитно Хосе Маравалем, представляется более убедительной и, возможно, неопровержимой. Если государство встаёт на путь демократизации, быть просто эффективным для него недостаточно. Оно обязано «чутко реагировать на требования общества» и быть ему «подотчётным» в определенном смысле. Например, если бы Путин захотел невозможного и успешно объединил разрозненные ряды российской бюрократии? Стало бы это неким шагом вперёд по превращению государства в чутко реагирующее и подотчётное? Почему стоит так думать? Даже при завершении выстраивания «вертикали власти», что общего это имеет с организацией постоянных консультаций между

государственными чиновниками и представителями общественных сил, что является признаком демократии?

Другими словами, Путин лишь слегка перестроил, но отнюдь не ликвидировал ельцинскую систему управления — она осталась по-прежнему равнодушной к людям, безответственной и оторванной от общества. Он ничего не предпринял, чтобы обычные граждане могли обращаться со своими проблемами к чиновникам и чтобы те не игнорировали их. Наоборот, он приложил максимум усилий для защиты представителей элиты от голоса избирателей, «лишающих чиновников их позиции», и создал «выборы без поражения» (Robertson, 2011, p. 149), хотя в этом отношении он просто продолжил начатое при Ельцине. Мы можем не согласиться с мнением, что «главной целью Путина» было «создание системы, позволяющей некомпетентным чиновникам контролировать национальные богатства» (Inozemtsev, 2011). Но, тем не менее, мы вынуждены заметить, что в «транзитологии» — плоде «холодной войны» — нет достаточных категорий, которые могли бы адекватно определить то стагнирующее политическое устройство, отличающееся несправедливостью по отношению к населению, которое предусматривает Путин. Если такая система в конце концов рухнет, то не в результате демократической мобилизации, а потому, что неэффективный и непоследовательный Кремль попустительствовал выходу конкуренции между инсайдеровскими хищниками, из-под его контроля.

Глава 3. Как растут свобода и демократия на российской почве?

Вступление

Данная статья исходно писалась на английском языке. Ее название — *Russian Perspectives on Democracy, Political Emancipation and Integrity* — можно было бы перевести «Русский взгляд на демократию, политическое освобождение и единство». Однако автор предпочел дать новое название, а сам текст фактически переписать заново, сохранив, разумеется, и логику, и ключевые идеи, и аргументацию, и основную фактуру. Это вызвано не только тем, что читательские аудитории разные. Что нужно пояснять зарубежному читателю, свой поймет с полуслова — и наоборот. Зарубежному читателю нужно было помочь хотя бы попробовать изменить ракурс зрения с учетом нашей истории, наших пристрастий и обычаев. Русскому наоборот — показать, как мы по-своему стремимся к тому же, что и все остальные люди, к большей свободе и благополучию. Дело не только в этом. Сами слова и обороты речи настолько связаны с выявлением смыслов, что для соответствия содержания двух версий статьи зачастую требовались разные способы оформления.

Начну с заголовка. Почему исчез *взгляд, perspectives* (ракурсы зрения, перспективы) понятно. Этот взгляд и так с нами. Для нас скорее проблема суметь взглянуть иначе. Нам нужно скорее сконцентрировать внимание не столько на том, *как* мы видим свою свободу и демократию, сколько на том, *что* является нашим опытом освобождения, *что* сделано и *что* предстоит сделать. Отсюда появление образа роста свободы. Этот образ не случаен. Из индоевропейского корня **leodh* со значением «расти» и образа растущих вместе в древнегреческом и латыни произошло акцентирующее качество название свободных — *ελευθεροι, liberi*

и свободы — *ελευθερια, libertas*, а у нас и немцев собирательное название *людей, die Leute* (Бенвенист, с. 212 и далее).

Действительно, сама свобода растет в самых различных смыслах. Люди, где бы они ни жили, алчут большей свободы. И при всех просчетах и неудачах то тут, то там в мире становится все больше свободы и, главное, свобод разного рода. В суровых краях свобода, как и природа, может оживать под весенними лучами и замирать под зимними вьюгами. В благоприятном климате эти колебания сглаживаются, а в каких-нибудь райских уголках и вовсе становятся незаметны. В русской версии статьи предлагается больше внимания уделить тому, что за свобода и демократия произрастает у нас, какие времена года им пришлось пережить, что же дальше растить нам на нашей родной почве.

Как это по-русски?

В конце апреля 2011 года по средствам массовой информации прошелестела новость. Спикер российского парламента, он же председатель Государственной Думы Б.В. Грызлов перевел-таки на русский язык выражение *суверенная демократия*. Выступая 27 апреля 2011 года на международной конференции в Санкт-Петербурге, посвященной 105-летию парламентаризма в России, он сказал: «Именно самодержавное народовластие или, если перевести это с русского языка на иностранный, суверенная демократия есть самая исторически свойственная вещь для России»¹. Сами эти слова, да и большая часть всего приветственного слова Грызлова буквально воспроизводят — без какой-либо ссылки — основные положения выступления депутата Государственной Думы В.Р.Мединского на парламентском заседании 22 апреля², т.е. за пять дней до выступления Грызлова. Впрочем, само выражение *самодержавное народовластие* сам Мединский ввел куда раньше. Можно сослаться, например, на его слова во время дискуссии в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» 27 ноября 2006 года. Он согласился с ведущей радиопередачи К. Лариной, что термин *суверенная демократия* приватизирован его авторами, и заметил, что в этом нет ничего удивительного. Но

¹ <http://tyumen.er.ru/?news=3574>

² <http://transcript.duma.gov.ru/node/3427/>

при этом добавил: «Слишком мало мы вдумываемся в содержание. Если перевести это на русский язык. То это самодержавное народовластие»³.

Оставим, однако, вопросы первенства и наличие признаков плагиата в выступлении Грызлова. Куда интересней смысл согласованного, надеюсь, мнения представителей «Единой России» в Государственной Думе. При беглом упоминании вечевой практики фактическое начало отечественной демократии относится к эпохе Ивана Грозного и к последующему столетию сословно-представительной монархии. При этом Грызлов сослался на то, что «иностранные послы и путешественники сравнивали тогда российские Соборы с английской палатой общин, а Боярские думы, с которых впоследствии и было взято название для российского парламента, — с палатой лордов»⁴. Замечание странное, ибо в мировой политической науке сословное представительство отнюдь не считается современной демократией или даже несовременной ее формой. Сошлюсь на яркое суждение классика обществоведения и политологии Чарльза Тилли. В своей книге о соперничестве и демократии с 1650 по 2000 год он предлагает вооружиться «поисковиком демократии XXI века» и отправиться в век XVII. Что мы обнаружим, высадившись в 1650 году? «Обилие революций и войн, но считанные признаки демократии», — отвечает Тилли (Tilly, С. 42). Даже отдельные признаки единичны — и это в мире, где, по оценке Тилли, уже существуют около двух сотен режимов. Демократий как политических систем не видно вообще, да и не скоро они появятся. При самых мягких критериях полиархии только положение, связанное с выборами 1848 года в США можно оценить как демократическое, а фактически об американской полиархии, да и то с оговорками, можно говорить только после Гражданской войны. Вообще же за немногими исключениями (США, Швейцария, некоторые британские колонии и доминионы) история демократий начинается только в XX веке. Даже старые демократии фактически очень молоды. Как отмечает Роберт Даль, в Западной Европе «до 1900 г. только во Франции, Италии и Швейцарии были каби-

³ <http://www.sps.ru/?id=217458>

⁴ <http://tyumen.er.ru/?news=3574>

неты или премьеры, полностью подотчетные избираемому законодательному органу». «Конечно, — продолжает американский политолог, — в Великобритании зависимость премьер-министра и кабинета не от монарха, а от парламентского большинства утвердилась в качестве конституционного принципа уже к концу XVIII века; но до 1911 года праву палаты лордов изменять, продлевать и препятствовать законодательству в сущности так и не был положен конец» (Даль, С. 360–361). Вообще же замечу, по формальным критериям полиархии Великобритания превратилась из соревновательной олигархии в демократию только после Первой мировой войны. На мой взгляд, символическим рубежом можно считать политический кризис 1931 года и трансформацию британской партийной системы.

Еще поразительней молодость устоявшихся демократий в Нидерландах и Скандинавии. Даль пишет: «В Нидерландах подотчетность была достигнута в первой декаде века, в то время как в Скандинавских странах парламент получил от монарха контроль над правительством лишь после острых и продолжительных конституционных кризисов: Норвегия в 1884 году, хотя она не обрела независимости от Швеции и шведской короны вплоть до 1905 года, Дания — в 1901 г., а Швеция — только в 1918 г.» (Даль, С. 361)

На этом фоне датировать начало отечественной демократии XVI веком, то есть за три столетия до того, как современная демократия или полиархия вообще возникла в мире, по меньшей мере, удивительно. Данное утверждение будет трудно понять и принять гражданам самых старых демократий, возникших только в конце XIX или в начале XX века. Оно звучит просто абсурдно для специалиста-политолога. На чем же основаны подобные опрометчивые оценки? На прямом отождествлении типа правления, где присутствовали Земские соборы, и типа правления, где функционирует нынешняя Государственная Дума. Раз можно найти какой-то признак демократии, например выборы или публичные дебаты, то это демократия и есть без оглядки на то, куда этот признак встроен, в каких условиях, в какую историческую эпоху обнаруживается.

Впрочем, подобные отождествления отнюдь не последовательны и систематичны. С одной стороны, благожелательно принимаются весьма сомнительные мнения западных путешественни-

ков о сходстве наших Соборов с парламентом, а Боярской думы с палатой лордов. А с другой — через пару строк отвергаются. Руководящие представители всенародно избираемой палаты противопоставляют выделяемую ими схему самодержавного народовластия действительной традиции формирования и консолидации самостоятельных представительных органов власти: «Наши Соборы не противостояли царской власти, как сеймы и ландтаги на Западе, а дополняли ее своими властными полномочиями»⁵. Не вполне ясно, откуда эти полномочия в логике Грызлова и Мединского возникали. Если всего лишь октроировались монархической властью для разыгрывания ритуалов ее поддержки, то совершенно неясно, как могли дополнять. Если формировались на основе диалога власти с представителями подданных и возникавших в результате договоренностей двух партнеров, двух субъектов политики — хотя бы только по вопросу о сборе налогов — то это как раз то, что характеризуется лидерами «Единой России» в Государственной Думе как противостояние. Фактически как у нас, так и в Европе можно найти множество конкретных вариантов, которые в ходе истории постепенно закрепляли поворот либо к одной, либо к другой крайности. Либо к соправлению короля и парламента (юридическая формула английской конституции *King in Parliament* — суверен полномочен лишь «в парламенте», в согласии с ним, а парламент только тогда, когда суверен «входит в его состав») в результате Славной революции 1688 года, либо к чисто ритуальной роли всеодобрителя последних Земских соборов при ранних Романовых.

При всей конъюнктурности и выборочности исторических сопоставлений одно принципиально и неизменно. Это полное отождествление Грызловым нынешнего политического строя и порядков четырехсотлетней давности: «Я уже говорил о системе конструктивного взаимодействия между органами законодательной и исполнительной власти, которую удалось выстроить в сегодняшней Государственной Думе. Наши предки нашли и освоили этот путь еще 400 лет назад, и в этом — уникальность русской демократии, русская придумка»⁶. Фактически нынешнее

⁵ <http://tyumen.er.ru/?news=3574>; <http://transcript.duma.gov.ru/node/3427/>

⁶ <http://tyumen.er.ru/?news=3574>

положение с разделением властей, не только декларируемое конституцией, но и подкрепляемое политической практикой — пусть даже противоречиво и непоследовательно, совершенно бесосновательно отождествляется с неразделенностью или симфонией законодательных и исполнительных полномочий интегральной власти русского царства или самодержавия (об этом чуть ниже) четырехсотлетней давности. Странно слышать такие резкие обвинения нынешнего режима в несовременности от руководителей «Единой России» в Государственной Думе. Отчетливое уподобление суверенной демократии самодержавному народовластию, понятому как согласие ветвей власти, а фактически как подчинение народного представительства интегральной, неразделяемой суверенной власти несправедливо по отношению к нынешней российской форме правления. Мы живем отнюдь не во времена Ивана Грозного и Жана Бодена, когда власть суверена мыслилась как неделимая ни в принципе, ни на деле. Дело не только в формальной стороне: российская Конституция провозглашает разделение властей, достаточно ясно очерчивает полномочия как президентской, так и прочих властей, включая исполнительную и законодательную. И фактическая Конституция вполне учитывает наличие у представительных органов определенных законодательных и контрольных полномочий. Так что отождествление нынешней российской власти с боденовской моделью, а тем более ивановской практикой является грубым анахронизмом и принижением достижений отечественной демократии, какими бы ограниченными они ни были в глазах критиков. Собственно, Борис Грызлов и Владимир Мединский оказываются не просто критиками, а крайне радикальными критиками нашей отечественной демократии, способным дать сто очков любым «злопыхателям России».

Означает ли это, что предложенный В.Р. Мединским — талантливым и плодовитым публицистом — еще в 2006 году перевод выражения *суверенная демократия* как *самодержавное народовластие* неверен. Отнюдь нет. Напротив, это очень суггестивная (подсказывающая) находка, во многих отношениях удачная и точная. Если оставить в стороне прямолинейные и анахронистские отождествления, этот перевод позволяет акцентировать важные связи между современными институтами демократии и различны-

ми историческими обычаями и практиками, которые внесли вклад в формирование отечественной традиции. Не только у нас, но и повсюду демократия как «свободное правление» (так нередко характеризовали демократию политические мыслители на Западе) в основном строится из «сора» недемократических институтов. Выборы, конституции, признание верховенства законов, иммунитета народных представителей и т.п. возникли задолго до того, как в конце XIX и в начале XX столетий в некоторых странах начали формироваться современные демократические системы. Эти многочисленные открытия и создания, возникшие еще в недемократические времена, после своего включения в демократический ансамбль институтов приобретают ясные демократические функции и начинают трактоваться как демократические (выборы, конституции, институты, организации).

Это общее правило наследования справедливо и для отечественной демократии. Без знания и понимания превратностей и исторических превращений свободы и участия народа в отправлении власти трудно, если вообще возможно, строить институты современной демократии на русской почве.

Превратности русского освобождения

На своем жизненном пути каждый человек, каждый народ на свой лад реализует общие устремления к свободе, благополучию и счастью. Превратности русского политического освобождения не исключение. Нам приходится так или иначе давать свои ответы на всеобщие вызовы.

Россия является таким же членом глобального сообщества государств, как и другие. В настоящее время члены этого сообщества используют диаметрально противоположные абстрактные модели отношений между населением и властью, причудливым образом смешивая их на практике. Одна из моделей предполагает одностороннее подчинение людей власти, другая — взаимодействие между ними, включая подотчетность властных кругов. Безусловно, в любом государстве можно обнаружить институты и практики как подчинения, так и взаимодействия и подотчетности. Вопрос состоит в том, какие из них доминируют и формируют политический порядок. Те, в которых преимущество принадлежит принципам подчинения, являются менее современными

и более автократическими. Те, в которых победили принципы взаимодействия и подотчетности — более современные и демократические. Во многих случаях мы становимся свидетелями сложного процесса, в рамках которого происходит значительное ослабление влияния принципов подчинения за счет их вытеснения выступающей на передний план моделью подотчетности.

Включение в международную систему государств заставляло Россию изменяться. С конца XVII века российское государство последовательно подвергалось европеизации. С эпохи Великих реформ, начатых в 1860-е гг. Александром II Освободителем, страна вступила на путь модернизации. В результате к нынешним временам в России развились институты, претендующие на то, чтобы называться и быть современными. Формирование этих институтов, культур и обычаев повлияло на появление демократических черт российского государства. Важно понять, каким образом в России проходил процесс вытеснения несовременных принципов подчинения новыми и зачастую неизведанными начинаниями по оценке действий властей и отклика на них. Можно выделить хорошо укоренившуюся традицию централизованной вертикали власти, которая противостоит принципам партнерства и взаимности контрактных отношений. Однако в равной степени необходимо признать наличие у русских врожденной склонности к воле, к утверждению собственного достоинства и независимости. Своеобразные повороты российской истории породили массу комбинаций идей и практик, в которых соединились подобные противоречивые устремления.

Современная форма российского государства представляет собой промежуточный итог долгого и двусмысленного политического высвобождения, отмеченного повторением трагических моментов, когда торжество освобождения вело к попятным движениям — к самим себе навязанным ограничениям и к подчинению. Появление в конце XV века Великого княжества Московского ознаменовало освобождение от трехвекового внешнего господства. Этот великий акт решительного освобождения тут же обернулся полным подчинением самодержавному государю. Данной перипетии было дано затем неоднократно повторяться в дальнейшей истории страны. Так, к середине XVII века после Смуты и победы над польскими и шведскими агрессорами кон-

солидировалась в высшей степени централизованная политическая власть первых представителей династии Романовых, была закреплена жесткая система обязательной личной повинности всех без исключения царю, была введена наиболее радикальная форма крепостного права.

Отечественная война 1812 года была блестящим актом отражения иностранной агрессии. Страна вновь пробудилась как суверенная автократическая держава, которой суждено было сохранить политический и нравственный порядок в постнаполеоновской Европе, как Александр I Благословенный торжественно объявил на Венском конгрессе. Это был еще один акт полного освобождения от иностранной оккупации, превратившийся в укрепление власти самодержавного правителя.

Следующий этап освобождения — отмена крепостного права в 1861 году — казался многим радикалам довольно скромным. Однако на самом деле этот период был периодом подлинной модернизации, где за мягким поворотом к свободе (точнее и важнее институционально закрепляемым свободам) последовал также отнюдь не жесткий поворот к консолидации власти имперского центра.

В начале XX века накопившиеся противоречия модернизации огромной и гетерогенной страны привели к великой освободительной революции самообъединения. И снова всеобъемлющий акт полного высвобождения обернулся открытой диктатурой.

Великая Отечественная война 1941–1945 годов воссоздала образец Отечественной войны 1812 года с очень похожими результатами. Освободительная борьба с фашизмом привела к доминированию супердержав на международной арене и новому виду автократического режима внутри страны. Бремя амбициозных притязаний СССР вызвало кризис. Казалось, выход из сложившегося положения открыла очередная, на этот раз демократическая трансформация. Распад СССР в декабре 1991 года подготовил почву для образования новых государств, каждое из которых претендовало на статус демократического. В каждом случае масштабный акт высвобождения привел к особым конфигурациям политических институтов и практик. В большинстве своем эти конфигурации были и продолжают быть чрезвычайно неоднозначными, сочетая в себе демократические и автократические черты.

В современной России это противоречие отчетливо выражено. Соблазн достичь радикального прорыва к безупречному и полному единству власти и народа (намного более давний, чем сама история российской демократизации) привел к возобновлению попыток объединения России сверху-вниз с помощью властной вертикали. Невозможно понять переплетение противоречащих друг другу тенденций и осуществлять выбор политических альтернатив, если игнорировать влияние исторического наследия на современную российскую политику. Нельзя оценить нынешнее состояние отечественной политики, нынешние возможности нашей демократии без учета трагической истории борьбы за свободу. Чтобы понять ее, нужно принять во внимание то, как участники этой борьбы воспринимали и обозначали свои попытки и институты, которые они создали. А начать необходимо с того, как наши предки называли и понимали народовластие, свободное участие людей в решении политических вопросов.

Истоки

Само слово *демократия* до середины XIX столетия редко употреблялось в России. Его первое упоминание можно обнаружить в переводе работы Самюэля Пуфендорфа «Введение в историю Европы» (1718). Несмотря на довольно позднее появление, слово *демократия* к середине XIX быстро приобрело особенный русский смысл. Демократия объявлялась характерной чертой быта русской крестьянской общины. В этом отношении она казалась уникальной и не имела ничего общего с демократией на Западе. Такое представление получило «научное» подкрепление благодаря немецкому ученому Августу фон Гакстгаузену (1792–1866), который в 1843–1844 гг. по приглашению российского правительства предпринял поездку в Россию. По ее результатам он издал трехтомное сочинение (Haxthausen). В третьем томе этого исследования он уделит внимание русской крестьянской общине и осветил некоторые принципы ее самоуправления, напоминающие прямую демократию. Книга была доступна в России, но переводить ее было запрещено. Только в 1857 году «Современник» напечатал отрывки из работы Гакстгаузена, посвященные крестьянству. Это был поворотный период времени, отмеченный глубоким социальным кризисом и текущей подготовкой отмены крепостного права

и последующих модернизационных реформ. На данном этапе умы интеллектуальных кругов занимали разговоры о демократическом инстинкте русских крестьян и исконной предрасположенности русской крестьянской общины к безупречной и неискаженной (прямой) демократии. Есть ли существенные аргументы в поддержку подобных заявлений? Действительно, демократический потенциал вовлечения людей в процессы принятия решений можно обнаружить в любой культуре с первобытнообщинных времен. В отношении России подобные демократические традиции нашли достаточно широкое отражение в истории и все еще существовали в отдельных локальных сообществах в XIX веке и даже позднее.

Когда в середине XIX века в великой европейской державе немецкий ученый-юрист усмотрел в крестьянской общине черты прямой племенной демократии, это могло показаться его получившим западное образование русским читателям чем-то экзотическим и многообещающим для развития России. В контексте разнообразных политических событий, произошедших с тех пор во многих частях мира, включая территории на периферии Европы, в этом нет ничего особенного. По всему миру можно обнаружить следы архаичных и даже первобытных обычаев. Россия в этом не исключение. Более необычным предметом исследования представляются формы сосуществования в политической жизни глубоко укорененных демократических принципов⁷ с другими властными установками, включающими некоторые чрезвычайно недемократические и откровенно авторитарные⁸. Племенная демократия восточных славян взаимодействовала с установками в равной степени рудиментарными, а именно с военной демократией варяжской дружины Рюрика, который был призван для установления общей военно-торговой инфраструктуры.

Консолидация механизма наследственной передачи власти в Киевской Руси имела легитимную основу в виде особых взаимоотношений между князем и народом. Существует довольно ограниченный объем информации относительно того, как эта система

⁷ В данном случае демократические принципы предполагают наличие обратной связи путем подотчетности, то есть соединение прямого участия общинников или дружинников со столь же прямой подотчетностью им вождей. — *Прим. авт.*

⁸ Авторитарные принципы также понимаются предельно обобщенно как отсутствие обратной связи и какой-либо подотчетности. — *Прим. авт.*

работала на самом деле. Систематический анализ древнерусских летописей доказал, что практически во всех описаниях «народной» активности внимание летописца было сконцентрировано на князе как центральном элементе повествования. Тем не менее довольно значимы были такие полисные структуры, обладающие демократическим потенциалом, как древнерусское *вече*, *весь град* (общее собрание горожан), *старцы градские*, *сбор*. В равной степени важны были такие структуры, как *дружина* (ранний княжеский совет) и *дума* (поздний княжеский совет) и т.д.

Полисная демократия сосуществовала с аристократическим и монархическим порядком, образуя зачастую их причудливые сочетания друг с другом. Во многих частях страны княжеское правление существенно преобладало. В других городах периоды аристократического правления бояр или демократический контроль населения сменяли друг друга на протяжении различных периодов времени.

После завоевания Руси Золотой ордой в 1236–1242 гг. князья стали единственной властью, способной контролировать политический порядок на русских территориях, подчиненных Орде в восточных и южных частях бывшей Киевской Руси. Их правление гарантировал ханский ярлык. В мирском отношении хан был верховным источником всей власти, хотя и считался с рюриковскими традициями отечества и дединства. Власть делегировалась лишь в одном направлении — сверху вниз. Однако было одно, но довольно существенное исключение. Князья должны были также сохранять христианскую державу (буквально, что-то, что держит вместе), что объединяло их с народом, а внутри страны было альтернативным источником власти и княжеского авторитета.

С начала XIV века литовские правители установили режим военного завоевания в западных краях бывшей Киевской Руси. Возможно, этот режим был менее жестким, чем на востоке и юге, но по характеру сходен. На севере верховенство хана было формально признано, однако на деле двум республикам — Новгородской (1136–1478) и Псковской (1266–1510) — удалось де-факто сохранить свою независимость. Эти республики были почти идеальными смешанными, полибиевскими политиями, обладающими сильной аристократической компонентой, довольно похожими на свои современные аналоги в Европе. Как и следо-

вало ожидать, важные демократические практики и традиции сохранились здесь на долгое время. Намного более существенным был факт выживания первобытной демократии на периферии — географической и социальной, там, где она была обнаружена Августом фон Гекстгаузеном спустя века.

В Древней и Средневековой Руси, как и повсюду вплоть до недавнего времени, принципы демократии и автократии не различались и не противопоставлялись друг другу, а на самом деле были тесно переплетены. И действительно, в средневековых русских текстах такие вышеупомянутые слова, как *самодержавие*, *самовластие* и *самоволие*, использовались для обозначения как правления с обратной связью и подотчетностью власти, так и прямого господства неподотчетной власти. Различение демократии и автократии, если современный исследователь попытается «вычитать» его, можно обнаружить едва ли только в контекстах, а не собственно в тексте. Оно зависело бы от того, что за субъект рассматривается: все общество или правящая верхушка, или, что более часто, оба этих субъекта, образующие одно политическое целое. Данный взгляд фокусирует концептуальную суть — консолидацию власти, тогда как формы этой консолидации (моноцентричная, полицентричная или рассредоточенная) оттесняются на периферию рассмотрения.

Русское слово *самодержавие* часто переводится как автократия. Его неточно воспринимают как славянскую кальку греческого оригинала⁹. Однако в греческом языке слова автократия не было, а словом *автократор* именовался император Западной Римской империи, свой же восточный — базилевсом. Так что автократия — это калька латинского оригинала. Что касается соответствия славянских корней греческим, то первые компоненты (авто- и само-) можно считать в некоторой степени эквивалентным обозначением «себя», вторые же части отличны друг от друга. В обоих случаях речь идет о власти, но о власти разного рода. Греческое слово *кратос* обозначало принудительную и инструментальную власть, сочетающую идеи военного и

⁹ За соответствующие разъяснения и критику английской версии данной статьи благодарю Евангелию Сембу, председателя секции истории политической мысли британской Ассоциации политических исследований. — *Прим. авт.*

физического превосходства и выносливости (Бенвенист). Славянское слово *держава* подразумевает объединяющую власть, держащую людей вместе (основа — *дер-* от и.е. **dher-* «держатъ вместе»). Таким образом, в то время как автократия предполагала принуждающую неограниченную силу субъекта над его подданными, самодержавие означало самобъединяющую власть, включающую как правителя, так и управляемых.

В индоевропейском семействе традиций слова, образованные от корня **dher-*, связаны с обозначением коренных принципов мироустройства (Ильин). Это не только славянская *держава*, но также латинская, а затем и западноевропейская *форма* (*forma*). Это также индийская *дхарма* (*dhárma*) (Цымбурский 2010). У славян под державой понималось, вероятно, то, что скрепляло племя, например заветы предков. После Крещения Руси в IX веке слово *держава* стало обозначать высшую власть христианского Бога — характерно одно из его имен *Вседержитель*¹⁰. Однако одновременно держава продолжала также символизировать общее наследие и власть династии Рюриковичей, а князь воспринимался как держатель и патриархальной традиции, и новой сакральной власти, дарованной ему свыше как помазаннику (Ильин 1997).

С этой точки зрения самодержавие не является только автократией в узком европейском смысле простого и прямого доминирования. К этому смыслу добавлено еще и понимание самодержавия как интегрирующей скрепы, как всеобщей мирской инстанции, наделенной властью свыше и обеспечивающей целостность мира. Концептуально самодержавие предполагает, что как власти, так и народ образуют одно политическое целое. На самом деле эта концептуальная схема была настолько сильной, что легла в основу, пожалуй, самого распространенного советского лозунга «Народ и партия — едины». В действительности любая власть в России постоянно была бы одержима этим заветом достижения единства с народом. Доминирующая в Государственной Думе партия имеет характерное название *Единая*

¹⁰ Характерно, что по-гречески это имя звучит Пантократор (παντοκράτωρ), а в латинской Библии это имя просто транслитерируется. Кстати, в христианской традиции и на Западе, и на Востоке Пантократор это не просто «всевластный», но также и «всемогущий» и «всесозидающий». Налицо смысловое сближение со славянской идеей самодержавности. — *Прим. авт.*

Россия. Это название некорректно переводят на английский язык как *United Russia*, что соответствовало бы названиям *Объединенная Россия* или *Соединенная Россия*. Для русского уха разница между словами *объединенный* (соединенный из разрозненных частей) и *единый* (целостный, исключаящий внутренние разделения) бесспорна.

Суверенный, свободный и равноправный в отношениях с равными себе — это ключевое значение прилагательного *самодержавный*. Вплоть до самого XIX века прилагательное *суверенный* использовалось в российских дипломатических документах как стандартный термин для обозначения суверенной власти царя (Рощин 2006; Рощин 2008). И даже позже изначальный термин *самодержавный* и транслитерированное слово *суверенный* продолжали использоваться как синонимы до тех пор, пока в советские времена предпочтение не было отдано последнему. Концептуальная память автократической составляющей суверенитета продолжает оказывать влияние на дискурс последних лет — от идеи провозглашения своего суверенитета бывшими Союзными республиками, автором которой был Борис Ельцин, до суверенной демократии Владислава Суркова.

Власть против народа

Появление в конце XV века Великого Княжества Московского было решающим шагом на пути к освобождению от трехсотлетнего иностранного господства, получившего колкое название татаро-монгольского ига. В этот период времени Иван Третий Великий и его зять Стефан Великий Молдавский использовали концептуальное новшество. Провозгласив независимость от Золотой орды и Османской империи соответственно, они назвали себя *государем* и *господарем* (две альтернативные формы одно и того же слова), а подконтрольные им политические образования — своими «владениями» или «хозяйствами», то есть *государством*¹¹ и *господарством* соответственно.

¹¹ Хотя в современной России слово *государство* является стандартным русским эквивалентом европейским терминам *the state, der Staat, l'Etat etc.* его смысловое содержание во многом отлично (Хархордин 2002) или даже контрастно (Пивоваров 2001). — *Прим. авт.*

Слово *государь* является всего лишь формой старославянского слова *господь* (господин). Корни этого слова уходят в индоевропейское понятие власти над чужестранцами. Славянское слово *Господь* соответствует реконструируемому индоевропейскому слову **hos(t)potis*, которое образовано от корней **host* и **pot*. Соответственно индоевропейское слово **hostis* означает «чужак», а **potis* — мужчина, выступающий вместе со своей парой **potnia* (отсюда славянская *панна*) прокреаторами рода, его родоначальниками здесь и сейчас. Иными словами, *господь* политически обеспечивал важную функцию различения своих и чужаков (вспомним К. Шмитта), а также определения того, кто из чужаков может быть принят в род, а кто — отвергнут и признан врагом (Ильин 1997).

Первобытное господство после череды превращений дало на исходе Средневековья не только в Восточной, но в Западной Европе сходные политические формы централизованной организации власти на определенных территориях. Названиями этих форм были *dominium* лат., *Herrschaft* нем., *heerlijkheid* нид., *seigneurie* фр. и, наконец, *signoria* ит. Так что объявлять *государство* или *господарство* уникальной придумкой русских или молдаван безосновательно. Этими разными словами обозначался примерно один структурный тип правления при всем различии стилистики или масштабов властвования: от огромного московского государства до крохотной нидерландской сеньории Турне — она же херлекхейт Доомик.

Чтобы подчеркнуть свой особенный статус, Иван III стал называть себя не просто государем, а великим или самодержавным (независимым) государем. Характерно, что другое русское политическое образование — Новгородскую республику — часто называли Господин Великий Новгород, что в современных терминах можно понять как Великий суверен Новгород. В любом случае притязания правителей и Москвы, и Новгорода на обладание статусом самодержавного государя означали, что и государь, как в условиях абсолютной княжеской власти, так и республиканской формы правления, и его подданные были объединены в рамках одной державы, одного государства. Подобное единство было залогом свободы перед лицом внешнего порабощения.

Противоречия подобной концептуализации могут отчасти объяснить, почему первый же знаменательный успех в долгой исто-

рии нашего политического освобождения быстро обернулся появлением крайних форм подчинения внутри государства (или скорее владения) великих князей Московских. Как уже отмечалось, подобной исторической превратности, обращению освобождения в подчинение суждено было повторяться снова и снова на полном трагических потрясений пути России к обретению свободы.

Несмотря на автократический контроль со стороны правителей на протяжении двух поколений, появились новые важные элементы, обладающие демократической природой, в частности система представительных органов. Было три основных вида этих органов. Имеющей наиболее длинную историю была Дума периода Древней Киевской Руси. Ее аналогами были совет старейшин у англосаксов (*witena gemōt*) или английский королевский совет (*curia regis*). В основном Дума состояла из бояр, или феодалов на английский манер. Помимо них в Думу входили несколько княжеских судей. В Московском государстве Боярская дума стала чрезвычайно важным органом, настоящим партнером великого князя. Именно в этот период времени появилась формула двойного решения: царь указал и бояре приговорили. Как раз после трагических событий Московского восстания в июне 1547 году юный царь Иван, который был коронован в январе того же года как Великий Государь Всея Руси, Царь и Великий Князь Владимирский и Московский и т.д., создал параллельно функционирующий неформальный совет для управления страной. Однако этот шаг был всего лишь временной мерой. В 1549 году царь созвал так называемый Собор примирения. Он состоял из трех органов: Боярской думы, Освященного собора и Земского собора. Была сделана попытка, хотя и не долговечная, создать структуру четырех сословий: царя, знати, духовенства и общин, причем у последних трех сословий были бы свои ассамблеи. Эта попытка провалилась. Сословия как таковые не смогли развиваться и в конце концов, были сформированы сверху уже в имперской России. К сожалению, предложенная схема была обречена. В скором времени Иван Грозный начал прибегать к систематическим физическим расправам и даже разделил страну на Земщину и Опричнину, чтобы подавить любые зачатки неповиновения.

С середины XVI века все виды ассамблей созывались более или менее регулярно. Земский собор при Иване Грозном

был важным, но подчиненным органом. По существу, он использовался для уравнивания Боярской думы. Соборы конца XVI – начала XVII веков служили инструментами политической манипуляции для различных центров власти, зачастую иностранных. В условиях распыления власти в 1610–1613 годах Земский собор стал фактическим самостоятельным органом законодательной и даже исполнительной власти. Он провел ряд региональных соборов и специальное совместное заседание для избрания нового царя и основания новой династии. При Михаиле соборы собирались регулярно до 1622 года и внесли существенный вклад в консолидацию нового политического порядка. Этот порядок предполагал централизацию власти, выстраивание ее вертикали. В своем прежнем виде соборы стали не нужны и не собирались вплоть до 1632 года. Затем они вновь начали созываться. Однако теперь их функции состояли лишь в том, чтобы узаконивать и легитимизировать основные решения крепнущей царской администрации. Последний полноценный собор собирался в 1653 году для утверждения присоединения Украины к Российскому Царству. Последующие соборы, несмотря на политическую важность актов, которые они ратифицировали, были ограничены в полномочиях и прекратили созываться после 1684 года. Так что грызловское «столетие сословно-представительской монархии» (с 1549 по 1684 год) распадается на качественно различные стадии (историки традиционно выделяют шесть отдельных периодов существования соборов), где соотношение представительности и господства существенно меняется, а пресловутая «русская придумка» то появляется, то исчезает.

В середине XVII века длинный и не лишенный драматизма процесс смены понятий и институтов Российского государства, царства, державы, отечества и т.д. достиг своей кульминации. В Европе это время было связано с окончанием эпохи конфессионализма, увенчавшимся Вестфальским миром. Европейские суверенные правители освободились от обязательного подчинения божественной власти и теперь зависели только от государственного интереса. Им предстояло рационализировать взаимодействие со своими субъектами путем создания бюрократических сетей и представительных органов. В России в

это время протекали не менее важные процессы. В результате репрессий, проводимых Иваном Грозным во второй половине XVI века, а также эпохи Смуты в начале XVII века и последовавшей за этим перекройки царских владений, существенно сократилось число бояр, городов, церковных институтов и других политических образований. К середине XVII века, преодолев состояние, близкое к развалу, в котором страна находилась в начале века, Россия воссоединилась. В результате второго коренного перелома, коим стало самообъединение, Россия вновь стала суверенным и самодержавным государством. Этот период получил название Великой русской самодержавной революции (Пивоваров и Фурсов. 1997). Вышеупомянутый образец радикального освобождения, оборачивающегося полным подчинением, вновь повторился.

В отличие от Западной Европы, которая была территориально разделена, Россия, или скорее Северная Евразия отличалась территориальной целостностью. В Европе суверенные государства создали разноуровневые институты для делегирования власти. В России же все прежние политические органы были лишены своей значимости и только один Царь являлся единственным авторитетом для своего царства и своего народа.

Очевидно, что в этот период вновь установилось единство народа и власти, характерное для примитивного общества. Так называемая Русская система, как ее схематически представляют Пивоваров и Фурсов, полностью сосредоточена вокруг власти. Она основана на единственном политическом институте и единственном источнике власти, абсолютном авторитете или непосредственно власти, воплощенной в царе-государе. Он, в свою очередь, объединен с полностью обезличенным населением, а не народом, поскольку народ и представляющие его прежние политические органы, города, местные наследственные владения или вотчины, протосословия и их представительные органы, совместные органы разного рода и т.д. в действительности потеряли свою мощь. Естественным компонентом Русской системы является отчужденный компонент, или, как его метко называют Пивоваров и Фурсов, — лишние люди. Они стремились либо войти во власть, либо создать альтернатив-

ную политическую структуру, но не смогли сделать ни того, ни другого. Сам термин Пивоваров и Фурсов позаимствовали из языка пушкинских времен. Именно Пушкин описал типичного лишнего человека — своего друга и великого мыслителя Петра Чаадаева.

Он не рожден для службы царской,
Он в Риме был бы Брут,
В Афинах — Периклес,
А здесь он — офицер гусарский.

Парадоксально, но все три элемента Русской системы в равной мере соединяют в себе демократические и авторитарные инстинкты, намерения и предпочтения. Все они разделяют общий идеал максимального единства власти и народа.

Модель Русской системы обнаруживает важные и неизменные характеристики властных отношений в России со времен Великой русской самодержавной революции. Эвристичность достигается за счет высокой обобщенности. Подобный панорамный взгляд фокусирует концептуальную суть — консолидацию Власти и ее единение с Населением, тогда как многие другие важные аспекты российской политики и обычной жизни отесняются на периферию рассмотрения. В то же время, как неоднократно подчеркивали сами создатели модели Русской системы, такая обширная, с длительной историей страна, как Россия, просто не может не дополнять предельно обобщенный принцип единения Власти и Населения множеством более мелких ухищрений. Многие другие модели правления, управления и принятия решений применялись в особенности на географических и социальных перифериях, а также в специфических сферах деятельности. Именно там выжили недоразвитые и даже примитивные образцы демократического управления в виде деревенских общин.

Прошло почти два столетия и около века европеизации. Самодержавное государство разрослось до такой степени, что из практических соображений пришлось создавать широкую сеть институтов для регулирования отношений между индивидами, группами индивидов и имперской суперструктурой. Однако куда важнее было то, что за это время возникли два важных

политических понятия: Отечество (государство, обладающее длинной концептуальной историей благодаря общему наследию, передающемуся из поколения в поколение и концентрирующемуся на территории вотчины) и член этого государства, обычно называемый Сын Отечества. Эти два понятия были чрезвычайно важными альтернативами как концепту «Власти», так и концепту «Населения». В высшей степени персонализированная Власть стала деперсонализированной, а обезличенное Население превратилось в сообщество сынов государства — каждый со своим лицом и личной связью со страной и народом.

Само название Отечественная война (война Сыны Отечества за свою Родину) подчеркивает сознательное стремление русских людей отразить наполеоновскую агрессию и осуществить еще один переход к освобождению и самообъединению сынов одной родины, которые по отдельности готовы были выполнить свой общий долг, сражаясь с иностранными захватчиками. Победоносному Александру I, нареченному своей бабушкой Екатериной II в честь Александра Македонского, предстояло построить постнаполеоновский порядок в Европе на чрезвычайно гуманных христианских принципах. Он стремился стать конституционным монархом, чего дома в Санкт-Петербурге не мог себе позволить. Ему пришлось оставить проекты конституционных преобразований как раз накануне Отечественной войны. Но в Вене он выторговал себе королевство и стал конституционным монархом Польши. Ирония в том, что его самые благие порывы только стимулировали автократическое презрение к либерализации где бы то ни было: в Европе, Польше и в самой России. Стремление России к освобождению выродилось в усиление автократической власти.

Однако не все было так просто и однозначно. Внутреннее политическое развитие вкупе с попытками вестернизации и интеграции России в европейский политический порядок привело к серьезным изменениям. Возможно, решающим изменением было появление такого понятия, которое бы обозначало людей не только как народ, но и как потенциального актора, способного встать на защиту самой России. Обычно народ был молчалив, как, например, в символической сцене выборов царя в пьесе Пушкина «Борис Годунов», но был способен действовать спонтанно

и решительно в такие революционно важные моменты, как Отечественная война.

Провозглашение направляющей идеологической формулы было важным отражением произошедших перемен и нового сочетания основ российской политики. Православие, Самодержавие, Народность (национальность, способность людей мыслить как единый русский народ). Не секрет, что эта формула, придуманная министром образования России Сергеем Уваровым в 1833 году (еще одна «русская придумка?»), была созвучна с формулой Французской революции: «Свобода, Равенство, Братство» и потому была «русской версией основной европейской идеологии реставрации и реакции» (Riasanovsky 2005, С. 133). Однако в равной мере верно, что эта формула переопределила властную структуру внутри Русской системы. Православие подтвердило старый принцип сакральной державы, в которой власть государю дается свыше. Самодержавие предполагало прагматическое функционирование державы автократа и его полицейской государственной администрации, а также суверенитет и целостность России. Народность указывала на то, что в действительности русский народ был ядром, на которое была направлена концептуализация и осуществление политики. В действительности именно третья компонента подтвердила фактическое преобладание власти в руках народа. Концептуально это означало, что русский народ стал еще одним источником власти наряду с государем и автократом. Был открыто признан современный принцип организации политики снизу-вверх. Сейчас кажется очевидным, что это признание было главнейшим условием для приближающейся модернизации и демократизации, будущее которой, тем не менее, было туманным.

Тройственная формула была шагом вперед на пути к рационализации политической целостности не только концептуально, но и функционально и структурно. Она подвергалась решительным нападкам со стороны славянофилов Ивана Киреевского и Алексея Хомякова, которые попытались разработать новую интегрирующую идею для России, идею Соборности. Она содержала в себе коннотации с соборами патриархального прошлого Московии и романтизированного духовного единства народа и царя.

Суверенитет самодержавного народа

В сочинениях А.И. Герцена, а затем и Н.Г. Чернышевского и его сподвижников самодержавие царей было противопоставлено самодержавию народа (еще одна «русская придумка»?). Произошел качественный сдвиг в мышлении о политике. Его подготовило появление в отечественном политическом дискурсе сначала отдельного от царя-батюшки понятия Отечества (примерно за 5–6 поколений в обращении Петра I к войску перед Полтавой), затем за 2–3 поколения выражения Сыны Отечества, наконец, за поколение до Великих реформ идеи народности — и в уваровской, и в пушкинской версиях, и в интерпретации последней В.Г. Белинским. Свою роль сыграло, конечно, возникновение идеи суверенитета народа в Европе, попытки ее реализации и в Европе, и в Америках. Как бы то ни было, к середине XIX века в образованных кругах русского общества народ уже мыслится как самостоятельный деятель, способной взять на себя основную традиционную функцию политики: «держание всех вместе», обретение всеми единой свободы. В национальную традицию вносятся новый взгляд на вещи. Единство и целостность в свободе оставались непререкаемыми приоритетами, однако они могли быть обеспечены именно народом как истинным сувереном или самодержцем.

Первые русские демократы, если демократами называть тех, кто отдавал приоритет народному участию и народной перспективе в политике, чрезвычайно оптимистически смотрели на будущее крестьянской демократии или даже социализма в России. В 1862 году радикальными демократами была создана революционная организация «Земля и воля». Название этой организации дает ясное понимание ее целей, состоявших в расширении скромных рамок освобождения крепостных и в намерении добиться намного более радикальных изменений в процессе перераспределения земли вкупе с обеспечением разного рода личных свобод. Это рискованное начинание быстро сошло на нет. Оно было жестоко подавлено уже через год, когда после польского восстания по всей стране прокатилась волна суровых репрессий.

В скором времени, в конце 60-х–70-х годов возникло более широкое движение народников. Если угодно, это был перевод слова *демократ* с иностранного на русский, еще одна «русская

придумка». Однако на деле народники оставалось страшно далеко от крестьянских масс, мысливших основными носителями идеи народности и демократических инстинктов общины. Наиболее последовательные народники горели идеей преодолеть этот разрыв. Весной 1874 года многие из них предприняли «хождение в народ», пытаясь таким образом установить связь с крестьянством, осуществить моральную и социальную революцию, добиться единства во всеобщей свободе. Данная инициатива не получила почти никакой поддержки и провалилась.

Дальнейшее развитие народнического движения хорошо известно. В конце 1878 года одновременно с образованием одноименной типографии была создана организация «Земля и воля», называвшаяся до этого «Северной революционно-народнической группой», а также «Обществом народников». Не прошло и года, как организация раскололась. Возникла «Народная воля», ставшая подпольной революционной организацией, обращавшейся и к методам террора. Их важнейшим «достижением» стало убийство царя-реформатора в 1881 году и срыв подписания им конституции. К середине 80-х годов народники окончательно маргинализировались и выпали из действительного движения к свободе и демократии на русской почве.

Трудная работа освобождения в основном продвигалась в рамках земского движения. Земство стало одним из самых главных достижений Великих реформ. В 1864 году Александр II создал органы самоуправления в ряде провинций и областей. Их число и полномочия поэтапно увеличивались. К концу 70-х годов они были созданы в 34 наиболее населенных губерниях европейской части империи. К 1914 году их число достигло 42 в губерниях, где проживало почти 90% населения. За пределами европейской части была еще одна земская губерния, а во всем населении империи доля земств составляла почти 65%. При этом в Финляндии было свое самоуправление — фактически она была демократией внутри Российской империи. Свое самоуправление было в областях казачьих войск, а также среди ряда этнических общностей.

Земства руководили работой образовательных и медицинских учреждений, разрабатывали разного рода проекты, связанные с инфраструктурой и т.д. Особенно важным было то, что они про-

водили выборы в представительные органы, земские собрания, и определяли состав исполнительных органов, земских управ. Для России это был бесценный демократический опыт.

Гласность и перестройка стали важными девизами Великих реформ. С точки зрения накопления потенциала демократии и свободы особенно существенна гласность. Она подразумевала подотчетность власти и важность общественного мнения при выработке реформ.

С точки зрения формирования институтов самоуправления и демократии особенно важным было развитие уже упоминавшегося Великого княжества Финляндского. Клятве верности, данной Александру I четырьмя сословиями (дворянство, духовенство, горожане, крестьянство) на Боргоском сейме 29 марта 1809 года, предшествовало официальное вступление княжества в состав Российской империи на основе личной унии. Во время своих коронаций цари обещали сохранять в Финляндии особый статус ее коренных законов, то есть фактически конституции. В самом деле постепенно они превратились в конституционных монархов Финляндии, хотя там формально и не было официальной конституции, в отличие от Польши, получившей конституцию в ноябре 1815 года. Свое преимущество поляки довольно быстро растеряли. Из-за конфликтов, заговоров и мятежей польская конституция все больше и больше выхолащивалась пока не была ликвидирована. Иной была динамика в Финляндии. С 1809 года Финляндией управлял от имени царя генерал-губернатор. С 1816 года он осуществлял эти полномочия совместно с Сенатом Финляндии (и Кабинет, и Верховный суд), в состав которого могли входить исключительно финские подданные.

Финский сейм созывался регулярно с 1863 года. Символичен тот факт, что в этом же году разразилось польское восстание и были окончательно ликвидированы все остатки польской автономии. С 1872 году финские выборы в палату горожан и крестьян проводились на партийной основе. В 1906 году, на пике первой русской революции, сейм был заменен современным парламентом. Финляндия одной из первых ввела всеобщее избирательное право, предоставив его и женщинам, и лицам, не владеющих землей. Кроме того, Финляндия вторая после Бельгии ввела принцип пропорционального представительства.

Несмотря на огромное значение, которое играли местные и автономные органы самоуправления отдельных территорий, вопреки фактическому продвижению дела освобождения и демократии (подотчетности, гласности) в малых масштабах так называемых «малых дел» и в сознании общества, и в политической мысли по-прежнему преобладал миф «всеобщей воли», воли всего народа. Несмотря на растущее разнообразие политического и интеллектуального ландшафта постреформенной России, мысли и чувства образованного и необразованных классов были сосредоточены на идеях политического единства. Одним из самых ярких тому примеров следует считать понятие «самодержавной республики», предложенное отцом-основателем русского либерализма К.Д. Кавелиным (1818–1885). Его отправной точкой было органическое единство власти и народа. Исходя из этого, он придумал следующую формулу — «так как народ, без сомнения, по самому существу своему самодержавен, то и единая с ним власть, eo ipso должна быть самодержавной» (Кавелин, С. 439). Далее Кавелин продолжает: «Царь есть единственный и самый верный оплот крестьянства против аристократических или мещанских конституций; он и в будущем лучшая гарантия против возникновения всяких привилегированных правящих классов. И нет сомнения, что всею массой своей, дружно и уверенно Россия может идти только за самодержавным, т.е. свободным царем, не зависящим ни от бояр, ни от плутократов. Сама история заставляет нас создать новый, небывалый своеобразный политический строй, для которого не подыщешь другого названия, как — самодержавной республики» (Кавелин 1989, С. 436).

Если попытаться найти альтернативные словесные выражения *самодержавной республики* Кавелина, то это были бы *суверенная демократия* Суркова и *самодержавное народовластие* Грызлова – Мединского. Как это ни покажется странным, именно русское революционное движение, а не монархия, двинуло вперед кавелинский проект по объединению народных масс снизу и популистской власти сверху против плутократической буржуазии. Для этого потребовалась победа Октябрьской революции 1917 года. Однако словесно проект был оформлен иначе. Задолго до этого еще в 1905 году Ленин начал говорить о *советской власти* как о новой форме политической организации или

прямой демократии масс. Так что *советская власть* Ленина — это еще одна «русская придумка», еще один синоним все того же самодержавного народовластия.

Демократия советов

В результате очередной освободительной революции в нашей стране вновь воссоздалась самодержавная власть. Вновь великий акт всеобщего освобождения обернулся открытой диктатурой. Советская власть была крайне противоречивой. С одной стороны, она опиралась на массовое участие, что придавало ей демократические черты особенно в сочетании с институциональной формой прямой демократии советов. С другой стороны, управлять формирующейся системой смогла только в высшей степени интегрированная и дисциплинированная авангардная партия нового типа. Ленин в своей основополагающей книге «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», написанной в 1920 году, фиксирует иерархию власти: лидеры, партия, (рабочий) класс, массы. Это была равна та структура-луковица, о которой впоследствии писала Ханна Арендт в своем «Происхождении тоталитаризма».

Демократический централизм был ответом на практический вопрос, касавшийся управления страной. Первоначально он представлял собой набор внутренних организационных принципов нарождающейся в России социал-демократической партии, предложенных большевиками и непосредственно Лениным. Хотя книга Ленина «Что делать?» (1902) считается основополагающей для концепции демократического централизма, эта концепция не была чисто русским нововведением. На самом деле еще в 1868 году социал-демократ Жан Батиста фон Швейцер придумал термин «демократическая централизация» (*Demokratische Zentralisation*) для описания структуры Объединения немецких профсоюзов (*Allgemeinen Arbeiter Deutschenvereins, ADAV*), президентом которого он был. В 1906 году Ленин предложил знаменитую формулу «свобода обсуждения, единство действий» (Ленин, С. 380). Полная версия концепции демократического централизма состояла из пяти ключевых моментов:

1. Выборность всех партийных органов снизу доверху и систематическое обновление их состава, если это необходимо.

2. Ответственность партийных структур как перед нижестоящими, так и перед вышестоящими структурами.

3. Строгая и осознанная дисциплина в партии, меньшинство должно подчиняться решениям большинства до тех пор, пока не поменяется политический курс.

4. Решения вышестоящих структур являются обязательными для выполнения нижестоящими структурами.

5. Коллективное сотрудничество всех партийных органов в любое время, и соответственно, личная ответственность членов партии за отданные и полученные задания.

Когда Советская Россия достаточно окрепла, эти пять принципов, с очень незначительными изменениями, носившими чисто технический характер, легли в основу внутренней структуры советской системы правления. Однако как конституционный принцип, на основе которого организовано государство, демократический централизм был официально закреплен только в Статье 3 Конституции СССР 1977 года: «Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом демократического централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу доверху, подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих. Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело».

Считается, что благодаря закреплённым в советской конституции 1936 года демократическим принципам, этот документ стал одним из самых передовых правовых документов того времени. Конституция 1936 года сняла ограничения на возможность голосовать и закрепила прямое всеобщее избирательное право и право на труд. Конституция также предусматривала прямые выборы всех органов власти и их реорганизацию в единую и единообразную систему. Советский период политического развития весьма последователен в своей концептуальной целостности. Тем не менее существует большая разница между довоенным и послевоенным состояниями (стадиями) одного и того же советского проекта как в структурном (конституционном), так и в институциональном (режимном) измерениях. В то время как первое

состояние заключалось в вырождении прямой демократии Советов в открытый тоталитаризм, второе обозначило демонтаж тоталитаризма и движение к гораздо более универсальным и гетерогенным формам автократического правления. Можно даже утверждать, что сталинский режим в результате кризиса 1941 года трансформировался в новый на фоне решимости русского народа отразить фашистскую агрессию любой ценой в Москве, Сталинграде, а затем и под Курском. Пример Отечественной войны 1812 года был воспроизведен во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Общее название — *отечественная война* — отражает их существенное сходство. Результаты этих войн также были сопоставимы. Участие во всеобщей антифашистской освободительной борьбе и твердая решимость советских патриотов бороться против иностранных захватчиков привели к господству сверхдержав на мировой арене и новому виду самодержавного режима внутри страны.

При всей инерции личной власти Сталина и ее стилистики отличие второго (послевоенного и посттоталитарного) советского режима от предыдущего намечается уже в годы войны (признание роли православной церкви, замена народных комиссариатов министерствами, административные и военные реформы) и ко времени проведения XIX съезда КПСС. Особенно ярко эти перемены проявилось во время «хрущевской оттепели» и XX съезда КПСС.

Годы и десятилетия после смерти Сталина можно рассматривать как постепенный процесс десталинизации или как ряд структурных и существенных изменений, влияние которых оказалось чрезвычайно большим, несмотря на заявления радикально настроенных критиков 80-х годов о том, что система не реформируема. Тем не менее советская система развивалась. Во время правления Хрущева была выдвинута идея «всенародного государства». Заявлялось о восстановлении ленинских норм демократического централизма в партии и государстве. Партия стремилась сохранить единство народа и власти. Распространенным лозунгом в то время был «Народ и партия едины».

Институциональная система правления или действующая конституция оказались вполне способными к адаптации и трансформации. И действительно, система расширилась за счет

существенного увеличения груза ее функциональных обязанностей и задач как внутри страны, так и за ее пределами. Система усложнялась и диверсифицировалась, несмотря на ее традиционную предрасположенность к единству и доктринальные требования коммунистической однородности порядка. Типичным структурным решением было появление зон исключения из такого порядка. Постепенно «дырок в сыре» становилось все больше. Под конец «дырок», а с ними и потенциальных пространств освобождения даже стало больше, чем сыра, хотя режим этого как будто не замечал.

Результатом этого процесса стало постепенное ослабление и институциональной системы, и режима. Это ослабление в некотором смысле может напоминать либерализацию режима, но имеет, однако, совершенно другой характер. Его более существенной характеристикой был реактивный тип проведения политического курса и принятия решений. Брежневский политический курс, обладающий реактивной природой, рассматривался как стагнация. Он был неподходящим для систематических и решительных реформ, но давал «зеленый свет» другому типу изменений, возникающих спонтанно и являющихся неотъемлемой чертой режима. Еще более важен тот факт, что реактивная природа позднесоветского политического поведения дала больше шансов для индивидуальной импровизации и тем самым участия. Именно в таких условиях и началась перестройка.

Перестройка: больше демократии — больше социализма

К началу 80-х годов в советском обществе сформировался запрос на реформы. Здесь не место обсуждать, каковы были альтернативы, как они могли быть использованы. Признание Ю.В. Андропова, что мы не знаем общества, в котором живем, могло указывать, что подготовка к серьезному реформированию была возможна и даже началась. Фактические сдвиги наметились после того, как в марте 1985 года Генеральным секретарем КПСС стал Михаил Горбачев. Уже в апреле на пленарном заседании ЦК КПСС были приняты предложения по реформированию, которые в скором времени приобрели форму масштабного прорыва на пути к политическому и всеохватному освобожде-

нию страны и ее народа. Этот прорыв был сродни революции. Горбачев сам признал это во время своей речи в Хабаровске летом 1986 года: «Я бы хотел поставить знак равенства между словами перестройка и революция» («Правда», 2 августа 1986)

Вновь, как и во времена Великих реформ в публичный дискурс были внесены понятия «перестройки» и «гласности». Соответствующие идеи были сформулированы и обнародованы на XXVII съезде КПСС в феврале 1986 года. Предполагалось, что основным инструментом реализации этих двух новых концептов будет закон о трудовых коллективах, который разрешал и даже обязывал избирать руководителей государственных предприятий. Это несколько наивно мыслилось как первый шаг к демократизации страны. Такое решение отвечало ленинской логике демократии советов и популярным на Западе в то время идеям демократии участия, демократии на рабочем месте и т.п. При этом упускались из виду резонные возражения классиков демократической теории, что демократия имеет пределы применения и не работает в рамках предприятий (Даль, 2003).

Распространенные в то время лозунги «Больше демократии — больше социализма», «Назад к Ленину» подразумевали встраивание демократической реформы в советскую традицию. Во время съезда Горбачев лично, так же как и остальные, говорил о свободном выявлении интересов и воли всех классов и социальных групп, а также о саморегулировании и самоуправлении общества. Хотя планы по реализации данных положений были далеко идущими, они не содержали никакой конкретики относительно институционального дизайна: туманное понятие демократизации могло быть применено ко всему. Когда все же было разработано законодательное оформление демократизации, она была представлена как возвращение к исходным подлинным советским институтам. Хотя перестройка ознаменовала радикальные перемены в политическом облике страны, конституционные положения, принятые Верховным Советом в ноябре 1988 года, не ликвидировали традиционные структуры. Предполагалось, что граждане должны были прямым голосованием избирать народных депутатов, из которых бы состоял Совет народных депутатов и который, в свою очередь, избирал бы двухпалатный Верховный Совет. Одна треть депутатов избиралась не по террито-

риальному признаку, а от общественных организаций, включая КПСС, комсомол и профсоюзы. После беспокойной кампании в марте 1989 года прошли первые соревновательные выборы, в которых потерпели поражение более трех десятков высших партийных чиновников. Вероятно, эти выборы были наиболее успешными с точки зрения соревновательности и честности благодаря искренним ожиданиям как властей, так и населения. Впоследствии растущее разочарование и автократический поворот как во властных кругах, так и среди населения снизили уровень соревновательности и честности. Тем не менее ценность демократических выборов в России до сих пор высока.

В общем и целом, перестройка провозгласила беспрецедентное и революционное по глубине и масштабу освобождение. Однако это движение представляло собой все что угодно, только не революцию. Типичный анекдот того времени звучал так: «Что мы перестраиваем?» — «Застой». Это звучало очень правдиво, поскольку предшествующий тренд, а именно реактивная политика и ослабление режима, продолжились как ни в чем не бывало. Сам Горбачев был горд тем, что «процесс пошел». Перемены по-прежнему происходили спонтанно и оставались неотъемлемой чертой режима.

Ущербная демократия

В результате распада СССР прежний тренд спонтанного ослабления и либерализации режима дополнился одним ключевым моментом. Требовалось выявить и зафиксировать накопившиеся изменения. Освобождению нужно было задать направление и присвоить имя. Этим именем стала демократия. Все пятнадцать (и более, если считать Карабах, Абхазию, Приднестровье, Крым и другие проекты создания независимых государств помимо пятнадцати образовывавших СССР союзников) новых государств претендовали на то, чтобы называться демократиями. Но это не были новые демократии на пустом месте. В каждом случае соединялись различные аспекты досоветского и советского наследия, традиций освобождения и принуждения, которые дополнялись поверхностно и зачастую однобоко (главное чисто нормативно) воспринятыми международными стандартами современной демократии. Возникал очень противоречивый и непростой симбиоз

всех этих компонентов. В каждой стране была закреплена своя особенная конфигурация политических институтов и практик. По большей части эти конфигурации были и остаются крайне неоднозначными и противоречивыми.

Ключевой самохарактеристикой только формирующихся режимов новых государств еще в фазе самоосвобождения внутри СССР был суверенитет. Даже если оставить в стороне прихотливость трактовок суверенитета (см. Цымбурский) или совсем уж карикатурные заявления типа ельцинского «в России первичным суверенитетом является человек» (Россия сегодня, с. 449), и то приходится признать, что фактически речь шла об утверждении самой простой, первичной ипостаси этой категории, о самоутверждении суверена или самодержца (Ильин; Ильин). В диапазоне злости дня это выливалось в пресловутый вопрос о власти в вульгарном, ленинском его понимании — кто кого? В терминах же политической науки это был вопрос о самоконсолидации режима и навязывании им политического порядка.

В России Б.Н. Ельцин и его сподвижники заявили о радикальном разрыве с прошлым, однако новая властная структура оказалась довольно традиционной. Демократическая Конституция 1993 года во многом воспроизвела конфигурацию власти, намеченную в самодержавной конституции 1906 года. Одновременно ельцинский режим продолжил функционировать в логике реактивной политики и не смог преодолеть тенденции к ослаблению или либерализации.

Вскоре в стране все шире становилось признание неэффективности и низкого качества новопровозглашенной демократии, однако объяснения давались разные. Нельзя было отрицать наличие большого разрыва между ожидаемым и действительным. Некоторые связывали существующие проблемы с утратой независимой и консолидированной властной основы режима, другие — с неспособностью режима соответствовать нормативным идеалам и лучшим международным практикам. Первая точка зрения казалась лучше соответствующей действительности и более созвучной отечественной традиции, тогда как вторая была абсолютно непрактичной, умозрительной и чужеродной. Первая позиция постепенно возобладала как в умах власти, так и населения в целом. Второй же придерживались догматичные демок-

раты и ревностные критики ельцинского, а затем и путинского режимов. Несмотря на все достижения конца 80-х и начала 90-х, как их сторонники, так и их противники отмечали существенные недостатки *ущербной демократии*¹² — этот термин использовал даже убежденный приверженец демократизации Егор Гайдар. Подобное согласие было естественным только потому, что сторонники обеих точек зрения придерживались нормативных интерпретаций. И когда реальность оказалась далекой от воображаемого идеала, они назвали эту реальность плохой.

Другой и, вероятно, более существенной причиной безрезультатности демократических попыток в 90-х годах был быстрый автократический поворот. Двадцать месяцев, прошедших после распада СССР были своего рода периодом двоевластия президента-реформатора и «популистского» Верховного Совета. Обе власти действовали в очень неясно очерченных демократических институциональных рамках. Фактически никаких обязательств придерживаться провозглашенных правил демократического поведения не было. Эти правила никаким образом не были привязаны к текущей практике принятия решений и разрешения вопросов.

В то время как некоторые члены Верховного Совета могли искренне верить, что их законодательство обладает практическим инструментальным значением, именно Ельцин первым делом озаботился обеспечением минимального уровня управляемости в стране. Его победа была открытым реваншем самодержавия, сопровождавшегося восстановлением послевоенной системы правления, хотя и в новой нормативно-конституционной оболочке, характеризующейся также отсутствием идеологического наполнения псевдо-демократического дискурса. Тенденция к ослаблению режима и проведению реактивной политики и стратегии принятия решений получила второе рождение. Слабость режима можно было с легкостью интерпретировать как его либерализм.

¹² Это выражение было зафиксировано мною во время стажировки в Питтсбургском университете осенью 1995 года в американских средствах массовой информации. По-английски замечательная формула Гайдара звучала: “We have crippled democracy, but it is a democracy at the end of the day”, то есть «у нас ущербная демократия, но это демократия в конце концов». Русской версии данной формулы мне найти не удалось. — *Прим. авт.*

Его неспособность эффективно консолидировать личную власть Ельцина считалась признаком демократии. Кризис 1998 года, последовавший за ним финансовый дефолт и обрушение рубля четко показали, что тенденция к ослаблению режима достигла своего предела. Возможности реактивной политики были исчерпаны до дна. Этого дна Россия достигла осенью 1998 года.

Можно было ли опускаться дальше? Нет. Можно ли было обратиться к новой по типу проактивной политике? Тоже нет. Такая двойственность пронизывает деятельность кабинета Е.М. Примакова. Нет ни представления о возможной проактивной политике или политиках, нет соответствующих идей, ни тем более практических предложений. Однако есть серия срочных инициатив, которые, не выходя за рамки реактивных действий, позволяют если и не начать всплывать, то и не лежать на дне, оторваться то него.

Подобное положение свидетельствовало — это начало нового этапа в политическом развитии России. Следующий президентский срок или, вероятно, следующие два должны были стать периодом напряженной работы по переходу от реактивной политике к проактивной, поскольку одномоментно решать подобные задачи невозможно в силу хотя бы инерционности политических, социальных и экономических процессов. Требовалось время для оценки альтернатив для российского стратегического развития в ближайшие десятилетия, сбора и накопления соответствующих ресурсов. Потенциально этот новый вызов мог способствовать внедрению полезных для повышения уровня демократической конкуренции элементов. Но принимать решения о том, как реагировать на этот вызов и воспользоваться этими возможностями, предстояло следующему президенту.

Суверенная демократия

В преддверье выборов 2000 года президент-самодержец избрал своего преемника. Тот с легкостью победил на выборах, однако задачи, которые Владимиру Путину предстояло решить, были не из легких. Способы осуществления консолидации самодержавного контроля все еще не были найдены. Возможность выбора стратегических альтернатив, даже среди тех, которые соответствовали логике режима, была всего лишь умозрительной.

Предстояло решить более неотложные задачи по увеличению уровня управляемости, особенно в связи с войной в Чечне.

Самая непосредственная задача Путина состояла в том, чтобы консолидировать свою власть, а в перспективе президентскую и самодержавную. Одним из его первых шагов стала отмена прямого участия губернаторов в Совете Федерации. Эта инициатива была направлена на предотвращение появления альтернативного, по типу Боярской думы, источника власти в стране и в полной мере соответствовала логике самодержавно-автократического поворота. Однако этот поворот отнюдь не предполагал невозможности поиска альтернатив развития и осмысленной дискуссии по этому поводу и внутри режима, и в обществе. Так, одновременное с удалением губернаторов из Совета Федерации создание Государственного совета, в состав которого вошли ключевые губернаторы, также могло способствовать проведению характерных для демократических режимов дискуссий по стратегическим альтернативам развития страны.

Неопределенность была недолгой. Выбор вскоре был сделан — и не в пользу формирования базы проактивной политики. Уже к 2003 году президентская администрация работала над ограничением и сужением повестки дня дискуссий об альтернативах развития России. Осенью того же года один из наиболее эффективных инициаторов этих дискуссий Михаил Ходорковский был арестован. После захвата террористами заложников в школе Беслана в сентябре 2004 года Путин провозгласил политику укрепления вертикали власти. В результате открытого самодержавного поворота восстановление советских режимных характеристик стало неминуемым. Возникший порядок по многим важным аспектам напоминала вторую, или послевоенную, советскую систему.

Наиболее важным, пожалуй, аспектом поворота стало идеологическое конструирование политической повестки дня. На информационных каналах доминирующее положение заняла официальная позиция, тогда как все альтернативные точки зрения отодвигались за пределы информационного поля. Для того чтобы отчетливо выделить официальный идеологический домен самодержавной власти от фрагментированных и маргинализуемых неофициальных пространств общения, был создан важный термин — суверенная демократия.

Впервые это понятие было использовано заместителем руководителя Администрации президента Владиславом Сурковым на выступлении перед стажерами Центра подготовки партийных кадров «Единой России» 7 февраля 2006 года. Вскоре текст этого выступления был опубликован в статье «Национализация будущего» в журнале «Эксперт». В статье говорилось, что понятие «суверенной демократии» является подходящим синонимом для политической конкуренции.

Первоначально как Владимир Путин, так и Дмитрий Медведев воздерживались от публичного выражения поддержки данной концепции. Они высказали свои замечания в отношении формулировки, но согласились с тем, что есть смысл в дальнейшей разработке идеи. Постепенно понятие «суверенной демократии» перешло в концептуальную плоскость потенциальной общенациональной идеи России. Когда критики пытались интерпретировать это понятие как ширму, всего лишь прикрывающую безоговорочное неприятие любой внешней, да и не только внешней критики российских политических порядков, они еще большее маргинализировали самих себя. Хотя это, возможно, и не основная интерпретация, сторонники суверенной демократии настаивали на том, что данная концепция подчеркивает статус России как великой державы. Другое, но, к сожалению, не слишком распространенное толкование заключалось в том, что демократию развивает суверенное (конституционное и т.д.) государство. В любом случае нельзя отрицать, что после возникновения концепции суверенной демократии традиционные приоритеты политической целостности возобладали. В конце концов в результате консолидации политического порядка в условиях самодержавного поворота произошло переосмысление конституционного строя Российской Федерации как суверенной демократии.

Как вы строй свой назовете...

Большинство читателей с детства помнит железное правило капитана Врунгеля: «Как вы лодку назовете, так она и поплывет!» Из уст различных людей у нас и за рубежом можно услышать самые различные квалификации России. Однако за точку отсчета следует, вероятно, взять то, как она называет себя сама. В соответствии с собственной Конституцией Российская Феде-

рация — демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления (статья 1). В статьях 7 и 14 уточняется, что Россия также социальное и светское государство. То, что Россия также и суверенное государство, вытекает из статьи 3, а то, что конституционное, из самого факта существования Конституции и из ее основных положений.

В совокупности получают следующие квалификации в порядке базовости-дополнительности. Сначала идет суверенное, затем светское, далее конституционное, федеративное, правовое, демократическое, социальное государство с республиканской и, добавим, смешанной президентско-парламентской формой правления¹³. В этом ряду демократическое устройство примерно в середине. Демократия основана на суверенности, светскости, конституционности, федеративности и верховенстве права. Это предпосылки и основания демократии. В свою очередь, сама демократия становится основой и предпосылкой для социального государства, республиканизма и президентско-парламентской формы правления. Впрочем, и социальное государство, и республика, и ее строй могут быть и не демократиями, а олигархиями (по устройству) или даже автократиями (по стилю властвования). Тогда социальность и республиканский строй приобретут олигархическую или автократическую окраску.

Добавлю, соглашаясь с Грызловым и Мединским, что демократия любой страны, а значит и России, основана на своей исто-

¹³ Эта смешанная форма также зафиксирована, хотя и не названа, в конституции. Она именуется президентско-парламентской в терминах современной политической науки (Shugart & Carey; Shugart; Elgie & Moestrup) и суперпрезидентской в терминах отечественной журналистской «политологии», поскольку данный тип смешения позволяет президенту в большей степени, чем где бы то ни было еще, манипулировать зависящими друг от друга, а главное, от него правительством и парламентом. Звучащие из уст российских политиков, включая В.В. Путина и Д.А. Медведева, квалификации отечественной формы правления как президентской, вероятно, результат некомпетентных подсказок непрофессиональных помощников. Президентская форма предполагает максимальное «совместное выживание» и правительства, и парламента, то есть их независимость друг от друга, но при этом высокую степень зависимости правительства от президента. Парламентская форма предполагает «сбалансированную» взаимозависимость правительства и парламента при избираемом последним президентом или неизбираемом, но «входящим в парламент» монархе. — *Прим. авт.*

рической традиции с различными «придумками» в ее наследии. Однако это наследие требуется последовательно насытить всеми предпосылками. Суверенность предполагает как минимум¹⁴ фактическое включение в сообщество современных¹⁵ государств и признание соответствующего статуса. Светскость предполагает как минимум разделение религиозных и светских порядков одновременно с признанием свободы и автономности религиозных культов. Конституционность предполагает как минимум создание общей рамки, ограничивающей как государство, так и гражданское общество, но одновременно и гарантирующей автономность каждого относительно друг друга. Наконец, верховенство права как минимум предполагает не только уважение законов, закрепляющих суверенность, светскость и конституционность, а также автономность судебной власти. В этом смысле оно предшествует им. Куда важнее то, что принятые народом («предприятием поколений» по Э. Берку) и тем самым ставшие неотъемлемой частью национальной традиции стандарты права и прав человека как квинтэссенция суверенности, светскости и конституционности превращаются в источник и самого суверенитета, и конституции, и любых действий законодателя и судьи. Никакой царь или герой, никакой плебисцит не могут посягать на стандарты права и прав человека, на то, что для всех бесспорно, справедливо и честно. В этом, кстати, неправой характер нацистского присвоения немецкого государства, совершенный, казалось бы, по избирательному закону и правилам президентско-парламентской формы¹⁶. Только поколения, постепенно меняя традицию, могут изменить и стандарты права и прав человека, но сначала они должны ее создать. Одного провозглашения

¹⁴ Каждый раз уточнение «как минимум» подразумевает, что наращивание новых предпосылок и собственное развитие ведет к качественным усложнениям суверенности, конституционности и т.д. — *Прим. авт.*

¹⁵ Имплицитно предполагается, что присоединение к сообществу современных государств делает новичков современными, хотя на деле это по существу не так. Однако международно-правовые обязательства требуют от них современного («западного») поведения, например, уважения прав человека и т.п. — *Прим. авт.*

¹⁶ Веймарская республика вместе с нынешней Россией и некоторыми постсоветскими государствами классические примеры президентско-парламентской формы. — *Прим. авт.*

прав и свобод человека высшей ценностью (ст. 2) мало. Нужна их укорененность в традиции.

Выходит, что одной исторической «придумки» недостаточно. Ее следует дополнять и насыщать путем очень трудной и интенсивной работы, многократной доделки и переделки «дополнений» одного за другим. Только после этого на исторической развилке можно приступать к выбору: сохранять ли олигархию — пусть даже соревновательную с честными и справедливыми выборами — или выходит на новый уровень сложности организации власти со все более сложными и совершенными способами ее подотчетности, то есть к современной демократии.

Что нужно для эффективного выбора? Во-первых, адекватно назвать то, к чему стремишься, критически оценив изменчивость и многозначность слов. Во-вторых, уяснить, чего не хватает, что не было сделано предыдущими поколениями, что нужно сделать, чтобы компенсировать недостачу. В-третьих, понять, какой груз оставлен в наследство. Его предстоит тащить (это и есть смысл латинского слова *traditio*) и переделывать по пути. В-четвертых, наконец, действовать в возвышающей логике развития или ароморфоза: как если бы ты можешь стать лучше, чем есть сейчас. Весьма вероятно, хотя и не гарантировано, что многое из желаемого удастся достичь.

Можно, конечно, поступить ровно противоположным образом. Действовать в логике катаморфоза: как если бы тебе приходится быть хуже, чем ты есть сейчас. Типичный пример: пока придется смириться с обстоятельствами, временно согласиться и т.п. Совсем уж плохо: куда нам, русским, это нам не по плечу... Потом пуститься тянуть ляжку даже не удосужившись понять, что же приходится тащить. Далее не задуматься о нехватке важных вещей — авось и так сойдет. Наконец, найти словечко — или иностранное, или «переведенное с иностранного», — которое чудесным образом все объяснит, которое успокоит сердце, озарив его простой и однозначной «придумкой». Однако такая радость скорее всего будет омрачена. Придется вздыхать: хотели как лучше, а получилось, как всегда.

В первом случае взгляд обращен к тому, что предстоит сделать, но попутно внимательно озирает свое наследие. Это взгляд трезвого, критичного и в то же время знающего себе цену человека.

Во втором случае взгляд обращен в чудесное далеко (за четырьмястами лет или за океан). Он скользит мимо накопленного предками богатства и растрат, мимо опыта соседей. Это взгляд наивно-го, несведущего, но непомерно самоуверенного человека.

Еще раз хочу вспомнить слова Егора Гайдара, что у нас убогая демократия, но это в конце концов демократия. И — подразумевалось — мы можем сделать ее лучше. Гайдар, конечно, не мой герой. Им сделано немало просчетов и ошибок. Разглядеть наше наследие и традиции ему не очень-то удавалось. Да и понимание им демократии было, мягко говоря, поверхностным и односторонним. Однако в готовности признавать ошибки и работать над их исправлением он был прав.

Совсем иное дело, когда политики полагают, что у нас уже есть ровно та демократия, которая нам нужна и которой мы достойны. Когда они уверены, что она уже была придумана четыре столетия тому назад. Когда они полагают, что самое надежное — двигаться к чистому идеалу, когда народ и партия, сиречь начальство, едины.

Пора понять, что словом *демократия* называются разные явления, что «прилагательные» при нем существенны, даже когда опускаются из-за самоочевидности. Пожалуй, первое и самое важное «прилагательное» или принципиальная характеристика — это современность, модерность демократии. Понятно, что участие людей в решении существенных вопросов, касающихся их жизни, так или иначе проявлялось всегда начиная с первобытных времен. Эту спонтанную демократичность Гакстенгаузен разглядел в крестьянской общине. Ее можно найти у купцов, монахов, бояр, мещан, решавших значимые вопросы внутри своего круга. Порой некоторые из этих кругов могли собирать представителей на сеймах, парламентах, думах, соборах. Но это все были несовременные формы обсуждения вопросов, согласования решений, установления подотчетности за их осуществление или неосуществление. Они, конечно, важны. Отдельные «придумки» могли обогащать традицию. Однако только в современных условиях возникает запрос на систематическое и последовательное согласование решений и на всеобщую подотчетность соответствующих действий уже не в рамках отдельного малого круга своих, а в масштабах формирующихся наций и

территориальных государств-состояний. Этот запрос определяется необходимостью формировать и осуществлять приемлемые для больших масс людей политические курсы, связанные существованием в условиях развития. Современная политика — это не воспроизведение раз и навсегда заданных образцов или одной четырехсотлетней давности «придумки», а принятие решений в непрерывном потоке изменений. Нужно находить просчеты, исправлять их, выстраивать планы с учетом различных условий и направлений развития. Как раз для этого и нужны институты и практики, которые условно можно объединить под общим рабочим названием современной демократии.

Подобное понимание демократии предполагает отсутствие одного единого «сущностного» набора нормативов и принципов, а уж тем более следование одной единственной «придумке».

Как интерпретировать в этом контексте грызловскую идею следования «придумке» четырехсотлетней давности? Надеюсь, это не слишком удачное упражнение в политической риторике. Если его понимать буквально, а тем более превращать в практические действия, то это чревато не просто выхолащиванием важных положений нынешней российской Конституции, но демодернизацией нашего государства и общества. Отвечающее мировым императивам развитие связано не с редукцией современных форм правления к их средневековым прототипам, а с насыщением традиций современным содержанием, их развитием и преумножением. При таком подходе мы, граждане новой демократической России, сможем не только найти движущие вперед имена сегодняшнего и завтрашнего политического порядка, но и предложить миру действительно привлекательные способы организации власти со все более сложными и совершенными способами ее подотчетности, то есть демократию по-русски.

Глава 4. Цветные революции и Россия

Вступление

В русском и иностранных языках термин «цветные революции» звучит, по крайней мере, двусмысленно. Не очень понятно, что им обозначается, каковы природа и характер перемен, которые в течение шести лет, с 2003 по 2010 год, последовательно охватили Грузию, Украину, Киргизию, Молдавию и снова Киргизию. Была ли это вторая волна бархатных революций, сопровождавших на рубеже 80–90-х годов прошлого века падение коммунизма? Или специфическая разновидность революций, присущих исключительно постсоветскому (или посткоммунистическому, если вспомнить события в Сербии 2000 года) пространству? Или же, как настаивает российская пропагандистская машина, цветные революции были инспирированными из-за границы восстаниями против законных властей суверенных стран и в конечном счете против России?

Именно участие — реальное или мнимое — Запада в цветных революциях служит российским официозным наблюдателям главным основанием для того, чтобы отрицать революционный характер событий и квалифицировать их как государственные перевороты. И хотя в отношении событий в Киргизии — ни в марте 2005, ни в апреле-июне 2010 года — невозможно доказать западное участие или антироссийский характер новой киргизской власти, в первом случае российская пропаганда легко вышла из затруднения. Субститутотом «Запада» стала местная «мафия», якобы связанная с транснациональными силами, а пророссийский характер нового режима был объявлен «победой здоровых сил» над «заговорщиками». В апреле 2010 года российские СМИ вообще исключили тему внешнего влияния из интерпретации событий в

Киргизии, акцентируя внимание исключительно на внутренних факторах.

Так или иначе принципиальный вопрос, что же представляли собой цветные революции, остается в научном плане открытым.

Были ли революции?

Те, которые теряют от революции, редко склонны признать за ней ее настоящее имя.

(Лев Троцкий)

По иронии российская официальная критика цветных революций явно или имплицитно исходит из традиционного марксистского определения социальной революции, акцентирующего внимание на смене классовой гегемонии и социальной глубине революции. Она избегает обращаться к современным определениям революции. И понятно почему. Определения революции, используемые современной социальной наукой, достаточно широки, дабы включить все типы революций, а не только великие. При этом смысловое ядро различных определений более-менее совпадает, и оно вообще вряд ли менялось на протяжении последних пятидесяти лет. Достаточно сравнить несколько определений. Революция — это «вызванная использованием силы смена правительства и/или режима и/или изменение в обществе» (Stone, 1966). «В самом общем смысле слова революция — это попытка радикального изменения системы правления. Она часто связана с нарушением существующих конституционных установлений и использованием силы» (Laqueur, 1968). И наконец, самое свежее и наиболее полное определение революции: «Это попытка преобразовать политические институты и дать новое обоснование политической власти в обществе, сопровождаемая формальной или неформальной мобилизацией масс и такими неинституционализированными действиями, которые подрывают существующую власть» (Голдстоун, 2006).

От Грузии до Молдавии мы легко обнаружим *все* элементы последнего определения. Во всех странах массы были мобилизованы, а их действия сопровождались угрозой насилия или его элементами. К счастью, полномасштабное насилие с жертвами случилось лишь в одной стране — в Киргизии в апреле и июне

2010 года. Во всех странах была предпринята попытка — успешная или не очень — преобразовать политические институты и дать новое обоснование политической власти. Идеологическим мотором цветных революций выступил артикулированный демократический миф (Грузия, Украина, Молдавия) или смутное, но сильное стремление к справедливости и свободе (Киргизия). Хотя цветные революции не были глубокими социальными революциями, они могут смело оцениваться как революции политические.

Особый теоретический интерес представляет революционная динамика. Будучи направленными против нарушения конституционных норм инкумбентами, цветные революции начинались как революции в старом смысле этого слова латинского происхождения: *revolutio* как возвращение к *status quo ante*. В некотором смысле можно сказать, что революции пытались восстановить легитимность. Но поскольку эти писанные нормы до той поры попросту не применялись, успех революций в восстановлении легитимности одновременно влек за собой трансформацию властных отношений. Тем самым революции в старом смысле становились революциями в современном понимании¹.

Зарубежное участие в них — реальное или мнимое — несколько не отменяет оценки этих событий как революций. Более того, в теории революций иностранное вмешательство традиционно считается одной из главных причин (Laqueur, 1968; Голдстоун, 2006). В начале XXI века формы и методы такого вмешательства стали более изощренными и разнообразными: на смену вооруженного экспорта революции и грубого давления пришла *soft power* — влияние через культуру, ценности, образ жизни и институциональные сети. При этом революционная активность чаще всего выступала не прямым, а побочным продуктом западного влияния.

Действительно, ЕС и США сформировали сеть фондов и грантов в Грузии, Украине и Молдавии. Не существует, однако, достоверных оценок масштаба и размера влияния. В конце концов сила этого влияния была предопределена тем, что в революцион-

¹ Я искренне признателен за эту идею Адаму Пшеворскому и Борису Макаренку. — *Прим. авт.*

ных странах шла спонтанная социокультурная переориентация. Зерна западного влияния могли прорасти лишь там, где для них была готова почва.

Основной поток трудовой эмиграции из Украины и Молдавии (а также из Белоруссии) уже давно направлен в Европу, а не в Россию. Европа — важный источник финансовых поступлений в эти страны, но, главное, она значительно привлекательнее России, которая все чаще оказывается антимodelью, а не образцом подражания для постсоветских обществ. Молодежь Грузии и Молдавии полностью, а Украины в значительной мере в ценностном и культурном отношении ориентирована прозападно. Для нее мало что значат общая советская история и экономическая зависимость их стран от России. Прозападная ориентация превагирует и среди белорусской молодежи, со всей очевидностью указывая вероятное будущее Белоруссии.

Отвечая однажды на вопрос, что же привело к падению коммунизма, последний советский лидер Михаил Горбачев ответил в не свойственной ему афористичной манере: «Культура». Бархатные революции рубежа 80–90-х годов прошлого века были подготовлены социокультурной трансформацией коммунистических обществ. Аналогичная по масштабу и вектору трансформация стала почвой цветных революций.

Россия не смогла воспрепятствовать цветным революциям ни во враждебной ей Грузии, ни в целом лояльных ей Украине и Молдавии, ни во всецело зависимой от нее Киргизии. А ведь в 2004 году потенциал влияния России на Украину был значительно выше, чем у любых внешних игроков. Во время президентских выборов Кремль откровенно вмешивался во внутренние дела Украины, активно и открыто поддерживая одного из украинских кандидатов, в кампании которого принял личное участие даже тогдашний президент России Владимир Путин.

Вряд ли Запад можно считать главной причиной российского проигрыша. Непонимание российской элитой постсоветской динамики, неэффективное использование потенциала влияния, непривлекательность российского пути развития выглядят более убедительным объяснением провала российской политики в постсоветском пространстве, чем «геополитический заговор» против России.

Но даже если мы признаем важную роль внешних сил в цветных революциях, это не отменит их права называться революциями, а лишь рельефнее подчеркнет революционный характер событий.

Причины революций

Все удачные революции одинаковы, как счастливые семьи Льва Толстого. Чтобы революции возникли и победили, необходима комбинация структурных факторов (Brinton, 1952; Stone, 1966; Laqueur, 1968; Goldstone, 2003; Голдстоун, 2006). Более-менее одинаковый набор факторов мы обнаруживаем во всех цветных революциях.

Первое. Кризис государственной власти, при которой государство воспринимается элитами и массами как неэффективное и несправедливое. В случае цветных революций доказательством несправедливости государства и одновременно триггером революций выступили обвинения власти в нечестном проведении общенациональных выборов. Не имели значения ни масштабы этих злоупотреблений, ни даже наличие убедительных доказательств их совершения. Общества априори воспринимали власть как несправедливую и склонную к электоральной фальсификации². Глубокое моральное недоверие к власти вело к ее политической делегитимации. В культурной рамке революционного кризиса экономические и политические кризисы, материальные лишения и угрозы воспринимались как непосредственный результат несправедливости и нравственных недостатков государства, в резком контрасте к добродетельности и справедливости оппозиции.

Отказ власти от репрессий против революционеров не повышал ее морального авторитета, а, наоборот, воспринимался проявлением ее слабости и неэффективности. Но и репрессии не были решением кризиса. Они закрепляли впечатление несправедливости государства и усиливали массовый протест, особенно если задевали невинных. Как это случилось, например, в Киргизии в апреле 2010 года.

² Механизм возникновения революций через выборы, в том числе применительно к цветным революциям, проанализирован в ряде работ западных исследователей (Weingast, 1997; Fearon, 2006; Tucker 2007).

В результате власть оказывалась в ловушке: репрессии доказывали ее несправедливость, а их отсутствие в ситуации революционного кризиса доказывало ее слабость. Эта ловушка возникала потому, что часть элиты отказывалась от поддержки режима и предпочитала искать альтернативные пути разрешения революционного кризиса. Государства, поддержанные сплоченной элитой, в целом неуязвимы для революций снизу (Laqueur, 1968; Голдстоун, 2006). Раскол элиты — второй структурный фактор революции.

Здесь важно обратить внимание, что речь идет не о рядовом элитном конфликте, а об оформлении элитных фракций, имеющих различную идеологию и различные представления о структуре желательного социального порядка. Раскол на, условно, консервативную и (прото)демократическую фракции элиты имел место во всех революциях от Грузии до Молдавии, не исключая Киргизии. В Грузии против слабого режима Шеварднадзе выступила элитная фракция Саакашвили — Бурджанадзе — Жвания. На Украине против Януковича — Ющенко и Тимошенко. В Киргизии против Акаева — Бакиев, Кулов, Отунбаева, затем уже против Бакиева — Отунбаева. В Молдавии против Воронина — Гимпу и Филат. Так или иначе все оппоненты режима провозглашали и предлагали обществу то, что они называли демократической альтернативой статус-кво.

Третий структурный фактор революции — кризис народного благосостояния — не столь однозначен, как два первых. В этом отношении цветные революции выглядят полемикой между Владимиром Лениным и Алексисом де Токвилем. Первый считал важной причиной революции социэкономический кризис и обнищание низов («обострение выше обычного нужд и бедствий трудящихся классов»). Второй на примере Великой французской революции показывал, что к революции парадоксальным образом ведет не ухудшение, а улучшение социэкономической ситуации, сопровождающееся быстрым ростом массовых притязаний, для удовлетворения которых не хватает ресурсов. Иначе говоря, революция политическая и социальная начинается с революции ожиданий.

Опыт цветных революций подтверждает обе гипотезы одновременно, не делая однозначного выбора в пользу одной из них.

В Грузии и Киргизии socioeconomic положение накануне революций было ужасающим. В Молдавии оно ухудшилось вследствие мирового кризиса, но не драматически. Зато Украина в течение двух-трех лет перед оранжевой революцией наслаждалась беспрецедентным экономическим ростом, составлявшим 12–14% в год. Этот рост сформировал обширный украинский средний класс, пробудил к жизни его политические амбиции и повысил притязания украинского общества.

В общем, резкое ухудшение народного благосостояния не обязательно предшествует революции. Уровень жизни имеет значение не сам по себе, а только в сочетании с другими структурными факторами. Эти факторы усиливают его воздействие либо, напротив, способны компенсировать его слабость, как это было на Украине. И наоборот: даже самое драматическое падение жизненных стандартов, если оно не комбинируется с другими факторами, не ведет к революции. На той же самой Украине экономическая ситуация накануне президентских выборов 2010 года была несравненно хуже, чем в 2004.

Отдельно взятый конфликт элитных фракций ведет к перевороту, но не к революции. Отдельно взятая массовая мобилизация — к восстанию или даже гражданской войне, но не к революции. Для революции критически необходим союз части элит и народных масс в их атаке на государственную власть. Без этого, четвертого структурного фактора, успешная революция вряд ли возможна.

Во всех цветных революциях союз части элит и общества сыграл ключевую роль. При этом массовая мобилизация носила в целом мирный характер, хотя сопровождалась угрозой насилия и даже отдельными его проявлениями. Лишь последняя революция в Киргизии сопровождалась широкомасштабным насилием.

Революция невозможна без оппозиционной идеологии — пятого структурного фактора. Такая идеология соединяет элиту и массы в их борьбе с властью, оправдывает эту борьбу и предлагает альтернативный социальный порядок. В качестве подобной идеологии выступала утопия (понимаемая по К. Мангейму) справедливости и освобождения. В Грузии, на Украине и в Молдавии она была рационализирована и артикулирована в форме демок-

ратической идеологии, в Киргизии — в виде довольно смутного, но сильного стремления к справедливости.

Наконец, шестым и последним — в порядке перечисления, но не по степени важности — структурным фактором окажется внешнее влияние. Под внешним влиянием, как я уже объяснял, понимается не только и не столько политическое вмешательство, сколько социокультурное влияние, восприятие Запада как желательной нормы и образа будущего. В этом качестве Запад составлял важную часть идеологической утопии цветных революций во всех странах, кроме Киргизии.

Таким образом, внешний фактор усиливал оппозиционную идеологию и влияние такого фактора, как кризис народного благосостояния. Применительно же к Украине внешний фактор компенсировал слабость этого кризиса.

Как уже отмечалось, в Киргизии ни в каком виде невозможно обнаружить серьезное западное влияние. Она была финансовым клиентом России, которая сохраняет преобладающее социокультурное влияние на киргизское общество и служит главным направлением киргизской трудовой миграции.

В то же время, если включить во внешний фактор революционный пример, влияние революционных событий *per se*, тогда можно говорить о внешнем влиянии и применительно к Киргизии. Бесспорно, что грузинская «революция гвоздик» послужила вдохновляющим примером, моделью и резервуаром политического опыта для всех цветных революций, включая первую киргизскую. Роза Отунбаева, лидер первой и второй киргизских революций, была хорошо знакома с грузинским революционным опытом.

Итак, в двух странах — Грузии и Молдавии — мы обнаруживаем все шесть структурных факторов революции, на Украине и в Киргизии — по пять. На Украине был слабо выражен кризис народного благосостояния, в Киргизии отсутствовало внешнее влияние. В то же время в Киргизии присутствовал структурный фактор, отсутствовавший во всех других цветных революциях, — демографический перегрев.

Демографии принадлежала важная роль в масштабных исторических потрясениях новейшего времени, она послужила своеобразной «мальтузианской» основой революционных кризисов и

войн XIX–XX веков. При этом существует отчетливая корреляция между демографической динамикой и масштабом насилия.

Ни в бархатных, ни в цветных революциях демографический фактор не играл заметной роли. Единственное значимое исключение — азиатская Киргизия, где демографический перегрев оказался важным структурным фактором кризиса. В каком-то смысле он компенсировал отсутствовавшее внешнее влияние. В то же время демографический перегрев способствовал высокому уровню революционного насилия.

Черта, которую часто полагают особенностью цветных революций, — активное участие в них молодежи — в действительности является общим признаком всех революций.

Возможен интересный сравнительный анализ цветных революций по таким параметрам, как протестные идентичности и тип мобилизации, характер лидерства, гендерный фактор и т. д., но эти вопросы второстепенны по отношению к основной линии моей статьи.

Революционные результаты

Я последовательно проводил мысль, что цветные революции носили демократический или хотя бы протодемократический, как в Киргизии, характер. В пользу этого говорят такие свидетельства, как демократический характер оппозиционной идеологии, выбор Запада в качестве образца развития, в целом мирный характер революционной динамики. Единственное исключение в этом смысле, еще раз повторю, составила Киргизия.

Однако можно ли назвать политические режимы, установившиеся в результате революций, демократическими? Здесь надо пояснить, что характер революции и ее результаты, включая тип политического режима, не связаны детерминистскими отношениями. Более того, последствия революции вообще невозможно вывести из ее структурных условий. Демократия или диктатура, мир или война, глубина политических и социоэкономических преобразований оказываются результатом сложной и непредсказуемой констелляции структурных факторов и множества переменных. В целом результаты революции скорее случайные, чем predeterminedенные (Laqueur, 1968; Goldstone, 2003; Голдстоун

2006). Цветные революции полностью подтверждают этот теоретический вывод.

Точно так же они подтверждают наблюдение, что революционные усилия, уходящие на перестройку политических институтов, душат экономический рост, а пред- и постреволюционный раскол элит оказывается губительным для экономического прогресса. В большинстве случаев долговременное экономическое развитие революционных режимов отстает от развития сопоставимых стран, не знавших революций. Возможно, развитие демократических институтов окажет в конечном счете стимулирующее воздействие на экономическую динамику стран, переживших цветные революции. Однако в настоящее время можно говорить об экономических провалах, а не об экономических достижениях цветных революций. Провалах, которые не обязательно компенсируются развитием политической демократии.

Более или менее уверенно говорить об утверждении демократии, несмотря на авторитарные тенденции президента Виктора Януковича, можно лишь применительно к Украине, о неплохих демократических перспективах — в Молдавии и Грузии, в то время как демократическое будущее Киргизии выглядит весьма неопределенным и тревожным.

Предпочтение отдано Украине потому, что в ней власть менялась в трех из четырех президентских выборах. И хотя это не привело к демократической консолидации и стабилизации, Украина обрела важный и успешный опыт относительно честных и свободных выборов, опыт разделения властей и мирного решения конфликтов.

При этом одним из ключевых факторов выживания и упрочения демократии на Украине стал ожесточенный конфликт внутри украинской элиты. Равенство сил элитных фракций поставило их перед дилеммой: взаимное уничтожение или компромисс, механизмом которого стали демократические институты и процедуры. Украинская ситуация лишней раз подтверждает давнишнее наблюдение: демократия вырастает не из достоинств людей, а из их недостатков. Она служит не для того, чтобы создать на земле рай, а для того, чтобы не возник ад.

Правда, если в политике элитный конфликт привел к упрочению демократии как механизма внутриэлитного компромисса,

то в экономике его результатами стали дезорганизация и управленческий паралич. Феноменальный украинский экономический подъем закончился почти сразу же после оранжевой революции, причем вследствие внутренних причин, а не в результате влияния внешних факторов. За демократию Украине пришлось заплатить масштабными экономическими и социальными потерями. Впрочем, с начала 2010 года украинская экономика демонстрировала высокие темпы восстановления — почти столь же высокие, что и темпы падения в 2008–2009 годах.

Экономические проблемы Молдавии трудно отнести на счет революции, поскольку молдавская революция проходила в ситуации глобального экономического спада. Молдавия вообще очень бедная по европейским меркам страна, значительная часть населения которой работает в Европе и России. В то же время в Молдавии соблюдаются демократические процедуры и правила игры, а политический режим довольно плюралистичен и либерален.

Соседняя Румыния, культурно и этнически близкая Молдавии, служит последней моделью, образцом и стимулом движения на Запад. Однако экономические перспективы Молдавии даже в случае интеграции с Румынией не выглядят благоприятными. Она окажется периферией периферии Европейского союза, страной, чей вклад в европейскую экономику состоит почти исключительно в поставке низкоквалифицированных трудовых мигрантов.

В Грузии демократический потенциал революции был выхолощен, утвердившийся режим Михаила Саакашвили характеризуется заметными авторитарными чертами, а экономически его невозможно назвать успешным. Впрочем, страна, избравшая военный путь для восстановления территориальной целостности, по определению уменьшает шансы нормального экономического развития и тяготеет к авторитарному правлению. Однако грузинская власть смогла устоять после поражения в пятидневной войне августа 2008 года и перед атаками внутренней оппозиции, что свидетельствует о ее политической силе. Хотя режим Саакашвили трудно назвать вполне демократическим и справедливым, его можно считать эффективным. Таким образом, результатом грузинской революции стало формирование режима — более

сильного, чем уничтоженный революцией, хотя скорее авторитарного, чем демократического.

В то же самое время победа на парламентских выборах октября 2012 года коалиции «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили в существенной мере возродила шансы демократической трансформации Грузии.

В отличие от Грузии постреволюционная Киргизия вообще не могла предъявить позитивных результатов революции: ни политической демократии, ни экономического роста, ни относительно эффективной власти. Режим Бакиева оказался еще более коррумпированным, неэффективным и непопулярным, чем свергнутый режим Акаева. Даже масштабная трудовая миграция киргизов в Россию не смогла спасти небольшую страну от демографического перегрева. Результатом глубокого внутреннего кризиса стала новая революция в апреле 2010 года, оказавшаяся полной неожиданностью для наблюдателей.

Итак, из четырех стран, переживших цветные революции, лишь две — Украина и Молдавия — добились относительных успехов в демократической консолидации. В Грузии и Киргизии сформировались режимы сущностно недемократические, хотя и использовавшие демократические процедуры. Правда, в Грузии новая власть оказалась эффективнее старой хотя бы в части подавления оппозиции. В Киргизии этого не случилось, что и привело к новой революции. Для послереволюционной киргизской власти главной проблемой сейчас выглядит не развитие демократии, а сохранение киргизской государственности вообще.

Если политические результаты цветных революций можно рассматривать как двойственные, то в экономике они оказались преимущественно негативными. На Украине послереволюционный конфликт элит привел к срыву впечатляющего экономического роста и кризису, который впоследствии был усугублен мировым кризисом. Радикальное ухудшение экономической ситуации произошло и в Киргизии, несмотря на российскую помощь, китайские инвестиции и существенные (по меркам киргизского бюджета) доходы от аренды США авиабазы «Манас». В Грузии и Молдавии революционные режимы не смогли обеспечить заметный экономический рост. Впрочем, вряд ли он был там вообще возможен.

Негативные экономические последствия революции являются скорее правилом, чем исключением, а установление демократии не гарантируют даже демократические по характеру революции. В России негативные результаты цветных революций использовались как важные аргументы в широкомасштабной контрреволюционной пропагандистской кампании для дискредитации как конкретных революций, так и идеи революции вообще.

По стезям Николая I

Российская реакция на цветные революции была избыточно сильной. Особенно острую реакцию Кремля вызвала оранжевая революция на Украине. И понятно почему. Грузия, Киргизия и Молдавия — страны небольшие и не представлявшие первостепенного интереса для России ни в экономическом, ни в геополитическом отношениях. Грузия вообще воспринималась как недружественное государство.

Украина же в силу своих масштабов, геополитического положения, историко-культурной близости и экономического потенциала всегда считалась ключевой для России страной постсоветского пространства. Но при этом российский политический класс смотрел на своего западного соседа свысока, а исход украинских выборов 2004 года выглядел предрешенным. И вот — совершенно внезапный для российских и европейских наблюдателей масштабный общественный протест, радикально изменивший политическую ситуацию.

Помимо утери политического влияния на Украину Кремль подсознательно экстраполировал оранжевую революцию на российскую ситуацию. Тем более что сразу же после (но не вследствие!) украинской революции по России прокатилась волна выступлений пенсионеров, протестовавших против так называемой монетизации льгот — перевода ряда натуральных льгот в денежную форму. Эти бунты сломали стереотип о пассивном и не способном к социальному протесту российском населении.

Цветные революции оказали значительное влияние на российскую политику. Перечислю только некоторые из самых важных последствий. Во-первых, для предотвращения социального протеста были значительно увеличены бюджетные расходы на под-

держку пенсионеров и бедных слоев общества. Во-вторых, была сформулирована официозная идеологическая доктрина — концепция «суверенной демократии» Владислава Суркова, оправдывающая статус-кво. В-третьих, власть резко ужесточила отношение к политической оппозиции, любым формам политического протеста и несанкционированной общественной активности. В-четвертых, стали периодически проводиться антизападные пропагандистские кампании, призванные мобилизовать российское общество против «подрывной антироссийской» деятельности Запада. В-пятых, для противостояния потенциальному уличному протесту оппозиции были созданы массовые прокремлевские молодежные организации.

В целом политико-идеологическая активность Кремля в 2005–2008 годах носила открыто и последовательно контрреволюционный характер. Типологически она повторяла контрреволюционную стратегию российского императора Николая I, при котором Россия получила неблагозвучное прозвище «жандарма Европы». Разумеется, формы и методы современной российской контрреволюции отличались от тех, которые использовались во второй трети XIX века. В 2005 году Россия не послала войска на мятежную Украину, как в 1830 она посылала их в мятежную Польшу, а в 1848–1849 — в революционную Венгрию. Зато в январе 2006 и 2007 года Россия перекрывала поставки газа на Украину. Другие времена, другие песни. Но идеологическая музыка осталась прежней.

Идеологическое обоснование контрреволюции при Николае I и при Владимире Путине концептуально совпадало. Правительство Николая I последовательно защищало принцип легитимизма, выступало против экспорта революционных идей, за которыми усматривало масштабный международный заговор, и против демократии *per se*.

А вот что говорил в 2005 году президент Владимир Путин: «Демократию нельзя экспортировать из одной страны в другую. Так же как нельзя экспортировать революцию, так же как нельзя экспортировать идеологию» (Путин, 2005). Директор ФСБ Николай Патрушев был откровеннее в своих заявлениях, прямо обвинив спецслужбы и организации иностранных государств в дестабилизации (читай: в организации революций) соседних с Россией государств.

При Николае I графом Уваровым была сформулирована доктрина российского самодержавия — теория «официальной народности». Она возникла как идеологический ответ на революционную динамику в Европе. Вопреки названию, центральным пунктом доктрины была не «народность», а «самодержавие» — монархия, обладающая всей полнотой власти на территории страны и свободой рук во внешней политике. Другими словами, доктрина провозглашала российскую империю суверенной монархией. Это был русский ответ на демократический принцип народного суверенитета. Два других члена уваровской триады, «православие» и «народность», трактовались как производные и целиком зависимые от монархии величины. Теория Уварова идеологически противостояла идеям народного суверенитета, республиканизма и национализма.

Современной репликой теории графа Уварова стала «суверенная демократия» Владислава Суркова, имевшего репутацию идеолога российской власти. Смысл этой идеологемы предельно прост: свободная от любых внешних ограничений российская власть, полностью контролирующая российское общество. Подобно доктрине Уварова, «суверенная демократия» стала идеологическим ответом на динамику оранжевых революций. Важно отметить, что как в XIX, так и в XXI веке именно революция дала решающий импульс артикулированию и идеологическому оформлению смутных настроений российской элиты. Благодаря революции ее имплицитное мировоззрение было эксплицировано в виде идеологической доктрины.

Термин «демократия» в доктрине Суркова такая же дань времени, как и термин «народность» в теории Уварова. «Народность» Уварова не подразумевала народного суверенитета, а «демократия» в понимании Суркова имела к демократии приблизительно такое же отношение, что и «народная демократия» коммунистических режимов.

Modus vivendi «суверенной демократии» также более или менее воспроизводил внутреннюю политику «официальной народности», хотя и с поправкой на время. Во время второго президентского срока Путина был стерилизован избирательный процесс, чрезмерно ужесточено законодательство по борьбе с экстремизмом, репрессировалась любая несанкционированная

публичная активность, преследовались неправительственные организации.

В общем и целом контрреволюционные практики носили явно избыточный характер. Точно такой же избыточной была реакция правительства Николая I на крошечные группы оппозиционных царской власти интеллектуалов — славянофилов и западников. И тогда, и сейчас страх российской власти был подлинным, но не слишком понятным. Но более важно, что вопрос об эффективности этой контрреволюционной политики остается открытым.

Почему не Россия, или когда Россия?

Теория революций признает свой провал в предсказании революций. Революции можно описать, но не предсказать. Они всегда неожиданны для современников и чаще всего случаются тогда, когда их никто не ждет. Структурные факторы революции не обязательно ведут к ней. Зрелость же структурных факторов чаще всего выясняется после того, как революция уже произошла.

Ситуация в России выглядела стабильной почти до конца 2011 года. Однако массовые выступления в Москве, Петербурге и ряде других городов, начавшиеся после парламентских выборов 4 декабря 2011 г. поставили под сомнение эту стабильность и открыли новую политическую перспективу, не исключая революционной. По крайней мере структурные факторы революции в современной России нуждаются в переоценке.

Хотя российское государство никогда не выглядело справедливым, до осени 2011 года оно хотя бы создавало впечатление эффективного в некоторых важных аспектах.

Во-первых, государство демонстрировало эффективность в достижении экономических целей: с 2003 по осень 2008 года Россия переживала беспрецедентный в посткоммунистическую эпоху экономический подъем, который массовое сознание ассоциировало с режимом Путина. Не столь важно, что в действительности этот подъем в решающей степени зависел от благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, а не от действий российских властей. Вероятно, не будь этих действий, экономический рост мог быть еще более значительным. Воздействие глобального эко-

номического кризиса на Россию серьезно ослабило впечатление экономической эффективности государства, но не критически.

Во-вторых, Россия выглядела весьма успешной в преследовании внешнеполитических целей. Здесь очень важен контраст с ельцинской эпохой, воспринимаемой российским обществом как период национального унижения и позора. (Вообще 1990-е годы во всех отношениях стали выигранным фоном для новой российской власти.)

В-третьих, российская власть проявила жесткость и изощренность в преследовании своих актуальных и потенциальных оппонентов. Причем эта жесткость долгое время воспринималась обществом одобрительно. В течение нескольких лет открыто выступать против сверхпопулярного Путина решались лишь небольшие маргинальные политические группы — радикальные левые и радикальные либералы, не пользовавшиеся симпатиями в российском обществе. Более или менее влиятельные оппозиционные политические партии были маргинализированы («Яблоко», СПС) или вообще уничтожены («Родина»).

Четвертым важным доказательством эффективности российского государства стал его полный и успешный контроль над телевизионными масс-медиа. Во всех странах, переживших цветные революции, присутствовали влиятельные оппозиционные масс-медиа. В России они исчезли еще в первое путинское президентство. А ведь в отсутствие влиятельных оппозиционных политических партий их роль могли взять на себя только масс-медиа.

Однако осенью 2011 года политическая ситуация в России стала серьезно меняться. Парламентские выборы были восприняты значительной частью общества как несправедливые и нечестные, что спровоцировало массовые выступления. Легитимность правящей партии, «Единой России», была критически подорвана, а легитимность ключевых властных институтов серьезно ослабла.

Хотя в марте 2012 года Владимир Путин был успешно избран президентом, и оппозиция не смогла бросить ему серьезный вызов, впервые за десятилетие российская власть столкнулась со столь масштабной и кардинальной политической угрозой. По оценкам авторитетных социологических и аналитических центров, в России начался необратимый процесс делегитимации режима, то есть моральная и психологическая революция.

Важную роль ее в распространении и развитии сыграл Интернет и социальные сети, которые в крупных городах выступили влиятельной альтернативой традиционным масс-медиа, включая телевидение. Новые медиа послужили ареной свободных политических дискуссий, сыграли роль важного и успешного инструмента антиправительственной агитации и пропаганды, стали средством координации политического протеста.

Как обстоит дело с таким структурным фактором революций, как кризис народного благосостояния? В годы процветания золотой дождь нефтяных цен проливался на Россию неравномерно, но доставалось всем слоям. Социальные низы, к которым, по разным оценкам, относится до трети населения, получали массивный пакет государственной помощи. Зависящие от государственных вспомоществований и характеризующиеся ярко выраженными патерналистскими настроениями социальные низы не только не оппозиционны власти, но и составляют ее стабильную опору.

В ходе парламентской и президентской кампаний они голосовали за «Единую Россию» и Путина.

Однако новая волна глобального экономического кризиса, начавшаяся в 2012 году, ставит под нарастающее сомнение способность российской власти выполнить широкомасштабные социальные программы и обещания, данные в ходе избирательной кампании. Российское общество испытывает на себе резкое усиление фискального давления и сталкивается с демонтажем остатков социального государства. В совокупности эти факторы способны политически «разогреть» пассивные слои общества.

В то же время для среднего класса и населения крупных городов теряет смысл путинский «пакт стабильности»: отказ от политических амбиций в обмен на экономический рост и повышение собственного благосостояния. Ни экономического роста, ни повышения доходов в обозримой перспективе не предвидится. Усиление административного и фискального давления лишает мелкий и средний бизнес шансов развиваться. Если характер проведения избирательной кампании вызвал моральный и политический протест средних городских слоев, то социальная и экономическая политика Кремля, помноженная на чудовищную коррупцию, ставит под угрозу сами основы его существования.

Впервые за десятилетие социальные и материальные риски открытой оппозиции власти оказались приемлемы для средних городских слоев, а ценности путинской стабильности начали уступать ценностям свободы и справедливости. Политическая активность общества в целом резко выросла и не проявляет тенденции к спаду, а массовые настроения становятся все более радикальными.

Три фактора сдерживают развитие политического протеста в России: кризис лидерства, слабость оппозиционной идеологии, относительная сплоченность правящей элиты.

Подавляющее большинство лидеров оппозиции в силу тех или иных причин неприемлемо для подавляющего большинства общества и даже для самих участников массовых протестов. Их антирейтинг, как правило, значительно выше рейтинга. В этой ситуации Путин остается для общества единственной приемлемой альтернативой.

В стране отсутствует артикулированная оппозиционная идеология, способная оправдать возможные жертвы общественного протеста. Ни один из вариантов левой, либеральной или националистической идеологии не способен консолидировать общество в целом (или значительную его часть) на борьбу с властью. Люди в России довольно хорошо знают, чего они не хотят, но имеют лишь смутное представление о том, чего же они хотят. В стране отсутствует широкая культурная рамка, способная придать смысл радикальным переменам и объединить общество в стремлении к ним.

Российское общество испытывает острый дефицит горизонтальных связей и развитых форм солидарности. Российская элита решительно препятствует любым проявлениям гражданской активности и возникновению любых независимых ассоциаций, рассматривая пассивность общества как залог сохранения политической власти.

Внешнее влияние (еще один структурный фактор) неспособно компенсировать слабость оппозиционной идеологии или решительным образом стимулировать гражданскую активность в России. К любым международным и даже российским неправительственным организациям российское государство подходит с презумпцией недоверия. Исключение составляют НПО и псевдообщественные организации, которые властью же созданы и/или

контролируются ею с целью имитации гражданского общества. Наиболее известный пример — Общественная палата.

Западное социокультурное влияние имеет в России парадоксальные следствия, резко выделяющие ее из числа других стран. Русские разделяют основные ценности, ассоциируемые с Западом, ориентируются на западные потребительские стандарты и считают Россию европейской страной. В то же время, в отличие от других постсоветских государств и от самих себя рубежа 80–90-х годов, для современных русских Запад более не выступает нормативистским образцом и мобилизующим примером.

Как подчеркивают многие исследователи, государства, поддерживаемые сплоченной элитой, в целом неуязвимы для революций снизу. Угроза революции возникает тогда, когда элиты не желают поддерживать режим либо охвачены разногласиями по поводу того, делать ли это, а если да, то как (Laqueur, 1968; Goldstone, 2003; Голдстоун, 2006).

Хотя разногласия в рядах российской элиты усиливаются, принципиального раскола в ней пока не случилось. Между тем для возникновения революции (или хотя бы острого государственного кризиса) важны не внутриэлитные конфликты сами по себе, а появление элитных фракций с радикально отличающимися программами. В то же время, как показывает опыт революций, поляризация и формирование элитных группировок с резко различающимися представлениями о структуре желательного социального порядка могут происходить в сжатые сроки. Этого нельзя исключить и в России, где в элитной среде традиционно присутствует заметная идеологическая и социокультурная дифференциация — потенциальная основа формирования открыто противостоящих друг другу элитных фракций.

Однако их кристаллизация может произойти лишь при дальнейшем нарастании массового протеста и фронтальном столкновении общества с властью. Без этого условия враждебные Путину группы элиты не решатся открыто выступить против режима, опасаясь санкций против себя. Хотя исподволь они уже стимулируют протестное движение, пока это фронда, а не открытая оппозиция.

Так или иначе, без союза части элиты и общества успешной революции просто не может быть. Однако союз непопулярной в России либеральной элиты и непопулярных вождей оппозиции будет

заведомо воспринят российским обществом с недоверием. У него свежи в памяти недобрые воспоминания о 90-х годах, когда именно такой союз определял российскую политику. В свою очередь, либеральная элита и контрэлита демонстрируют элитистские настроения и опасаются глубокого вовлечения общества в политику, поскольку это чревато для них потерей стратегических позиций.

Вероятно, психологический профиль российской элиты станет ключевым вопросом в случае острого политического кризиса. Готова ли она прибегнуть к массовому и жестокому насилию против населения или же нет? В ходе цветных революций власть не решалась противостоять оппозиции, опасаясь ответственности за массовое кровопролитие. В случае возникновения подобной угрозы она сдавалась. Характерно, что с конца 2011 г. репрессии против участников массовых выступлений воспринимаются как несправедливые и необоснованные, общество требует от власти диалога и компромисса, а не конфронтации и насилия.

Подытоживая, в сегодняшней России более-менее явно выражены два из шести структурных факторов революции — кризис государственной власти и кризис народного благосостояния. Еще три фактора — раскол элит, союз части элиты и народа, артикулированная оппозиционная идеология — несут пока скорее потенциальный характер, хотя при повышении политической температуры могут быстро актуализироваться. Такой фактор, как внешнее влияние, в случае России вряд ли вообще имеет серьезное значение.

Заключение

Современная Россия с нарастающей силой втягивается в масштабный общенациональный кризис. Однако его развитие не обязательно приведет к революции. По крайней мере, ряд ключевых структурных факторов революции в России пока не сформировался.

Тем не менее, в целом российская ситуация скорее предрасполагает к агностицистской позиции, чем к однозначным суждениям о будущем. Как свидетельствует мировой опыт, кардинальные социальные и политические перемены чаще всего начинались внезапно и оказывались неожиданными для наблюдателей. И уж точно ни одна революция до сих пор не была предсказана.

Часть II. ДЕМОКРАТИЯ В РОССИЙСКОМ ЗЕРКАЛЕ

ДЖОН ДАНН

Глава 5. Оценка демократии как формы правления для определенных территорий: утопия или апологетика?

Демократическая власть как отречение от самоуполномочивания

Любая форма правления может сохранить «власть для» данного населения в определенное время, и любая форма правления может также завладеть «властью над» ним. Достаточно очевидно в отношении многих народов и большей части истории, что ни одна форма правления не достигает первого или не добивается второго. «Власть над» — бихевиоральное понятие — суть могущества; но «власть для» по природе нормативна. Она нуждается в доверии, отношении и чувствах, и пока могущество может порождать ее или происходить из нее она никогда не может сама по себе быть просто фактом могущества и никогда не сводима к репертуару поведения. То, что делает демократию такой рискованной категорией в современной политической науке (в поразительном контрасте с тем, что было три века назад), — это именно то, что делает ее такой привлекательной в применении: ее постоянно колеблющаяся неопределенность между позитивным и нормативным. Латентная двойственная претензия современной демократии заключается в том, что при ней и только при ней правители — люди, которые удерживают власть, делают так только потому, что они подтвердили власть авторитетом, причем при демократии и только при демократии те, которыми управляют, могут полагаться на то, что ими управляют без того, чтобы какие-либо особенные люди удерживали «власть над» ними. Идеологическая привлекательность этой комбинации, таким образом, искусно сочетает беспечность анархии с безопасностью

гражданского порядка. Ныне существующие демократии, что не удивительно, имеют более пеструю летопись и «власти для», и «власти над» своим населением.

Само понятие «государство» требует власти над определенной территорией и населением. Те государства, которые не способны достичь ее, потерпели неудачу не только в современной политической классификации, но, совершенно очевидно, и в оценке по критериям, которые они не могут последовательно отрицать. Чрезвычайно сложные выражения идеи государства, которые все еще обеспечивают самый выдающийся и последовательный формат коллективной человеческой жизни в тех регионах земного шара, где такая жизнь имеет место в любом масштабе и на любом уровне, несомненно, драматично различаются. Но формат, на предоставление которого они претендуют, сам по себе требует, чтобы, по крайней мере, были приложены усилия, чтобы защищать и устанавливать такую власть. Процесс образования этих государств во всей своей жестокой и угрожающей беспорядочности почти повсеместно заключался в лишении могущества многочисленных и разнообразных соперников и прежних владельцев — местных двойников *Les Grands Ришелье* (Dunn 1994). Этот процесс всегда и неизбежно будет оставаться незавершенным; но на данный момент почти везде в мире он зашел слишком далеко, чтобы вопрос о легитимности завис в воздухе. Ныне существующие демократии пока являются наименее нелепыми и безнадежными претендентами на то, чтобы наделить свои государства необходимой для них легитимностью. Эта выдающаяся идеологическая черта мира, в котором мы сейчас живем, может пролить очень мало света и на сильные, и на уязвимые стороны других сохранившихся типов государства; но ни один из способов понимания политики тех государств, которые претендуют на легитимную власть благодаря тому, что являются демократиями, не может быть адекватным без понимания того, как они ищут оправдание этой претензии, и насколько они в этом преуспели. Ныне существующие демократии также отличаются друг от друга в бесчисленных и важных отношениях; но сами по себе, а еще больше — в своей совокупности они образуют единую большую и экстравагантно искаженную уловку для легитимации. Если посмотреть пристальнее, можно увидеть, что у каждой из этих демократий в самом центре есть одно бро-

сающееся в глаза внутреннее противоречие, утверждающее одновременно власть «над» и власть «для» посредством одной шаткой структуры — автономного выбора народом своего собственного способа подчинения, своего категорически беспечного и свободно повторяющегося самоподчинения. Полностью исчерпывающая власть «для» может хорошо обеспечивать равно исчерпывающую власть «над» на то время, пока она длится. (Руссо предвидел нечто похожее.) Но было бы странно, если бы любое человеческое объединение с готовностью ожидало прихода такой власти и тем более ее длительного сохранения. Власть «над», разумеется, также всегда является неполной; и она также может легко и быстро распаться даже там, где была достигнута в первую очередь. Было бы более чем глупо приписывать ее успешное установление мнимому убеждению, которое она укрывает до своего появления, и в лучшем случае наивно удивляться тому, как быстро такое убеждение может исчезнуть под давлением опыта.

Никто из изучающих политику реально существующей демократии не может с легкостью сделать вывод о том, что любой демос внутри нее ощущает существующую политическую жизнь как гладкий процесс самоподчинения. То, что мнимая идея свободных и честных выборов в современных капиталистических демократиях воспринимается как центральная, происходит оттого, что эта идея является наиболее приближенной к уполномочиванию, почти повсеместно институционализированному в гладком процессе автономного самоподчинения (Manin 1997). Поскольку нет причины полагать, что можно вообразить еще более близкую к уполномочиванию процедуру, а тем более легко и надежно институционализированную (Przeworski 2010a). Этот разрыв между уполномочиванием и идеей имеет огромные политические последствия. Измерять его — остро провокативно, а последствия его делегитимации могут оказаться драматическими для любой современной политики. Это сейчас — главный фронт текущей идеологической борьбы на обширных территориях.

Повестка дня

Оценка того, как демократия отражается в зеркале России или Россия — в зеркале демократии, требует, по крайней мере, двух сильно расходящихся линий вопросов. Существуют, по

меньшей мере, три типа вопросов, которые следует рассмотреть. Является ли демократия самосертифицированным критерием жизнеспособности и легитимности, в отношении которого у России нет другого выбора, кроме как соответствовать ему насколько возможно или болезненно осуждать себя за уклонение. Насколько в действительности демократия является подходящим критерием политической нормальности и политической благопристойности России сегодня или завтра? Пока она является единственным адекватным критерием, в какой институциональной форме или посредством какой структуры процедур она должна применяться и что делает ее применение в этой форме адекватным (а применение альтернативных явно несовместимых форм — откровенно и решительно неадекватным)? Или Россия в ее нынешних условиях и под тяжким бременем своей истории представляет собой скорее политический, социальный и экономический вызов, встретить который у демократии в любых настоящих практических интерпретациях нет определенных или доступных ресурсов? Какова вероятность того, что критерий, таким образом институционализированный, будет эффективно применяться в России на практике и кто или что стоит между ним и его эффективным применением к этим условиям в настоящем, недавнем прошлом или конкретно обозримом будущем? Каждый из этих вопросов вызывает политические разногласия, и на каждом из них трудно сосредоточить внимание. Последний вопрос — явно политически провокационный и, по крайней мере, с демократической точки зрения в лучшем случае чреват иностранным приговором.

Для самой России безотлагательный вопрос — это вопрос о том, является ли она уже демократией (пусть демократией с российскими характеристиками), как президент Медведев уверенно заявил в Ярославле, и если да, то какие признаки делают ее таковой. Каковы составные признаки ныне существующей российской демократии, если она действительно существует? Если (или пока) Россия в настоящее время не является, еще не является, или в недостаточной степени является демократией, может ли она быть демократией сейчас; а если она может быть демократией сейчас, должна ли она быть демократией сейчас? (Если по той или иной причине она в настоящее время не может

быть демократией, то нет смысла заявлять, что она должна быть демократией: «должна» подразумевает «может».) Если она не является (или пока не является) демократией сегодня, то кто (или что) повинен в том, что у нее не получается быть демократией?

Это навязчивые вопросы политического выбора и идентификации. Они требуют, чтобы респонденты связали себя обязательствами и вставали на одну из сторон; но они делают это на основе чрезвычайно небезопасных предположений, и далеко не очевидно, насколько они могут прояснить как трудное нынешнее положение России, так и варианты, которые по-настоящему открываются сейчас. Неблагожелательные наблюдатели могут считать, что огромное большинство населения России очень растерялось, столкнувшись с этими вопросами; но более щедрая или сбалансированная оценка должна была бы констатировать подобную степень растерянности во всем мире и локализовать причину этой растерянности не только в природе человека (*homo sapiens*) или в политике вне времени (Dann 2000), но также и в текущем демократическом соединении чрезвычайной концептуальной нечеткости и пластичности с экстравагантной политической гиперболой (Dann 2010).

Метод

Демократия — это, по крайней мере, три вещи: слово, понятие и набор соревнующихся институциональных форматов и практик, которые претендуют на то, чтобы иллюстрировать слово и служить примером понятия. Демократия сегодня — предмет активного спора, ведущегося в отношении всех трех реестров, поскольку в современной политической речи она несет самую мощную легитимирующую нагрузку. Вот почему Обама и Ахмадинежад, Саркози и Медведев, Чавес и Лула, Мугабе и Гудлак Джонатан, как и «Красные» и «Желтые» в Таиланде, предпочитают ассоциировать себя с ней, но отрицают ее наличие у своих оппонентов. Это самое уважаемое и явно космополитическое происхождение правительственной власти сегодня и наименее оспариваемый базис для утверждений права на власть для всех, чье положение позволяет им это заявить. Действительно ли демократия заслуживает уважения, которого она требует, и действительно ли она является самым неоспоримым базисом

для власти — это серьезные вопросы, и ответы на них сегодня не намного яснее, чем они были тогда, когда слово «демократия» впервые появилось в речи. Но глобальный резонанс, который оно ныне имеет, отдает ему идеологический приоритет, по меньшей мере, с которого и стоит начать.

Под этими вопросами, как неосвобожденный сейсмический заряд, лежит более фундаментальный вопрос: что происходило при формировании форм правления во всем мире в течение последнего века и ранее. Какие факторы способствовали диффузии слова, понятия и соперничающих институциональных воплощений каждого из них во времени и пространстве в модели, сформировавшиеся в последние десятилетия, и какая совокупность сил повсеместно или в соответствии со временем и пространством остановила эту диффузию или повернула ее вспять? Оптимистический взгляд на процесс диффузии приписывает его в основном мнимой жизнеспособности и нормативной силе самого понятия (особенно в соревновании с его выжившими соперниками) и, возможно — что еще более героично, — интегральной убедительности самых успешных ныне институциональных претендентов на его воплощение. Более пессимистичное видение, хмуро проглядывающее через туман политики, войны и глобального экономического взаимодействия, представляет чрезвычайно странный процесс выбора из еще более неподходящих альтернатив. Прославляющие прогресс демократии, естественно, благоволят первому видению, в то время как открытые оппоненты, как и ожидалось, в равной мере мирятся с результатами, ставя под вопрос, может ли потенциал демократии в любом виде или форме надежно способствовать безопасности, богатству или процветанию населения. Как продемонстрировал Пшеворский (2010а), существует мало эмпирических свидетельств для этого уровня скептицизма относительно достоинств демократии в ее текущих институциональных формах. Но это открытие, достаточное обнадеживающее само по себе, недалеко отстает от оправдания оптимистического взгляда. Оно не обеспечивает никакой основы для допущения, что любая практическая интерпретация демократии, если только она была установлена с достаточной решительностью и поддерживалась с достаточной тщательностью, оказалась бы способной обеспечить свое собс-

твенное увековечение или позволило бы России сделать свое неустойчивое государство более цивилизованным и рациональным и направить и государство, и общество в хорошо продуманную погоню за общим благом.

Выборы

Ключевой институциональный механизм для наделения демократических режимов убедительностью — это предположительно свободные и честные выборы, в которых участвуют фактически все граждане. Несмотря на пластичность институциональной формы, идея выборов — довольно ясная идея, а ее центральный мотив, индивидуальный личный выбор, является символической формой человеческой свободы. Несмотря на значительную критику Гоббса (Skinner 2008), мы все моделируем свободу через агента и все еще считаем тень рабства самым полным ее отрицанием в этой жизни. К несчастью, образцовая и идеологически динамичная ясность выборов как идеи не отмечена сколько-нибудь похожей ясностью очертаний или направленности свободы или честности (Sen 2009), и наш успех, не только как ученых-обществоведов, в плане устойчивого включения этих двух «не по хорошу мил, а по милу хорош» понятий в публично обозримый мир был весьма ограниченным. На одном конце континуума мы можем уверенно идентифицировать несвободу: КНДР, Зимбабве на последних всеобщих выборах. Но стоит одному массовому и явному принуждению исчезнуть со сцены, неоднородно, значительно, если не полностью скрытая матрица страхов и соблазнов, с которыми сталкиваются индивиды, бросает вызов надежной оценке. С честностью дело обстоит еще хуже. Чрезвычайно трудно отличить нечестность от социальной, экономической и даже психологической или физиологической реальности, то есть от самой жизни. Один способ понимания открытия Пшеворского (2010а, с. 1–38) — избегание крайностей несвободы в электоральном процессе — может в ряде обстоятельств быть необходимым и достаточным для консолидации режима, который является демократическим в конвенциональном современном смысле, избегание даже самого высокого уровня нечестности внутри режима не имеет значения для его потенциальной устойчивости.

Суждение, согласно которому избегание крайностей несвободы в рамках электорального процесса является необходимым условием для консолидации режима, косвенным образом угрожает не только явно хрупким режимам, но также и тем режимам, которые к настоящему времени уже многие десятилетия решительно запугивали своих оппонентов (Мьянма) или демонстрировали удивительную историческую отвагу, обогащая большие сегменты своего населения и расширяя власть своего государства (наиболее последовательно — КНР). Сам по себе этот вердикт просто объединяет частные исторические суждения с законами социального и политического развития. Даже если бы до сих пор он оказывался универсально валидным, что весьма очевидно не так, это суждение о внутренне присущей режиму нестабильности в любом случае всегда могло быть опровергнуто поколением новых и могущественных тираний. Как твердое политическое суждение он не намного лучше, чем исполнение желаний.

Суждение, согласно которому избегание крайностей несвободы в электоральном процессе достаточно для консолидации режима, также находится в блаженном неведении относительно возможности внешнего принуждения (Тайвань). Оно также даже внутри страны чревато тавтологией. Поддержание свободы в рамках электорального процесса — тщательно разработанное достижение государства (например, любые национальные выборы в Индии, Ванегjee 2007). Трудно представить достижение необходимых условий в любом режиме, уже находящемся под острой угрозой (например, Афганистан или в настоящий момент даже Пакистан).

Относительная безмятежность режимов инкубентов перед лицом большого и растущего неравенства более двух веков приводила в замешательство политических аналитиков и будущих революционеров. Большинство ныне живущих людей приучены к очень высокому уровню явной несправедливости и, соответственно, не удивляются, когда сталкиваются с ней в рамках электорального процесса. Это может быть просто потому, что они запуганы. Но это может быть также потому, что они реалистично полагают, что слишком тяжело или в остатке слишком затратно резко уменьшить нечестность, чтобы сделать попытку экзистенциально стоящей: версия выводов, сделанных из первоначальной

позиции Роулза (1972), достигнута, несмотря на все преимущества ретроспективного взгляда.

Личный выбор является моментом мнимого обольщения во время выборов. Их самое замечательное системное свойство — могущество этого момента, несмотря на опасность, исходящую почти от каждого другого различного элемента социального, экономического и политического процессов, которые приводят к нему или происходит из него. Воображаемое выборов и их казуальный характер непонятным образом связаны друг с другом; и отношения между ними весьма нестабильны во времени. Насколько (если вообще) их идеологическая позиция или хартия отражает их практическое содержание и характер? Где в них роль акторов: кто, кому — по классической формуле? Распределено ли агентство, как предполагает понятие, относительно равно среди всех акторов, кто может в нем участвовать? (Ответ — «нет».) Или является ли оно одновременно более концентрированным и далеко неравным? (Ответ, что неудивительно — «да».) Насколько реалистично рассматривать даже самые свободные соревновательные выборы как затянувшиеся упражнения в народной делиберации, завершающиеся ясным выбором (однако вынужденным или безнадежным)?

Даже там, где момент выбора резко отделяет одного кандидата или партию от их ближайшего соперника, как на суть выбора влияют прежние вкусы или убеждения тех, кто делает окончательный выбор? Моделирование предшествующих предпосылок выбора занимало умы, по крайней мере, двух поколений талантливых политологов, но пока нельзя сказать с уверенностью, что они достигли ясных и неоспоримых выводов. Соревновательная электоральная политика остается настолько явно эвристической и настолько вопиюще импровизаторской, какой была долгая череда ее предшественников, и ей вполне может быть предопределено оставаться такой неопределенно долго (MacIntyre 1973).

Может быть, лучше рассматривать такие выборы как строго профессиональные соревнования (Schumpeter 1942) с разным количеством вовлеченных любителей, большинство из которых фигурируют в них в качестве нечаянных заложников? Пока платформы, продвигаемые соревнующимися командами профессиональных политиков переформулируются (или предварительно

формулируются) в результате народной делиберации и предпочтений, которые предшествуют ей или формируются после нее, необходимо широкое распространение «агентства»? Если платформы явно формулируются иначе, образ народной делиберации в лучшем случае будет простодушным, а сама реальность выбора вызывает подозрения. Если равновесие предпочтений вкуса и настоящей свободы соревнования между двумя командами политиков приближает их к середине (Downs 1957), то выбор между ними двумя может показаться тщетным; но он будет таким только вследствие воздействия груза прежнего выбора. Как пространство для выбора может не быть экзистенциально ободряющим, но оно едва ли поставит под сомнение предполагаемую свободу выбора. Что угрожало бы этому предположению, так это признание того, что многие другие весомые каузальные факторы уже вошли в электоральное пространство, исключив одни варианты выбора, целенаправленно препятствуя другим, и противостоят предположительно суверенным выборщикам, предлагая варианты, которые слабо связаны с равновесием и относительной неотложностью исполнения их собственных желаний и целей и явно невосприимчивы к любому прямому достижению последних. (Действительно ли избиратели в России предсказуемы менее, нежели избиратели в США, удовлетворяются или примирятся они с выбором, который оказывается им электорально доступен, когда они выбирают президента? Если ответ не будет уверенно утвердительным, идея о том, что судьбы двух стран могут быть бинарно разделены между свободой и несвободой по способу, которым эти страны получают главу исполнительной власти, небезопасна; однако гораздо более явно в российском случае непосредственное воздействие принуждения или подкупа в рамках электорального процесса или около него.) Нет очевидного и заслуживающего доверия способа сказать, где этот известный результат (или вердикт) демократического опыта является следствием, по сути, обезличивающего процесса агрегирования, или выглядит ли он скорее как уничтожение жизнеспособности и целей явного большинства посредством безжалостного применения чрезвычайно неравной власти. Обе перспективы могут проявиться очень резко; и балансирование между ними с учетом времени и пространства является очень деликатным политичес-

ким суждением самим по себе (Dunn 2000, глава 1). Трудно поверить, что такие результаты тоже не изменяются кардинальным образом от случая к случаю.

Вы можете спросить для сравнения, насколько в действительности отвечают предпочтениям и опыту потенциальных избирателей электоральные процессы в США, России, Венесуэле, Турции, Таиланде, Индии, Зимбабве, Соединенном Королевстве, Пакистане, Ираке, секторе Газа, Израиле или Мьянме, ожидая, что ответы будут существенно различаться в каждой из этих стран с течением времени, так же как и между всеми ними в одно и то же время. Что ясно повсеместно, так это политическая сила этого вопроса. Одних выборов недостаточно: предельным отклонением будет пустая оболочка выбора, который систематически подавляется. Беспрепятственная свобода и просвещенная честность — трудно исполнимая надежда в этом сурово несовершенном мире землетрясений и кажущегося бесконечным человеческого отчаяния. (Они немедленно сходятся в свободной игре фантазии.) Сколько свободы и сколько честности нужно, чтобы сделать выборы реальными? Ответ — в ставке: отличием между самоуполномочиванием и внешним уполномочиванием среди режимов и производным отличием между действительным реальным и псевдоуполномочиванием. Правительственное самоуполномочивание (уполномочивание правителей самими правителями без возможности любой внешней оценки) является известной характеристикой истории большинства регионов мира в течение долгого времени: возможно, при определенном регулировании шкалы оценки — даже всех. Но понятие самоуполномочивания, по сути, необоснованно и, по меньшей мере, скрыто является логическим кругом. Даже в наиболее истощенных и подвергающихся угрозе обществах инкубенты обычно считают, что они получили свою власть свыше (до недавнего времени — обычно от Бога или некоторого более широкого набора высших сил — измерение, в котором оценка валидности и благовидности притязаний опиралась на поразительный круг импровизированных образов во времени и в пространстве). Чтобы избежать любой претензии на внешнее уполномочивание, требуется очень высокий уровень самоуверенности и необычный темперамент. Понятно, что небольшое число правителей будет приказывать своим

подчиненным подчиняться им только потому, что они слишком напуганы, чтобы поступать как-то иначе. (Даже император Тиберий — *oderint dum metuant*: пусть ненавидят, лишь бы боялись — не стал объявлять свое отношение публично.) Нетрудно уловить, почему более прямая и конкретно воображаемая форма внешнего уполномочивания стала казаться более привлекательным основанием для властных притязаний, особенно в более богатом, более интенсивно интерактивном и коммуникативном мире, с более значительными концентрациями власти принуждения, в котором общества более тесно и настойчиво теснят друг друга.

Как институциональная форма, посредством которой демонстрируется внешнее уполномочивание тех, кто правит в настоящий момент, электоральный выбор при всеобщем избирательном праве еще должен найти неоспоримого соперника. Отчаявшись, Вы можете подумать о нем в случаях, когда перспектива решительного лишения уполномочивания минимальна или отсутствует, как большая шарада, в которой этикет выбора нанесен на реальность чистого подчинения. Более оптимистично, на другом конце континуума вы можете вообразить его как коллективный поиск наименее неподходящих обескураженных потенциальных кандидатов на правление, в котором равно заняты индивидуальные члены организма граждан или взрослого населения и который происходит в изменяющихся условиях видимости. В этом образе каузальная детализация самого процесса поиска и более конкретная обрисовка распределенных способностей агентства индивидуальных избирателей покрывают ошеломительную сферу возможностей и, соответственно, различаются в воображаемом весе, экзистенциальной силе и политической благовидности, которую они придают результату. Поскольку любой настоящий выбор кандидатов на правление в лучшем случае — информированное предположение о будущих последствиях, все, к чему внешнее уполномочивание в этой форме может быть сведено, — это к передаче обязанностей от очень многих к очень немногим. Трудно переоценить несоответствие в этом процессе между интересами профессиональных политиков и избирателей-любителей. Для первых, стоит им получить обязанности — это красивая дорога к желаемому результату. Для последних, стоит им передать обязанности настолько хорошо, насколько это возмож-

но, — не остается другого надежного сохраняющегося интереса к тому, что они это сделали, кроме слабой тени крушения их в разной степени устойчивых надежд вследствие полученного в свое время шанса отомстить за масштабы их последующих сожалений. Разновидность дикого правосудия лучше, чем отсутствие правосудия как такового, но его нельзя ложно принимать за эффективную структуру воздействия любителей на профессионалов (Dunn 1999).

Если России вообще нужны выборы (а она в конце концов чувствовала их необходимость в некотором виде и той или иной форме в течение целого века), не станет ли это верным и в отношении Китая, наиболее длительно сохраняющего независимость и самоуверенность человеческой цивилизации, которая когда-либо существовала, хотя он в настоящий момент действует под эгидой политического вдохновения, которое всегда было эпистемологически искаженным и которое в течение последних двух десятилетий оказалось политически уязвимым в другом месте? Если России действительно нужны выборы, то для чего точно они нужны и насколько свободными и честными они должны быть, чтобы удовлетворить эту потребность?

Аксиоматическая свобода электорального выбора, которая определяет парадигму современной легитимации, выдвигает естественно, ряд сопутствующих требований: что избиратели должны свободно получать адекватную информацию относительно широкого спектра факторов, которые касаются их интересов, что они должны свободно общаться друг с другом в процессе делиберации, что они должны быть подчинены минимальным прежним ограничениям в плане выводов, которые они свободны сделать, и свободны, чтобы организовать, чтобы лоббировать свои выводы. Менее ясно и, следовательно, менее неоспоримо, что они могут также иметь право на любые другие свободы или ресурсы, необходимые для того, чтобы подготовиться к поиску, делиберации и эффективной организации для этих целей. Призывы к беспрепятственной свободе и полной честности весьма очевидны в этом контексте, как и их драматическая отдаленность от реальностей любого современного общества и экономики и процессов, в результате которых появляется глава исполнительной власти. Роль денег или эквивалентных ресурсов в электоральном

соревновании является ключевым показателем токсичности в этом отношении во всех современных режимах, претендующих на демократический статус. Если (или до тех пор, пока) выборы просто куплены, аксиоматическая свобода, включенная в их стоимость, почти изъята из них посредством структуры рыночных побудительных мотивов, и демократия становится, как видел ее Сорель, раем, о котором мечтают беспринципные финансисты (Dworkin 2006, Sorel 1961, с. 222).

Там, где у граждан действительно есть возможность и социально реализованная способность думать и говорить за себя, выбор, который они делают, дарует столько власти, сколько вообще могут даровать люди. Где они продают свой голос за миску похлебки, они даруют мало или вообще не даруют власти, которая уже не базируется на нормативном положении существующего контроля над продовольствием. Когда они эффективно принуждаются к молчанию посредством запугивания и еще более — когда они принуждены становиться эхом заявлений своих правительств, они не способны формировать через свое собственное «агентство» набор вариантов, которые стоят перед ними, и их пассивная сопричастность режиму не может рассматриваться как согласие с его легитимностью. Чтобы электоральное уполномочивание имело политическую силу и чтобы оно стоило того, чтобы его иметь, в конечном счете, даже по мнению правителей, оно должно отражать узнаваемые элементы организационной свободы и неограниченной свободы слова. Где они явно присутствуют и где формы электорального выбора, общественной делиберации и неограниченного соревнования между политическими партиями или лоббистскими группами утвердились и хорошо институционализированы, политика часто принимает форму соревнования между партиями правительства и партиями оппозиции. Это может вести к издержкам, так же как и выгодам, когда речь заходит о прояснении выводов общественной делиберации; но это также определенно помогает дисциплинировать использование правительственной власти, если не приостанавливая ее постоянно и безапелляционно, то, по крайней мере, сдерживая или затрудняя ее опрометчивые импульсы (Manin 1994). Внутри структур современного демократического государства оппозиция может служить для усиления делиберации и ответственности прежде всего через

выраженные критические и пробуждающие аргументы и посредством их эффективного распространения. Организованное неповиновение и препятствование там, где они выходят за рамки выражения, возможно, ближе к провалу демократического правления, чем к его усилению. Демократия без правления — просто анархия, и государство не может быть государством без сохранения права решать, какого рода неповиновение или препятствование оно позволит, и навязывать свои решения. По этому критерию сегодня, конечно, много псевдогосударств или государств-самозванцев; но признание этого всего лишь принижает дух; оно не помогает нам ясно думать о чем-либо.

Одно затруднение, возникающее в вопросе о природе и значении выборов, — это то, какая концептуальная роль отведена в них политическим партиям. Является ли политическая партия необходимой формой, поскольку она необходима для электорального уполномочивания? Если да, то какие черты делают ее необходимой и даже потенциально достаточной для обеспечения этого? Заключается ли ее основная роль в том, чтобы сжато изложить мнения, которые возникают как результаты делиберации (требующие высокого уровня постоянной делиберативной ответственности), или в том, чтобы создавать образцы мнений и структуры лояльности, институционализированной преемственности во времени и переводить их в русло политического агентства. Заключается ли она главным образом в агрегировании политических суждений в определенный момент времени или в придании им формы и преемственности во времени? Насколько глубок разрыв между претендентами на власть из числа элиты, для которых партия — необходимый двигатель к личной власти, и массовым электоратом, для которого она всегда в лучшем случае — очень слабое и грубое средство ограничения формы и направления правления? Насколько уполномочивающая сила электорального выбора зависит от отказа признать глубину этого разрыва? Насколько скачкообразное снижение возможности уполномочивания является результатом недобровольного подвержения воздействию его силы? Как мы должны рассматривать отношение между партией как инструментом делиберации и средством для преследования интересов, идентифицируемым посредством такой делиберации, и партией как канала к госу-

дарственной власти для тех, кто будет исполнять ее в случае победы на выборах? Страны с жестко институционализированным политическим соревнованием (как Соединенное Королевство) развивают широко разделяемые концепции соотношения этих элементов. Страны с более неустойчивыми моделями политической институционализации едва ли могут делать это и вызывают подозрение в том, что они реально не соотносятся вообще. Важно признавать, насколько разделяемые понимания того, что такое партии и что они значат, исходят скорее из этих привычек, нежели из самого понятия партии или из партии как предположительно универсальной политической формы. Накопленная политическая привычка рассматривать партии главным образом как вектор противоположных политических идеологий значительно затемняет эти вопросы.

В российском случае после 70 лет коммунистического правления было неудивительно, что ей оказалось гораздо легче создать хорошо организованную партию долгожителя из, посредством и для режима, нежели из других компонентов российского общества и посредством относительно небезопасных ресурсов и ограниченных средств, доступных вне прикрытия режима. Живо выступать против режима означало объявить себя врагом государства и рисковать большими объемами частной собственности, которая могла быть брошена на политическую игру. Действительно, решение переизбирать государство имело некоторую осторожную благовидность для многих, и даже выраженное отвращение к действующим хранителям государства не стало эффективной солидаризирующей силой на воображаемом или практическом уровне для общества в целом.

Двусмысленный характер партий как представительных агентств и инструментов личной мобильности являлся одной из основных тем политической социологии с момента ее основания (Михельс, Моска, Острогорский), как и для будущих политических лидеров (Ленина, Троцкого, Мартова, Бернштейна, Каутского, Люксембург). Массовые партии первой половины XX века, вероятно, требовали наличия и поэтому создавали изошренные бюрократические организации с выраженными олигархическими элементами. Но они также часто относительно благовидно связывали профессиональные и местные сообщества и классо-

вые группировки со структурами коллективного посредничества. Гораздо более мелким партиям сегодняшнего дня не хватает убедительных связей такого рода; в то же время они не становятся заметно более открытыми в своей внутренней динамике. Поэтому эти партии все чаще оказываются выхолощенными и явно показными в своих требованиях представительства. Новое впрыскивание в них большей сущности потребовало бы идентификации и мобилизации более новых и сравнительно устойчивых форм коллективной идентификации или локализации и вынесения неоспоримых суждений относительно сути коллективных интересов. Первое может показаться просто упражнением в управлении мнениями; но второе явно требует реального когнитивного понимания, возможно, такого типа понимания, которое влечет одновременно более острые выводы, чем позволяет социальная, политическая или экономическая реальность: выводы ближе к тем, которые Платон считал доступными в процессе познания, чем к тем, которые любой социолог когда-либо мог надеяться найти (Dunn 2000).

Рельефность неоспоримых основ представительства для определенного населения (возможно, вместе с отсутствием глубоких и жестких расколов в нем) обеспечивает благотворные структурные условия для электоральной демократии, условия, пока менее доступные для России, чем, например, для Швеции или Чешской Республики. (Даже для Швеции эта структура подвергается сейчас значительной нагрузке.)

Признание когнитивного понимания в качестве независимого нормативного предела (и потенциального практического препятствия) привлекательности демократии уходит далеко в прошлое (Dunn 2006) и все это время сохраняет потенциал для замешательства. В своей основе демократия воплощает убеждение, что хорошо, при всех других равных обстоятельствах, для политического сообщества делать то, что большинство заинтересованных сочтут необходимым. Но что если другие вещи оказываются далеко неравными, что явно нехорошо? Демократическая политическая привлекательность легко ослабевает перед лицом очень сложных случаев. Предположим, что мы считали, что некоторый курс действий был необходимым условием для выживания человечества на земле, наше мнение оказалось верным, но

его не разделило огромное большинство наших сограждан, тогда что (или кто) должен решать, что должно быть сделано на практике? Требование лучшего понимания может нести реальную угрозу в политике, если оно применяется как право на власть; но оно несет эту угрозу как раз из-за своей внутренней силы. Там, где оно оказывается обоснованным, какое более сильное требование к власти действовать эффективно от имени других тогда возможно, кроме обоснованного требования понимать, что поставлено на карту и что нужно делать, чтобы это защитить? Демократия в своем современном смысле может быть утонченным и благоразумным пари относительно того, что делать (и еще больше — того, что не делать или продолжать делать). Ее нелегко превратить в интуитивно неоспоримую аксиому моральной философии.

Российские особенности и универсальные дилеммы

Сегодня существуют две хорошо определенные и энергично защищаемые стратегии глобального политического развития, и каждая из них имеет своих защитников в России и по отношению к России. Одна из них предлагает последовательность, в которой эффективная «власть над» населением, объединенная с благой правительственной целью, порождает легитимацию, достигая желаемых результатов. Ее соперник — это стратегия, в которой «власть для» граждан убедительно демонстрируется (легитимация в ее самом неоспоримом современном обличье) и порождает эффективную «власть над» теми же гражданами, обеспечивает благоую правительственную цель и достигает желаемых результатов не в последнюю очередь — посредством могущества, которое она аккумулирует и направляет. Обе стратегии в своей ясной и хорошо определенной форме должны быть запущены в условиях, весьма отличных от тех, в которых российский народ находится в настоящий момент. В стране, которая изначально не обладает ни эффективностью, ни легитимностью в значительной мере, никакая стратегия (ставка на силу или ставка на беззаветную лояльность и убежденность) недоступна в чистом виде. Единственным вариантом могут стать нервные подделки из доступных подручных элементов.

Ставка на силу требует могущественной, хорошо выраженной и очень дисциплинированной государственности. Полиция, тюрьмы, службы безопасности, налоговые службы, суды и административные органы России не образуют такого государства. Ее границы слабы и слишком проницаемы для распространенной и даже очень предприимчивой преступности. Насколько бы выразительна ни была идиома управления посредством всего этого масштабного аппарата, элемент контроля сверху является откровенно более спорадическим и ненадежным. В инфраструктуре, производстве, обеспечении образования и способности справиться с последствиями природных катастроф ни при каких условиях нельзя добиться легитимности через очевидную эффективность. Есть очевидные доводы в пользу перебалансирования власти между обитателями государственного аппарата и людьми вне его. Менее очевидно то насколько и как усиление демократии в России может помочь справиться с этими запутанными и всеобъемлющими ограничениями. Укрощение наиболее диких элементов внутри государства — не просто неотложная демократическая цель, но также внушающая доверие задача для более демократического правления; однако по-прежнему трудно понять, как более демократическое государство может возникнуть посредством какого бы то ни было политического процесса по милости государства в его настоящей форме. Серьезная задача реформирования этого государства найдет союзников в рамках любой из соперничающих стратегий политического развития; но она также столкнется с пугающим количеством врагов, и любой точке зрения будет трудно выиграть эту битву.

Уполномочивающий смысл демократического утверждения требует свободной делиберации и неограниченного выбора со стороны заинтересованного демоса. Перед лицом опыта она может также практически требовать некоторого уровня когнитивной поддержки большинства своих членов. (Этот не полностью продуманный элемент во всех современных пониманиях демократии всегда был значимым в споре между соперничающими стратегиями развития. См.: Walicki 1969, Meisner 1967.) Обеспечить неограниченный выбор в последней инстанции российскому государству не будет чрезмерно трудно даже сегодня; но предпосылки для свободной делиберации на разумно честных ус-

ловиях не будут легко достижимы, даже если бы нынешнее правительство России было бы едино в приверженности поддержать их. Свободная делиберация для совокупности граждан требует, чтобы у них было время на делиберацию, время и возможность на получение адекватной информации по вопросам, связанным с их интересами, время и возможность ясно и инструктивно общаться с согражданами и твердая уверенность в том, что их окончательные мнения и суждения не будут просто подавлены инкумбентами. Она требует, чтобы СМИ, а также возможности и ресурсы коммуникации между гражданами не были монополизированы инкумбентами (или кем-либо еще), но были бы широко доступны обычным гражданам, по крайней мере, если они делают усилия для координирования с этой целью. Свободная делиберация не требует, чтобы все граждане сосредотачивали на этом свою энергию или посвящали ей свою жизнь; но она нуждается в тех, кто очень хочет, чтобы ему помогли, а не мешали со стороны государства, и тех, кто ныне контролируют его.

В настоящее время российское правительство не отвечает этому критерию. Чтобы ситуация существенно улучшилась в краткосрочной перспективе, потребовался бы удачный союз между правителями, имеющими действительный интерес к демократизации, и демократами, имеющими терпение и симпатию к усилиям и ответственности властей в каждом реальном государстве. Если (или пока) такой союз не представляется возможным, придется отложить надежду на решительное улучшение на довольно продолжительное время.

Глава 6. Демократия: античная и современная

Вступление

В наше время слово «демократия» вмещает огромное количество значений; например, демократическими называют политические режимы в США, Великобритании, Афинах в V и IV вв. до нашей эры и даже Турции в эпоху Кемаля. Уточнение, по крайней мере, некоторых из возможных трактовок этого магического слова может внести полезный вклад в дискуссию о политической системе постсоветской России. Использование исторического подхода позволяет рассмотреть эволюцию понятия. Демократия — не только название набора институтов, но и позитивно нагруженное понятие — вот поэтому мы обсудим причины и пределы этой нормативной оценки.

Сегодня демократия – в широком смысле слова – используется как эквивалент «хорошего (или достойного) правления» без уточнения хорошего элемента в этой форме политического режима, который, чаще всего, даже не имеет определения. Стандартный ответ, что демократия лучше диктатуры, является теоретически неудовлетворительным, поскольку в большинстве западных стран нет никакой угрозы для демократии, и такой жизнерадостный ответ, повторяющий утверждение сэра Уинстона Черчилля, свидетельствует об интеллектуальной лени. Здесь же применяется другой подход, исторический (история институтов и политическая теория), позволяющий сделать некоторые предварительные замечания, полезные для прояснения фоновых аспектов общей проблемы, составляющей стержень этой книги. Данная глава станет, в первую очередь, вкладом в концептуальные разъяснения, а не честолюбивой попыткой предложить что-либо для решения срочных вопросов и практических полити-

ческих проблем Российской Федерации. Джон Данн абсолютно прав, когда пишет в самом начале пятой главы этой книги, что обсуждать следует вопрос о том, «насколько демократия может служить подходящим критерием политической нормальности и политической благопристойности для России». Точка зрения, что демократия — предполагаемое решение всех политических проблем в современном мире, не только не имеет определенного смысла, но и вводит в заблуждение.

Мы можем начать с самого тривиального наблюдения: то, что в настоящее время принято считать наилучшей формой правления и единственным легитимным политическим режимом (демократия), в западной политической теории вплоть до XIX в. считалось плохой и даже «дегенеративной» формой правления. Безусловно, некоторые расхождения в формулировках были, — в частности, в классификации форм правления Полибия, но тем не менее в целом существовал консенсус, что демократия представляет собой либо плохой, либо нестабильный режим, что тоже было плохо. Обратимся к «республиканцу» Макиавелли [Рассуждения, кн. 1, гл. 2), который вносит больше ясности, чем десяток других теоретиков:

«Из законодателей Ликург больше всего прославился подобными учреждениями; он учредил своими законами в Спарте порядок, в котором и царь, и аристократы, и народ получили каждый свою часть, так что государство его просуществовало более восьмисот лет, к великой славе его, в полном спокойствии. Иное было с Солоном, который постановил законы для Афин; желая водворить исключительно господство народа, он учредил такой непрочный порядок, что еще при жизни его возникла тирания Писистрата. Хотя через сорок лет наследники тирана были изгнаны и Афины возвратили себе свободу, но так как исключительно народное правление, установленное Солоном, было снова водворено, то по прошествии не более ста лет оно опять пало, несмотря на множество узаконений, придуманных для его сохранения, для обуздания высокомерия аристократов и своеволия народа — препятствий, упущенных Солоном из виду. Таким образом, сравнительно со Спартой существование Афин было самое кратковременное, потому что в них не было власти ни государя, ни аристократии».

Флорентийский секретарь был республиканцем — то есть, выражаясь современным языком, враждебно относился к демократии в классическом понимании этого термина, которой мы рассмотрим далее, — и активным сторонником смешанной формы правления, что обычно не подчеркивают сторонники возрождения классического республиканизма, смущенные этим несоответствием.

Нет смысла мучить читателя большим количеством цитат; достаточно помнить, что один из выдающихся представителей европейского Просвещения, крупный немецкий ученый Готфрид В. Лейбниц, в письме к ландграфу Эрнсту Гессен-Рейнфельскому заявлял, что он предпочёл бы жить под гнётом деспотичного короля, нежели при демократическом режиме [Dann, 1979, p. 3]¹. Полибий и Макиавелли, равно как и Фома Аквинский (чьё мнение является самым важным из всех мыслителей) считали, что демократия не так уж и плоха, как считали и чему учили древние философы, но эта позиция имеет ряд нюансов и связана с условиями, в которых недостатки демократии компенсируются и смягчаются другими формами правления, в частности, аристократией или даже монархией, по модели римской республики, прославленной автором «Всеобщей истории» Полибием.

Но всё это — нормативная, оценочная лексика. Что же на самом деле представляла из себя античная демократия и в чем корни великой трансформации, произошедшей в последние два столетия, которая привела нас к мысли, что демократия является единственно правильной формой правления и безапелляционным направлением для организации политической жизни? Я попытаюсь дать ответ на эти вопросы и на один еще более сложный: чем хороша современная демократия?

Афины

Когда в V в. до н.э. греки во множестве городов (полисах, политических общинах) установили некую форму правления и назвали её демократией, они имели в виду такую форму правления, которая включала всех взрослых свободных мужчин в активное

¹ Оригинальная цитата — «Aujourd'hui il n'y a si méchant Prince sous lequel il ne vaille mieux vivre que dans une Démocratie». См. Leibniz. 1847. P. 369.

управление сообществом. В отличие от тирании и олигархии, данная форма правления давала всем реальную возможность и, более того, обязывала всех участвовать в процессе принятия коллективных решений, касающихся важных вопросов общественной жизни полиса, и выполнять судебные функции. В действительности не только «демы» (территориальные округа Афин) могли отправлять своих членов в народное собрание, но, более того, если гражданин в результате жеребьевки должен был выполнять общественную функцию, ему было сложно и даже невозможно от нее отказаться, а плата за работу делала ее привлекательной для бедных граждан.

Если мы обратимся к институтам афинской РСД (реально существующей демократии) IV в. (единственный демократический полис, хорошо известный благодаря аристотелевскому трактату «Политика. Афинская полития» и систематическому и исчерпывающему исследованию Хансена, 1991), мы обнаружим, что население участвовало в управлении либо посещая экклезии (народные собрания), открытые для всех граждан старше 18 лет, либо в результате жеребьевки участвуя в работе судов присяжных (дикастерии) в качестве судей, либо, в этом случае обязательно через жеребьевку и ротацию, попадая на один год в Совет (буле)² — орган из 500 человек с ежемесячной ротацией состава (100 из которых работали там постоянно), готовивший материалы для заседания экклезии. Заметим, в противовес тому, что считают многие на основе разных текстов Аристотеля, что «управление и, в свою очередь, подчинение»³, означало (по крайней мере, в Афинах, в единственной демократии, о которой мы имеем точное представление) всего лишь членство в буле, институте, имевшем меньшее политическое значение в институциональном устройстве Афин, чем экклезии и народные суды, называемые Аристотелем «руководство» (*kurioi*) (институты, осуществляющие верховную власть в городе).

Возвращаясь к нашему современному языку: если с юридической точки зрения афинская демократия осуществлялась на

² Лучшей работой по буле является книга Роудса (Rhodes, 1972).

³ Политика, VI. 2.1 (1317b2). Этот текст связан с доктриной справедливости и свободы, которую Аристотель приписывал демократам и которую он критиковал.

принципах «исономии», то есть равного участия всех граждан в городских институтах, принимающих решения (принцип недискриминации), то с социологической точки зрения в афинской политике доминирующими группами были низшие классы (арогоί или демос на языке Аристотеля). Существует много признаков, подтверждающих гипотезу о том, что демократия являлась правлением бедных (арогоί). Не только Платон и Аристотель, но и Аристофан, а также Хансен в предложенном им социальном и институциональном анализе (Pasquino, 2010) подтверждают довольно очевидный факт: в афинской демократии представители высшего класса были не способны эффективно осуществлять политическую власть и действительно дважды предпринимали попытки в конце V в. до нашей эры восстановить олигархию или во главе с Фераменом (в 411 г.) — правление с доминированием высшего среднего класса, гоплитов.

Представители высшего сословия страдали от необходимости регулярных повинностей в виде литургий, религиозных церемоний или триерархий (снаряжение кораблей для флота). Остин и Видал-Наке [Austin, Vidal-Naquet, 2007, p. 347] отмечали, что «la richesse personnelle nest possédée que par délégation de la cite». Мы не утверждаем, что Афины были ацефальным обществом (термин Макса Вебера); в нём были выдающиеся лидеры от Перикла до Демосфена, а демократический режим возник из конфликта между аристократическими семьями; но власть лидеров зависела от их способности обрести поддержку населения при каждом принятии важных решений, а не каждые пять лет. Более того, политическая система, особенно в IV в., после восстановления демократии, была сосредоточена на институциональных механизмах контроля над политическими лидерами и должностными лицами на всех этапах их деятельности: до, во время и по окончании их короткого мандата (от одного дня до одного года).

Тот факт, что афинская демократия основывалась на представительстве и согласии низших классов, дает возможность лучше понять давнишнюю враждебность по отношению к этому режиму вплоть до конца XVIII в., когда по обе стороны Атлантики возникло представительное правление и современный конституционализм. Эта враждебность хорошо известна тем, кто изучает историю политической мысли [Manin, 1996; Dunn, 2006].

Концептуальная революция Аквинского

Демократия как правление народа, подразумевающее в основном низшие классы⁴, исчезла из политической практики западных обществ после вторжения в Афины армии Филиппа Македонского⁵, к концу IV в. до н.э., в тот самый момент, когда Аристотель писал свою теорию греческого города-государства, свою «Политику». Теория, как мы теперь знаем, подобна птице Минервы — появляется на закате.

Рим никогда не рассматривался как демократия в афинском смысле, по крайней мере, пока Жан Боден, пытаясь дисквалифицировать Римскую республику, считавшуюся стандартным образцом стабильного режима в эпоху Возрождения, не провозгласил в ключевой первой главе второй книги трактата «Шесть книг о республике», что Рим представлял собой не смешанное правление, а демократию: нет сомнения, что после свержения императоров римское государство было демократическим, за исключением двух лет [sic!] [Bodin, 1992, p. 98]. При всем уважении к Бодену разумнее полагать вместе с Полибием, Макиавелли, де Мартино [De Martino, 1951] и Ниппелем [Nippel, 1980, 2008], что Римская республика до гражданской войны в I в. до н.э. имела смешанную форму правления, что означает, что демократия действительно являлась одним из элементов системы. Значение этого элемента менялось со временем, но комиции (народные собрания) всегда выполняли важную функцию [Hollard, 2010] как политический институт, промульгирующий законы или иногда выполняющий функцию суда. Стоит подчеркнуть и отметить как очень важный факт, что народ Рима обладал непосредственной властью в сфере, определенной смешанным устройством. Элемент демократии являлся на самом деле демократическим, даже несмотря на то что избирательная система в римских комициях была, по меньшей мере, экстравагантной [Taylor, 1966; Staveley, 1972].

⁴ Но не совсем полностью, как показывает Лин Рубинштейн в своей работе о постафинских демократических режимах.

⁵ Макиавелли ошибочно искал причины краха афинской демократии в её внутренней структуре, в то время как они были экзогенными. Ситуацию можно сравнить с крахом демократии в Нидерландах, ставшими жертвой нацистского рейхсвера в начале Второй мировой войны.

Нам не стоит далее рассматривать детали устройства Римской республики. Гораздо уместнее уделить внимание тому радикальному повороту, по меньшей мере в языке, который совершил один из наиболее выдающихся интеллектуалов всего Средневековья Фома Аквинский. Профессор университетов Неаполя и Парижа написал книгу «Сумма теологии» (не совсем по политической теории)⁶, в которой представлена исходная версия смешанного правления, послужившая первичной формой современного режима, называемого сегодня демократией. В этой ныне забытой книге, описывающей модель лучшего правления, данного Богом евреям, — риторически мощный стратегический шаг в христианской Европе, несмотря на антисемитизм⁷, — Аквинский утверждал, что хорошая смешанная форма правления представляет собой систему, при которой люди (мужская часть общества) участвуют в политике, но не напрямую в управлении, а выбирая монархические и аристократические компоненты смешанного правления, говоря его языком, царя и сенат.

«Правильным устройством правительства государства или царства является такое устройство, когда во главе стоит один, который управляет всем, а под ним находятся другие, которые также наделены управленческими полномочиями, и таким образом в правительстве участвуют все — как потому, что все имеют право участвовать в управлении, так и потому, что сами избирают себе правителей. Следовательно, лучшую политическую форму представляет собой отчасти царство, поскольку во главе находится один, отчасти аристократия, поскольку властью также наделено и еще некоторое количество, отчасти демократия, то есть народное управление, поскольку правители могут быть избраны из народа, и народ имеет право избирать себе правителей» (Вопрос 105.1).

Текст можно считать замечательным, по крайней мере, по трём причинам, важным для нашего понимания политического

⁶ Аквинский создал очень небольшой трактат по политической теории «О правлении государей», но текст остался в связи с его смертью незавершённым и позже был переписан и завершён Птоломеем Луккским.

⁷ Интересно заметить, что не только такие известные европейские мыслители, как Гоббс и Локк, но и Джон Селден (Selden, 1640), Дитрих Райнкингк (Reinkingk, 1653) и многие другие обращались не к Евангелию, а к Ветхому Завету в качестве авторитетной ссылки для политической теории.

режима, именуемого сегодня демократией, которые мы вкратце приведём.

1. *Выборы становятся демократическими.* Не стоит возвращаться к тому, что хорошо известно и ясно изложено в книге Манина (1966) о представительном правлении: выборы рассматривались (вплоть до конца XVIII в.) как аристократический механизм для назначения должностных лиц — в Афинах лишь стратеги (военачальники) избирались регулярно и по вполне очевидным причинам: было слишком опасно не разрешить лучшим солдатам встать во главе армии и флота; даже в афинской демократии граждане не были равными, особенно на поле боя.

Типичным (не исключительным, по Аристотелю) механизмом демократических назначений являлась строго эгалитарная система жеребьевки, поскольку только жребий давал каждому (статистически) равный шанс получить должность независимо от предпочтений избирателей, на которых могли оказывать влияние лобби или кандидаты благодаря своему богатству и/или другим отличиям или власти. Жеребьевка скрывала предпочтения и создавала впечатление абсолютного равенства избранных граждан. Выборы, при которых голоса всех членов избирательного органа равны, отдают предпочтение равенству избирателей, а не равенству избираемых. При жеребьевке избиратели не играют никакой роли, равенство означает равный шанс избрания и распространяется на сторону избираемых. В этом случае очевидно, что жеребьевки не выполняют функцию легитимации, они только уничтожают предвзятость избирателей и уменьшают их роль. Принцип равенства был перенесён Фомой Аквинским с конечного результата отборочного механизма (равный шанс быть избранным) на сторону «входа» (каждый имел равное влияние/голос в выборе тех, кто будет управлять): поскольку все члены сообщества, как гласит наша цитата, могут голосовать и выражать своё равноценное мнение, мы можем утверждать, что голосование является эгалитарным (заметим, что это одно из имплицитных значений понятия демократии, ценность — определенная форма минималистского эгалитаризма, — которую мы сознательно или бессознательно ассоциируем с ней). Иначе говоря, граждане не равны в своих шансах на управление коллективным органом, но имеют равные возможности влияния на выбор своих временных

господ. Роль каждого отдельного индивида сводится (практически) к нулю, но в этом отношении юридически все «нули» равны. Между прочим, в рамках большого сообщества граждан, насчитывающего, например, десятки миллионов, возможность избрания с помощью жребия также была нулевой. Аквинский, в любом случае, идет далее, утверждая, что демократический элемент его мозаичного смешанного правления предполагает не только всеобщее избирательное право (конечно, для мужчин), но также и исключение требования наличия пассивного права быть избранным [tum quia ex omnibus eligi possunt, tum quia etiam ab omnibus eliguntur]. Он, по-видимому, prima facie, отдавал себе отчет в том, что такой отбор приведет к появлению элиты, но с большей точностью можно констатировать, что именно это он имел в виду, поскольку сенат (и царь), появившиеся как результат электорального процесса, будут представлять аристократический элемент [secundum virtutem] в смешанном правлении, — таким образом, мы одновременно получаем римскую институциональную «трехчленку» из монархии, аристократии и демократии и аристотелевское соединение достоинств лучших граждан и включения простых людей.

2. *Политическое участие сводится к выборам.* Возможно, более важным представляется тот факт, что народное участие (это демократический компонент власти, по Аквинскому) более не является для граждан формой принятия участия в принятии конкретных решений (за исключением одного: выборы царя и сената) политического сообщества через членов органа принятия решений и судебной власти, как в Афинской демократии или через членов комиций, как в Римской смешанной республике. Политическое участие выровнялось и свелось к участию в избирательном процессе; получая право выбирать тех, кто будет ими управлять, граждане, по Аквинскому, расстаются с любыми другими формами активного участия в работе управленческих органов. Нельзя отрицать, что такой «средневековый» подход — сведение демократии к народным выборам — смотрится особенно современно, что подводит нас к следующему пункту анализа работы Фомы Аквинского.

3. *Аквинский и Америка.* Описываемая Аквинским система смешанного правления напоминает, правда в довольно абстракт-

ном виде, американскую политическую систему, заложившую основу всех современных республиканских демократий (с президентской формой правления). Совершенно понятно, что используя язык Аристотеля в пересмотренном виде, предложенном автором «Суммы теологии», который принимал во внимание новые реалии зарождающейся французской монархии Средних веков (что означало существование политического общества с большой территорией), мы можем утверждать, что представительное правление, называемое сейчас демократией, больше напоминает мозаичную модель из «Суммы теологии», чем классическую аристотелевскую демократию. Наши западные политические системы, самодовольно именуемые «демократиями», безусловно, представляют собой множество вариантов смешанного устройства (лишённых своей социальной антропологии). [Pasquino, 1996, 2009]⁸.

Аквинский проложил нам прямой путь в XX в., когда появились первые систематические теории современной демократии, что примечательно в контексте драматического опыта Веймарской республики и её краха.

С точки зрения реально существующих демократий (которой мы придерживаемся в данной книге) и после рассмотрения роли демоса в афинской демократии, вряд ли возможно отрицать критическое заявление Шумпетера. Он абсолютно прав, утверждая, что народ (что бы мы ни подразумевали под этим каверзным словом – правильное говорить о гражданах-избирателях) не управляет в наших демократических обществах, они временно наделяют властными полномочиями некую небольшую группу, которая может в любой момент быть изгнана со своего поста.

«Считая формирование правительства первичной функцией избирателей (прямо или через посреднический орган), я предполагал включить в эту фразу также и функцию его роспуска. Первая означает просто согласие принять лидера или группу лидеров, вторая — отказ от этого согласия. Это обращает внимание

⁸ Подобную интерпретацию предложил М.Х. Хансен в своём выступлении в Британской академии 25 февраля 2010 г. Хансен заявил, что не американская, а французская / якобинская версия доктрины разделения властей базируется на механизме сдержек и противовесов; его речь в настоящее время опубликована (Hansel, 2010).

на один элемент, которого читатель, возможно, не заметил. Он мог подумать, что избиратели контролируют правительство точно так же, как и приводят его к власти. Но, поскольку избиратели, как правило, могут контролировать своих политических лидеров лишь через отказ переизбрать их или парламентское большинство, их поддерживающее, это, по-видимому, ограничивает возможность контроля до уровня, зафиксированного в нашем определении» [Schumpeter, 1975, p. 272].

Шумпетер очевидно представляет центральное ядро доктрины ретроспективной оценки избирателя, которое многие после него повторяли. Более того, совершенно очевидно, что демократический метод получения политической власти исключает любые формы насилия или военной интервенции. Антилиберализм провозглашает демократию конечной целью, и любые средства разрешены для достижения этой (неточно определенной) цели. У нас нет возможностей обсудить здесь этот очень важный вопрос, но определение демократии Шумпетером исключает любые альтернативы соревновательным и свободным выборам как механизму наделения властными полномочиями.

Зависимость от электорального уполномочивания, которую Дэнн справедливо предлагает называть «внешним уполномочиванием», повторяющегося время от времени в соревновательном контексте, накладывает своего рода ограничение на избранных представителей. Несмотря на конституционно предусмотренный свободный мандат, который представители могут использовать на свой риск, тем не менее он связывает правящую элиту с мнением общественности, точнее, с изменением мнения большинства. Трудность состоит в том, что, кроме опросов, представляющих портрет новой элиты⁹, это общественное мнение не имеет другого измеряемого выражения в период

⁹ Конечно, в демократических обществах, в частности во Франции, общественные манифестации играют роль, но вряд ли возможно измерить их влияние на политику правительства — они являются более яркими формами протеста, но менее значимыми, чем результаты опросов общественного мнения, свидетельствующие о падении популярности инкумбента. И какие бы события ни случались, эти протестные выступления не имеют правовых последствий, по крайней мере, до тех пор, пока они не превратились в революцию, которая разрушит прежний юридический и политический порядок.

между выборами — на важность этого периода указали другие авторы данной книги, и я в том числе. В ряде случаев мы утверждаем, что представители зависят от опросов общественного мнения, но на самом деле они скорее зависят от тех, кто проводит опросы, и тех, кто их оглашает и интерпретирует в течение более или менее длительного промежутка времени между выборами. Загадка и парадокс этой истории состоит в том, что политики (равно как и большинство людей в целом) склоняются к выводу, что опросы общественного мнения не являются релевантными (особенно когда им не нравятся результаты!) и что только выборы имеют значение. Это юридически верно, но если мы не знаем о состоянии общественного мнения до дня выборов, то как тогда политикам предугадать ретроспективное суждение избирателей и рационально действовать, то есть делать то, что будет способствовать их переизбранию. На самом деле, что бы политики ни заявляли, создается впечатление, что они даже слишком серьёзно относятся к опросам общественного мнения в промежутке между выборами, поскольку у них не существует никакой серьёзной альтернативы предвидения своих шансов на сохранение постов. Объективные данные о состоянии экономики, безусловно, очень важны для инкумбента, но значение на самом деле имеет не «объективная» экономическая реальность, а ее восприятие избирателями.

Плюсы и минусы современной демократии (Выборы)

На данном этапе исследования демократии на уровне «большой длительности» («la longue durée»)¹⁰ возникают два вопроса:

1) является ли современная демократия, то есть представительное правление, основанное на всеобщем избирательном праве плохой, — я имею в виду хуже, чем античная?

2) является ли она хорошей или, точнее, что именно в ней хорошего?

¹⁰ Фернан Бродель (Braudel, 1974) предложил трехуровневую структуру исторического времени, состоящую из уровня «времени большой длительности» («la longue durée»), уровня конъюнктурного времени («conjuncture»), уровня «сжатого времени», или «событийной истории» («l'histoire événementielle»). (Примеч. ред. перевода)

Шумпетер не задавался этим нормативным вопросом в прямом смысле — мы должны признать, что написанный настоящий панегирик британскому режиму 1940–1942 гг. не может быть признан нейтральной и бесстрастной оценкой, но мы не можем не определиться в этом оценочном вопросе. Так же мы не можем не пойти по пути Ганса Хельсена, который в своей конструктивной работе по этой проблеме, опубликованной в 1929 г., писал о природе и ценности демократии.

Можно начать с первого и в каком-то смысле менее релевантного вопроса: «Плоха или хороша современная демократия по сравнению с античной?». Этот вопрос в целом предполагает подход, который сводит демократию к её мажоритарной модели, а политическое участие — в основном к электоральной игре. Что-бы обсудить этот вопрос, нужно сделать шаг назад.

Некоторые авторы нормативных теорий партиципаторной демократии — некоторые неореспубликанцы и «делиберативисты» того или иного типа, составляющие многочисленную и дифференцированную группу [Posner, 2003, p. 130–157], хотели бы изменить реальность и обеспечить больше прямого участия граждан в политической жизни. Эта мысль казалась бы хорошей, если бы она была выполнимой. У меня иной и менее амбициозный проект, который потребует немного изменить теорию, мотивируя политических теоретиков уделить более пристальное внимание конкретной работе институтов, и не только выборных, но и тех, которые после выборов обеспечивают конкретное и продолжительное функционирование конституционных демократий в современном мире. Возвращаясь к моему вопросу: очевидно, что мы не можем возвратиться к афинской демократии. Аббат Сийес, наиболее ярко выраженный французский теоретик представительного правления вместе с Кордорсе, в своей известной речи в Национальном учредительном собрании в сентябре 1789 г. против права вето короля заявил, что в коммерческом обществе, построенном на разделении труда, большая вовлеченность невозможна: «Современные европейские народы очень мало походят на древние. Мы говорим лишь о торговле, сельском хозяйстве, фабриках и т.д., жажда обогащения, кажется, превратила все государства Европы в огромные мастерские (цехи), где гораздо больше думают о потреблении и производстве, нежели о счастье...» [Sieyes,

1789, p. 594; Pasquino, 1987]. Основная его идея заключалась в том, что в современном коммерческом обществе политика должна быть профессией, когда несколько человек занимаются ею полный рабочий день, в то время как роль большинства других, по существу, сводится к участию в выборах.

Вплоть до наших дней эти утверждения не вызывали сомнения, но тем не менее, несмотря на преемственность между антидеспотическими режимами конца XVIII в. и современными политическими системами, основанными на партийной конкуренции (Parteienstaaten), доктрина представительного правления (сейчас называемая представительной демократией) в своей идеальной версии Сийеса/Шумпетера отличается незрелостью и незавершенностью, чтобы описать и осмыслить современную конституционную демократию. Со времени французской Декларации прав человека и гражданина 1789 г. и принятия первых десяти поправок к американской Конституции в 1791 г. конституционная демократия основывается не только на (соревновательных) выборах, но также и на разделении властей и гарантиях прав; в настоящее время почти повсеместно инструментом таких гарантий служат суды, независимые от выборных ветвей власти и обязанные разрешать конституционные конфликты между гражданами и их представителями [Ginsburg, 2003] — к слову, не все эти суды являются независимыми, и в таком случае они ничего не значат.

Минимализм доктрины упускает некоторые важные элементы режима РСД, поэтому она не смогла стать всеобъемлющим описанием большинства современных демократических политических систем. Например, с одной стороны, с точки зрения участия граждан, многие формы смешанного правления (в данном случае имеется в виду отличное от Аристотеля и Аквинского значение, т.е. сочетание компонентов представительной и прямой демократии: в частности, референдумы, отзывы депутатов, инициативы граждан и пр.) были предложены и в ряде случаев закреплены законодательно, например, в Швейцарии¹¹, в западных штатах Американского Союза, в Веймарской республике и в ограничен-

¹¹ Об исключительности Швейцарии см. содержательную работу Пападопулоса (Papadopoulos, 1998).

ной форме в итальянской Конституции 1948 г. и т.д. Безусловно, большая часть политических решений — от ведения войны до экономической и социальной политики — находится в руках избранных представителей, а не простых граждан, с обычной оговоркой, что они (инкумбенты), чтобы сохранить свои посты, должны принимать во внимание и предвидеть, если возможно, мнение избирателей. С другой стороны, нам следует учитывать роль невыборных институтов, таких как независимые центральные банки, конституционные суды, осуществляющие активную нормативную власть¹², разрушающую законодательную монополию избранных представителей¹³.

В любом случае обратного пути к афинской демократии нет. Мы не можем игнорировать социально-экономические предпосылки афинской демократии, в значительной степени зависящие от массового использования в полисах рабского труда. Теперь стоит перейти к рассмотрению второго, более сложного и неловкого вопроса.

Что же хорошего в представительной демократии, если держиваться строгого определения Шумпетера? Характеристика, данная Пшеворским, сводится к следующему: 1) избрание главы исполнительной власти либо на прямых выборах, либо парламентом; 2) избрание представителей законодательной ветви власти либо из партий, либо на прямых выборах; 3) наличие более одной партии; 4) возможность «чередования» на посту и наличие случаев проигрыша инкумбентов и мирного ухода с постов¹⁴. Благодаря всеобщему избирательному праву можно сказать, что эта политическая система в ее современной форме является скорее включающей, чем исключающей; в этом плане у неё есть общее с афинской демократией, хотя последняя все-таки исключала женщин и мужчин-неграждан. Однако мы не можем отрицать

¹² Под этим прилагательным я имею в виду власть, вводящую в закон общие позитивные нормы.

¹³ См. книгу Аллана Р. Брюэр-Кариаса «Конституционные суды как позитивные законодатели. Сравнительное исследование права», в которой рассматривается роль конституционных судов в 28 странах мира от Аргентины до США (Allan R. Brewer-Carias, в печати).

¹⁴ Здесь я привожу цитату из статьи Сэма Иссахароффа «Конституционные суды и демократические преграды», примеч. 13 (Sam Issacharoff, в печати).

тот факт, что в западных обществах все больше снижается явка на выборах. Пока нет ясного ответа на вопрос, насколько этот спад участия совместим со стабильностью представительной демократии. Могу предположить, что в рамках национальных выборов предельно допустимой планкой неучастия является 2/3 от общего числа избирателей. Но это чисто спекулятивные размышления, не подкреплённые эмпирическими фактами.

Как предвидел Фома Аквинский, выборы в любом случае имеют значение и, независимо от формы непосредственного участия (например, референдум), считаются первостепенным демократическим компонентом народного участия в смешанной форме правления, называемой сегодня демократией. Но большинство демократических режимов в мире, кроме регулярных соревновательных выборов, имеют механизмы, ограничивающие власть избранного большинства, поскольку наши демократии, благодаря существованию жёстких конституций и различных форм сдержек и противовесов, вводят ограничения на власть элит, избранных народом в день выборов. Сила этих механизмов обеспечивает соблюдение правительством конституционных прав, гарантированных гражданам в демократических обществах. Поэтому нельзя утверждать, что граждане конституционных демократий свободны только один раз в 4–5 лет, как говорил Руссо о британском правлении. В промежутках между выборами права граждан защищают суды, которые делают более надёжными обещания правительств, требующих повиновения не только своих избирателей, но и остальных граждан.

Нам всё же следует вернуться к роли выборов, остающихся центральным звеном в современных демократических режимах. В действительности у них множество функций (даже если рассматривать выборы только в демократическом контексте)¹⁵; вот некоторые из них (список не является исчерпывающим).

1. Как мне представляется, самой важной (по крайней мере, во Франции) является их базовая роль — придание легитимности политическому классу (людям, живущим за счет политики). С исторической точки зрения, как можно заметить, в Афинах

¹⁵ Адам Пшеворский привлёк моё внимание к роли выборов в недемократических режимах.

политический класс, в веберовском смысле, в большой степени пересекался с гражданством; представители низших классов (арогоі) могли существовать благодаря оплачиваемому участию в политических институтах (народном собрании и народном суде). В этой перспективе вопрос о легитимности отсутствовал. Имелся только негативный нюанс: олигархи считали демократический режим нелегитимным, предполагая, что «большинство» (бедные) не могут управлять городом. Современные выборы являются конкретным механизмом, определяющим политические обязательства граждан и обеспечивающим повиновение без насилия: «Вы, граждане города, обязаны повиноваться представителям, выбранным Вами для управления Вами, при условии что Вы можете выгнать их в день выборов (то, что трудно выполнить при абсолютной наследственной монархии или другой авторитарной системе, поскольку любое вооружённое выступление против правительства, по мнению Локка, является весьма дорогостоящим предприятием)». Надо сказать, что в этой истории есть определенный подвох. Ни один отдельно взятый избиратель не несёт ответственности за правительство, избранное большинством, а не только им; гражданин может даже голосовать за оппозицию. Но это проблема связана с правлением большинства, которое мы не будем обсуждать. Гражданин имеет право только на то, чтобы выразить свои предпочтения, но у него нет права претендовать на то, чтобы его чаяния были удовлетворены. Значение имеет то, что выборы подразумевают принцип легитимности и политических обязательств, осуществляемый за счёт легализованной практики народного уполномочивания, совершенно отличный от принципа, который Вебер назвал «традиционной» легитимностью и на котором основаны монархии или чисто олигархические режимы. Нельзя игнорировать тот факт, что идея народного уполномочивания, противоречащая идеологии досовременных монархий, является главной причиной восхваления демократии и выборов. Если реальным противопоставлением греческой демократии была олигархия, которая исключала большинство граждан из прямого управления городом, то противопоставлением современного представительного правления являются доминировавшие в Европе в конце XVIII в. абсолютные монархии.

Эта легитимирующая функция ритуала выборов, в современном мире играющая роль коронования в период старого режима французской монархии, объясняет парадокс диктатур и авторитарных правительств, которые не отказываются от формальных выборов, опасаясь в противном случае «потерять лицо». В подобных недемократических режимах выборы, безусловно, не выполняют функцию, гарантирующую чередование во власти; тем не менее их нельзя отменить, поскольку за границами архаичных обществ видимость народного уполномочивания лидеров является не просто факультативной, но неизбежной процедурой. Свободные или нет, соревновательные или нет, выборы не могут исчезнуть из обществ (кроме нескольких султанатов), в которых ни одно правление не может обладать властью на основе божественного права или наследственного происхождения.

Следует подчеркнуть, что идея «соревновательности» отсутствовала в первоначальной доктрине, которая, наоборот, настаивала на принципе ответственности в форме угрозы отстранения представителей по окончании срока, — соревновательность в современном смысле подразумевает партийное государство (Parteienstaat) или, по крайней мере, наличие организованных групп, борющихся за политическую власть, как на президентских выборах в Америке в 1800 г., продемонстрировавших впервые такой тип выборов на общенациональном уровне.

2. Выборы выполняют еще одну функцию, которую обычно подчеркивают идеологи представительного правления (начиная с Аквинского, как было рассмотрено выше), — механизма отбора естественной элиты данного общества. (Таким образом, эта «элитистская» версия демократии является не шумпетеровской, а общепринятой, по крайней мере до недавнего времени, когда популистские идеологии не пришли на смену классической доктрине представительного правления.)

3. При определённых условиях (когда выборы оказываются на самом деле соревновательными, как будет показано далее) они, что интересно, выполняют функцию сдерживающего фактора в процессе осуществления представительного правления. Поэтому они могут рассматриваться как компонент институционального строительства, присущий, по мнению Монтескье, антидеспотичному режиму. Может быть, стоит уделить этому вопросу больше

внимания (в другом контексте можно было бы включить краткий анализ формы правления, называемой автором книги «О духе законов» деспотизмом).

Предпосылками для эффективного выполнения этой функции сдерживания служит раскол политического класса и возможность проигрыша соревнования инкубентом. Весьма интересный противоположный пример дает современный Китай. Безусловно, внутри партии, монополизировавшей власть, существуют серьёзные разногласия, но они перерабатываются внутри партии и не проявляются в электоральном соревновании. Что касается России, то мне трудно сказать что-то по этому важному вопросу. Создается впечатление, что оппозиция является одновременно слабой и, усилиями властей, маргинализованной. Но, возможно, что какие-то формы плюрализма появятся в дальнейшем и на постсоветском пространстве.

Если обратиться к примеру Италии после Второй мировой войны, то будет очевиден тот факт, что в ней была плюралистическая партийная система, существовала оппозиция, которая имела возможность соревноваться с большинством, более того, выборы были свободными и регулярными; тем не менее мы не можем утверждать, что в этой стране существовала подлинная соревновательная демократия¹⁶. За 16 прошедших с 1948 г. выборов альтернативные претенденты лишь дважды выигрывали их в соревновании с большинством инкубента: в одном случае (1996 г.) часть консервативной коалиции (Лига Севера) не вошла в состав электорального альянса, во втором случае (2006 г.) небольшая группа из той же консервативной коалиции решила идти на выборы вместе с оппозицией (эксперимент продержался только два года, потом парламент был распущен, и на выборах победила привычная коалиция). Итак, мы можем сделать вывод о том, что демократия является соревновательной, если достаточное число избирателей готовы изменить свое мнение, за исклю-

¹⁶ Я ссылаюсь здесь на аргумент Д'Алимонте (D'Alimonte, 1989). До 1996 г. мнения в компаративистской литературе были более или менее едины в отношении обсуждаемого вопроса — благодаря Ла Паломбаре (La Palombara, 1987) возник термин «квазидемократия» для характеристики политических систем Италии и Японии. Вопреки общему мнению, ссылаясь на электоральные данные, представленные Д'Алимонте, я считаю, что ситуация практически не изменилась.

чением Швеции, где социал-демократы продержались у власти длительное время. На самом деле, по-видимому, еще большее значение имеет число уклоняющихся от голосования, чем число (явно нерелевантное) избирателей, изменивших свои позиции и убеждения¹⁷. При отсутствии электоральной мобильности (как, похоже, произошло Италии) или, что скорее, при отсутствии циклического абсентеизма партийный плюрализм не может гарантировать выполнение соревновательной функции демократии, то есть квалификационного элемента в определении Шумпетера. Если демократия является конкурентной по-настоящему и в том смысле, который я вкладываю в это понятие (когда существует реальный риск, что инкубент проиграет соревнование конкурентам), то у выборов появляется функция ограничителя и контрсилы и они превращаются в монтескьевский инструмент умеренного правления, поскольку инкубенту придется учитывать требования/интересы хотя бы своих избирателей, чтобы сохранить свой пост.

Возможно, кто-то возразит против моего слишком требовательного определения конкурентной демократии и скажет, что неважно, происходит ли передача власти или нет, если есть свободные выборы (почти так же, как в Италии и Японии). Я не предлагаю удалить Италию из рядов потенциальных конкурентных демократий — никто не может исключить, в том числе и я, что в какой-то момент в будущем популярное либеральное большинство вытеснит консерваторов. Я только хочу подчеркнуть здесь, что конкуренция, ведущая к передаче власти, возможна лишь при условии, когда какая-то часть избирателей изменит свои позиции (взгляды) или же избиратели одной партии проявят меньше активности на выборах, чем избиратели другой партии, обеспечивая тем самым преимущество для последней. Число таких мобильных избирателей может быть невелико. В этом смысле, по-моему, можно утверждать, что основное отличие классической аристократии от современной конкурентной демократией состоит в том, что в первом случае небольшое число самоуполномоченных людей управляют всеми членами политического со-

¹⁷ Работы Ренато Манхеймера по Италии и Анны Муксель по Франции дают чёткое представление по данному вопросу в этих двух странах.

общества, а во втором — небольшое число людей осуществляют власть благодаря внешнему уполномочиванию со стороны небольшого числа людей, мобильных центральных избирателей. Это небольшое число людей, принимающих решения и играющих ключевую роль, оказалось под пристальным вниманием политических теоретиков, начиная как минимум с работы Энтони Даунса; ещё больший интерес они вызывают у политических акторов, осознающих чрезвычайно важную роль этого небольшого меньшинства среди «равных» граждан.

Можно добавить, что в условиях двухпартийной системы (а возможно, и при наличии двух коалиций) электоральная конкуренция также приводит к умеренности, но несколько в ином смысле — ближе к Аристотелю, чем к Монтескье. В силу того, что конкуренция обычно нацелена на получение голосов медианных (то есть центральных) избирателей, соревновательные выборы приводят к умеренности в том смысле, что они стимулируют медианную политику, которая в аристотелевской традиции будет позитивной не только со стратегической точки зрения, но и с нормативной, так как «*mésos te kai áriston*» [Аристотель, Никомахова этика, 2.6], «*in medio stat virtus*».

Одно предостережение очень важно. Очевидно, что не везде выборы могут играть сдерживающую роль, как например, результаты выборов в секторе Газа. Выборы, и даже соревновательные выборы, не являются панацеей, это наивные и иногда очень опасные иллюзии. Политическая культура элит играет определяющую роль (Шумпетер подчеркнул это в очень важной главе 23 своей книги). Представляется необходимым процитировать австрийского экономиста, где он говорит об «условиях успеха демократии» [Schumpeter, 1975, p. 289–296]: «пять условий, которые должны быть выполнены для успешного функционирования демократического метода»: 1) «человеческий материал политики (...) должен быть достаточно высокого качества»; 2) ограниченное правительство, «второе условие успеха демократии, состоит в том, чтобы сфера действия политического решения не простиралась слишком далеко»; 3) надлежащая бюрократия, «хорошо подготовленная бюрократия, имеющая высокий статус и исторические традиции, обладающая сильно развитым чувством долга и чувством чести мундира»; 4) «демократический

самоконтроль»); 5) «наконец, эффективная борьба за лидерство требует большой терпимости к разнице во мнениях».

Минималистское определение демократии, данное Шумпетером, по-видимому, совместимо с очень строгим набором социокультурных условий. Интересно, что экономист не включил в свой перечень экономические предпосылки, хотя он и говорит о «современном индустриальном обществе» [Schumpeter, 1975, p. 293].

Как бы то ни было, в данном контексте выборы становятся инструментом, обеспечивающим легитимность и ограниченное правительство. «Вы, избранные представители, вы должны управлять нами, но с осторожностью, потому что мы можем избавиться от вас, если нам не понравится то, что вы делаете», — это именно то, что считает Шумпетер, который, по-видимому, очень сильно стремится воздерживаться от любых нормативных высказываний в своём анализе. Я говорю «по-видимому» поскольку панегирик британской политической системе в главах, посвящённых демократии, выглядит весьма ярким и безусловным, как уже было отмечено, поэтому нельзя утверждать, что он говорит о демократии так же, как орнитолог о птицах. Подчеркну ещё раз, что мы не знаем точно, кто может это утверждать, возможно, потенциальные неголосующие, которые уклоняются от выборов. В определённых обстоятельствах мы примерно знаем, кто они: афроамериканцы в США, избиратели в некоторых районах южной части Италии. В любом случае политики просят своих избирательных консультантов определить определенные районы или определенные сегменты корпуса избирателей, на которых они сфокусируют свое внимание в ходе избирательной кампании.

Все это называется ответственностью выборных представителей. Отвечая на первоначальный вопрос, могу предположить, что эта характеристика, привносимая соревновательными / конкурентными выборами, является одновременно хорошей и плохой. При конкурентной демократии временные представители знают, что они могут проиграть выборы и поэтому не могут делать всё, что хотят, так как, если они хотят (и могут) быть переизбранными, им нужно получить одобрение избирателей или, в любом случае, их большинства. С одной стороны, это хорошо, поскольку это создает стимулы для отказа от непопулярных решений (такие решения могут быть вынесены только в отношении меньшинств). С другой

стороны, ответственность способствует близорукости и пристрастности. Избранные политики проявляют заботу о своих избирателях, по крайней мере, о 51% избирателей (в действительности часто в силу закона о выборах по системе простого большинства), но не об избирателях в целом. Если инкубент хочет сохранить свой пост, ему нужно только одобрение его избирателей, поэтому у него нет мотивации заботиться об остальных. Пристрастность — рациональность избранных представителей. Близорукость имеет ту же причину. Избранные политики не могут думать о долгосрочных последствиях, поскольку в долгосрочной и даже среднесрочной перспективе они могут оказаться «политическими трупами» или по крайней мере, потеряют в весе в случае непереизбрания. Электоральная близорукость, например, может иметь разрушительные последствия для Европейского союза. Многие европейцы помнят проблемы, возникшие в связи с греческим финансовым кризисом весной 2010 г., когда канцлер Германии Меркель отложила принятие решений до выборов в Нордрейн-Вестфалии. Ряд комментаторов не согласился с таким объяснением колебаний и проволочек со стороны Меркель. Оставим этот вопрос открытым. Но подобных примеров — множество.

Представленная точка зрения неизбежно носит упрощённый характер, но мы полагаем, что оценка в целом верна, по крайней мере, для РСД. Конечно, это не является точкой отсчета для теоретиков-нормативистов, но я считаю, что политический анализ должен начинаться с фактов. Факты не все, что нужно, но непонимание фактов делает анализ бессмысленным. ИмPLICITно или эксплицитно, аргументы, подобные представленным здесь, лежат в основе многочисленных независимых и неподотчетных институтов, существующих сегодня в демократических обществах: от верховных судов, центральных банков до так называемых независимых агентств.

Этот вопрос подводит к другому большому и мало изученному вопросу: роли неподотчётных / невыборных органов, контролирующих совместно с избирателями деятельность избранных представителей. Говоря на языке последних изданий энциклопедии «Британика», это предмет теории конституционной, не только представительной демократии. В любом случае сегодня и избиратели, и избранные представители, и конституционные и верховные

суды представляют собой квазивсеобщие элементы политического ландшафта, называемого сейчас демократией. Любая теория о РСД (реально существующих демократиях), включая теорию о российской политической системе, требует их рассмотрения.

В качестве предварительного вывода я бы хотел сделать несколько замечаний, подытоживая скорее вопросы, нежели представленные ответы на них. В своих рассуждениях о современной демократии нам следует начинать с надежной точки отсчета. Мы часто используем разнообразные нормативные определения, поскольку каждый стремится использовать термин, который ему больше нравится и к которому он стремится. Этого не избежать, поскольку демократия неизбежно остаётся понятием нормативным. Но всё же, поскольку нас интересуют реально существующие демократии, нам стоит найти минималистскую концептуальную точку отсчета, что-то близкое к «праву на самосохранение» Гоббса. Точкой отсчета может стать следующая трактовка определения Шумпетера: РСД представляют собой политические режимы, в которых правящие лица могут потерять свои позиции (скорее в результате выборов, чем в результате отравления, гражданской войны, военного переворота или революции).

Ни одна власть в мире не является стабильной. Большая часть современной литературы по основам государств посвящена проблеме стабилизации власти, но только в условиях демократии политическую власть можно сохранить, выиграв свободные, соревновательные выборы. Потеря власти в результате проигранных выборов означает наличие конкурентов, способных заменить проигрывающих инкубентов. Иногда таких конкурентов может и не быть (Китай? Россия? Италия?) по причинам, зависящим от множества обстоятельств (включая избирательные). Но демократическая власть — это не только власть, которую теряют мирным путем. Это еще и ограниченная власть. И, возможно, первое верно, потому что верно второе. Чтобы проиграть, инкубент должен признать критику. Это возможно только когда инкубент не монополизировал власть. Если мы говорим о демократии, структура политических элит должна характеризоваться дуополией или олигополией (лучше открытой). Армия должна сохранять нейтралитет, что означает невмешательство в политическую конкуренцию, чего нет в Турции, по крайней мере, до

сегодняшнего дня, точно так же, как и во многих странах Латинской Америки. Равновесие властей — базовый компонент современного конституционализма — должно стать частью минималистского определения демократии. Отсутствие этого элемента в демократии приведет к чередованию деспотических режимов. Это противоречивая гипотеза, так как нелегко понять, почему деспот согласится с вердиктом выборов.

Демократия признает не только контрвласти, необходимые для чередования в результате выборов, но также и права граждан. В историческом плане современная демократия как форма представительного правления на основе всеобщего избирательного права сформировалась в борьбе против абсолютизма, когда новые элиты требовали народную поддержку в обмен на защиту их прав (сначала прав собственности, в дальнейшем — политических и социальных прав).

Всё это становится возможным, когда из политических конфликтов исчезает, или по крайней мере меньше маргинализируется насилие. Выборы как таковые не объясняют снижение насилия, а являются его возможным следствием. Морфология демократии отнюдь не то же самое, что её генеалогия. Выборы, когда они работают, представляют собой упорядоченный и мирный способ урегулирования конфликтов между элитами, а также между элитами и группами граждан. Почему они работают — это другой вопрос, безусловно, связанный с выделенными Шумпетером предпосылками. Нам нравится в демократии то, что инкубент нервничает из-за потери власти, если некоторые избиратели изменят позицию или не пойдут на выборы. При квазиавторитарных режимах выборы могут проводиться с нарушениями или манипуляциями, так как инкубенты опасаются потерять слишком много в случае потери постов. Ограниченная власть, по-видимому, является наиболее важным условием соревновательных демократических выборов.

Ex parte principii, с позиции управляющих, преимущество демократии имплицитно выделил Натан [Nathan, 1986], с кем я могу согласиться лишь частично: «Элементы потенциальных кризисов могут проявиться в любое время. Если представить себе, что китайская система столкнется с тем, что недавно пережили США — две продолжительные изнуряющие войны, спад экономики, непо-

пулярные лидеры, истерия СМИ, глубокий раскол в культурной идентичности, — трудно представить, что китайская система выдержит подобное, так же как и то, что зрелая американская (британская или японская) демократия распадется. Культура открытого общественного раскола, устойчивое правовое государство и институциональные возможности смены лидеров, а не системы в ответ на народное недовольство — все это не позволяет правительственному кризису стать кризисом режима. (Авторитарный акробатический четверг Пекина. Нелегитимный режим никогда не сможет предотвратить политический кризис навсегда // *The Wall Street Journal*. June 4. 2009). Интересным моментом является то, что авторитарные правительства могут слишком нервничать из-за перспективы проигрыша на выборах, чтобы позволить надлежащую политическую конкуренцию, в то время как в демократических обществах те, кто не смог победить на выборах, могут спокойно остаться внутри политической системы и участвовать в следующих выборах или тихо отправиться в отпуск (часто роскошный), не отправляясь в изгнание (как, например, побежденные лидеры Киргизии) и не попадая в тюрьму.

Соревновательные выборы хороши не сами по себе, они могут считаться хорошими, только если смотреть на их результаты. Шумпетер отмечал:

«Демократия — это всего лишь метод, так сказать, определенный тип институционального устройства для достижения законодательных и административных политических решений. Отсюда следует, что она не способна быть целью сама по себе безотносительно к тем решениям, которые будут приниматься в конкретных обстоятельствах при ее посредстве» [Schumpeter, 1975, p. 242].

В течение десятилетий, особенно после Второй мировой войны, мы, в западных богатых странах, привыкли считать, верить и учить тому, что мир, процветание и достойное общество (определенная степень экономического равенства и защиты прав человека) становятся результатом демократического представительного правления, ставшего результатом соревновательных выборов. Даже если мы считаем, что конституционная демократия остаётся наилучшей формой правления в плане защиты прав человека, наступают времена для менее радужных оценок и, надеюсь, более глубоких размышлений.

Глава 7. Роль выборов в демократии

В чем важность выборов?

Дело не только в конкуренции...

Демократию нельзя ни свести к выборам, ни объяснить только через выборы, но на большую часть вопросов про демократию нельзя ответить, не упомянув выборы. Если политику определить как процесс принятия и исполнения решений, то выборы — это «первое решение». Именно они определяют, кто кого наделяет правом принимать все остальные решения — по институциональным процедурам и на заданный период времени.

Мюррей Эдельман описывает выборы как ритуал: «голосование — это единственная для большинства граждан форма участия в управлении страной... (выборы) дают людям возможность выразить недовольство или поддержку, испытать чувство сопричастности» [Edelman, 1964, с. 3]. Эта ритуальность, по сути, и является первой функцией выборов. С движением колеса истории выборы замещали сакральность монархов в роли главного акта легитимации власти по мере того как абсолютные монархии сменялись конституционными или становились республиками.

Голосование за общего для всех правителя или представительное собрание символизировало принадлежность людей к одной и той же политике и укрепляло чувство национальной идентичности, которое, по замечанию Д. Ростоу (1970), есть главная предпосылка демократии. Развивая эту мысль, Д. Ростоу (1970, стр. 56) отмечал: «Народ не может принимать решения, пока не решено, кто составляет этот народ». Сколь бы лицемерными ни были уверения авторитарных правителей, что выигранные ими

выборы являются демократичными, по крайней мере, до какой-то степени многие их подданные верят, что через выборы они демонстрируют или подтверждают единство своей нации. И напротив, массовые протесты против нечестных выборов, например, «цветные революции» или массовые протесты в Москве и других городах России после выборов в Думу в 2011 г., свидетельствуют о серьезном кризисе легитимности режима.

До последнего времени «отстранение негодяев от власти» не являлось доминантной функцией выборов. В недемократических обществах выборы были либо неконкурентными (как в Советском Союзе или Китайской Народной Республике), либо лишь имитировали конкуренцию (как во многих странах советского блока или странах третьего мира). Однако и в демократиях чередование партий у власти — относительно недавнее явление: в прошлом веке инкубенты выигрывали четыре из каждых пяти проводившихся выборов [Пшеворский, в данной книге].

Отсутствие или низкий уровень конкурентности может объясняться двумя различными факторами: типом режима (тоталитарным или авторитарным) и его характером — наличием доминантных или преобладающих партий [Sartori, 1976], описание которых вряд ли уместно в формате данной статьи. Неконкурентные выборы выполняют целый ряд ролевых функций. Прежде всего они легитимируют политику как таковую. Во-вторых, превращают граждан (или подданных) в избирателей, то есть приучают их к выборам как единственному возможному способу обретения правителей (даже если эта процедура носит чисто ритуальный характер). Если в этой системе появляется оппозиция, она получает возможность быть воспринятой обществом в качестве легитимного соискателя власти. То же происходило во многих колониях, где обретению полной независимости предшествовала автономия и избрание законодательных ассамблей, превращавшихся в день независимости в полноценные парламенты. В-третьих, хотя и в ограниченном количестве случаев, волею исторических судеб выборы субнационального уровня могут выполнить неожиданную функцию создания легитимной власти для вновь образующегося государства в случае распада федерального или квазифедерального образования. Так произошло во всех трех федерациях коммунистического лагеря — совет-

ской, чехословацкой и югославской (дважды, включая более поздний распад федерации Сербии и Черногории). Переговоры о «разводе» и первые шаги по пути независимости в них вели легитимно избранные парламенты и исполнительная власть — либо сформированная этими ассамблеями, либо избранная всенародно. В последнем случае конкурентность выборов явно была вторичной по отношению к их роли как акта государственного строительства — и ритуального, и юридически обязывающего одновременно.

В этой связи заслуживает внимания утверждение Х. Линца и А. Степана (1996): распад Советского Союза был спровоцирован тем фактом, что региональные выборы предшествовали федеральным. Оно кажется убедительным — первые конкурентные выборы в союзных республиках в 1990 году породили легитимные парламенты, а за этим, в 1991 году, последовали президентские выборы во многих республиках, и это, несомненно, подстегнуло центробежные тенденции. Однако исходной точкой этих процессов все же были федеральные (всесоюзные) выборы народных депутатов в 1989 году, которые открыли политическую систему и радикально либерализовали политическую жизнь в стране. Споры российских политологов о том, что бы произошло, если бы М.С. Горбачев решился на проведение всенародных выборов президента СССР в 1990 году (вместо выборов на Съезде народных депутатов в марте 1990 г.), бессмысленны, как и любая попытка создания «альтернативной истории». Однако в данном конкретном случае, как представляется, ответ можно дать. На референдуме о сохранении Советского Союза в марте 1991 года подавляющее большинство (76%) проголосовало за Союз, но 6 из 15 республик фактически бойкотировали его. На любом всесоюзном голосовании в это же время повторился бы тот же сценарий, тем самым оно лишь углубило бы раскол, а не восстановило единство страны. Надежды, что союз меньшего числа республик оказался бы жизнеспособным, остаются сугубо гипотетическими: напомним, именно высшие фигуры союзной политической элиты восстали в августе 1991 года против инициированного Горбачевым нового Союзного договора, коалиции готовых к новому союзу республик. Этот путч стал последним гвоздем в крышку гроба агонизирующей советской империи.

Наконец, выборы могут выступать в качестве «переходника» от авторитаризма к «протодемократии» в демократизирующихся обществах. Как отмечает Р. Снайдер (2006, с. 222), выборы в недемократической среде могут оказывать радикально противоположное воздействие на государственность, в каких-то случаях подрывая, а в каких-то укрепляя ее. Проблема состоит в том, как трактовать «подрыв» государственности. В авторитарных обществах подрываться может именно авторитарность. Одна из отличительных черт таких режимов — отсутствие надежной информации об общественных настроениях, неспособность к анализу и интерпретации таких настроений. Порой (по различным причинам) авторитарный режим «открывается» и идет на конкурентные выборы, и их результаты оказываются катастрофическими для режима. Если, следуя мысли Ф. Шмиттера и Т. Карл, смысл демократии состоит в «ограниченной неопределенности» результатов, то причиной такой катастрофы следует признать неспособность правящей элиты понять или рассчитать степень такой неопределенности. Является ли такое решение старой элиты добровольным или вынужденным, — вопрос, требующий анализа в каждом конкретном случае. В позитивном, то есть «демократизационном», сценарии реформаторские или продемократические силы получают на таких выборах большинство или, по крайней мере, значительную долю голосов. Так произошло в большинстве стран Центральной Европы в 1989–1991 годах; на первых конкурентных выборах в СССР в 1989 году большинство мандатов получили члены КПСС, но руководство партии было шокировано тем, что руководители 38 областных партийных организаций проиграли в своих округах. В негативном сценарии, например в Бирме в 1990 или в Алжире в 1991 г, главные оппоненты власти представляли собой контрэлиту, или радикально антагонистичный идейно-политический лагерь, а потому власти не признали результаты выборов и подвергли победителей репрессиям. Различия в реакции власти на собственные ошибки в «расчете неопределенности» выборов объясняются несколькими факторами. Во-первых, различной степенью антагонизма между старой властью и новыми победителями — максимально высокой в Алжире и на удивление умеренной в Центральной Европе. Во-вторых, степенью жесткости авторитарного режима (очевид-

но, максимально жестким следует признать бирманский случай). В-третьих, формирующимся общественным консенсусом о необходимости покончить со старым режимом и пойти на демократизацию (Центральная Европа).

Более мягкой формой такой «недооцененной неопределенности» следует признать цветные революции, список которых, по нашему мнению, открывают досрочные президентские выборы на Филиппинах в 1986 году, а продолжают выборы в Сербии в 2000, Грузии в 2003 и на Украине в 2004 г. Во всех этих случаях инкубенты переоценили свою способность к манипуляции на выборах и способность сдерживать оппозицию в ситуациях, когда голосование давало результат, близкий к 50 на 50, и с возникновением массовых протестов против подтасовок результатов были вынуждены признать поражение и уйти от власти.

В транзитологии стала классической модель, в которой первые выборы признаются «конституирующими», а за ними следуют «выборы разочарования». Однако такая модель работала только в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Там выбор «европейского вектора» развития, или, по образному выражению А. Пшеворского [Przeworski, 1995], курс на «северо-западный проход»¹, стал почти консенсусным для политического класса. Этим и объясняется быстрое поражение старого режима на первых конкурентных, а потому конституирующих выборах. Этот же консенсус способствовал трансформации старых компартий в социал-демократические всеохватные (catch-all) образования, оспаривающие конкретные политические решения, но не стратегический «европейский вектор» развития своих стран.

В бывших советских республиках сценарий был иным. Становление новых государств прошло через описанные выше стадии конкурентных федеральных и республиканских парламентских выборов (в 1989 и 1990 гг. соответственно), выборы президентов республик во многих из них и обретение независимости в

¹ С поиском мореплавателями XIX века «северо-западного» прохода из Атлантики в Тихий океан А. Пшеворский образно сравнил убеждение политических элит в странах «Юга» или «Востока», что стратегический курс развития для них состоит в следовании моделям стран, расположенных к северу или западу от них, то есть в Западной Европе и Северной Америке.

конце 1991 года. «Выборы разочарования» последовали за ними лишь в трех прибалтийских республиках, и именно с этого момента их политическое развитие стало иметь больше общего с центральноевропейскими, а не постсоветскими государствами. С определенными оговорками понятие «выборы разочарования» может быть применено к президентским выборам на Украине в 1994 и в Молдавии в 1996 году, на которых действующие президенты потерпели поражение. Что же касается России, то голосование 12 декабря 1993 года было и последним раундом многоходовых конституирующих выборов — на них большинство избирателей (58%) проголосовало за либеральную по характеру Конституцию, — и одновременно «выборами разочарования». Ведь относительное большинство в новоизбранном парламенте получили оппозиционные партии — так впервые проявилась биполярность российской политики, описанная ниже. В остальных бывших советских республиках ничего похожего на «выборы разочарования» не произошло.

Зачем нужны выборы?

Зарождение института выборов остается одной из главных головоломок для политической науки. Что заставляет правителей выносить свое право властвовать на испытание всенародным голосованием? Очевидно, что универсального ответа, пригодного для всех исторических и географических контекстов, просто не существует. Первые выборы в политике — это, как правило, единственно доступное решение проблемы вакуума власти и легитимности. Они происходят после революций, деклараций независимости, распада империй. Они порождены необходимостью принять «первое решение», описанное в первых строках настоящей статьи, когда нет ни горней силы, помазующей монарха, ни диктатора или колониального хозяина, сметенных рукой истории. В таких условиях единственной альтернативой, известной образованным классам соответствующего общества из традиции, восходящей к Риму — и как античной республике, и Святому Престолу, — становится решение легитимных выборщиков, состав которых определяется по-разному в разных исторических контекстах.

Конечно, эта традиция присуща не только западному христианству: военные предводители, племенные вожди во всех обществах занимали свои посты на основе некоей процедуры общественного одобрения и утверждения, и в подавляющем большинстве случаев такие процедуры (включая выборы ранних пап в Риме) стремились к достижению консенсуса, а не простого большинства (даже если для этого приходилось запира́ть выборщиков, отсюда «конклав» — буквально «замкнутый на ключ»). В ранней арабской теократии выборщики искали преемника усопшему Пророку, «маленького, стоящего за Его спиной», — такова этимология арабского слова «халиф». Российские бояре в 1613 году избрали на царство Михаила Романова, «молодого и покладливого», как писал один боярин-выборщик другому.

И все же современные выборы — это в первую очередь ритуал создания легитимности, основанный на традиции Рима и многократно переопределенный веками европейской и североамериканской истории. Так что объяснение «первых выборов» предельно просто: они задействуются для решения вопроса о легитимности власти, а не конкуренции за нее. Побеждает на них в большинстве случаев хорошо известный публичный лидер или триумфальное общественное движение, которое вынудило уйти прежнего правителя.

Победитель первых выборов консолидирует власть, и в случае выборных монархов вопрос о ее легитимности отпадает сам собой (как в случае с Романовыми или арабскими халифами после первых четырех, именуемых «праведными», но не в случае римских пап, которые не могут передать власть наследнику за неимением такового).

А что происходит в тех случаях, когда легитимность требует вторых и последующих выборов? Ответ на этот вопрос может дать только некое «меню причин», специфический набор которых и составляет ответ в каждом конкретном случае.

1. «Цена вопроса» о выборной власти относительно невысока. Например, верховная власть остается в руках монарха, а на выборы идет только законодательное собрание с ограниченными полномочиями или, как в ранней истории США, власть разделена между федеральным уровнем и штатами, поэтому стабильность государственности не подвергается сомнению.

2. Действие принципа *pro tempore* — жестко фиксированного срока legislatury как гарантии против тирании. Это становится главной формой контроля избирателя над выбранным должностным лицом. Согласно этому принципу власть на выборах как обретается, так и теряется.

3. Отсутствие манихейского видения «правительство против оппозиции», что убедительно показано в работе А. Пшеворского (в настоящей книге). Кандидат, занявший второе место на выборах в США (до 1804 года), становился вице-президентом и предполагаемым наследником президента-победителя. В парламентских дебатах было принято стремиться к решению, отвечающему не интересам партии большинства, а общему благу, — этот процесс блестяще описан в книге Бернара Манена [Manin, 1999]. Он с сожалением отмечает, что со временем парламенты (за исключением конгресса США) утрачивают способность к дискуссии с непредрежденным результатом, и это его наблюдение охотно цитировалось российской «партией власти», прежний парламентский лидер которой известен высказыванием о том, что Дума не место для дискуссий, хотя, разумеется, Манен имел в виду совершенно другое.

4. Постепенное становление понятия «ограниченной» или «допустимой» неопределенности (более подробно описанного ниже). Одним из параметров возникновения «полиархии» по Р. Далю [Dahl, 1972, с. 203] является то, что «соревновательность предшествует инклюзивности», то есть на ранних этапах к политической конкуренции допускаются лишь «добропорядочные граждане», но не низшие классы и не радикалы. В таком случае потеря властного кресла не влечет за собой ни утраты собственности, ни утраты свободы, ни тем более революционных изменений в политическом порядке.

Все перечисленные выше факторы относятся в первую очередь к становлению института выборов в «первом мире»: действуя на протяжении длительного исторического времени, они приучают общество и к выборам как таковым, и к обострению конкуренции на них. В современной консолидированной демократии на вопрос, зачем нужны выборы, есть два исчерпывающих ответа: «таков закон» и «без них нельзя».

В то же время вышеперечисленные факторы мало пригодны для ответа на тот же вопрос применительно к вновь возникаю-

щим современным демократиям или обществам в состоянии транзита. Что происходит в них после разрешения вопроса о «легитимности рождения государства»? В сегодняшнем мире практически ни один государственный режим не может обойтись без выборов, хотя бы манипулятивных и неконкурентных, и лишь малое число режимов позволяет себе не обращать внимания на международную критику низкого качества этих выборов. Такие режимы следуют одной из двух стратегий: они либо стремятся сохранить свою власть путем манипуляций и подтасовок, либо пытаются выстроить «ограниченную неопределенность» и снизить риски возможной смены власти. Первая стратегия может оказаться неудачной, если правители переоценят свою способность манипулировать сложившейся расстановкой политических сил (например, в странах, где произошли «цветные революции»). Вторая стратегия также может провалиться, если противоречия в обществе окажутся неуправляемыми.

Уровень конкурентности

Конкурентные выборы не синоним демократии. Природа политического режима определяется в первую очередь уровнем их конкурентности. Зависимой переменной в этом случае выступает «ограниченная неопределенность», то есть степень, до которой держатели власти считают возможным отдать свою судьбу на волю избирателей, или, в определении «от противного», степень манипуляции и контроля власти над процессом выборов.

При минимальной степени неопределенности конкуренция носит практически имитационный характер: номинально оппозиционные партии и политики участвуют в выборах и даже получают определенную долю выборных постов, но ни в коем случае не представляют угрозы надежному большинству провластных сил, объединенных в партию власти или формально независимых. Обычно такие режимы трактуются как авторитарные (если для простоты употреблять классификацию индекса демократии журнала «Экономист»).

Несколько бо́льшая степень неопределенности отличает режимы (как правило, президентские республики или монархии),

в которых конкуренция допускается на выборах представительной ветви власти, но не высшей исполнительной власти в стране. Эта конкуренция «реальна» в том смысле, что оппозиция и созданные ею партии «подлинны» и легитимны, не подчинены прямому контролю со стороны власти, но у последней сохраняется обширный инструментарий давления и «выкручивания рук» оппозиции. Диапазон таких режимов достаточно широк: он простирается от «либерально-авторитарных», например несколько «просвещенных» арабских монархий, описанных Д. Брумбергом [Brumberg, 2003], до режимов с преобладающими партиями, тесно связанными с исполнительной властью [в определении Д. Сартори, 1976], — таковые распространены на постсоветском пространстве. Типологически такие режимы определяются как «конкурентные авторитарные», или «гибридные».

Еще одна категория — режимы с доминантными партиями. Простейшее определение разницы между преобладающей и доминантной партией — ее «генетика», то есть, представляет ли она собой коалицию, построенную «сверху» главой вертикали исполнительной власти, или коалицию, построенную «снизу» элитными группами и лишь усиливаемую благодаря поддержке исполнительной власти (как правило, в парламентских республиках). В последнем случае уровень конкурентности, как правило, оказывается более высоким, поскольку держатели власти больше полагаются не на манипулирование выборами, а на собственную способность мобилизовать поддержку элитных групп и завоевать популярность у избирателей. Такова, к примеру, разница между мексиканской Институциональной революционной партией или индонезийским Голкармом, с одной стороны, и Индийским национальным конгрессом или Либерально-демократической партией Японии — с другой. Доминантная партия ограничивает конкуренцию на выборах в обществах, переживающих переходный период, процессы модернизации или переопределения государственности. Однако во всех упомянутых случаях по сравнению с периодом чистого доминирования одной партии достигнут существенный прогресс в развитии конкуренции, если не демократии в целом, что доказывает, что в определенных контекстах доминантная партия может выступать как инструмент демократизации.

Функции конкурентных выборов

В демократических обществах конкурентные выборы выполняют целый ряд функций. Их эффективность, разумеется, в значительной степени зависит от качества и уровня конкуренции. Перечисленные ниже функции работают в полную или почти полную силу как в «полноценных», так и в «ущербных» демократиях (если вновь прибегнуть к классификации журнала «Экономист») и с существенными изъятиями в случаях ограниченной конкуренции, описанных выше.

Становление и консолидация демократии

Большинство простейших определений демократии родственны шумпетеровскому: «такой политический порядок принятия решений, при котором люди обретают властные полномочия путем конкурентной борьбы за голоса избирателей» [Schumpeter, 1950, с. 250, перевод наш], и тем самым концентрируют внимание на выборах как ключевом свойстве демократии. Такой подход выглядит скорее процедурным, чем структурным. Однако все подобные определения подразумевают, что для консолидации демократии требуются определенные качественные характеристики элиты и общества, а именно: общественный консенсус и реальные механизмы управления конфликтами, компромиссность, терпимость и уважение к оппонентам в политике. Это свойство демократических обществ в равной степени подразумевается в определениях демократии как «единственной игры в городе» А. Пшеворского, концепции «ограниченной неопределенности» Ф. Шмиттера, условиях полиархии Р. Даля, в определении выборов как лакмусовой бумажки демократии Л. Даймонда, теста двумя передачами власти С. Хантингтона. Таким образом, с одной стороны, «для проведения выборов нужно нечто большее, чем выборы» [Przeworski, 1999, с. 24]. Что именно составляет это «нечто большее», следует из разъяснения Л. Даймондом разницы между электоральной и либеральной демократиями: *«По крайней мере, на выборах выражение воли избирателей может привести к конкретным результатам, в первую очередь, в том, что инкубенты могут потерять власть. Для этого нужна открытая электоральная арена с существенной свободой партий*

и кандидатов вести кампании, завоевывать голоса избирателей, то есть выступать, публиковать материалы, проводить собрания и спокойно передвигаться по стране с этой целью. Для этого также требуется нейтральное и честное администрирование процесса голосования и подсчета голосов при всеобщем тайном избирательном праве, нормальном доступе к СМИ и с установленным судебным порядком разрешения электоральных споров» [Diamond, 2003, с. 8].

Эти свойства консолидированной демократии необходимы для повседневной жизни любого демократического общества, но, по крайней мере, по мысли Л. Даймонда, они должны быть достаточно развиты, чтобы обеспечить свободную и честную конкуренцию на выборах.

С другой стороны, как отмечают Ф. Шмиттер и Т. Карл [1991, с. 47], умеренность, честность, готовность к компромиссу и другие качества гражданской культуры являются продуктом длительного процесса, их укоренение и вытекающее из них гражданское согласие и ограниченная неопределенность могут занять целые поколения и возникнуть в результате взаимодействия антагонистических и взаимно подозрительных субъектов политики.

Легитимация победителей и проигравших

Легитимное государство не может существовать без легитимных субъектов политики, и именно выборы сертифицируют в этом качестве как победителей, так и проигравших, позволяя первым обрести властные полномочия, а последним, по выражению А. Пшеворского [Przeworski, 1991, с. 26], «попытать счастья вновь по тем же институциональным правилам, при которых они только что проиграли».

Выявляя победителей и проигравших, выборы размечают политическое пространство и создают рамки для ненасильственного разрешения политических конфликтов. Они выступают в роли главного «сертификатора» или арбитра в борьбе за власть. «Легитимность» — понятие более широкое, чем «легальность». Оно подразумевает не только то, что участники выборов выиграли или проиграли в соответствии с буквой закона, но и то, что

они оказались достойными той или иной степени общественной поддержки. Участники выборов становятся публичными деятелями, что является ключевой чертой демократической политики. Именно это свойство выборов порождает класс профессиональных политиков и — как следствие — политические партии, имеющие и юридическое, и моральное право занимать выборные посты или, по выражению М. Вебера, «жить страстью политической борьбы»². Раз сложившись, этот класс приватизирует (но не монополизировать) право на формулирование политических платформ и программ действий и их переопределение, сохраняя при этом привычные знамена «левых», «правых», «либералов», «консерваторов» и т.п.

Благодаря принципу *pro tempore* — избрания на определенный срок — выборы также решают проблему легитимной преемственности власти. Осознание того, что мандат на власть нужно защищать (или вновь оспаривать) раз в несколько лет, дисциплинирует инкубентов, задает мотивацию оппозиции и укрощает недовольство общества властью. Только в тех государствах, где традиция передачи власти через выборы слаба или вовсе отсутствует, проблема преемственности воспринимается как потенциальное потрясение стабильности системы и провоцирует правителей на сомнительные попытки пролонгации сроков пребывания у власти или изобретение схем передачи этой власти тщательно подобранным «преемникам» (как в России или Азербайджане).

Формирование политического режима и институтов конкуренции

Взаимозависимость выборов (точнее, избирательной системы) и институциональных характеристик политического режима — это, по сути, дилемма «курица или яйцо». В старых демократиях эта дилемма давно разрешена: в большинстве случаев, как указывал М. Дюверже, партии выросли из парламентов (за исключением США, где они выросли из конкуренции на прези-

² Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 666–667.

дентских выборах). Вряд ли возможно сформулировать краткое резюме из обширной литературы о достоинствах и недостатках президентских и парламентских систем, сравнениях Вестминстерского противостояния правительства и оппозиции с многопартийными коалициями, моделях взаимодействия выборной власти с обществом при каждом типе политического режима, не говоря уже о каждом конкретном случае. Однако можно утверждать, что каждая консолидированная демократия вполне освоила свои институциональные формы, то есть владеет искусством образования эффективных правящих коалиций, управления сдержками и противовесами между исполнительной и законодательной властью в президентских и полупрезидентских системах и отношениями между правительством и оппозицией. Зависимой переменной от политического режима выступает конкретная конфигурация политических сил. Классическая триада либералов, консерваторов и социалистов различными путями образует два главных противостоящих центра левых и правых; социалисты постепенно эволюционируют во всеохватные (catch-all) партии, а правые вынуждены искать ответ на этот вызов. С переходом в постиндустриальную стадию развития в классической схеме политических сил появляются «зеленые» и другие новые игроки. Компактное описание старых и новых политических водоразделов содержится в работе С. Липсета [Lipset, 1994, с. 15], который, в частности, отмечает появление на повестке дня таких «постматериалистических» тем, как здоровая окружающая среда, атомная энергетика, культурные ценности, равенство женщин и меньшинств, более раскрепощенное отношение к моральным вопросам, особенно в том, что касается семейных отношений и сексуальной ориентации.

Не менее интересна и сложна для изучения роль выборов в новообразованных демократиях. Гжимала-Бюссе [Grzymala-Busse, 2008] указывает, что в посткоммунистических странах партии выполняют важнейшую функцию государственного строительства, которая оказывается более важной, чем функция представительства интересов избирателей. С. Фиш [Fish, 2006] называет парламентскую систему «однозначным благословением» для развития демократии в посткоммунистических странах, поскольку подобный политический режим позволил новым элитам

сдерживать авторитарные наклонности харизматических лидеров, свергнувших коммунистическую диктатуру, и компенсировать слабость или отсутствие других институтов разделения властей: судебной власти, гражданского общества, укорененной демократической традиции.

Другой важный аспект политического развития транзитных или нестабильных демократий — это степень антагонизма в обществе. Многие сценарии провала демократии начинаются с выборов, которые отражают лишь «арифметический» уровень поддержки обществом той или иной политической силы. В худшем сценарии победитель на таких выборах действует по принципу, сардонически сформулированному как «один человек — один голос — один раз», то есть узурпирует плоды своего успеха, подвергает оппозицию репрессиям и/или отменяет последующие выборы. Такие случаи отнюдь не ограничиваются третьим миром, где большинство на выборах часто строится на этнических, конфессиональных, племенных, региональных водоразделах (или их сочетаниях); под это определение подпадают и Веймарская Германия, и страны постсоветской Центральной Азии, и Белоруссия.

В более сложных случаях выборы сохраняются и оппозиция выживает, но антагонизм, оформленный выборами, продолжает действовать и приводит к затяжным политическим кризисам или провалам демократии. Р. Элжи [Elgie, 2008], исследовавший риски полупрезидентских систем, выделяет три случая падения демократии в результате провала сосуществования всенародно избранных президентов с правительствами, образованными оппозиционными силами, и семнадцать случаев провала, вызванного отсутствием у президента поддержки большинства в парламенте. Одна из (если не главная) причин таких провалов — отсутствие консенсуса по «правилам демократической игры», то есть тот же самый антагонизм противостоящих политических сил.

Еще одна проблема такого же рода — описанное Х. Линцем противоречие в институциональном статусе всенародно избранных президентов. Они, по сути, совмещают две роли, причем обе обретаются на выборах: роль всенародного лидера и роль предводителя конкретной политической партии (или политической платформы), и, как отмечает Х. Линц, «исполнение второй роли

предает первую» [Linz, 1990, с. 61]. Как лидер партии президент «прикрывает» своей электоральной легитимностью непопулярный или раскалывающий общество курс исполнительной власти, что может привести к падению режима (пример, приводимый Х. Линцем, — Чили при президенте С. Альенде), либо испытывает искушение «зафиксировать стабильность» — подавить оппозицию на следующих выборах (в точности тот сценарий, который уже после публикации работы Х. Линца в полную силу сработал в ельцинской и постъельцинской России). В российском случае важнее политическая платформа, а не формальная принадлежность президента (Б. Ельцина и его преемников) к провластной партии: даже в отчаянно неразвитой партийной системе лагери сторонников и противников президента разграничены достаточно четко.

Описание этих проблем возвращает нас к тому, что уже сказано выше: для стабильной демократической конкуренции нужно больше, чем просто выборы. Выборы могут как способствовать строительству механизмов разрешения политических конфликтов, так и становиться жертвой их отсутствия. В реальном мире демократическая политическая культура не способна возникнуть, пока в стране не будет настоящих (конкурентных, свободных и справедливых) выборов, но качество и регулярность вторых и последующих выборов в переходных обществах сильно зависит от прогресса общества в обретении такой политической культуры.

Влияние институционального выбора на становление новых политических режимов явственно прослеживается в политическом развитии посткоммунистических государств. Все страны, расположенные к западу от границ СССР 1939 года, избрали парламентские или премьер-президентские модели, и большинство из них ввело пропорциональные или смешанные избирательные системы. За два десятилетия с момента начала трансформации все они (разумеется, с существенными оговорками) стали демократиями с жизнеспособными партийными системами (см. таблицу 1 в статье Макаренко и Мельвиля в настоящей книге). К востоку же от этой границы большинство стран избрало президентские или президентско-парламентские системы (и различные избирательные системы, не исключая и мажоритарной). Успехи в продвижении к демократии оказались в большинстве из этих стран, мягко говоря, скромными. Лишь три из них обрели несовершенные, но

дееспособные партийные системы и трактуются в международных классификациях как «электоральные» или «ущербные» демократии: это парламентская (ранее — президентско-парламентская) Молдавия, неоднократно менявшая свой политический режим Украина и премьер-президентская Монголия.

Россия же — наглядный пример провала партийного строительства. В 90-е годы реформаторское меньшинство во власти, опасаясь антагонистического противостояния с контрреформаторскими силами, выбрало сильную президентскую систему. Это противостояние практически не оставляло места для любой попытки «партии третьего пути» обрести значимую электоральную поддержку, особенно с учетом того, что в переходном обществе были плохо разграничены политические водоразделы и слабо гражданское общество. В результате на всех этапах посткоммунистического развития России президентские выборы сводились к «защите Кремля» инкубентом или его лично выбранным преемником (уместно употребление мексиканского термина *el dedazo*³) от кандидатов оппозиционных партий, не имеющих никаких шансов на победу. Голосуя на выборах институционально слабого парламента, российские избиратели либо демонстрируют поддержку «президентской партии», либо выбирают из «меню» протестных настроений — привкус ностальгии по советскому режиму (голосование за КПРФ), правопопулистский национализм (ЛДПР В. Жириновского), назойливый патернализм («Справедливая Россия») или западнический либерализм (две партии с убывающей электоральной поддержкой). По сути, партии конкурируют лишь за долю голосов в слабом парламенте, и это выступает сильнейшим ограничителем для становления дееспособной партийной системы.

Определение стиля политики

Выборы — это бескровная война, на которой противоборствующие стороны стремятся нанести друг другу поражение. Сколь бы конструктивно они ни сотрудничали между выбора-

³ *El dedazo* — «указание пальцем», термин, которым в Мексике периода монопольного правления Институционально-революционной партии именовалась процедура выбора *уходящим* своего преемника.

ми, в период кампании они ведут борьбу за власть, острота которой мало зависит от степени антагонизма программ. Осмелимся сформулировать следующее общее правило стиля политической борьбы: то, что считается недопустимым в предвыборной борьбе, тем более недопустимо в межвыборный период. Насколько завышенные обещания может давать политик? Позволительно ли ему кривить душой и какими возможностями разоблачения этой «кривды» располагают оппоненты и пресса? Как далеко можно заходить в критике оппонентов? Ответы на эти вопросы различны в разных демократических системах — они-то и составляют ткань национальных стилей политической жизни. Этот стиль неизбежно подвергается изменениям по мере появления новых каналов массовых коммуникаций, меняется и характер избирательных кампаний. Современный этап эволюции отношений политиков с избирателями блестяще сформулирован в концепции «аудиторной демократии» Б. Манена [Manin, 1997].

В благоприятных случаях складываются неписанные «кодексы честной игры», соблюдение которых тщательно контролируется гражданским обществом и средствами массовой информации (наряду, разумеется, с судебной системой). После выборов оппоненты продолжают критиковать друг друга и спорить в парламентах и публичных дебатах — до следующих выборов, когда оппозиция получит возможность представить обществу критический разбор деятельности правящей партии и степени выполнения предвыборных обещаний.

В менее благоприятных случаях конфронтационный стиль политической борьбы становится препятствием для консолидации демократии. Инкумбенты не удерживаются от искушения представить оппонентов врагами нации или агентами внешнего влияния, рисуют катастрофические сценарии последствий их прихода к власти. Подобных случаев немало на постсоветском пространстве — от электоральной демократии на Украине до гибридных режимов в России, Грузии и Армении и авторитарных режимов Центральной Азии. Парадоксальным образом такие заверения чаще звучали в последнее десятилетие, когда инкумбенты достаточно легко выигрывали выборы со значительным большинством в первом туре, а не в 90-е годы минувшего века, когда кризисы переходного периода и государственного

строительства носили куда более острый характер и для победы инкумбентам чаще требовался второй тур, как в России (1996), Армении (1996, 1998). Поражения инкумбентов на Украине (1995) и в Молдове (1996) не устранили конфронтационности в политике, но способствовали становлению в этих странах режима электоральной демократии.

Однако в некоторых случаях даже «дурной стиль» политики содействует становлению механизмов разрешения конфликтов. Украинская политика последнего десятилетия вряд ли может служить примером «хороших манер», однако регулярные выборы, сохраняющаяся непредсказуемость их результатов и необходимость выстраивать парламентские коалиции умеряют политический стиль, заставляют проигравших признавать свое поражение и тем самым способствуют демократизации. При этом необходимо признать, что Украина, пожалуй, единственная страна, где не сработал хантингтоновский тест двумя передачами власти: на трех из четырех состоявшихся президентских выборах победили оппозиционные кандидаты. Кроме того, дважды по итогам парламентских выборов менялся политический состав правительственной коалиции, но Украина по-прежнему далека от состояния консолидированной демократии: при президенте В. Януковиче предпринята попытка радикального усиления президентских полномочий и подавления оппозиции, и признаки политического кризиса усиливаются с каждым месяцем.

Программы или личности? За что голосуют?

Выборы — это конкуренция политиков и политических программ, что в американской традиции часто именуется, соответственно, «лошадиными бегами» (horse race) и «дискуссиями» (deliberation). В реальной избирательной кампании их трудно отделить друг от друга, но это не отменяет необходимости ответить на вопрос, за что же люди голосуют. Простейшее рассуждение: любая политическая программа нуждается в «носителях», то есть продвигающих ее политиках, и напротив, каждый политик или партия добивается популярности с помощью набора политических тезисов или лозунгов. Даже если допустить, что два политика или партии выдвигают идентичные программы (ситуа-

ция менее нереальна, чем кажется: в российской политике можно найти не один пример такой намеренной мимикрии), избиратели будут реагировать на таких «близнецов» по-разному. Они будут сопоставлять способность разных политиков претворить в жизнь свои обещания.

Соотношение между личностным и программным фактором работает по-разному в разных условиях. Ключевая переменная в этом случае — политическая культура. Чтобы оценить предвыборную программу, избиратель должен не только быть «политически грамотным» и хорошо информированным, но и обладать способностью проецировать свое электоральное решение в будущее, иными словами — связать акт голосования с ожидаемыми результатами политической деятельности своих избранников. Следуя трактовке политической культуры Алмонда и Вербы [Almond and Verba, 1965], можно предположить, что в странах с достаточным распространением «культуры участия» предпочтение будет отдаваться тщательному изучению программ и хода политической дискуссии и избиратели будут пытаться влиять на «процессы на выходе политики». Тогда как в странах с преобладанием «культуры подданных» внимание будет сосредоточено в первую очередь на личностях и избиратели будут уповать на благоприятные «процессы на входе» деятельности тех политиков, которым они отдали предпочтение⁴.

Большое значение имеет также зрелость демократии. В консолидированной демократии соотношение между «лошадиными бегами» и «дискуссией» тоже консолидировано (конечно, этот фактор тесно связан с разобранным выше). Избиратели имеют достаточно четкие представления об идеологическом кредо партий, знают их лидеров и своих депутатов; на этом знании и строится баланс между двумя составляющими предвыборной борьбы. Еще одно простейшее предположение: избиратели с устоявшимися партийными предпочтениями будут в первую очередь обращать внимание на политические программы, а колеблющиеся — делать выбор на основании множественных факторов, в

⁴ Терминология заимствована из русского перевода избранных глав книги Г. Алмонда и С. Вербы «Гражданская культура». Полития. М. 2010. Вып. 57, № 2. С. 133.

том числе личностей кандидатов. Эта схема нестабильна: соотношение между «твердыми» и «подвижными» электоратами отличается от страны к стране и от выборов к выборам. Качество работы инкубентов, экономическая ситуация и многие другие факторы могут вызывать существенные подвижки в электоральном поведении, открывая носителям новых политических идей и новым харизматикам шансы на победу.

В менее развитых демократиях от избирателей трудно ожидать рациональных представлений о возможности повлиять своим голосованием на политику, а потому они будут более склонны к выбору на основе оценок личности кандидата. Наиболее важным фактором в таких случаях становится выбор между инкубентом и оппозицией. Он значим и для зрелых демократий, особенно в случаях кризиса или особенно неудачного политического курса (два наглядных примера — Р. Никсон или Дж. Буш младший). Оспаривая это утверждение, можно возразить, что в таких случаях желание «отстранить негодяя от власти» порождается не личностью неудачливого политика, а самим фактом провала (оба упомянутых американских президента и не добивались переизбрания), но в ответ на такое возражение укажем: в подобных случаях негативная мотивация голосования против инкубента преобладает над позитивной мотивацией голосования за позитивную программу его оппонента. Аргументы в пользу той или иной версии закручиваются спиралью: смог бы лозунг «перемен, в которые можно верить» (change we can believe in), нанести поражение Республиканской партии, если бы его носителем не была такая яркая личность, как Барак Обама?

Еще сложнее оценить соотношение тех же факторов применительно к «бархатным революциям» в Центральной Европе. Граждане изгоняли из власти — коммунизм или коммунистов? Напрашивающийся ответ: все вместе. Однако в тех случаях, когда мотивация голосования носит преимущественно негативный характер, избиратели, как правило, имеют слабое представление о политической программе оппозиционных сил, а потому — при прочих равных — уделяют больше внимания личностям, тем, кто стремится «выгнать негодяев».

Если же степень зрелости демократии совсем низка, то фактор личности кандидата становится едва ли не решающим, особенно (см. ниже) в президентских режимах. В таком случае голосо-

ние носит характер «личного контракта» между избирателем и кандидатом: «я отдаю тебе свой голос, а ты обещаешь быть хорошим». При этом под «хорошим» может подразумеваться как хорошее правление, так и максимально сильное оппонирование власти, определяемые в самом общем виде.

Естественно, что в мажоритарных избирательных системах больше внимания уделяется личностям, а в пропорциональных — программам. На мажоритарных выборах в один тур кандидаты стремятся к центристским позициям, чтобы заполучить голоса «медианного избирателя», и личностный фактор призван способствовать такому завоеванию. В пропорциональных же системах партии стремятся так сформулировать свои идейные платформы, чтобы максимально четко отстроиться от других, особенно от партий со схожей идеологией. Парадоксальным образом эти рассуждения заимствованы у Э. Даунза [Downs, 1957], известного своим утверждением, что единственная цель электорального соревнования — обретение власти как таковой, а идеология при этом не имеет значения.

Список проявлений личностного и партийного фактора можно продолжить. В британской традиции парламентской демократии партийность (то есть приверженность программе) кандидата достаточно значима, что снижает значимость личностного фактора на мажоритарных выборах. Напротив, в США, где, напомним, партии «выросли» не из конгресса, а из конкуренции за Белый дом, личность кандидата всегда очень важна. В маленьком Израиле избиратели не только сравнивают множество партий, но и оценивают персональный состав партийных списков: партии стремятся поставить самых популярных кандидатов на «полупроходные» места в списке (рассчитанные на основании предвыборных опросов), побуждая избирателей именно этих людей провести в кнессет.

Свободные и справедливые: как разоблачить махинации?

Одна из самых сложных проблем — качество выборов. Лучший механизм его оценки — «от противного». Определить, «свободные и справедливые» (определение, принятое в США) или «конкурентные и корректные» (определение, принятое в Ев-

ропе) выборы, не так просто, зато можно привести набор критериев, которые лишают выборы такой положительной характеристики. Большинство из этих критериев носит относительный характер — они могут действовать с разной силой, а замерить их достаточно сложно. Приводим ниже список таких критериев, начав с наиболее очевидных.

- Намеренная фальсификация, то есть искажение числа голосов, поданных за участников выборов. Это худшая форма «нечестности», практически не встречающаяся в консолидированных демократиях.

- Отклонения от четырех основных принципов избирательного права — равных, тайных, прямых, всеобщих выборов (за некоторыми очевидными исключениями, например, непрямых выборов президента США). Первые три из этих принципов носят универсальный характер и, по крайней мере, «по букве закона» существуют везде. Четвертый же принцип может нарушаться двумя способами, описанными ниже.

- Различные формы «экслюзии», то есть отрицания активного избирательного права для значимой части населения. По большей части на современных выборах избирательное право имеет действительно всеобщий характер, но исключения все же можно найти. Например, в посткоммунистических Латвии и Эстонии законы о гражданстве, принятые сразу после обретения независимости, создали чрезмерные барьеры для большей части русскоязычного населения. С тех пор ситуация улучшилась, но в этих двух странах демократия и сегодня не носит полностью инклюзивного характера.

- Экслюзия субъектов политики, то есть отрицание пассивного избирательного права значимых политических игроков. Такая экслюзия проявляется в завышенных требованиях к регистрации участников выборов и манипуляциях при их регистрации. Примеры можно найти в нескольких постсоветских государствах.

- Значимые и регулярные диспропорции в распределении полученных на выборах мандатов в результате джерримандеринга, завышенных отсекающих барьеров для партийных списков и т.п. Внешне цели таких процедур могут выглядеть добронамеренными, например, стимулирование создания сильных партий

в молодых демократиях, отсечение экстремистских сил с целью недопущения излишней конфронтационности в политике и проч. Разные формы такого «управления» электоральным процессом, включая джерримандеринг и введение двухтуровой системы выборов, применялись в 1950–1970-е годы во Франции, как описано Ж. Коломером [Colomer, 2001]. В некоторых несовершенных демократиях, например в Турции и Грузии, действует десятипроцентный отсекающий барьер; повышение этого барьера в России с 5 до 7% вызвало серьезные возражения, и ныне барьер вновь снижен. В США законодательные собрания штатов раз в 10 лет проводят перенарезку избирательных округов (зачастую подстраивая ее под интересы партии большинства) — это еще один пример такого рода. Универсального критерия для оценки влияния таких мер на качество выборов не существует, скорее, требуется анализ того, насколько в каждом конкретном случае они служат заявленным позитивным целям или препятствуют свободному и справедливому волеизъявлению избирателей.

- Отсутствие равных прав и возможностей ведения избирательной кампании, например, намеренные ограничения инкубентами возможностей оппозиции по привлечению финансовых средств, доступу к СМИ, проведению массовых акций, агитационно-пропагандистской работе.

Таким образом, в определении «от противного» свободными и справедливыми следует считать выборы, где отсутствует прямое и намеренное искажение результатов и где значимые политические силы (и, если применимо, международные наблюдатели) не жалуются на таковые, а другие формы искажения воли избирателей незначительны. Даже это определение не идеально: в Северной Корее, например, жалобы на качество выборов немыслимы. Порой даже в самых совершенных избирательных процедурах случаются казусы (как во Флориде на президентских выборах 2000 года), манипуляции, не достигается реальное равенство возможностей проведения избирательных кампаний, даже если нормы закона его провозглашают. В несовершенных демократиях претензии оппозиции к качеству выборов скорее правило, чем исключение. Чтобы провести черту между допустимым и недопустимым в отклонениях от норм, придется вернуться к приведенному выше определению «электоральной

демократии» Л. Даймонда; возможно ли на таких выборах поражение инкумбентов. Массовые выступления за честные выборы в России зимой 2011–2012 гг. порождены сочетанием двух факторов: фрустрацией части общества после заявления В. Путина о выдвижении (и неминуемой победе) на новый президентский срок и замеченными фальсификациями в день голосования, т.е. связь представлений о нечестности выборов и несменяемости власти неоспорима.

Но определение «от противного» не дает исчерпывающего ответа на вопрос о справедливости выборов. Справедливо ли, что партия, кандидаты которой набирают в сумме около 20% голосов избирателей, получает лишь 10% мандатов в парламенте (как Либерально-демократическая партия в современной Великобритании)? Справедливо ли, что партийный список, получивший относительное большинство голосов, оказывается в оппозиции правительству, образованному коалицией партий меньшинства (как в Чехии или Молдове после последних выборов)? Справедливо ли, что список, получивший 5,01% голосов, имеет более 5% мест в парламенте, а получивший 4,99% — ни одного (из-за пятипроцентного барьера)? Это только самые очевидные примеры, приходящие на ум. Проведем простую параллель с правилами футбола: справедливо ли, что нарушение, совершенное в 15,5 метрах от ворот, наказывается пенальти, а в 16,5 — только штрафным ударом? Почему же и футболисты, и болельщики не считают такое положение несправедливым?

Они, очевидно, приведут следующие аргументы. Во-первых, так написано в правилах (позитивное право). Во-вторых, так было всегда, с тех пор, как они начали играть в футбол или болеть за него (привычность). В-третьих, игроки обеих команд знают, что случится, если они нарушат правила в штрафной площадке (предсказуемость). В-четвертых, это правило применяется одинаково к обеим командам (равенство всех участников перед нормой закона). Наконец, они верят, что судья (идеальный, конечно, а не те, что судили чемпионат мира в ЮАР) будет применять это право последовательно и беспристрастно (честный арбитраж). Следовательно, если все эти условия соблюдены, то и политики, и общество будут признавать выборы справедливыми. Если же, однако, одного или нескольких таких «ингредиентов» не будет

(например, если мажоритарная система будет последовательно дискриминировать одних и тех же участников выборов, например, либералов в Великобритании), справедливость выборов будет поставлена под сомнение. Еще более неоднозначными с точки зрения справедливости выступают нормы, которые намеренно дискриминируют малые партии или радикальные политические силы, например, отсекающий барьер на выборах по пропорциональной системе или применение искажающей пропорцию в пользу сильнейшей партии квоты Империаля, удивительным образом получившей широкое распространение на региональных выборах в России.

Еще более сложный вопрос, могут ли быть свободными и справедливыми выборы органов законодательной власти или выборы местного уровня, если высшей исполнительной власти в стране поражения на выборах нанести нельзя. Ответ, пожалуй, должен быть положительным с оговоркой, что такие случаи редки. Демократия куда более сложный и многосоставный феномен, чем выборы. Невыборные (на конкурентных выборах) правители, как правило, с немалым подозрением относятся даже к «ограниченной неопределенности», каковую порождают любые сколь-нибудь свободные выборы, и будут пытаться манипулировать ими и ограничивать конкуренцию. В то же время, чем ближе такие выборы к стандартам «свободных и справедливых», тем более плюралистичным и конкурентным становится весь политический режим, тем более вероятно возникновение беспристрастного арбитража электоральных процедур, тем больше возможностей сопротивляться манипулированию появится у общества.

Предварительные выводы

Настоящая статья не более чем введение в тему анализа институциональной роли выборов в политиях различного типа, от ритуальных и имитационных в авторитарных режимах до инструмента демократизации и консолидации демократии и искусства управления и разрешения конфликтов в зрелых демократиях. Напомним, что, голосуя, граждане дают ответ на первейший вопрос политики: кто правит? Сами по себе выборы не дают ответов на многие другие вопросы: как этот «некто» правит? что

происходит с нами, когда этот «некто» правит? Но, по крайней мере, там, где выборы представляют собой реальную политическую процедуру, есть ответ на вопрос, можем ли мы вознаградить или наказать этого «некто» за то, как он правит. Этот ответ — да, на следующих выборах.

Роль выборов в демократии остается стержневой именно потому, что для исполнения ими такой роли нужно больше, чем выборы. Политические игроки должны усвоить, что выборы — это «единственная игра в городе», должны научиться умерять свои тревоги в отношении «ограниченной неопределенности», освоить искусство совмещения конфронтации с оппонентами на выборах со строительством коалиций и разрешением конфликта с ними, выстраивать каналы коммуникации со своими избирателями и обществом в целом. Общество же со своей стороны должно научиться одновременно доверять политикам и держать их под подозрением — только такое сочетание гарантирует, что их выбор будет информированным и рациональным, а также принимать во внимание не только отдачу от политиков, но и собственное участие в политической жизни, в которой голосование на выборах — первый, но не единственный акт вовлечения в политику.

Подобные рассуждения приводят нас еще к одному выводу: выборы — это телесериал с бесконечным количеством серий. Реализация как активного, так и пассивного избирательного права требует времени на освоение и обретение опыта и, как бывает в человеческой жизни, зачастую приходится учиться на собственных ошибках. Но награда за такое обучение стоит усилий. Это — демократия.

Глава 8. ВЫБОРЫ И ВЫЗОВ «БОЛЬШЕЙ ДЕМОКРАТИИ»

Защита электоральной демократии

Вилли Брандт в парламентской речи, произнесенной 28 октября 1969 г., после избрания первым послевоенным канцлером Федеративной Республики Германия от социал-демократической партии, бросил вызов политикам, призвав их «осмелиться на бóльшую демократию» (*Mehr Demokratie wagen!*). С его точки зрения, проблемы демократии могли быть решены только при помощи «бóльшей демократии». В том же духе, несколько месяцев спустя после неудавшегося переворота против недавно восстановленной демократии в Испании лидер социалистов Фелипе Гонсалес защищал программу «углубления демократии» (*profundización de la democracia*). Программа была в конечном счете принята съездом Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) в ноябре 1981 г., за несколько месяцев до победы на выборах 1982 г., и привела к непрерывному пятнадцатилетнему социал-демократическому правлению.

Для чего этим лидерам делать подобные заявления? Как нам понимать смысл фразы, что проблемы демократии могут быть решены «бóльшей демократией»? Как в Германии, так и в Испании эти заявления были сделаны, когда страны пережили первую ротацию власти после восстановления демократии. В обоих случаях существовали подозрения и страхи в отношении этой ротации и будущей политики новых инкумбентов. Очевидный смысл заявлений заключается в том, что влияние граждан на политический процесс нужно усилить, что никакое противодействие не должно доминировать над властью избирателей. Обычным де-

визом избирательной кампании ИСРП был «твой голос — наша сила» (*tu voto es nuestra fuerza*), подразумевавший, что другие политические факторы имели другие мощные ресурсы, кроме голоса. Прежде всего, Брандт и Гонсалес выразили доверие к голосу народа. Их заявления можно считать риторическими, наивными или, возможно, опасными, если демократию считать проблемой, а не решением. В частности, если сомневаться, что демократия представляет собой эффективный инструмент для достижения реальных результатов, таких как порядок, благосостояние или равенство.

Прежде чем продвинуться дальше, нужно сделать некоторые пояснения. В концепции Шумпетера демократия — это просто процедура, посредством которой граждане своими голосами выбирают лидеров для управления в течение ограниченного срока, смещают или переизбирают их во время следующих выборов сообразно их достижениям. Как говорит Шумпетер [Schumpeter, 1974, p. 272], «электорат не только назначает, но и контролирует. Но... избиратели могут контролировать своих политических лидеров только через отказ переизбрать их или парламентское большинство, их поддерживающее». Возможно, это «минималистская» концепция демократии, но она определяет сегодняшнее значение народного контроля над лидерами [Przeworski, 2010a]. И голосование может быть очень эффективным для контроля над лидерами: при соблюдении определенных условий выборы являются сдерживающим инструментом в руках граждан. Они могут защитить граждан от злоупотреблений властью и убедить лидеров выбрать определенный политический курс. То есть выборы могут быть инструментом свободы — необходимым институтом для совмещения негативной и позитивной свободы [Berlin, 2002].

Однако недостаточно определенными остаются условия для того, чтобы выборы стали эффективным инструментом контроля над лидерами со стороны граждан. Некоторые из недостатков являются предметом этой статьи: рассмотрим их на примере старых демократий. Между требованиями «большой демократии» и просто «демократии» существуют большие отличия. Разница заключается не в степени демократии, а в относительном положении на шкале демократии. С одной стороны находятся демократические

режимы с различными недостатками, а с другой — недемократии, где фальшивые выборы и отсутствие политических свобод не создают угроз для лидеров. Однако из-за неопределенных границ лидеры и апологеты недемократических режимов могут постоянно манипулировать ими. Такие конфигурации превращают понятие демократии в фарс. Я далее вернусь к этому вопросу, поскольку Россия является примечательным примером.

Позвольте мне выделить три основных пункта. Первый — в том, что демократии являются режимами, в которых граждане могут сместить лидеров в результате выборов. Вот почему выборы определяют демократию: они являются основным инструментом, посредством которого сохраняется правление народа и для народа. Свободные и честные выборы заставляют политиков, по мнению Мэдисона, «постоянно помнить, что они зависят от воли народа» [Federalist Papers [№57], 1961, p. 352]. Лидеры предполагают, что избиратели могут их сместить: эта возможность — единственная нить, связывающая самоуправление и представительную демократию. Знание, что выборы являются эффективным инструментом для наказания или вознаграждения, значительно дисциплинирует действия политиков.

Второй пункт заключается в том, что одних выборов недостаточно: Папу Римского тоже избирают. Когда речь идет о демократии, дело не только в истоках власти: «правление для народа» предполагает, что граждане должны быть в состоянии посредством своих голосов лишиться полномочий находящееся у власти должностное лицо, если они считают, что использование власти не было в их интересах. Если бы, когда речь шла о демократии, дело было только в первоначальном выборе, то избранные представители не сталкивались бы с риском последующего смещения с должности избирателями. Только периодическая возможность отказа делегировать полномочия наделяет людей способностью защищать свои интересы посредством демократического процесса.

Последний пункт состоит в том, что для граждан имеет смысл только электоральное наказание, если граждане достаточно информированы, чтобы определить ответственность, и если существует оппозиция, которая может заменить действующее правительство. Вот на что направлены действия большинства стратегий лидеров в псевдодемократиях: они манипулируют ин-

формацией, доступной гражданам, и препятствуют применению избирательных санкций, подрывая доверие к любой оппозиции.

Итак, выборы находятся в центре «процедурной» демократии. Но «процедурная», или «формальная» демократия может иметь важные последствия. Во-первых, она может защитить права человека и свободу. Во-вторых, результаты выборов могут быть релевантными для материальных интересов различных социальных групп. Вот почему выборы представляют риск как для групп интересов, так и для политических лидеров. Мы знаем [Przeworski, 1991, 2002]: если ставки высоки (благодаря, например, богатству меньшинства и бедности большинства) и если риски не смягчить временными соглашениями между сегодняшними победителями и проигравшими (которые могут поменяться местами завтра), демократия, возможно, распадется. Даже в богатых демократиях, где партии сменяют друг друга, политика демократических правительств не может слишком сильно отклоняться от общепринятых интересов: конституционные ограничения и антимажоритарные институты определяют границы политики. А поскольку демократия заключается в избрании политиков, которые могут впоследствии избирать политический курс, политика может стать узкой сферой политиков, где граждане остаются на втором плане. Поэтому «минималистские» демократии могут быть свергнуты, политические решения могут иметь ограниченную сферу применения, а политики могут узурпировать голос народа. Я понимаю, что Брандт и Гонсалес имели в виду скорее эти проблемы демократии, нежели распространение демократии на новые сферы (такие как заводы или школы).

Если эти проблемы демократии реальны, то нет смысла спорить о нечетких границах между демократией и автократией. При автократиях группы интересов защищены от результатов выборов, однако не от политических угроз, поскольку они гораздо более уязвимы перед волюнтаризмом лидеров. «Превосходство политики» [Mason, 1968] гораздо сильнее в диктатурах или псевдодемократиях, поскольку дезинтеграция общества оставляет государству гораздо больше автономии для навязывания своих решений группам интересов. «Превосходство политики» в таких режимах проявляется и в отношении независимости судов, СМИ и плюралистических институтов.

Страх демократических выборов: российский опыт

Российские лидеры, по-видимому, гораздо более удовлетворены своим режимом, чем Брандт и Гонсалес. Премьер-министр Владимир Путин, когда его спросили, что он называет «западной моделью демократии», попросил «перестать учить Россию демократии» и объявил, что «нужно действовать с величайшей осторожностью» (интервью французским СМИ 10 июня 2010 г.). Президент Дмитрий Медведев заявил, что «Россия, вне всякого сомнения, является демократией». «В России есть демократия», — подчеркнул он. По его мнению, «демократия является условием развития России», но изменения должны быть «не радикальными, не потому что нельзя, а потому что не нужно», и «парламентская демократия для России — это катастрофа» (речь на Мировом политическом форуме 10 сентября 2010 г.).

Однако выборы в органы законодательной власти и президентские выборы были далеки от демократических. Согласно данным Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), декабрьские выборы 2007 г. в Думу «не были честными выборами», а Совет Европы заявил, что «мы не можем сказать, что это были честные выборы». Партия Кремля «Единая Россия» получила 64,3% голосов. Три другие партии получили 11,6, 8,1 и 7,7%: КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» (источник: Центризбирком). «Международная амнистия» объявила, что на президентских выборах в феврале 2008 г. «нет реальной оппозиции». «Официальный» кандидат Дмитрий Медведев получил 71,3 % голосов избирателей. Три других кандидата — Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Андрей Богданов (ДПР) получили, соответственно, 17,5, 9,5 и 1,3% голосов. С первого взгляда очевидно, что в российской политике трудно представить соревнование или оппозицию.

В российской политике нет разделения властей: исполнительная власть контролирует законодательную и судебную. Политическая власть сильно концентрирована: руководители республик РФ и мэры Москвы и Санкт-Петербурга назначаются (и снимаются с должностей) сверху. Отсутствуют прямые выборы членов Совета Федерации (верхней палаты парламента). Президент

Медведев объявил, что «свобода слова, свобода собраний и митингов реализуются на практике в четко установленных правовых границах» (речь на Мировом политическом форуме, Ярославль, 10 сентября 2010 г.). Конечно, эти границы могут быть очень сдерживающими, а «правление посредством закона» может сильно отличаться от «правления закона» [Holmes, 2003]. По контрасту с уклончивым комментарием Медведева «Репортеры без границ» поместили Россию на 121-е место из 139 государств в рейтинге свободы прессы.

Ценность выборов в России, очевидно, очень отличается от того, что значат выборы в демократических странах. Они являются сдерживающим шоу для потенциальной оппозиции, демонстрацией силы по отношению к отдельным гражданам и к выражению несогласия. Холмс (в этом издании) говорит об этом убедительно: «богатые и могущественные остаются, по сути, обособленными от населения и целеустремленно концентрируются на собственном благополучии». По его оценке ельцинско-путинско-медведевского периодов, угнетатели освободили себя от угнетаемых, меньшинство грабит, а большинство пытается выжить. Лидеры могут спокойно игнорировать непривилегированное большинство. Выборы не напоминают лидерам об их зависимости от народа: наоборот, они демонстрируют их автономию. Они, скорее, — инструмент доминирования, чем инструмент негативной и позитивной свободы.

В. Соловей (в этом издании) также утверждает, что «свободная от любых внешних ограничений российская власть полностью контролирует российское общество». Псевдодемократия зависит от пассивности общества, от отсутствия его демократической реорганизации после коммунистического правления: лидеры предотвращают появление любых свободных гражданских ассоциаций. А когда появляются вспышки несогласия и оппозиции, применяется насилие, включая физическое устранение оппонентов. Несогласие и оппозиция действительно расцениваются как подрыв государства.

Реконструкция государства является политическим приоритетом в период после краха коммунизма, распада Советского Союза, экономического и политического хаоса и коррупции ельцинского периода. Главный аргумент заключается в

том, что демократия не может существовать без государства, достаточно состоятельного, чтобы обеспечить порядок, благосостояние и равенство. Формирование сильного государственного потенциала представляется предварительным условием демократии. Но предварительные условия демократии неоднозначны. В нескольких транзитах от диктатуры государство было значительно реорганизовано, но демократия не наступила. В других случаях демократии выживали при очень слабых государствах. Нет особых причин считать, что сильное состоятельное государство приведет к демократии. Всегда можно найти оправдания, чтобы отложить демократию на неопределенный срок.

Как утверждает Данн (в этом издании), «по-прежнему трудно понять, как более демократическое правление может возникнуть посредством какого бы то ни было политического процесса по милости государства в его настоящей форме». Сильное государство состоит из институтов, наполненных индивидуальными интересами, связанными с относительной властью института. Маловероятно, что полиция, армия, судьи, чиновники, политики обнаружат, что порог мощи/состоятельности достигнут, и затем заменят существующую псевдодемократию на демократию.

Если некоторые демократические лидеры верили в то, что проблемы демократии можно было решить при помощи «бóльшей демократии», то российские лидеры, похоже, думают, что их псевдодемократия — уже демократия и что реформы опасны. Это различие отражает либо доверие народу, либо страх перед ним. С одной стороны, существует точка зрения, согласно которой «лучшая» демократия (т.е. защита существующей формы самоуправления — выборов) может привести к лучшим существенным результатам; с другой — точка зрения, согласно которой свободные и честные выборы, разделение властей и эффективная политическая оппозиция — угроза государству и стране. Вместо того чтобы принять вызов «бóльшей демократии», российские лидеры не планируют трансформировать псевдодемократический режим в демократию и не определяют временные рамки такой трансформации.

Недостатки электоральных демократий

Когда Брандт, Гонсалес или другие политики-демократы делали программные заявления о «бóльшей демократии», под этим они понимали более эффективное правление народа и посредством народа. Это связано с информированностью граждан, неопределенностью результатов выборов, эффективным разделением властей, уважением правил соревнования и значимостью оппозиции, автономностью политиков от вердикта избирателей. Политический режим в России, наоборот, зависит от ограниченной информации граждан, отсутствия электоральной неопределенности, чрезмерной концентрации власти, несущественной оппозиции и полной автономности власти от граждан.

Далее я рассмотрю эти вопросы более подробно. Я проанализирую политические процедуры и лучшие существенные реальные результаты. Если «бóльшая демократия» может считаться политическим благом, она должна обеспечить желаемые реальные результаты (интеграцию меньшинств, рост или равенство). С другой стороны, такие результаты при диктатурах или псевдодемократиях зависят от случайно появившихся великодушных и просвещенных лидеров. Поэтому не может внушать доверия программа перехода этих режимов к полной демократии, если она зависит только от доброй воли лидеров.

Асимметрия информации

«Бóльше демократии» означает, что граждане лучше информированы о решениях и отсутствии решений правительств и способны определять ответственность за изменения в своем благосостоянии. Если у граждан мало информации относительно того, что делают политики, то их голосование будет произвольным. Шансы избрать плохого или хорошего кандидата будут равными. То есть демократия не будет правлением «посредством народа» и «для народа»: олигархи станут сменять друг друга в основном по совершенно случайным и непредсказуемым причинам. Избиратели могут обвинять инкубентов в совершении действий, которые были вне их контроля, или оправдать плохие результаты, за которые они были ответственны. Это означает, что «плохие»

правительства могут выжить, а «хорошие» могут быть смещены. Как известно, главной проблемой для демократического контроля над лидерами со стороны граждан является основание для признания их вины или заслуг. Ачен и Бартельс [Achen, Bartels, 2004, p. 37], изучив модели электорального поведения после природных катастроф, неподконтрольных правительствам, пришли к выводу, что «нигде нет общей теории политической ответственности, объясняющей, когда и почему действительно происходит вменение или исключение ответственности».

Сохранение правления «посредством народа» и «для народа» может быть обеспечено, только если имеется точная политическая информация относительно выбора кандидатов и ответственности инкубентов. Мы знаем, что выбор и ответственность — два разных аспекта голосования. Мэдисон [Federalist Papers [№57], 1961, p. 350] выделял оба аспекта: цель выборов — «прежде всего приобрести в правители таких людей, которые, обладая высокой мудростью, понимают, в чем состоит всеобщее благо, и, обладая высокой добродетелью, способны добиваться его, а также, во-вторых, принять все действенные меры, дабы они не утратили своей добродетели в течение того срока, пока будут исправлять доверенные им обязанности».

Видная традиция политической науки, которая включает Даунса, Фиарона или Бартельса, утверждает, что на выборах речь идет о выборе лучших (или ближайших к идеальной политической позиции избирателей кандидатов) и о мандатах на будущее. Сравнительные эмпирические исследования опыта США, Канады, Австралии и семи европейских демократий показали, что можно действительно предсказать политику после выборов на основе предвыборных программ [Stimson, MacKuen, Erikson, 1995; Stimson 1999; Page, Shapiro, 1992; Klingemann, Hofferbert, Budge, 1994]. Харрингтон [Harrington, 1993] проанализировал механизмы, объясняющие, почему инкубенты стремятся выполнить свои обещания: при помощи формальной модели он показывает, что при эквilibriumе кандидаты обнаруживают в кампаниях свои действительные политические намерения, а после избрания будут следовать своим обещаниям.

В противовес взгляду на выборы как на отбор другая традиция политической науки подчеркивает, что демократический

контроль над политиками основывается на втором аспекте выборов, отмеченном Мэдисоном. Кей [Key, 1966], Райкер [Riker, 1982] и Ферджон [Ferejohn, 1986] утверждали, что, если избиратели обладают ограниченной информацией, ретроспективная ответственность инкубентов — единственный способ преодолеть многие препятствия для такого контроля. Политики часто заявляют, что они лучшие кандидаты на пост и, поскольку их избрали на 4–5-летний срок, ответственность будет только ретроспективной. Например, это заявила Маргарет Тэтчер: она победила Джеймса Каллахана, поэтому будет управлять по своему усмотрению и ответит во время следующих выборов.

Есть противоречивые свидетельства относительно информации, которую избиратели используют как при выборе кандидатов, так и для наказания / поощрения инкубентов. Например, Заллер [Zaller, 1992, 2004] показал, что информированные избиратели более идеологизированы и используют свой голос скорее для «выбора», чем для наказания / поощрения за прошлые результаты. Напротив, сравнительное исследование пост-электоральных опросов в Венгрии, Польше, Португалии и Испании показало, что «ретроспективный контроль зависит больше от политических знаний, чем от идеологии избирателей при выборе инкубента» [Fraile, 2008, p. 183]. Если смысл голосования заключается в выборе лучших кандидатов, обычно на основе идеологической близости, или включает определение ответственности правительств за совершенные действия, то избирателям нужна информация о политиках и их действиях.

Лидеры могут использовать идеологию для смягчения негативных эффектов плохой политики. Идеологические манипуляции могут усилить связь между партией и избирателями («моя партия, права она или нет»), служить для оправдания инкубента («причины плохих результатов не связаны с действиями правительства»), приводить межвременные объяснения («текущие тяжелые условия необходимы, чтобы увидеть свет в конце туннеля») или дискредитировать оппозицию как худшую альтернативу («как бы плохи ни были текущие условия, они были бы гораздо хуже, если бы у власти была оппозиция»). Стоукс [Stokes, 2001] показал влияние идеологических суждений на этот тип экономического голосования.

Поскольку на изменения в благосостоянии граждан будут влиять экзогенные условия, неподконтрольные правительству, и граждане едва ли будут знать об этом влиянии, то политики смогут манипулировать распределением ответственности. Правительства могут заявить, что хорошие результаты являются следствием их усилий и способностей: например, Хосе Мария Аснар ответил: «Я — чудо» (sic), когда его спросили о причинах высоких темпов роста испанской экономики. Они могут приписывать плохие результаты деятельности «глобализации», международным кризисам, МВФ или «цюрихским гномам», как высказался британский премьер-министр Гарольд Вильсон. Гельмут Шмидт жаловался на то, что он несет ответственность лишь за 5% экономических результатов (sic) и что избиратели возложили на него слишком много ответственности. Разумеется, избиратели будут недоумевать, действительно ли Аснар был «чудом», населен ли Цюрих гномами-англофобами и имел ли Шмидт отношение к изменению их благосостояния. Большинство будет голосовать в соответствии с идеологическими предпочтениями и своим предыдущим выбором: что пытаются делать политики, так это усиливать эту преданность и влиять на равноудаленных (идеологически), но часто колеблющихся избирателей.

Таким образом, электоральные кампании по преимуществу состоят из попыток партий мобилизовать свой электорат, демобилизовать электорат противников и привлечь равноудаленных колеблющихся избирателей. В конечном счете победа или поражение будут зависеть от решения небольшого меньшинства избирателей, в то время как абсолютное большинство сохранит верность ранее поддержанной партии. Лучшим прогнозом будущего голосования, на самом деле, являются результаты прошлого голосования.

Наименее идеологизированные избиратели являются также мишенью другой электоральной стратегии — использования «валентных вопросов» [Stokes, 1963]. Это относится к предпочтениям, в отношении которых среди избирателей нет расхождений. Типичные примеры — коррупция, политическая компетентность, борьба партийных фракций, экономическое развитие или терроризм. Никто не захочет видеть коррумпированных или

некомпетентных политиков, расколотые партии¹, экономические кризисы, уязвимость перед атаками террористов. Лучший рейтинг по валентным вопросам может дать политику или партии значительное преимущество над оппонентами. Как отмечали Энелоу и Хинич [Hinich, Enelou, p. 198, p. 89, 100], «кандидат, который, возможно, при иных условиях выиграл бы выборы, может проиграть, если избиратели, которые предпочитают его в вопросах политики, сочтут его противника более привлекательным в другом плане... вопросы, не связанные с политикой, могут дестабилизировать предвыборное соревнование». Но, поскольку идеологизированные избиратели будут менее восприимчивы к пропаганде, которая противоречит их политическим взглядам, данная стратегия пытается привлечь поддержку избирателей со слабыми идеологическими или партийными привязанностями.

Иногда утверждают, что введение валентных вопросов оказывает центростремительное воздействие на электоральное соревнование [Bogdanor, 2007; Green 2007]. Политический консенсус должен окрепнуть, если все хотят от политиков одного и того же, а соревнование лишь определяет, какой кандидат сделает это лучше. Однако валентные вопросы могут привести к жестоким негативным кампаниям, дискредитирующим оппонента, не разделяющего предпочтения избирателей. Такие кампании стали обычной практикой демократической политики. Выборы в США дают несколько примечательных примеров: президентские выборы 1988 г., когда Джордж Г. У. Буш использовал дело Вилли Хортон против Майкла Дукакиса, или кампания 2004 г. Джорджа У. Буша против Джона Керри о патриотизме и лидерстве — два типичных примера использования валентных вопросов². Испан-

¹ В Великобритании избиратели думали, что лидер Лейбористской партии, Нил Киннок, больше интересовался интересами народа, чем Маргарет Тэтчер (29% против 20%), но она лучше умела управлять, сохраняя единство своей партии (59% против 20%). В результате 43% проголосовали за Тэтчер и только 29% — за Киннока [Heath, Jowell, Curtice, 1994].

² Патриотизм Керри, награжденного тремя медалями «Пурпурное сердце», был поставлен под сомнение умелой клеветой, которую способствовала ad hoc созданная группа «Ветераны разведывательных катеров за правду». В конце концов, Буш получил 10–20%-ное преимущество над Керри в глазах общественности в плане оценки его лидерства и способности бороться с терроризмом и защищать США. Данные взяты из опросов CBS / New York Times, октябрь и декабрь 2004 г.

ская политика также дает хорошие иллюстрации: в предвыборной кампании 2008 г. Мариано Рахой, лидер НП (консервативной Народной партии), обвинил премьер-министра Хосе Луиса Родригеса Сапатеро в сопричастности к терроризму и развалу Испании³.

«Негативные» кампании легче проводить, если у избирателей мало информации и слабые политические привязанности. Тогда политика, перефразируя Гарри Трумэна, превращается в особенно «жаркую кухню»: главное — представить нынешних противников как сообщников террористов, моральных дегенератов, рискующих безопасностью страны. Такая стратегия дискредитации противника свойственна псевдодемократической российской политике. Конечно, это противоречит движению к реальной демократии и «свободным» и «честным» выборам. Шум и ярость деструктивной пропаганды увеличивают сложности для выбора лучшего кандидата или для определения ответственности. «Большая демократия» должна оставить как можно меньше места для кампаний, злоупотребляющих ограниченной информацией избирателей. И наоборот, она должна диверсифицировать и расширять круг возможностей индивидов, то есть их осознанный выбор и доступные им альтернативы выбора [Ferejohn, 1993]. Это, конечно, противоположно тому, что делают «просвещенные» лидеры в псевдодемократиях: они ограничивают когнитивную информацию и пытаются контролировать альтернативы.

Предсказуемость инкубентов

«Большая демократия» зависит от неопределенного результата выборов. Мы знаем, что выборы — необходимое, но недостаточное условие для демократии. В диктатурах или псевдодемократиях выборы не внушают лидерам воспоминания об «их зависимости от народа»: нет настоящих политических альтернатив, легальная оппозиция — марионетка правительства, народ

³ Это является примером того, каким был лейтмотив негативной кампании против Сапатеро: в телевизионных дебатах (25 февраля 2008 г.) Рахой заявил: «Вы лгали, вы обманывали каждого испанца, вы вели политические переговоры с ЭТА, вы подорвали правовое государство, вы сдались террористам, вы согласились на их шантаж».

голосует под угрозами, результаты выборов predeterminedены. В нынешней России выборы не являются ограничительным инструментом в руках граждан, так как политиков можно контролировать только при неопределенности результатов выборов. В демократиях вердикт всегда будет неопределенным. Выборы часто приводили к результатам, противоречащим ожиданиям предвыборных опросов. Примеры — британские выборы 1970, 1974, 1992 гг.; выборы в Германии в 2002 г. или в Испании в 1993 и 2004 гг.

Из-за непредсказуемости критериев, которыми будут руководствоваться избиратели в своем вердикте в ходе голосования, демократические выборы создают риски для инкубентов. Неопределенность отражается на их свободе в процессе принятия решений. Избиратели, в отличие от политиков, в качестве избирательных правил устанавливают критерии или порог благосостояния — это может заставить политиков «ходить на цыпочках». Политики и избиратели — стороны особого рода агентских отношений, в которых агент не знает, что удовлетворит принципала.

Политики постоянно ищут подсказки, например, опросы общественного мнения, которые могут продемонстрировать влияние экономической политики или коррупционных скандалов на политические взгляды избирателей. Непоследовательность агрегированных и индивидуальных данных и их временной и страновой вариативности выводит их из равновесия. Однако они находят некоторое успокоение в примерах выживания во времена экономических кризисов: победа Герхарда Шредера на выборах 2002 г. в Германии в условиях стагнации экономики (при 0,0% годовых темпах роста), или Фелипе Гонсалеса на выборах 1993 г. в Испании в условиях сокращения ВВП на -0,2% и безработицы на уровне 22,8%. Но если дела идут хорошо, то политиков будут беспокоить судьбы Жака Ширака, потерпевшего поражение на выборах во Франции 1988 г., Джона Мейджора — на выборах в Великобритании 1997 г., и Хосе Мариа Аснара — на испанских выборах 2004 г., при годовых темпах роста ВВП, составляющих 4,6, 3,0 и 3,2% соответственно. Избиратели могут следовать другим критериям, кроме положения экономики в конце мандата инкубента.

Если мы рассмотрим более систематизированные данные об экономических условиях, при которых инкубенты проиграли

131 из 359 выборов в 22 парламентских демократиях ОЭСР с 1945 г.⁴, то средний годовой рост ВВП составлял 2,2%, а уровень безработицы равнялся 5,9%. Средние показатели для всего периода были 2,7 и 5,5% соответственно. То есть избиратели наказали инкумбентов при не самых плохих экономических условиях. С другой стороны, плохие экономические показатели имели ограниченное влияние на электоральную уязвимость правительств. Если показатели роста ВВП снижались на один пункт в последние два года, то вероятность поражения правящей партии увеличивались на 4%. Повышение годовых показателей инфляции и безработицы только на один пункт увеличивало вероятность потери поста до 0,4 и 2,6% соответственно⁵. Итак, вероятность сохранения или потери поста по экономическим причинам была низкой; что оказалось решающим для вынесения окончательного вердикта, осталось загадкой. Во многих случаях инкумбенты проиграли при хороших экономических условиях и выиграли — при плохих.

Однако мы знаем, что часто имело место длительное пребывание на посту. На первый взгляд, это может быть индикатором того, что выборы в таких случаях не были ни «свободными», ни «честными». Пшеворский [Przeworski, 2010a] продемонстрировал, что чередование партий в правительстве — современное явление. Даже после 1945 г. партиям во власти практически не угрожали избиратели: в одиночку или в коалиции они удерживали власть почти полвека в Италии (ХДП, Христианско-демократическая партия), Японии (ЛДП, Либерально-демократическая партия), Люксембурге (ХСП, Христианско-социальная партия), Бельгии (СХП, Социально-христианская партия). И если мы изу-

⁴ Страны: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Израиль, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Финляндия, Франция, Швеция, Япония.

⁵ Таковы результаты анализа выживаемости при помощи модели регрессии Кокса для 811 наблюдений в 22 парламентских демократиях с 1945 г. Статистика Вальда хи-квадрат равнялась 29.10 и была значима при 1%. Логарифм псевдовероятности равнялся — 4212.1407. Коэффициенты трех переменных (роста ВВП, безработицы и инфляции) были значимы при 5% с робастными стандартными ошибками. Эта статистическая значимость исчезает при введении фиксированных страновых эффектов, хотя знаки коэффициентов остаются прежними.

чим 359 случаев выборов, имевших место в 22 парламентских демократиях ОЭСР с 1945 г., то увидим, что правящая партия выиграла 228 раз (63%).

Как мы определим неопределенность и «свободные и честные» выборы, когда нет ротации управляющих кадров? Правда в Италии избиратели при помощи судей положили конец в 1994 г. партиям, которые оставались на посту посредством бесконечного маневрирования между коалициями и участвовали в сговоре по злоупотреблению властью. В Японии социалистическая оппозиция входила в коалиционное правительство в течение короткого промежутка времени с 1994 по 1996 г.; в конце концов основная партия оппозиции, Демократическая партия Японии (ДПЯ), сменила ЛДП в правительстве после выборов 2009 г. В Бельгии и Люксембурге консервативным партиям пришлось разделить власть со своими социалистическими соперниками в нескольких случаях. Но Италия и Япония были демократиями до того, как произошли эти события. Так что мы имеем в виду, когда говорим, что в демократиях результаты выборов неопределенны? Я позволю себе утверждать, что долгое пребывание у власти не показатель недемократических выборов, если власть разделена: партия правительства не контролирует СМИ, судебную власть, центры экономической власти или профсоюзы. Выборы являются демократическими лишь тогда, когда власть разделена, не монополизирована инкумбентом, когда оппозиция не является политически подчиненной и свободно принимает результаты выборов.

Если выборы могут представлять риск для инкумбента, то их результат редко ставится под сомнение. Проигравшие соглашаются с поражением: это может указывать на то, что соревнование было «свободным и честным». Правители покидают свой пост или оппозиция ждет следующей возможности. Когда Эдвард Хит неожиданно проиграл Гарольду Вильсону в феврале 1974 г., он лишь разочарованно промямлил: «этот человечиска...». Долгое сопротивление перед принятием поражения порождает подозрение в том, что с демократией что-то неладно: например, отказ принять результаты выборов Андреса Лопеса Обрадора в Мексике вслед за президентской победой Фелипе Кальдерона в 2006 г.

Конфликт в отношении разделенной власти

«Большая демократия» зависит от сохранения разделенной власти. Пшеворский [Przeworski, 1991] объяснил, что согласие с результатами выборов в богатых обществах является результатом интертемпорального расчета проигравших. Это значит, что проигравшие должны иметь вероятные шансы на победу в будущем. Однако это будущее может оказаться очень отдаленным. Ключ к «свободным и честным» выборам может лежать лишь в существующем в обществе плюрализме, при котором политические лидеры не имеют чрезмерного контроля над экономическими и социальными ресурсами и власть разделена. Это ограничивает злоупотребления со стороны политических лидеров, оставляет возможности для сопротивления, организации и защиты политической альтернативы, которая может получить шанс на победу. Вот почему итальянская демократия при Берлускони была подорвана вследствие концентрации власти в руках одного из соперников.

Разделенная власть, следовательно, — основное условие для настоящего демократического соревнования. Она открывает возможность для информированности граждан — не столько из-за независимости СМИ, сколько из-за их плюрализма. Она защищает оппозицию от подчинения правительству; она также препятствует подрыву демократических правительств со стороны сильных неполитических групп. Холмс убедительно доказал, что разделение «фактической» власти есть основание для правового государства: когда ни одна группа не может доминировать бесконечно и каждая группа готова защищать свои интересы, используя демократические институты. «Умножение влиятельных групп, плюралистическая организация власти... баланс многих пристрастий» [Holmes, 2003, p. 50] объясняют самоограничение политических факторов, согласие с результатами выборов и взаимопочтение правительства и оппозиции.

Однако поскольку выборы не просто ритуалы, то разделение власти очень нестабильно. Мы сдвигаемся за границу демократии, когда правительство достигает «политической автономии», поскольку все другие власти подчинены ему, когда лидеры управляют, не досаждаемые оппозицией, судебной властью, СМИ или центрами экономической власти. Вот

что происходит с политикой в псевдодемократиях. Это черта российской политики в настоящее время. И это также случай, когда мы не можем определить как «демократию» режим, при котором выборное состязание и политические решения диктуются невыборными силами, главным образом финансовыми. Однако демократическая политика также включает постоянный конфликт между правительством, оппозицией, СМИ, судебной властью и центрами экономической власти, когда процедурные правила соревнования между настоящими альтернативами могут быть изменены, но не нарушены, а избранные лидеры принимают решения в отношении релевантных, а не маргинальных, вопросов.

Демократическая борьба за власть имеет в качестве главной цели независимые институты. Индивиды приносят в эти институты свои собственные интересы, используя властные ресурсы как политическое оружие [Maravall, Przeworski, 2003]. Судебная власть стала частью стратегий борьбы с противником, особенно когда ее независимость не является политически непредвзятой. Вряд ли ответственные правительства могут использовать послушную судебную власть для преследования оппонентов. Нетерпеливая оппозиция, которая вряд ли выиграет в обозримом будущем, может использовать симпатизирующие независимые суды для дестабилизации правительства. Перевод политики в правовое русло и политизация судебной власти подрывает правовое государство и демократический процесс. Когда политическая конфронтация переносится из парламента в суды, политика превращается в жестокую битву за контроль над «независимой» судебной властью, институтом, призванным защищать граждан от злоупотреблений властью, а не решать исход политического соревнования, бросая противников в тюрьму.

Бурные отношения между СМИ и политиками имеют давнюю традицию в демократической политике. Многие политики присоединились бы к призыву Стэнли Болдуина к избирателям, произнесенному во время известной речи 17 марта 1931 г., восстать против власти СМИ, «двигателей пропаганды постоянно меняющихся политических курсов, личных желаний, пристрастий и антипатий двух человек... Право собственности на эти издания имеет своей целью власть, но власть без ответственности — это

прерогатива проститутки во все времена»⁶. Начиная с 1930-х гг. пресса стала обладать не только чрезвычайным влиянием на политику, но и пыталась вести себя как «делатель королей». А для политиков стало нормой не только сопротивляться тому, что Болдуин назвал «диктатом прессы», но и требовать от прессы отражения мнения действительного политического большинства.

Едва ли найдется демократическое правительство или оппозиция, которые не были в конфликте со СМИ. Австрийский канцлер Бруно Крайский жаловался, что 80% СМИ ему противостояли, но это не помешало ему оставаться на посту с 1970 по 1983 г. и уйти в отставку непобежденным. Андреас Папандреу в Греции, Франсуа Миттеран во Франции, Фелипе Гонсалес в Испании боролись против СМИ во имя демократии с небольшим успехом, но находились у власти 10, 14 и 13 лет соответственно. Обеспечить граждан информацией, необходимой для контроля правительств, может плюрализм СМИ, а не только их сомнительная независимость. Этой борьбы между СМИ и правительствами не существует в псевдодемократиях, где правители не терпят ни плюрализма, ни независимости СМИ.

Наличие независимых институтов, обеспечивающих избирателей информацией и помогающих координировать избирательные вердикты, является ключевым условием для оценки избирателями совокупных достижений правительств. Это могут быть организации, занятые мониторингом действий правительств, профсоюзы, СМИ, центральные статистические управления, независимые центральные банки, и т.д. Вот почему демократия — это не режим, который возникает каждые 4 или 5 лет после выборов. Мониторинг, проводящийся в период между выборами, и разделенная власть являются основными средствами для последующих электоральных поощрений и санкций, которые являются сутью демократической политики.

⁶ Владельцами газет «Дейли Экспресс» и «Дэйли Миррор» были Уильям Эйткен (лорд Бивербрук) и Гарольд Хармсуорт (лорд Ротермир). Болдуин позаимствовал фразу «власть без ответственности — это прерогатива проститутки во все времена» у своего кузена, Редьярда Киплинга. В 1948 г. Бивербрук заявил Королевской комиссии по делам печати, что он управлял «Дейли Экспресс» «исключительно для пропаганды и ни с какой другой целью» (Royal Commission for the Press 1947–1949. P. 257–258). [Williamson, 1999; Curran and Seaton, 1997, p. 42].

Нарушение правил соревнования

Политики разворачивают свои стратегии следующих выборов непосредственно после выборов текущих. В демократической политике нет межвыборного перемирия. Между выборами ритмы политики лихорадочны: парламентский контроль, постоянный политический разбор действий посредством СМИ, общественное давление со стороны различных социальных групп, бесконечный мониторинг общественного мнения в отношении изменения поддержки правительства и оппозиции. Перефразируя Блюментала [Blumenthal, 1980], избирательные кампании теперь непрерывны.

Политика в межвыборный период представляет собой жесткую борьбу за баланс сил. Позвольте мне привести пример из недавней испанской политики. Став премьер-министром, Хосе Мария Аснар угрожающе заявил: «Теперь те, кто сомневался, быстро научатся понимать, кто во главе». Те, кому следовало научиться, были не просто политиками, но владельцами СМИ и президентами крупных корпораций. Целями были леволиберальная медиагруппа ПРИСА, владелец «Эль Паис», крупнейшей газеты в стране, и президенты крупных компаний общественного сектора («Телефоника», «Репсол», «Банко Архентариа», «Каха Мадрид», «Эндеса» и т.д.). Сначала предполагалась их замена и приватизация новыми, дружественными президентами. Что касается оппозиции, то правительство содействовало судебному преследованию бывшего премьер-министра, чтобы оппозиция как заслуживающая доверия альтернатива могла быть ослаблена на очень долгое время. Правительство надеялось на симпатию судебной власти, которая стала независимой благодаря Конституции 1978 г., но не стала непредвзятой, поскольку не подверглась обновлению в процессе перехода к демократии.

Противоположный пример можно также найти в испанской политике. Адольфо Суарес, первый демократически избранный премьер-министр, первым легализовал, а затем защищал оппозиционные партии и профсоюзы, которые в то время были очень слабы, — «виды, находящиеся под угрозой вымирания», как вице-премьер Фернандо Абриль-Марторель своеобразно их описал. Организация его собственной партии (Союз демократического

центра, СДЦ) была отложена, чтобы позволить социалистической партии (ИСПП) организовать в течение нескольких месяцев между ее легализацией (в феврале 1977 г.) и выборами, которые должны были состояться четыре месяца спустя. Он также стимулировал банки предоставлять кредиты оппозиционным партиям для участия в соревновании [Powell, 2001, p. 192–209].

На первых выборах после сорока лет диктатуры Суарес объявил: «Я могу обещать, и я обещаю (*puedo prometer y prometo*), что мы будем работать таким образом, что избиратели смогут контролировать действия правительства» (телевизионная речь 14 июня 1977 г.). То есть он высказался об ответственности за программу реформ, реализация которой должна была быть вынесена на голосование. После выборов он принял законы об амнистии, закрыл большинство зависимых от государства СМИ, финансировал из государственных фондов политически антипатично настроенные профсоюзы («Всеобщий союз трудящихся» и «Рабочие комиссии»). Суарес также следовал стратегии консенсуса, чтобы принять конституцию (с парламентской поддержкой левых, правых и центра: 93% депутатов кортесов), написать проекты ключевых законов новой демократии (о парламентском контроле над телевидением, о защите свободы слова, собраний и организаций, о регулировании общественного порядка и военной юстиции), выработать экономическую политику (пакты Монклоа, октябрь 1977 г.) и достичь компромисса с националистическими требованиями в Каталонии и Стране Басков по децентрализации государственной власти. Он обещал провести эту программу демократических реформ и для этого заявил об ответственности: выиграв следующие выборы в 1979 г., он проложил дорогу для ротации правительств, то есть для стабильного политического будущего.

Конечно, можно утверждать, что толерантность по отношению к оппозиции зависит от ценности приза. Но этот вопрос в действительности относится скорее к принятию демократии, нежели к толерантности по отношению к оппозиции: ни одна демократия не может существовать без оппозиции, способной сменить инкумбента. Неприемлемо говорить об особенностях отдельной страны. Рассматривая ставки в ходе перехода Испании к демократии, можно увидеть серьезные риски, связанные с наследием трех гражданских войн, последняя из которых (с 1936 по

1939 г.) была опустошающей: 140 тыс. — погибших на фронтах, 160 тыс. — гражданских лиц. После войны последовал долгий период репрессий: почти 200 тыс. были расстреляны, 270 тыс. — брошены в тюрьму [Fusi, 1985, p. 78–79]. В целом, число жертв войны и послевоенного периода составило более 3% всего населения Испании того времени. Европейский комитет по амнистии заявил о 600 политических тюремных приговорах в среднем в период с 1958 по 1961 г. Только в период между 1968 и 1970 г. было объявлено три чрезвычайных положения. В сентябре 1975 г. в конце существования режима были казнены 5 политических заключенных. Баскские и каталонские требования самоуправления жестоко подавлялись. В репрессии были вовлечены не только силы внутренней безопасности, но также и армия. Тем временем большие состояния влились в экономику, налогообложение и государственные расходы в которой были очень низкими. Расходы на социальную сферу составили лишь 9,9% ВВП в 1976 г. В конечном счете, демократия и толерантность по отношению к оппозиции пришли на смену 40 годам политической жестокости и экономических лишений.

При отсутствии заслуживающей доверия оппозиции граждане не имеют необходимого инструмента контроля над правительствами в ходе выборов. Как говорит Ферджон [Ferejohn, 1986, p. 14], «значение претендентов заключается в их наличии. Именно наличие претендентов, готовых занять пост, дает избирателю рычаги влияния на инкумбента». Твидли может походить на Твидлума, но, как справедливо замечает Пшеворский [Przeworski, 2010a], их политическое сближение зависит от предыдущего выбора избирателей из набора альтернативных курсов действий. К тому же имеет большее значение то, что есть Твидли как альтернатива для смещения Твидлума в результате выборов. Наличие альтернативы действующему правительству является необходимым условием для демократической ответственности: дальнейшее введение санкций становится более вероятным. Если Твидлум преследует Твидли, то это может быть из-за страха потерять пост, а не по каким-то идеологическим причинам.

«Большая демократия» зависит от уважения политиками главных правил соревнования. Это в особенности верно для правительств, которые обычно имеют преимущества нахождения у

власти: у них есть возможность устанавливать законы и принимать решения, которые могут иметь драматические последствия для групп интересов. Их законодательные и принудительные полномочия могут отпугнуть оппонентов: они могут менять экономическое регулирование, модифицировать уголовные санкции, поощрять СМИ, вводить новые правила электорального соревнования и т.д. Существующее распределение власти в обществе ограничивает прерогативы инкубентов. Если власть разделена, то правовое государство будет эффективным; если множественные интересы организованы, то правительства будут ограничивать себя. Их действия будут зависеть от расчетов на будущее: если действующие лидеры хотят стабильности и мира в непредвиденных политических сценариях, то лучше уважать противников и создавать условия для появления умеренной оппозиции. Ни один псевдодемократический лидер не может контролировать будущее.

В некоторых случаях, однако, главная сила правительства может исходить от избирателей, а оппозиция может иметь гораздо большую поддержку в невыборных центрах власти («реальная власть», используя эвфемизм периода перехода Испании к демократии). Это может наделить оппозицию большим политическим потенциалом, поддержанным СМИ, судьями и бизнесом. Это объясняет девиз испанской социалистической партии: «твой голос — наша сила» (*tu voto es nuestra fuerza*). Во многих новых демократиях электоральная победа партии, которая долгое время была вне закона, может столкнуть ее с могущественными врагами, которые не подверглись реформированию при новом режиме.

Это не просто случайный опыт новых демократий. Недавняя политика США также может это проиллюстрировать. Президент Клинтон был мишенью кампании по подрыву его президентства с самого начала. «Язык вражды» на радио, телевидении и в Интернете имел разрушительное воздействие. Тем временем республиканская оппозиция объявила Клинтона «врагом нормальных американцев» (заявление Ньюта Гингрича, республиканского спикера Палаты представителей [*Washington Post*. October 14. 1993], и «Комитет политического действия» Гингрича рекомендовал считать президента «больным», «предателем» и «коррупционным» [*Halperin, Harris, 2006, p. 107*] Независимый

совет стал политическим оружием против Клинтона в скандале с Левински⁷. Послевыборная «непрерывная кампания» против Барака Обамы, возможно, была более идеологической, чем против Клинтона, менее связанной с «моральными» качествами, более — с инсинуациями относительно симпатий к исламскому фундаментализму, социализму, антипатриотизму.

Похожая стратегия была развернута в Испании, сначала против Фелипе Гонсалеса⁸, социал-демократического премьер-министра с 1982 по 1996 г., затем против Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, премьер-министра, после того как ИСРП снова победила на выборах 2004 г. Поскольку эта победа произошла на фоне террористической атаки, в результате которой погибли 192 человека и были ранены более 1700, ИСРП обвинили в сговоре с исламским терроризмом для смещения с поста НП⁹. Когда, как и все предыдущие премьер-министры, Сапатеро изучил возможности отказа баскской террористической группировки ЭТА от «вооруженной борьбы», лидер НП Мариано Рахой обвинил его в «предательстве по отношению к памяти погибших»: «Если нет бомб, то это потому, что вы сдались»¹⁰. СМИ в этой кампании были очень активны, обвиняя обоих премьер-министров в недостойном поведении, коррупции, моральной деградации, отсутствии совести, в том, что они были гротескными и авторитарными кошмарами, — список, похожий на список Ньюта Гингрича.

Следовательно, для демократической ответственности необходимы два взаимосвязанных условия: должна быть оппозиция как жизнеспособная альтернатива правительству, политическая

⁷ Почти 60% избирателей не одобрили методы Кеннета Старра, и менее одной трети поддержали импичмент Клинтона [Sonper, Molly, Wilcox, 1999, p. 554–557].

⁸ Кампанией против Фелипе Гонсалеса руководила оппозиция (НП), а проводили ее «желтая» консервативная пресса, банкир, вовлеченный в крупное финансовое мошенничество, и судья. Она была остановлена только Верховным судом. Директор газеты, вовлеченный в заговор, позднее заявил: «Другого средства нанести поражение Фелипе Гонсалесу не было. В этом была проблема... Гонсалес был фигурой такого политического калибра, что нам пришлось выйти за рамки» (интервью Луиса Мариа Ансона, директора «АВС», газете «Тиемпо», 23 февраля 1998).

⁹ Это было особое заключение, за которое проголосовала НП, против заключений, за которые проголосовали ИСРП и остальные партии Парламентской комиссии, которая расследовала атаку террористов в мае 2004 г.

¹⁰ Заявления Мариано Рахой 11 мая 2005 г. и 15 января 2007 г.

конфронтация должна проходить в границах, при которых ни один из соревнующихся не может быть безразличен к демократическому процессу, т.е. к защите своих интересов через вердикт граждан в «свободных» и «честных» выборах. Если лидеры в псевдодемократии хотят двигаться к демократии, то они должны защищать оппозицию и открыть политический процесс. Это позволяет избежать движения оппозиции от умеренности к радикализму и защищает режим, когда наступают тяжелые времена.

Узурпация голоса народа

«Большая демократия» должна защищать электоральный вердикт граждан от его узурпации политиками. В демократических выборах избиратели могут как выбирать представителей, которые отражают состав общества, так и избавляться от плохих лидеров. Эти двойственные аспекты имели долгую историю. Для Дж. Ст. Милля [Mill, 1991, chapter VII], «в действительно равной демократии должна быть представлена каждая или любая часть, не диспропорционально, но пропорционально». Выборы должны вести к появлению представителей, которые представляют статистическую выборку населения, отражают его состав. Избирательные квоты для женщин, этнических или религиозных групп отвечают скорее на вопрос, кем являются представители, нежели, что они делают.

Противоположный взгляд состоит в том, что выборы должны давать гражданам возможность смещать плохих лидеров. Пропорциональное представительство, однако, делает электоральное наказание более сложным, поскольку оно увеличивает число партий в парламенте и делает более вероятным появление правительств меньшинства или многопартийных правительств. Вот почему Поппер [Popper, 1988, p. 28] утверждал, что, в противоположность тому, что случается, при плюральных электоральных системах и однопартийных правительствах, при пропорциональном представительстве и коалиционных правительствах «народ привыкает к тому, что ни одна политическая партия и ни один из их лидеров не могут действительно нести ответственность за решения, навязанные необходимостью формирования коалиции». Демократический контроль возмо-

жен только тогда, когда граждане могут сместить инкумбента. Как говорит Райкер [Riker, 1982, p. 244], «все, что делают или должны делать выборы, — это позволять людям избавляться от правителей».

Институциональные реформы с течением времени приводили по преимуществу к пропорциональному представительству. Это расширяло меню электорального выбора избирателей, но коалиционные правительства давали больше автономии политикам по отношению к избирателям [Maravall, 2010, p. 87-97]. Из 22 парламентских демократий ОЭСР между 1945 и 2006 гг. партии премьер-министров оставались у власти в среднем в течение 8,8 лет в пропорциональных системах, 5,9 лет — в плюральных / мажоритарных системах. При пропорциональной системе премьер-министры потеряли пост в результате поражения на выборах в 95 случаях, а 143 — в результате несвязанных с выборами политических решений. При мажоритарных / плюральных системах премьер-министры были смещены в результате поражения на выборах в 36 случаях, а в 28 — в результате замены на однопартийцев.

Следовательно, не только граждане, но также и политики принимают решение о продлении полномочий или смещении премьер-министров. Можно утверждать, что эти политики просто заменяют «хромых уток», предвосхищая вердикт избирателей на следующих выборах. Сменивший Маргарет Тэтчер на Джона Мэйджора тайный сговор — «стратегия козла отпущения» — должен был предотвратить поражение консервативной партии на выборах. Это могло отдать должное сдерживающей власти, которую избиратели имеют по отношению к лидерам. Однако, чтобы эта интерпретация была убедительной, политики и граждане должны разделять критерии наказания инкумбентов. Однако эмпирические данные показывают, что дело обстоит не так [Maravall, 2007, p. 923–934]. При растущей экономике возрастет вероятность как сохранения премьер-министром своего поста, так и его смещения другим политиком. То есть избиратели поощряют премьер-министров, а политики наказывают их. Заслуживающее доверия объяснение этих противоположных критериев состоит в том, что премьер-министры смещаются политиками, руководимыми амбициями, а не интересами граждан. Эти разные

правила для избирателей и политиков подрывают стимулы для представительства и ослабляют голос народа в демократии¹¹.

Узурпация «гласа народа» политиками, похоже, волнует граждан. Если мы возьмем исследования «Евробарометра» в 22 парламентских демократиях ОЭСР, чтобы определить, что влияет на удовлетворенность работой демократии, то плюральные / мажоритарные системы увеличивают удовлетворенность при контроле над влиянием среднего роста ВВП в последние 2 года, инфляции, безработицы и восприятия коррупции.

Несколько иная ситуация возникает, когда оппозиция кооптирована в правительство, лидерам ничего не угрожает, и электроальное наказание становится довольно абсурдным. Это происходило примерно в 14% наблюдений (стран/лет) для этой группы из 22 стран: например, в Австрии — свыше 30 лет, в Финляндии — 24 года, в Люксембурге — 31 год, в Нидерландах — 19 лет. Это распределение власти между двумя главными претендентами справа и слева могло предположительно привести к исчезновению «партийного дифференциала»¹² и большему абсентеизму избирателей. Однако на деле было не так. Согласно данным «Евробарометра», вероятность, того что граждане удовлетворены демократией, увеличивалась при таких больших коалициях¹³. Не буду вдаваться в подробности относительно условий, при которых возникли эти коалиции без оппозиции, но предположу, что

¹¹ Бета-коэффициент равняется 11,47 (с робастной стандартной ошибкой 3,50). Из контрольных переменных средний рост ВВП за последние два года и рейтинг безработицы также имели статистически значимые коэффициенты (с бета-значением 2,70 и 0,97 и робастной стандартной ошибкой 0,47 и 0,32). Значение F равнялось 9,97, статистически значимое при 1%. Исследование включало 312 наблюдений, в 241 — с пропорциональной системой, 71 — с плюральной / мажоритарной системой.

¹² «Партийный дифференциал» относится к значению, которое избиратели придают реализации программы партии А, в сравнении с программой партии Б. Согласно Даунсу [Downs, 1957, р. 38–50], ожидаемый партийный дифференциал является результатом разницы между ожидаемой пользой для избирателя, которую, как полагает избиратель, он получил бы при нахождении каждой партии у власти.

¹³ Бета-коэффициент равняется 11,73 (с робастной стандартной ошибкой 3,12). Контрольными переменными были средний рост ВВП за последние два года, рейтинг инфляции и безработицы и восприятие коррупции. Только средний рост ВВП в течение двух последних лет был статистически значимым. Значение F равнялось 17, 53 и было статистически значимым при 1%.

граждане принимают границы для конфронтации во имя стабильного правления и что они не считают это узурпацией своего голоса.

Еще один пункт нуждается в упоминании. Если коалиционные правительства обеспечивают политиков большей автономией по отношению к гражданам, то также верно, что они перераспределяют ресурсы от высокодоходных к низкодоходным группам в большей степени, чем однопартийные правительства. Причина в том, что при пропорциональных системах доминируют левоцентристские партии. Как показали Иверсен и Соскис [Iversen, Soskis, 2006], после изучения 17 продвинутых демократий между 1945 и 1998 гг, при плюральных/мажоритарных системах 75% правительств были правоцентристскими, в то время как при пропорциональных — 70% правительств были левоцентристскими, перераспределяющими доходы от высокодоходной группы населения в пользу низкодоходной.

Являются ли демократии угрозой?

То, что демократии могут быть преждевременными, всегда было обычным авторитарным аргументом. В Испании при диктатуре генерала Франко политики настаивали на том, что «испанцы не готовы к демократии». Это часто становилось аргументом для жестокого подавления демократии, как в Испании или Чили. Патерналистское значение этого антидемократического аргумента отражено в заявлении премьер-министра Малайзии Махатхира бин Мохамада: «Должны ли мы принуждать к демократии народ, неспособный справиться с ней, и разрушать стабильность?» (речь на Восточно-азиатском экономическом форуме, Гонконг, 14 октября 1992 г.). Иногда авторитаризм оправдывают в качестве лучшего пути к демократии.

Похожие предложения часто встречались в истории: от временных комиссарских диктатур а ля Карл Шмитт, якобы защищающих интересы народа, до суверенных демократий, считающихся необходимыми для восстановления слабых государств. Одна проблема этих предложений, конечно состоит, в том, что «меньшая демократия» — это не временная установка, а подтверждение предупреждения Бенямина [Benjamin, 1969, p. 257]

о том, что «исключительное состояние является правилом, а не исключением». Лидеры, ограничивающие демократию, насколько просвещенной ни была бы их политика по реконструкции государства, восстановлению порядка, проведению радикальных экономических реформ, не могут дать заслуживающих доверия обещаний, что они, в конце концов, снимут эти ограничения. Даже если они указывают на перечень условий и определяют временные рамки для установления неограниченной демократии, ничего, кроме политической веры, не заставит поверить в выполнение этих обещаний. Это происходит в текущей российской политике.

В стратегии российских лидеров отсутствуют условия и временные рамки для установления демократии. Они заявляют, что «суверенная демократия» — это эволюционный процесс, который состоит из реформ сверху. Мы знаем, что государство, режим и экономика находились в хаотичном состоянии после 1989 г. и особенно в ельцинские годы. Мигранян (в этом издании) указывает, что политические организации — «политическая партия власти» («Единая Россия») и несколько молодежных организаций — устанавливались из, посредством и для Кремля для того чтобы избежать хаоса. То есть страх перед народом был причиной строгих ограничений плюрализма, свободы слова и ассоциаций, избирательного соревнования, иначе говоря — демократии.

Условия для «осторожных» реформ, обеспечивающих выход из псевдодемократий, неизвестны — они могут быть установлены произвольно или отложены. Так же обстоит дело и с временными рамками изменений. Во время первого президентского срока Путина независимые СМИ, включая телевидение, были подавлены. Во время второго избирательный процесс был далек от демократического, независимые организации подвергались преследованиям, реальная оппозиция не была дозволена, несогласные были устранены. Нет причины ожидать, что Россия будет чем-либо, кроме «демократии с прилагательными», то есть псевдодемократией, как бы ее ни называли.

Если демократия вряд ли может быть результатом ограниченной псевдодемократии, то нет причины верить в то, что авторитарные, обособленные лидеры будут проводить лучшую

политику или станут гарантами политического порядка. Да, они могут безнаказанно подавлять, внушать молчание и послушание. Они могут временно избежать хаоса. Но проблемы не исчезнут.

Пшеворский (в этом издании) показал, почему демократия может быть самым лучшим институциональным инструментом для обеспечения гражданского мира. Это мирный «метод переработки конфликтов»; «политические институты могут справиться с конфликтами, которые могут быть структурированы, регулируются и ограничены». Рассмотрим пример интеграции многонациональных, многоэтнических государств. В своем исследовании политической культуры в коммунистических системах в 1970 г. Браун и Грей [Brown, Gray, 1974, p. 270–272] выявили подспудную силу националистических идентичностей: они выжили подпольно и восстановились бы после коллапса автократий. Похожим образом 40 лет диктатуры Франко в Испании не смогли уничтожить националистические идентичности, которые способствовали началу трех гражданских войн в современной истории: они могли быть лишь направлены по определенному руслу, когда демократия была установлена в 1977 году. Проблемы могут быть не решены, но с ними можно иметь дело посредством институтов, которые защищают жизненные интересы меньшинства от угроз со стороны большинства. В многоэтнических посткоммунистических странах демократические политические институты смягчали конфликт, когда этнические меньшинства были инкорпорированы в политический процесс [Alonso, Ruiz-Rufino, 2007]. Политическая интеграция разделенных обществ при демократии в большой степени зависит от выбора парламентской или президентской систем, электоральных правил в пользу системы сдержек и противовесов, федерализма и коалиционных правительств [Horowitz, 1985; Cohen, 1997]. Политическая интеграция не является результатом запугивания.

Страх перед народом и недоверие к демократии также связаны со стереотипами в отношении экономического роста и социально-экономического равенства. Вместо того чтобы делать ссылки на индивидуальные исторические кейсы, я представляю синтез заключений глубокого исследования.

Действительно ли избранные правительства менее способны обеспечивать экономический рост?

Часто утверждается, что демократические выборы могут угрожать материальным условиям граждан. И поскольку требования экономического роста и социально-экономического равенства сильны в молодых демократиях, это становится источником конфликта и нестабильности. Мы знаем, что бедные демократии более нестабильны, но также и бедные диктатуры. Мы знаем, что в Латинской Америке и Восточной Европе требования быстрого улучшения материальных условий граждан были существенно выше, чем в странах Западной Европы. Например, 67% чехов и 91% румын ассоциировали демократию с улучшенными экономическими условиями; 58% чехов и 80% болгар — с большим равенством; то, что государство должно играть распределяющую роль, поддерживали 55% венгров по контрасту с 27% граждан Западной Германии. В то же время подавляющее большинство — 70% в бывшей Чехословакии и 88% в Венгрии — утверждал, что выборы — лучший способ выбора правительства [Bruszt, Simon, 1991, p. 26, 33–34, 98–99, 174–176].

Не существует неизбежного противоречия между выборами и требованиями материального благосостояния¹⁴. Хотя слишком многие факторы вмешиваются в прямую связь между режимами и экономическим развитием, демократии сконцентрированы в богатых странах, в то время как диктатуры можно обнаружить лишь в бедных. Пшеворский с коллегами [Przeworski, 2000] в исчерпывающем исследовании 224 режимов в период с 1950 по 1990 г. показали, что в большинстве диктатур не наблюдалось роста — из 56 диктатур с ВВП ниже 1000 долларов в первый год исследования 47 так никогда и преодолели этот порог; из 98 диктатур, чей начальный ВВП был ниже 2000 долларов, 79 так и не преодолели этот уровень. Настроенные на развитие диктаторы-

¹⁴ Причинная обусловленность присутствует в двух направлениях. Если мы изучим 17 стран Латинской Америки в 2003 г., безусловная поддержка демократии коррелирует с экономическим развитием ($r=0.39$) и неравенством ($r=0.63$). Поддержка лидера, не ограниченного законами, также коррелирует с двумя социально-экономическими переменными ($r=0.75$ и $r=0.26$). Источник: *Latino Barómetro 2003* и *United Nations Human Development Report*.

альтруисты встречаются нечасто, и когда они появляются, легко выбирают плохую экономическую политику. Это исследование также показывает, что при демократии инвестиции составляют большую часть ВВП, хотя это по преимуществу связано с тем, что темпы роста инвестиций зависят от роста дохода. Демократии распределяют свои ресурсы более эффективно и коэффициент производительности выше — это дает им существенное преимущество над диктатурами, стоит только достичь порога накопления капитала.

Если бы управленческий «потенциал» правительств зависел от бессилия граждан и от запугивания, то политикам не хватало бы необходимой информации, чтобы принимать правильную политику. Ответы автократов в Венгрии, Польше, Испании и Португалии на экономические кризисы 1970-х и 1980-х гг. были схожими: они игнорировали международные диагнозы, избегали фискальных реформ, отвергали уменьшение общественных расходов и заработных платах [Maravall, 1997, p. 38–73]. Свободная пресса, реальная оппозиция и независимые мониторинговые агентства могут обеспечить потоки информации, которых при автократии не существует. В классическом исследовании Дрез и Сен (Dreze, Sen, 1989, p. 278] утверждают: «Вклад политического плюрализма относится к важности оппозиционной политики и социальной критики, направляющих действия государства в сторону большей чуткости к благополучию населения... Ясно, что масштабы эффективно-общественного влияния на деятельность государства будут большими в политических системах, в которых есть место для оппозиции и критики».

Автократы могут больше заботиться о своих интересах, чем демократические политики. Соревновательные выборы между партиями, имеющими более долгосрочную политическую перспективу, чем политики, могут уменьшить политический оппортунизм [Wittman, 1995]. Риск плохого выбора, напротив, увеличивается, если оппозиционные партии ничтожны, выборами манипулирует правительство, свободная общественная критика едва дозволена и нет независимых мониторинговых агентств, хотя ничего не мешает управлению и не ограничивает потенциал правительств. Как заметил Брас [Bras, 1992, p. 138], «макроэко-

номический выбор по своей природе является политическим, и без плюралистической политики он останется случайным».

Экономические реформы иногда возможны, только если они поддержаны народным согласием. Но согласие может найти силу только в свободе. Это могут проиллюстрировать два примера. Один пример — польский. Пакет реформ по экономическому регулированию был отвергнут на референдуме, проведенном польским коммунистическим правительством в ноябре 1987 г.; похожая программа позже была принята в 1990 г. демократическим правительством Тадеуша Мазовецкого. В Испании пакты Монклоа, которые последовали за первыми демократическими выборами 1977 г., ввели жесткую программу макроэкономического регулирования и структурных реформ, одобренную всеми парламентскими партиями. Диктатура была неспособна контролировать рост инфляции, общественный дефицит и рост реальных зарплат. Институты и стратегии могут позволить политикам решить экономические проблемы без введения ограничений на демократию.

Действительно ли избранные правительства менее способны обеспечивать социально-экономическое равенство?

Перейдя определенный порог развития, демократии перераспределяют больше, чем диктатуры. Сравнив 65 стран в период с 1950 по 1990 г. (из которых 22 страны входили в ОЭСР), на основе 621 наблюдений стран/лет, Буа [Bois, 2003, p. 184–187, 191] обнаружил, что, когда реальный доход на душу населения превышает 1000 долларов, в демократических режимах общественный сектор будет больше и перераспределение доходов — выше. Однако демократии часто питали эгалитарные ожидания, которые приводили к разочарованию.

Разочарование интригует, поскольку, как замечает Пшеворский [Przeworski, 2010a, p. 169], «выборы — это самый эгалитарный политический механизм, который у нас есть». Действительно, обширные сравнительные данные показывают, что социально-экономическое неравенство оказывает в целом небольшое влияние на участие в выборах: бедные будут голосовать с той же

вероятностью, что и богатые, необразованные — так же, как и образованные. Но что более парадоксально: если доход медианного (решающего) избирателя ниже, чем средний доход, и если политика правительств отражает предпочтения медианного избирателя, то демократии перераспределяют доходы меньше, чем ожидалось.

Почему это так? И почему между демократическими странами существуют значительные различия? Степень таких различий показана Брандолини и Смидингом [Brandolini, Smiding, 2008], которые изучают эквивалентные показатели распределения денежного дохода на душу населения (то есть сумму всех наличных доходов домохозяйства после вычета подоходного налога и взносов на социальное страхование) в 32 странах, используя данные Люксембургского центра исследования доходов за 2000 г. Например, отношение медианного дохода крайних децилей в Скандинавских странах в два раза меньше, чем в США. Они подтверждают, что «существует больше равенства в распределении чистых доходов, чем рыночных, наводя на мысль, что система налогов и социальных выплат меняет общее распределение», но, несмотря на то что процентное сокращение неравенства до вычета налогов и получения пособий достигает 47 в Дании или 45 в Швеции, оно только 23 в США. В России и Мексике — самый большой уровень неравенства из 32 стран: отношение медианного дохода крайних децилей почти в три раза выше, чем в Скандинавских странах, и разница едва ли меньше, если сравнивать Россию с Германией и Францией. Рост неравенства с 1980 г. был показан Аткинсоном и Миклрайтом [Atkinson, Micklewright, 1992]: коэффициент неравенства подушевого дохода домохозяйств Джини вырос с 24,5 до 28,9 между 1980 и 1989 гг., после 1989 г. экономическое неравенство усилилось, так же как увеличился уровень бедности. В 2000 г. отношение между высшим и низшим децилями дохода составляло 8,392 и было близким к Мексике (10,385) и существенно выше, чем в 1992 (6,717). Заметим для контраста, что во Франции и Германии, не самых эгалитарных странах ОЭСР, такое отношение составляло 3,447 и 3,366 в 2000 г. (Люксембургский центр изучения доходов. Для России: Волны III и V, RU92 и RU00. Для Мексики: Волна V и MX00. Для Франции и Германии: Волны V. FR00 и DE00).

Итак, почему возникают такие различия и как они связаны с демократической политикой? Один аргумент исходит из предполагаемой связи между политическим и экономическим равенством. Бедные чаще не участвуют в выборах и вследствие этого медианный доход избирателей выше, чем доход граждан в целом. Однако нигде, кроме США, неравенство доходов не приводит к большим отличиям в стремлении голосовать. Тем не менее экономическое неравенство оказывает эффект на другие формы политического участия, которые могут влиять на дистрибутивную политику правительства, особенно если политика, которая приносит прибыль экономически привилегированным группам, не ясна для граждан.

Второй аргумент заключается в том, что поскольку голос — это грубый инструмент выражения предпочтений, то правительства могут иметь хороший зазор для того, чтобы избежать требований перераспределения. Эти требования могут быть замещены другими вопросами, например этническими или религиозными требованиями. Становится труднее определить и выразить предпочтения медианных избирателей.

Согласно третьему аргументу, у богатых есть огромное сдерживающее оружие: угроза отъезда инвестиций и, таким образом, подрыва экономического роста и занятости. Этот потенциал будет сильнее при мобильных активах и мобильности капитала. Таким образом, парадоксально, но эгалитарные общества перераспределяют больше доходов, поскольку в них нет ни плутократического меньшинства, ни лишенного большинства [Persson, Tabellini, 1994; Bowles, Gintis, 1995; Benabou, 1996; Aghion, Caroli, García-Peñalosa, 1999; Moene and Wallerstein, 2003, 2006].

Последний аргумент относится к финансовой системе.непропорциональная часть общественных расходов идет на средние классы за счет низших децилей дохода. И в плане доходов: в то время как подоходные налоги являются перераспределительными, они представляют приблизительно одну треть государственных доходов в странах ОЭСР; остальные являются непрямыми налогами и взносами на социальное страхование. В результате, если мы посмотрим на доходную сторону государственных бюджетов, то государство не распределяет доход; оно делает это, в ограниченной степени, только на стороне расходов.

Пшеворский [Przeworski, 2010a, p. 91–92] прав, когда утверждает, что «некоторый уровень неравенства просто неизбежен». Демократия бессильна против этого, но бессильно против этого и любое другое мыслимое политическое устройство. Однако демократическая политика имеет значение для материального равенства. «Если правительства не будут постоянно бороться с неравенством, если они не будут играть активную роль в защите бедных и в передаче производственных ресурсов тем, кто имеет низкий потенциал для извлечения доходов, неравенство будет иметь тенденцию к росту». Однако эти действия правительств зависят от политической организации рабочих в свободные социал-демократические партии и профсоюзы, от их способности противостоять угрозам капиталистов посредством соглашений, которые могут стимулировать инвестиции, рост экономики и занятость, от информации о масштабах неравенства. Чем шире и доступнее будет информация, тем точнее будут поставлены экономические и социальные диагнозы и тем выше будет стимул для правительств к достижению роста и уменьшению неравенства.

Заключение

Острая критика демократических недостатков типична для политики в «реально существующих демократиях»; в псевдodemократиях, напротив, критика принимается с трудом. Кроме отсутствия внушающей доверия оппозиции и действительно соревновательных выборов, ограничения на свободу слова и ассоциаций и монополия власти в руках исполнительной власти не соответствуют принципу разделения властей в демократиях. В порядке примера: если премьер-министр предвосхищает вердикт уголовного суда, то это показывает подчиненное положение судебной власти. Однако 16 декабря 2010 г. Владимир Путин объявил свой вердикт Михаилу Ходорковскому, прежде чем его, в конце концов, вынес суд. Его слова по телефону во время телевизионной передачи «вор должен сидеть в тюрьме» были интерпретированы «Нувель обсерватор» (16 декабря 2010 г.) следующим образом: «Путин объявляет свой приговор Ходорковскому»; «Либерасьон» (28 декабря 2010 г.) расценила окончательный приговор суда как «непременно виновен»; «Гардиан» (27 декабря 2010 г.)

определила случай как «шарадный суд». Общая интерпретация заключалась в том, что приговор был решением Путина.

Конечно, может быть, интерпретации российской политики являются политически пристрастными, что они результат заблуждения и политической близорукости, игнорирующих сложность происходящего в России, или этноцентристского непонимания «незападных демократий». Я полностью симпатизирую отказу российских лидеров от внешних вмешательств, когда они принимают политические решения; я разделяю взгляд, согласно которому ценность понятия «демократия» часто снижается в интересах внешней политики; я также соглашаюсь с тем, что оно может иметь этноцентристские элементы. Мы также знаем о существенных недостатках реально существующих демократий в плане гражданского контроля над лидерами и отражения гражданских предпочтений в политике. Но эти предрассудки и недостатки демократии не смягчают отличий между реально существующими демократиями и псевдодемократиями. Поэтому последние не могут маскироваться под термином «незападные демократии».

Мы помним разговор Алисы и Шалтая-Болтая: «Вопрос в том, — сказала Алиса, — а можете ли вы заставить слова иметь разные и различные значения». — «Вопрос в том, — сказал Шалтай-Болтай, — кому быть хозяином слову — вот и все». Это отражается в чрезвычайном разнообразии казусов, при описании которых употребляется слово «демократия», а также — в способности хозяина слова употреблять слова сообразно выбранному им значению. В течение XX столетия правители в диктатурах или псевдодемократиях прибавляли к слову «демократия» прилагательные: народные демократии, органические демократии, управляемые демократии, суверенные демократии и т.д. Мигранян (это издание) утверждает, что «без прилагательного “демократия”» это просто пустой звук, демократия обретает какой-либо смысл только с прилагательным». Я с этим не согласен: характеристики и прилагательные просто размывают дискуссию, создают классификационные «ячейки», которые ведут лишь к бесконечным спорам о том, какие казусы в них попадают. Они часто служат политическим целям в форме апологетических таксономических упражнении. В политической истории XX века

демократии с прилагательными имели этот политический налет: диктатуру, представленную как «органическая демократия» или как «народная демократия», можно защищать просто как иной тип демократии, верный принципу правления для народа, равно как и культурным и историческим особенностям страны — вида внутри рода.

Эти комментарии ни в коем случае не являются защитой «западной модели демократии». Они сделаны для прояснения дискуссий о демократии — о правах и свободах граждан во всем мире. Если дискуссии о демократии грешили этноцентризмом, представлять режим Чан Кайши, Цзян Цзинго на Тайване или Сухарто в Индонезии как демократии, каковы бы ни были прилагательные, — чистая интеллектуальная манипуляция. Не является демократией «незападного стиля» и Египет, где политическая реформа 2005 г. привела лишь к фальшивым президентским выборам, к сохранению подавляющего контроля президента над политикой, а Национально-демократической партии — над парламентом. Не являются демократиями с прилагательными и Марокко или Иордания, где монархи обладают неограниченной властью над парламентами, правительствами и судебной властью.

Шалтай-Болтай был прав: когда Алиса спросила его: «Разве имя должно что-то значить?», — его ответ был: «Конечно, должно». У демократии есть специфическое значение, которое может принимать много институциональных форм, однако эти формы всегда должны сохранять гражданский контроль над лидерами (что означает способность выбирать и смещать их), разделение власти и трансформацию предпочтений граждан в политику. Демократии с характеристиками и смешение демократии с псевдodemократиями — это часто апологетические упражнения. Будущему демократии в России поможет ясность, а не мрак.

Большой вопрос тогда, почему лидеры псевдodemократий вводят «больше» демократии (или просто демократию), то есть больший контроль над их действиями со стороны граждан. Признание, что эти реформы являются продуктом идеализма, альтруизма или любого другого морального мотива, будет означать выражение необоснованной надежды или ленивый ответ. Ферджон [Ferejohn, 1999] объяснил, что эти реформы — компромис-

сы между властью и ответственностью: политики согласятся с большим контролем, если взамен они смогут получить больше ресурсов. Холмс (в этом издании) утверждает, что демократические реформы легки, когда государству нужно сотрудничество с обществом: «когда меньшинству между выборами нужно сотрудничество большинства и большинство может действительно отказаться сотрудничать с меньшинством». Изменения могут возникнуть, если существуют сильные общественные требования, партии не участвуют в тайном сговоре, а ограничения не трансформируют партийную систему в закрытую арену.

Стимул дать больше голоса народу возрастает, если политики думают о будущем: свобода слова и ассоциаций, плюрализм и независимость СМИ, заслуживающая доверия оппозиция — все это поможет предотвратить политическую катастрофу. Они могут обеспечить раннее предупреждение об экономических и политических рисках и о внешнем кризисе. Они помогают правительствам избегать крупных ошибок и управлять разумно [Holmes, 1995]. Поток информации и фрагментация власти, необходимые для честных и свободных выборов, помогают гражданам избавиться от плохих правительств и также способствуют лучшему правлению.

Глава 9. Демократия между выборами

Вступление

Демократические выборы дают власть победителям на определенный срок. Это может быть фиксированный срок, как в США, или срок, который может быть сокращен, если премьер-министр назначает новые выборы — или правительству вынесен вотум недоверия в парламенте, как в Великобритании. В некоторых демократических конституциях есть статьи о проведении выборов отзыва, что в действительности делает сроки полномочий зависимыми от сохранения доверия избирателей. Выборы отзыва уходят корнями в Древнюю Грецию, но в современных демократиях к ним прибегают довольно редко, причем с еще более редким успехом¹. Отзыв сложно организовать даже при предусмотренных процедурах, как показал опыт Венесуэлы: Уго Чавес успешно отбил от референдума отзыва 2004 г. По-

¹ Во время дебатов по американской Конституции 1787 г. Виргинским планом было предложено ввести положения об отзыве представителей Палаты представителей, но предложение не прошло. В восемнадцати американских штатах конституции содержат положения об отзывах государственных чиновников, но в семи из них требуется повод — должностное преступление, которое может быть оспорено в суде. Это делает отзыв похожим на импичмент. Инструмент отзыва редко используется в политике штатов. В истории США губернаторы штатов отзывались лишь дважды: в 1921 г., во время дискуссии по вопросу о принадлежавшей штату Северная Дакота промышленности, был отозван губернатор Линн Фрэзер, а в 2003 г. калифорнийцы отозвали Грея Дэвиса из-за бюджетных разногласий. Сенаторы и представители штатов, равно как и местные представители, иногда подвергаются процедуре отзыва, хотя происходит это крайне редко, а суды постановили, что федеральные должностные лица не подпадают под законы об отзыве, принятые штатами.

мимо того что у инкумбентов есть обычные преимущества, избирателей, инициирующих отзыв, ждет множество процедурных ловушек, поскольку в условиях ограниченной институциональной поддержки им приходится собирать миллионы подписей. В конституциях, содержащих статьи об отзывах, эти положения касаются, по выражению Джона Локка, исключительно «длинного ряда злоупотреблений», а не нормальной демократической политики.

Возникает вопрос, почему к правительствам не предъявляются требования о сохранении устойчивого доверия избирателей. Это может быть связано с соображениями эффективности, с характером деятельности правительств, уполномоченных прибегать к непопулярным мерам, принятие которых не приводит к мгновенным позитивным результатам, или с другими факторами. Но каковы бы ни были причины, избранные правительства считают себя вправе управлять без обузы этого ограничения, которое может сделать представительное правление всего лишь тенью прямой демократии. Правительства в представительных демократиях должны сдать финальный экзамен и их деятельность не нужно постоянно оценивать.

Это не значит, что демократический политический процесс останавливается в промежутке между выборами. Выборы скорее прерывают, чем прекращают, политическую деятельность, которая выражается в формулировании законодательства, которое должно претворить в жизнь правительство, замедлении или уменьшении нежелательных изменений, сборе средств и подготовке следующих выборов, а также в выстраивании отношений с избирателями с целью обеспечения их поддержки. Политика между выборами сводится к трем основным формам, которые будут последовательно рассмотрены далее: роль «лояльной оппозиции», действия групп интересов и политическая мобилизация групп гражданского общества.

Лояльная оппозиция

Это идея, пришедшая из XVIII века, изначально не имела ничего общего с демократией, и была призвана решить проблемы мониторинга. Недоверие короля к министрам привело к созда-

нию лояльной оппозиции с целью сбора информации о том, чем занимаются его министры. В демократическом мире эта идея трансформировалась в оппозицию, лояльную демократическому порядку, а не действующему правительству. Она играет несколько ролей в период между демократическими выборами: иногда в тандеме, иногда в контрасте с другими демократическими ценностями.

Это особенно очевидно для двухпартийной системы вестминстерского типа, где официальная оппозиция находится в постоянном противоборстве с правительством, требуя отчета о его деятельности и демонстрируя электорату компетентность «правительства в ожидании». У премьер-министра есть время для ответов на вопросы, и это стало еженедельным ритуалом; лидер оппозиции и теневые министры забрасывают премьер-министра и других членов кабинета вопросами и оскорблениями по насущным вопросам. Эти уроки мужества иллюстрируют действительно конкурентную модель демократии. Этой модели меньше подходит система коалиций, возникающая в результате системы пропорционального представительства. Коалиционные системы менее зависимы от институционализированной конфронтации между двумя сильными партиями, так как исходят из идеи включения нескольких партий в состав правительств.

Одна из функций лояльной оппозиции — способствовать смене правительств — является неременным условием демократии в традиции Шумпетера. Для смены правительства необходима внушающая доверие альтернативная команда, готовая прийти к власти, и официальная оппозиция делает все возможное, чтобы произвести такое впечатление. Задачей потенциальных премьер-министров становится демонстрация «заднескамеечникам» и избирателям, что они могут справиться. Когда на выборах в Великобритании в 1997 г. года опросы общественного мнения демонстрировали отставание и явный провал консервативного правительства Джона Мэйджора, одна консервативная газета пыталась доказать, что не стоит выбирать лейбористов, поскольку они так давно не входили в правительство, что забыли, как управлять. Их аргументы были актом отчаяния (не говоря о возможно преднамеренном желании проигнорировать электораль-

ную историю Великобритании)². Относиться всерьез к таким выступлениям — значит не учитывать важнейшие особенности британской политической системы. Неудивительно, что им не удалось достучаться до электората.

Во-вторых, если лояльная оппозиция сильна, она может внести вклад в качество законодательства. Оппозиция задает острые вопросы по политике правительства, разоблачая лицемерие, дезинформацию, неубедительные доводы. Правительство, в свою очередь, наносит ответные удары, защищаясь и опровергая претензии оппозиции. Предоставляя партии, которая проиграла выборы и планирует участвовать в следующих, платформу и стимулы для предъявления требований правительству, чтобы оправдать свои действия, система институционализирует дискуссию в политической жизни, на важности которой настаивал Джон Стюарт Милль. Само знание о происходящем соревновании является дисциплинирующим фактором для обеих сторон, заставляя проявлять гораздо большую честность по отношению друг к другу.

Отметим, что спор и делиберация — понятия разного порядка. Спор является соревнованием, нацеленным на победу, а делиберация направлена на сотрудничество и взаимное убеждение сторон. Защита аргумента в споре представляет собой невидимую руку: истина станет побочным продуктом соревнования на рынке идей. Делиберация, наоборот, нацелена на соглашение, а не на победу, причем соглашение может игнорировать истину, если это устраивает стороны.

Двухпартийное соглашение часто приветствуется в политике. Средства массовой информации нещадно критиковали Барака Обаму за отсутствие попыток получения поддержки республиканцами предложенной реформы здравоохранения в 2009–2010 годах. В отчаянной попытке принять хотя бы что-нибудь Обама уступил под напором критики. Но с точки зрения модели соревнования, оппозиции не стоит ликовать по поводу двухсторонних соглашений. Это — сговор в ущерб демократии. На наш взгляд, в этом проявляется одно из преимуществ вестминстерской мо-

² Уолпоул служил на протяжении 21 года с 1721 по 1742 гг.; Уильям Пит мл. — 18 лет между 1783 и 1801 гг. (а также с 1804 г. — шесть лет); лорд Ливерпуль — 14 лет, с 1812 по 1827 гг.

дели демократии перед пропорциональной системой представительства, превалирующей в Европе и используемой в России с 2007 года. Это не означает отрицание ценности делиберации в повышении качества законодательства. В Великобритании палата лордов представляет собой менее соревновательный, но более делиберативный орган, чем палата общин. Члены палаты лордов, которые активно участвуют в работе, часто обладают опытом и совместно работают над мельчайшими деталями законопроектов, которые члены палаты общин часто даже не читают. Делиберация имеет место, но ее не нужно путать со спором. Как в экономике рынок является лучшим генератором надежной информации вследствие конкуренции, так в политике динамика конкуренции совершенно необходима для того, чтобы пролить свет истины на политику. Система, институционализировавшая оппозицию, институционализирует и эту динамику.

В-третьих, лояльная оппозиция ограничивает коррупцию. Те же мотивы, которые требуют разъяснения действий правительства, требуют раскрытия, как ведут себя политики. Осознание, что у соревнующихся политиков есть причины для разоблачения всех промахов оппонентов, ограничивает их поведение. Понимание того, что конкуренты имеют доступ к информации, обладают институциональной поддержкой и претендуют на твое место, действует отрезвляюще. Это работает не всегда. Примером тому служит скандал вокруг расходов, разразившийся в британском парламенте в 2009 году, и завершивший многие политические карьеры, несмотря на то что между двумя сторонами действовало негласное правило об игнорировании правил расходов парламентариев, пока не произошло утечки в СМИ. Хотя это лишь исключение, но оно подтверждает правило, поскольку парламент работал под руководством беспартийного спикера (потерявшего из-за скандала свой пост) и это не создавало ограничений, как если бы парламентарии знали, что оппоненты владеют информацией об их расходах. Если бы это было так, возможность отступления от негласных правил уменьшила бы их оптимизм относительно удваивания или утраивания своих расходов за счет налогоплательщиков и т.п.

В-четвертых, институционализация лояльной оппозиции вносит вклад в стабильность, ограничивая оппозицию нелояльную. Из литературы по теории общественного выбора 1950–1960 го-

дов мы знаем, что не существует совершенных правил принятия демократических решений. Главным следствием этого факта является наличие проигравших, имеющих легитимные обиды на демократический процесс. Оппозиция может притягивать недовольных, которые связывают свои надежды с ее будущей победой. В период между выборами официальная оппозиция может собирать все жалобы недовольных политикой правительства и заставлять правительство вносить изменения в ходе работы для снижения влияния политики победителей на проигравших, говоря словами Филиппа Петтита [2000, 105–44]. Обеспечение условий существования лояльной оппозиции дает проигравшим партиям стимулы оставаться внутри системы, а не прибегать к средствам насилия.

Группы интересов

Группы интересов могут стать главными игроками, формирующими политику правительства в период между выборами. Это было подробно описано в литературе о «либеральном корпоратизме» 1970-х годов, отмечавшей, что группы организованного бизнеса и профсоюзы будут вести переговоры с правительством по вопросам промышленной политики, выступая в качестве квазисудьи [Schmitter, 1974, с. 85–13; Panitch, 1976; 1977, с. 61–90]. Возможно, это было преувеличение. В любом случае это было менее релевантно для мира, в котором организованный рабочий класс на протяжении трех последних десятилетий отступал.

Вряд ли справедливо обобщать роль групп интересов между выборами, поскольку в разных системах они имеют разные масштабы влияния. Это зависит от таких факторов, как сила и популярность правительства, сила «заднескамеечников», относительная автономия и эффективность бюрократии, а также правила, определяющее лоббирование и политические пожертвования. Многие из этих факторов могут систематически изменяться; отдельные законодатели становятся мишенью и поддаются большему влиянию групп интересов в системе одномандатных округов, чем в случаях пропорциональной системы по партийным спискам, где влиять на них нельзя или по меньшей мере не так просто. Иногда, правда, лоббисты более эффективно дей-

твуют при списочной пропорциональной системе, поскольку тогда власть будет более централизованной. Вода течет вокруг лежащего камня.

Остался недооцененным такой фактор, определяющий влияние групп интересов между выборами, как интенсивность общественного мнения. Политики могут игнорировать общественное мнение по вопросам, которые не слишком интересуют общественность, зная, что в этом случае они ничем не рискуют на выборах. Но это не означает, что они могут игнорировать группы интересов, поскольку последние обладают ресурсами и готовностью поощрять или наказывать политиков в зависимости от дружественного отношения к их повестке дня. В частности, такова ситуация в США в сфере политики налогообложения, в которой массовые предпочтения не настолько сильны, как требования организованных активистов. Это означает, что налоговая политика формируется в борьбе между группами интересов и зависит от кнотов и пряников, которыми они машут перед политиками. Ярким примером этого стала отмена налога на наследство в США в 2001 году. Это стало возможным благодаря усилиям лоббирующей коалиции, более сплоченной, чем оппозиционные лоббисты, хотя опросы общественного мнения показывали, что для избирателей этот вопрос не является важным. [Graetz and Shapiro, 2005]. Существует множество других вопросов, от аборт до роли религии в общественной жизни, по которым существует огромная дистанция между интенсивными предпочтениями активистов и предпочтениями избирателей [Florina, et. al, 2006]. Группы интересов используют эту дистанцию для формирования нужной им политики.

Пространство, в котором группы интересов определяют политику, варьируется в зависимости от интенсивности общественного мнения. Например, в 2005 и 2006 годах исключительно хорошо организованные группы интересов при сильной поддержке администрации Буша пытались добиться от конгресса начала приватизации системы социального обеспечения. Они прибегли к той же тактике, которая позволила им четырем годами ранее добиться отмены налога на наследство. Но они натолкнулись на стену общественного протеста, которую нельзя было сдвинуть без массивной пропагандистской кампании [Shapiro, 2011,

стр. 1–38]. Единственное, что не вполне понятно, — причина, определяющая интенсивность общественного мнения. Но очень важно понять, при каких условиях между выборами политики будут реагировать на пожелания групп интересов в большей степени, чем на пожелания избирателей.

В ряде случаев, которые происходят все чаще, сильные интересы могут действовать в обход общественного мнения, используя свою власть для захвата контроля над демократическим процессом. Одним способом такого контроля является обеспечение зависимости правительства и подконтрольных ему органов от интересов, которые они должны регулировать. Как следствие, лиса получает ключ от курятника. Россию критиковали за то же самое: российские олигархи обладают большей властью, чем правительство. В этой связи стоит задуматься над словами американского конгрессмена Спенсера Бахуса, председателя комитета по финансовым услугам Республиканской партии, приведенными Полом Кругманом в «Нью-Йорк таймс» в декабре 2010 года: «В Вашингтоне, по идее, деятельность банков должна контролироваться, но, с моей точки зрения, Вашингтон и те, кто должен осуществлять этот контроль, просто служат банкам».

Степень нарушения регулирования сферы финансовых услуг в США в преддверии финансового кризиса 2008 года была огромной. Вопиющим примером стало Управление по надзору за сберегательными учреждениями (УНСУ). Несмотря на кризис, постигший кредитные учреждения в 1980-х годах, и банкротство огромного количества подконтрольных УНСУ учреждений в начале XXI века, и до финансового кризиса 2008 года, Управление проявляло себя больше как лоббист, чем как орган контроля над деятельностью кредитных учреждений. Выживая за счет взносов тех, кого оно регулировало, УНСУ поддерживало бизнес печально известной политикой «руки прочь». Крупнейшее американское кредитное общество «Кантривайд Файнэншл» в марте 2007 года обратилось за помощью к УНСУ, чтобы избежать столкновения с другими, более вьедливыми контролерами — за пять месяцев до этого оно было вынуждено занять 11,5 млрд долларов в отчаянной попытке отсрочить свое разоблачение [Вајај, 2007]. К концу 2008 года подконтрольные УНСУ банки, контролирующие

приблизительно 356 млрд долларов, обанкротились, и правительство завладело тремя крупнейшими институтами, которые оно регулировало, включая вашингтонский банк «Вашингтон Мьючуал» — самый крупный в истории обанкротившийся банк [Appelbaum & Nakashima, 2008].

В 2004 году в то время глава инвестиционного банка «Голдман Сакс» Генри Полсон возглавил делегацию банкиров, пытающихся убедить Комиссию по ценным бумагам и биржам освободить их от требования создать резервный фонд на том основании, что, имея активы в сумме свыше 5 млрд долларов, они смогут оправдать доверие и защитить инвесторов своими силами. В обмен банкиры обещали открыть для инспекторов Комиссии свою финансовую отчетность. Но было всего семь инспекторов, на ответственности которых оказались объединенные активы объемом более 4 трлн долларов, и инспекция не состоялась. В марте 2008 года, когда Полсон уже стал министром финансов, председатель комиссии Кристофер Кокс убеждал конгресс в «достаточных резервных фондах» основных инвестиционных банков. Через шесть месяцев обанкротился «Лиман Бразерс»; что же касается остальных инвестиционных банков, то быстро выяснилось, что по доле консолидированных ипотечных долгов они тоже находятся на грани банкротства. Их должно было спасти федеральное правительство за счет многомиллиардных выплат из государственной казны для предотвращения системного кризиса [Labaton, 2008]. Показательная деталь: хотя руководители таких крупных промышленных компаний, как «Крайслер» и «Дженерал моторс» потеряли свои посты в результате правительственных вливаний в 2009 году, инвестиционные банкиры сохранили неприкосновенность постов и привилегий. Создается впечатление, что их власть непоколебима [The New York Times, 01–10–2010; Scheer, 2010].

В 1988 г. Пшеворский и Валлерстайн указывали на структурную зависимость государства от капитала, подчеркивая, что даже правительства, получившие массовую поддержку избирателей, вынуждены ограничивать регулирование, с тем, чтобы предотвратить забастовки капитала [Пшеворский, Валлерстайн, 1988, стр. 11–29]. Ослабление финансового контроля во всем мире в последующие два десятилетия показало, что угроза забастовок

капитала стала означать угрозу бегства капитала. Но кризис 2008–2010 годов продемонстрировал гораздо большую угрозу со стороны капитала, чем бегство. Приняв финансовое участие в создании системы, где политическое выживание означает помощь банкам, банки могли приставить пистолеты к виску политиков. На каждом пике кризиса, политическим лидерам приходилось делать «выбор Хобсона»: помогать банкам или нести ответственность за провоцирование катастрофического финансового кризиса, который вызовет новую депрессию. В мае 2010 года мы оказались свидетелями беспрецедентной ситуации: Ангела Меркель заплатила большую электоральную цену, заставив немецких налогоплательщиков гарантировать финансовую помощь немецких банков Греции, когда та оказалась на краю дефолта [The New York Times, 04.28.2010; Connolly, 2010].

Гражданское общество

Группы интересов занимаются лоббированием, помогая политикам осуществлять политику или, напротив, оказывая сопротивление, но имеются и другие игроки с политическими повестками, которые стремятся оказать влияние на политический процесс между выборами, и часто довольно успешно. Одним из последних примеров может служить общественно-политическое движение в США — «Движение чаепития». Движение ведет активную протестную деятельность против внутренней политики Обамы, мобилизуя протесты; поддерживая (или выступая против) кандидата на специальных выборах, таких как выборы в 2010 году кандидата на место Эдварда Кеннеди в сенате; оказывая давление на республиканцев, готовых к компромиссу с администрацией по законодательной повестке дня. «Движение чаепития» поддерживает связи с единомышленниками в СМИ, заставляя правительство занять оборонительные позиции и идти на определенные ограничения. Заметным событием стало отлично организованное выступление массовой оппозиции против программы по оказанию помощи финансовым рынкам (ППФР), в которую входили две программы во время смены администрации Буша администрацией Обамы. Движение провело очень громкую кампанию, которая ограничила действия конгресса.

(Многие сенаторы и конгрессмены на наиболее уязвимых постах получили массу телефонных звонков, электронных сообщений и писем в знак протеста против финансовой помощи.) В итоге план действий был скорректирован в меньшую сторону и возможность появления ППФР 2 — в случае недостаточных средств ППФР — стала просто невыполнимой.

Возможно, такого рода деятельность в жизни гражданского общества выглядит лишь эпизодом и событийна по своей природе, но это не значит, что она не важна для формирования политики между выборами. Помимо ограничения свободы деятельности правительства, гражданское общество готовит почву для предстоящих выборов и оказывает воздействие на соревнующихся кандидатов. Основная деятельность движения «Чаепитие» в 2009 и 2010 годах была связана со стремлением осуществить правый поворот республиканских кандидатов на промежуточных выборах в конгресс и сенат, для чего осуществлялось мощное давление в ходе праймериз. С 1960-х годов распространение праймериз предусматривало ограничение влияния партийных элит на номинирование кандидатов. Этого они достигли, но вместо массовой низовой вовлеченности, о которой говорили авторы комиссии Макговерна – Фрейзера, когда они рекомендовали Демократической партии в 1972 году проведение праймериз, эти первичные выборы оказались уязвимыми перед хорошо организованными искусственными движениями, лидеры которых могут обеспечить видимую массовую поддержку для собственных целей.

То же можно сказать о выборах и законодательной инициативе. Так же, как и распространение использования праймериз, законодательная инициатива было задумана (в основном левыми) как инструмент расширения прямой демократии и низового участия в политике. На практике выяснилось, что граждан захватывают общественные группы, созданные для решения какого-то одного вопроса, такие как антианалоговые коалиции или противники однополых браков, которые направляли все свои ресурсы на важные для них направления и на те штаты, где была вероятность победы. В итоге на смену традиционной идее о смене партий, когда победитель в течение определенного времени выполняет свою политическую повестку дня, пришла постоянная полити-

ческая кампания. Непрерывающиеся политические действия гражданского общества часто иницируются оппонентами действующего правительства, решительно не желающими уступать свой мандат. Примером могут служить действия оппозиции в США, направленные против реформы здравоохранения, неослабевающий резонанс в новостях «Фокс», в ток-шоу радиостанций правого толка, а также обвинения со стороны членов «Движения чаепития» в адрес Обамы в связи с его нелегитимными намерениями. Обама рассматривал реформы в области здравоохранения как центральное звено своей предвыборной кампании — как его намерения могут считаться нелегитимными?

То, в каких масштабах демократия может вместить мобилизацию и выражение протестных предпочтений — вопрос убеждений. Когда-то давно Даль [Dahl, 1956, стр. 90–123] отмечал, что в интересах стабильности можно примириться с определенной интенсивностью предпочтений, по крайней мере в принципе. До сих пор не вполне понятно, какая степень примирения сможет приручить интенсивность и превратить потенциально нелояльную оппозицию в лояльную, а какая — только взбодрит их. Израильские правительства по привычке используют последний аргумент, когда они объясняют американской администрации, почему не нужно жестко обращаться с поселенцами на Западном берегу, игнорирующими соглашения по нерасширению зоны поселений. Можно ли предположить, что людей там удерживает надежда на мирное разрешение конфликта, или же, что более вероятно, каждый отведенный им дюйм укрепляет их уверенность в возможности захватить следующую милю?

Глава 10. Общие закономерности, региональная специфика и концепция незападной демократии

Вступление

Задачи, стоящие перед модернизирующейся Россией, не уникальны. Другие страны решали их раньше, правда, по-своему и в другой последовательности. То есть пути решения этих не-уникальных по отдельности задач являются уникальными для каждой страны из-за ее специфики. Развитые страны Запада прошли путь модернизации и трансформации от традиционного к индустриальному обществу и завершили или завершают переход к постиндустриальному. Сумели сделать это и некоторые государства Востока. Другие страны только начали движение по этому пути, а какие-то никак не могут даже вступить на него. Следовательно, существуют разные (успешные, проблемные или неуспешные) пути модернизации социально-экономической системы, которые приводят или не приводят к успешному завершению процесса модернизации. Интересно, что некоторые страны Востока, который в целом вступил на эту дорогу позже, чем Запад, сумели предложить свой путь, не равнозначный западному, то есть не равнозначный вестернизации, и сохранить свою культурно-цивилизационную специфику, обогатив опыт мирового развития. Именно им и удалось догнать Запад.

Опыт этих стран Востока чрезвычайно важен для России, которая, осознав в целом необходимость рационального решения социально-политических проблем, только встает на путь научного конструирования модели развития, ориентированной на осовременивание и одновременно плодотворно и рационально использующей как свой исторический опыт, так и опыт других

государств Запада и Востока, в отличие от более раннего исторического периода своего развития, когда модернизация осуществлялась только после системных кризисов, насильственным, а не естественным путем и сопровождалась демографическими, социально-экономическими, а нередко и политическими потерями для населения страны в долгосрочной перспективе.

Принципы сравнительного анализа политических систем. Системный подход к обществу и политике

Прежде чем перейти к проблеме осмысления эволюции политических систем и конкретному анализу восточных политических систем, необходимо определить методологические позиции, которые структурируют логику анализа и дают возможность конструировать практические построения, а также делать выводы прикладного характера. В этой связи нам предстоит определить следующие вопросы.

1. Каковы методологические подходы к общественным явлениям и как соотносится системный анализ политических процессов с компаративистским?

2. Как определять сравнительный метод вообще, а также в широком и узком смысле; каковы могут быть методологически корректные типы сравнений и, соответственно, какова абберация выводов при методологически неправильной постановке вопроса, как эта абберация может быть связана с проблематикой корректного компаративного анализа политических систем?

3. Есть ли и в чем смысл так называемого пространственного анализа материала в связи с региональной и цивилизационной спецификой?

4. Как в этой связи определить соотношение общих и специфических (региональных/страновых, т.е. этнических, конфессиональных, культурных и др. закономерностей) в рамках системно-сравнительного подхода и какова может быть связь соотношения общего и специфического в проблематике политических систем, а соответственно, каково влияние этого соотношения на результаты и скорость модернизационных процессов?

5. Как конкретно сформулировать специфику обществ незападного и восточного (как части незападного типа) типов, в отличие от западных?

6. Каким образом углубить понимание механизмов функционирования политических систем восточных обществ, какова степень практической применимости подобного понимания и как можно вычленить модели незападной, в том числе и азиатской, демократии на основе этого понимания¹?

Системный подход становится достоянием политической науки с середины 50-х годов XX века. Очевидно также, что многие из положений политической науки, которые относятся к системному подходу, были разработаны и раньше. Однако особенно широкое распространение системные идеи получили после выхода работ классиков политической науки Т. Парсонса и Д. Истона: политическая система рассматривалась ими как определенная совокупность отношений, находящаяся в непрерывном взаимодействии со своей внешней средой через механизмы «входов» и «выходов» в соответствии с базовыми идеями кибернетики². Соответственно, Т. Парсонс и Д. Истон стремились создать комплексную теорию социетального действия, где политическая система, представленная в виде «черного» ящика, внутреннее устройство которого было не так важно, развивалась по определенным правилам, а все остальное являлось политической средой, с которой взаимодействовала политическая система.

Одновременно исследователи определили, что общественные (и политические как их составная часть) науки имеют свою специфику — прежде всего они исследуют политические, то есть часть социальных, отношений, а значит, это в целом социальные системы. Из сказанного следует, что они должны рассматриваться как сложные адаптирующиеся системы, анализ которых невозможен по аналогии с анализом моделей механических систем. Эти системы, как правило, принадлежат к типу открытых и слабоорганизованных, то есть в таких системах часто сложно провести четкую границу, а соответственно, и подвергнуть анализу систему в отрыве от среды, и наоборот. Пространственные

¹ Подробнее см.: Восток и политика: политические системы, политические культуры, политические процессы / под ред. А.Д. Воскресенского. — М. : Аспект Пресс, 2011.

² Парсонс Т. Система современных обществ. М. : Аспект Пресс, 1997; Истон Д. Категории системного анализа политики // Антология политической мысли. Т. 2. — М., 1997.

границы таких систем носят условный характер. Они представляют собой не просто некоторые аналитические объекты, а конкретные связи между реально существующими социальными (и политическими) общностями, взаимодействие которых имеет определенные черты системной организации. Еще одна особенность политической системы отношений и составляющих ее частей связана с тем, что ее основные элементы представлены социальными (политическими) общностями (включая отдельных индивидов), то есть они являются социальными системами особого типа со слабой степенью интеграции элементов в целостность и со значительной автономией элементов.

Если излагать «скучные» и «абстрактные» методологические построения популярным языком, то их «методологическая квинт-эссенция» будет достаточно проста: есть более конкурентные и менее конкурентные общественно-политические системы, менее конкурентные из которых обречены на отставание в исторической перспективе, даже если население этих стран периодически насильственно «подстегивается» правящей элитой; в разных системах разные институты могут выполнять схожие функции; в разных системах схожие институты могут/будут выполнять разные функции. Если оттолкнуться от этих методологически корректных положений, можно найти интересные объяснения сложностям построения теорий так называемого демократического транзита, современной политической жизни разных стран и прийти к любопытным выводам, имеющим далеко идущие практические политические последствия в зависимости от способности или неспособности различных сегментов политических элит конкретных стран понять эти закономерности. В частности, такая методологическая постановка вопроса предполагает (или как минимум не исключает) того, что к построению свободного, демократического, эффективного и экономически процветающего общества можно прийти путем, уникальным (специфичным) для данной социально-политической системы, на основе понимания общих моделей трансформации, учитывающих структурную специфику данной конкретной системы, в частности, специфику ее культурно-исторических параметров и автохтонных культурных / исторических / конфессиональных установок. Однако в каждом конкретном случае проявление национальной специфики в организации по-

литической жизни потребует объяснять и доказывать всем и особенно странам, которые уже построили общепризнанную систему демократического правления, что данная политическая система соответствует общепринятым научным представлениям о демократическом правлении и их практическому воплощению, поскольку в этом вопросе простой констатации этого факта какой-то частью национальной политической элиты будет недостаточно. Демократическое правление, основанное на системе открытого и равного социально-политического доступа, в исторической перспективе более конкурентно и универсально, поскольку основано на открытом и равном доступе представителей всех политических, этнических и конфессиональных течений к управлению и в этом смысле является общей закономерностью, а не ее частным (региональным) воплощением. Таким образом, задача совершенствования национальной формы государственности может быть сформулирована как необходимость нахождения такого соотношения общих закономерностей и специфики, которая позволяет не терять, а развивать национальное демократическое правление в его специфических культурно-исторических формах, соответствующих по своему содержанию общим закономерностям. В противном случае будет происходить попятное движение общества, его политической, а затем и экономической системы.

В современной англо-саксонской традиции сравнительной политологии³, являющейся ведущей, но уже не единственной в современной мировой политической науке, четко прослеживается тенденция, суть которой заключается в том, что широкий статистический кросс-страновой анализ не является единственным типом сравнительных исследований. То есть исследователь должен взвесить все за и против различных подходов. Соответственно, с этой точки зрения иногда полезнее «опуститься в глубь» одного национального государства, на субнациональный уровень, для того чтобы проанализировать, что отличает политическую систему одного государства от другого. В соответствии с таким подходом корректная качественная и нормативная интерпретация не теряет своей ценности для политологического анализа.

³ Peters B. G. Comparative Politics. Theory and Methods. N.Y. : Palgrave, 1998. P. 10.

Кроме того, сравнительному анализу может подвергнуться одна и та же «единица», но в разные временные отрезки, то есть возможен и кросс-временной (кросс-темпоральный) анализ одного государства (страны) либо даже политического института внутри национального государства с точки зрения анализа эволюции его развития. Такой сравнительный анализ может показать, каким образом меняются социальный и культурный типы внутри одной политической системы. В такого рода сравнительных исследованиях качественные методы анализа действительно превалируют над количественными, на что указывал, в частности, Ч. Рэгин⁴. Главное при таком подходе — соответствие методологии критерию научности, методологическая корректность самих выводов из проделанного анализа и адекватная комплексность подхода.

Обозначив изначально отличие незападных обществ от западных, на основе которого можно попытаться выписать специфику незападного политического процесса, мы должны сначала попытаться определить системную специфику восточных обществ как части незападного мира⁵. Сделав это и определив корректные методы сравнения политических систем обществ разных типов, мы сможем проследить эволюцию политических систем Востока, наметить пути к определению региональной специфики и вычленить определенные модели базисной идеологии в отношении определенных типов политических систем и политических процессов. Такой анализ может показать специфику политической культуры государства, в частности и России, и объяснить, как специфика политической культуры может влиять на специфику политической системы. Из этого положения проистекает следующий вывод: смена власти при недостаточной, неравномерной, непродуманной трансформации социально-экономических структур может привести или к воспроизводству старой системы в модифицированном виде, или же к результатам, которые не предполагались в процессе смены модели властвования (к примеру, архаизация общества), а

⁴ Рэгин Ч. Особенности компаративистики // Современная сравнительная политология: хрестоматия. — М. : Общественный научный фонд, 1997. С. 33.

⁵ См.: L.Pye, M.Pye. Asian Power and Politics: The Cultural Dimension of Politics. Cambridge : Cambridge University Press, 1985.

попытка воспроизведения старой системы в частично модернизированном виде в других, более современных, социально-экономических условиях может не только затормозить модернизационные процессы, но и способствовать архаизации части общественных институтов и усиливать технологическое, экономическое, политическое отставание страны.

Анализ политического на Востоке и на Западе: общее и особенное

Надо сказать, что региональная специфика хорошо вычленяется при анализе дихотомического типа (Запад/Восток), хотя само дихотомическое противопоставление такого типа имеет только аналитический и частично интуитивно-прикладной смысл.

Прежде всего, определим два подхода к определению специфики незападных / восточных обществ, которые позволят нам выявить специфику их политического процесса. Эти два подхода сегодня достаточно детально проработаны отечественным политическим востоковедением. Сторонники первого подхода считают, что доантичные западные и восточные политические структуры были идентичны. Начиная с античности произошло разделение политических структур на два типа: западные и восточные. В обществах западного типа:

- структурирующий характер имеют рыночно-частнооб-
щественнические отношения;
- доминирует товарное производство;
- отсутствует централизованная власть;
- соответственно, там существовало демократическое са-
моуправление общины, впоследствии переросшее в структуру,
которая в сегодняшних западных обществах получила название
«гражданское общество»⁶.

⁶ В западной политической науке классическим выразителем этих взглядов является Д. Лэндс (Landes D. *The Wealth and Poverty of Nations*. L.: Abacus, 1998). Наиболее ярко и четко, но по-другому, чем Д. Лэндс, в отечественном востоковедении эти положения были сформулированы Л.С. Васильевым (История Востока. Т. 1–2. — М.: ВЛ РАН, 1998; другие его работы, включая «Всеобщую историю»). О причине различий см., в частности, Pomeranz, K. *The Great Divergence. China, Europe and the Making of the Modern World Economy*. Princeton & Oxford: Princeton University Press, 2000.

В соответствии с этой концепцией общество такого типа было подвержено достаточно быстрым структурным модификациям, что вызывало его быструю эволюцию в сторону обществ высококонкурентного типа с точки зрения функционирования политической и административной системы.

В обществах второго типа — восточных — не было господствующей роли частной собственности, а доминировала общественная и государственная собственность (то есть власть была эквивалентна собственности и, наоборот, в то время как в обществах западного типа со времен Венецианской республики произошло разделение собственности (денег) и власти, которая могла быть наемной, а ее главной функцией являлась функция управления). В восточных обществах не было норм права, которые защищали частнособственнические отношения (римское право), там превалировала государственно-общинная форма ведения хозяйства, и государство в силу этого доминировало над обществом, а не наоборот. При этом, хотя общество и создавало альтернативные структуры противостояния государству/власти (семья, клан, община, каста, цех, секта, землячество и др.), но они своей определенной частью были вписаны в систему государства (кастовый состав государственных институтов в Индии; клан, землячество в Китае, руководитель которых был тесно связан с государственной системой либо являлся ее низшей частью — особым чиновником). Общества этого типа в силу указанной специфики политической структуры всегда стремились к внутренней устойчивости, консервативной стабильности, в них закреплялось только то, что соответствовало нормам корпоративной / общинной этики, и они в силу этого постоянно воспроизводили политические структуры одного типа. В соответствии с объяснениями такого рода становилось понятно, почему восточные общества не становятся демократиями западного типа и что нужно сделать, чтобы они таковыми стали. В соответствии с этой логикой на Западе двигателем новаций, в том числе и политических, являлся индивид, который был гражданином-собственником, а на Востоке — община, которая принимала только то, что соответствовало нормам общинной / корпоративной этики или традиции, то есть то, что соответствовало коллективному, а не индивидуальному / индивидуалистическому опыту.

Соответственно этим концептуальным положениям модернизация, то есть приближение к современности, прагматично определялась как вестернизация, то есть неизбежность движения всех государственных образований естественноисторическим путем в сторону западной модели развития⁷.

Однако в последние десять-пятнадцать лет в востоковедной политологии и мировом комплексном регионоведении появилось альтернативное объяснение специфики восточных обществ⁸. В соответствии с этим пониманием особенности социального строя на Востоке определялись следующими параметрами:

- права индивида на Востоке существовали и охранялись только по отношению к другому индивиду, а права индивида по отношению к государству отсутствовали;
- собственность на землю на Востоке была разделена на две части: собственность на землю как на территорию с подвластным населением (собственность на налог), находившуюся у правящего слоя, который одновременно составлял административный аппарат государства; собственность на землю как на объект хозяйства, принадлежавшую землевладельцами и налогоплательщикам (то есть крестьянам и помещикам одновременно).

Такая ситуация определяла наличие двух господствующих классов со всеми вытекающими из этого политическими последствиями. Исходя из этих условий, специфику обществ восточного типа можно определить следующим образом.

⁷ Подробнее о модернизации западного и восточного типа см.: Виноградов А.В. Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности. — М.: Памятники исторической мысли, 2005. См. также, Непомнин О.Е., Иванов Н.А.. Типология азиатских обществ. М.: Восточная литература РАН, 2010.

⁸ История Востока. Т. 1. Восток в древности / отв. ред. В.А. Яковсон. — М.: ВЛ РАН, 1999; История Востока. Т. 2. Восток в Средние века / Отв. ред. Л.Б. Алаев, К.З. Ашрафян. М.: ВЛ РАН, 1999; История Востока. Т. 3. Восток на рубеже средневековья и нового времени / отв. ред. Л.Б. Алаев, К.З. Ашрафян, Н.И. Иванов. — М.: ВЛ РАН, 1999; История Востока Т. 4. Кн. 1–2. Восток в новое время. / отв. ред. Л.Б. Алаев, М.П. Козлова, Г.Г. Котовский, О.Е. Непомнин, И.М. Смилянская. М.: ВЛ РАН, 2004, 2005; Социальный облик Востока / отв. ред. Р.Г. Ланда. — М.: ВЛ РАН, 1999. В западной политологии типологически сходные, но структурно абсолютно другие и гораздо более детальные аргументы представлены Андре Гундер Франком (Frank A.G. ReOrient. L.-Berkeley: U. of California Press, 1998).

1. В обществах восточного типа из-за перечисленных выше структурных причин существовала стойкая многоукладность, сопровождавшая весь процесс исторического развития.

2. Такие общества отличают более длинные межформационные периоды (исторические эпохи, то есть длительные полосы исторического развития, характеризующиеся более или менее устойчивым взаимодействием двух и более одновременно существующих общественно-экономических укладов).

3. В обществах такого типа всегда будет существовать сопротивление «культур-полуцивилизаций» (в терминологии Ф. Броделя), то есть цивилизационная гетерогенность, где под цивилизацией понимается этап в развитии культуры, который включен в исторически определенную систему общественных отношений, несет в себе формационную специфику и вместе с тем последовательно накапливает культурно-политическое содержание.

4. В силу своей этнической и культурной/цивилизационной гетерогенности общества такого типа нуждаются в институтах компенсации неоднородности населения и неравномерности развития этнической общины, а соответственно там гипертрофированную роль по сравнению с обществами другого типа играют государство и религия, функцией которых является централизаторская, цементирующая и унифицирующая роль в обществе⁹.

5. Кроме того, в обществах восточного типа в силу как внутренних, так и внешних причин, капитализм имел неоднородный и анклавный характер, что определило экономическую и политическую специфику развития этих обществ¹⁰.

Если мы согласимся с таким определением политико-экономической специфики обществ восточного типа, то достаточно

⁹ Государственными являются религии в 32 государствах Востока против 13 в других странах мира. Ислам — государственная религия в Афганистане, Алжире, Бахрейне, Бангладеш, Брунее, на Коморских о-вах, в Египте, Иране, Ираке, Иордании, Кувейте, Малайзии, на Мальдивских о-вах, в Мавритании, Маврикии, Марокко, Омане, Пакистане, Катаре, Саудовской Аравии, Сомали, Судане, Тунисе, Объединенных Арабских Эмиратах, Йемене; иудаизм — в Израиле, буддизм — в Бутане, Камбодже, Шри-Ланке, Таиланде; индуизм — в Непале и панчасила (особый вид государственно-синкретической идеологии) — в Индонезии.

¹⁰ Подробнее аргументы представлены: Ланда Р.Г. Цивилизация, формация и социум на Востоке. Социальный облик Востока / отв. ред. Р.Г. Ланда. — М.: ВЛ РАН, 1999. С. 15–28.

легко сможем выписать специфику политического мира в обществах западного и восточного (как части незападного) типов, хотя при этом надо понимать, что такую специфику в ее крайних формах можно выявлять только аналитическим способом, т.к. в реальной современной жизни давно уже идет процесс активного синтеза этих двух крайних аналитически противопоставленных позиций.

Специфика обществ западного типа сводится к следующему.

1. основополагающим в обществах такого типа является принцип «технологического/техницистского» отношения к миру — к природе как к естественной среде и к обществу как к социальной среде, выраженный известным афоризмом «природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник». Соответственно, в обществах западного типа превалирует свободная, спонтанная, но рационалистическая воля индивидуума, которая не ограничена ни космическим, ни нравственным законом (мы свободны вплоть до свободы убивать друг друга — «философская» основа всех европейских войн). Естественно, что в современном мире этот тезис сильно трансформировался в ходе исторического развития. Статус индивидуума в таком обществе не гарантирован «порядком Вселенной», индивидуум в нем нонконформист. Такое общество основано на воле индивидуума, в нем нет места фатализму, как в обществах восточного типа, где невозможны случайные, спонтанные вариации и все предопределено «ходом вещей». Западное общество является социентричной самодетерминирующейся системой, оно не космоцентрично, как восточное. Природа и общество (человек) в нем конгломеративны, то есть человек и природа не связаны в единое гармоничное, неразрывное целое, как в обществах восточного типа, природа может и должна преобразовываться, она должна служить человеку. Соответственно, в обществах такого типа существует примат правового государства, в котором важны приемлемость социального поведения и универсальные юридические (конституционно-правовые) нормы.

2. Общества западного типа основаны на принципе неопределенности, в них политика — соревнование, базирующееся на равенстве шансов и неопределенности конечного результата. То есть в западном обществе история открыта и негарантирована,

она непознаваема, так как человек не знает ее конечных перспектив. В таком обществе нет объективной политической истины, истина в нем конвенциональна (принята по соглашению), соответственно, в обществе должен быть определенный консенсус и признание точки зрения меньшинства¹¹.

3. Общества западного типа основаны на атомарно-номиналистическом принципе, в соответствии с которым действует принцип гражданского договора (никто не может меня принудить к тем или иным общественным связям, каковые действительны лишь в той мере, в какой индивидуум их добровольно принял как субъект равноправных отношений), из которого вытекают взаимобязательные отношения граждан с государством, а не односторонние обязательства подданных в отношении государства.

4. Общества западного типа основаны на принципе разделения властей, при этом власть должна быть выборной, а доступ к ней обеспечен системой открытого социально-политического доступа; власть должна осуществляться большинством, но регулироваться обязательными конституционными правовыми нормами; власть не может распространяться на определенные сферы частной жизни, а у меньшинства должны быть правовые гарантии, обеспечивающие его интересы. Соответственно, власть обязана быть легитимна (законодательная власть должна избираться народом), эффективна (исполнительная власть должна быть автономна), а судебная власть является независимой от первых двух (должно обеспечиваться подчинение, как граждан, так и государства закону).

¹¹ Эти положения связаны с идеями реформации Лютера, в соответствии с которыми неясно, кого Бог определил к спасению (непознаваемость Божественной воли), существует одиночество совести (человек сам, без посредников, ищет путь к спасению), избранность подтверждается успехом практических повседневных начинаний (этика ответственной повседневности). Далее эти идеи были трансформированы и развиты А. Токвилем, который говорил о демократии свободы (индивидуальная свобода выше равенства) и демократии равенства (неравных от природы нужно уравнивать, так как существует социальная справедливость). Соответственно конкурируют и взаимодополняют друг друга две модели — либеральная (существует свобода выбора, а человек спонтанно стремится к свободе и благополучию) и патерналистская (свобода должна быть ограничена властью, которая выступает как благонамеренный опекун народа) модели общественного устройства.

5. Западные общества основаны на системно-функциональном принципе, в соответствии с которым не так важно содержание элемента системы, как та функция, которую этот элемент выполняет.

6. В обществах такого типа существует принцип отделения ценностей от интересов, в соответствии с которым в области политики не решаются смысловые вопросы бытия, так как итоги политического соревнования не окончательны (через определенное, весьма короткое время можно будет снова законно прийти к власти) и во время этого соревнования (выборов) согласовываются практические (земные) интересы, по которым возможен, и даже необходим, прагматичный компромисс различных политических сил.

7. Общества такого типа развивают и продвигают систему открытого социально-политического доступа («открытое общество»), где в идеале нет сословных перегородок, существует высокая социальная мобильность, отсутствуют великие коллективные ценности (то есть главенствует принцип атомарности интеллектуальной деятельности), где национальный суверенитет постепенно сводится к минимуму и в идеале существуют принципы равноценности мировых культур, терпимости, свободной соревновательности¹².

В восточном политическом мире все вышеперечисленные принципы в той или иной степени могут существовать, но не являются главными — там господствуют другие принципы.

1. Принцип воздержания от волюнтаристской активности (к примеру, знаменитая концепция древнекитайской политической философии *у-вэй*, «недеяния», и ее сегодняшнее дэнсяо-пиновское воплощение «переходить реку, нащупывая камни»). В восточном мире нет деятеля («преобразователя») в «западном» смысле этого слова, там человек следует ходу вещей, великому космическому закону (вспомним принципы организации войска, применяемые Наполеоном и Кутузовым, как они описаны Л. Тол-

¹² Впервые в отечественной политологии эти принципы были отмечены М. Чепковым в ряде его статей, а затем в целостном виде удачно проанализированы А.С. Панариным. См: Панарин А.С. Политология. Западная и восточная традиции. — М. : Университет, 2000.

стым в романе «Война и мир»), в соответствии с которым этика и ритуал слиты вместе, ритуал кодифицирует писанные и неписанные правила поведения, причем в области морали и этики творческие импровизации являются сомнительными. Такой принцип существует и в исламской традиции, поскольку идея активных, в том числе и насильственных преобразований, касается в этой традиции, прежде всего и в первую очередь, не исламского мира. В такой системе социальное поведение должно быть предсказуемым, каждый должен ждать своего часа, идеал — патерналистская модель, основанная на отцовской опеке и соответствующей ей сыновней почтительности. Соответственно этим принципам политический процесс не процесс производства власти, как на Западе, а вычленение и поддержка имманентного, естественно-устоявшегося, проверенного.

2. Восточные общества основаны на теократическом принципе, в соответствии с которым государство — постоянно мобилизованный носитель ценностных, нравственно-религиозных критериев, стремящихся контролировать все социальные практики. Такое понимание государства основано на восточной традиции, в соответствии с которой город есть воплощение государственной власти, а народ есть духовная общность, скрепленная традицией (то есть общностью культурной памяти, обеспечивающей выживание) и надеждой на грядущее воплощение правды-справедливости. Соответственно, на Западе город выступал как частно-гражданская альтернатива государственной власти и основа гражданского общества, а государство было бесстрастным наблюдателем процессов, происходящих в гражданском обществе, и вмешивалось в его жизнь только в случае прямых беспорядков. В восточных обществах политическая власть должна ограничиваться и контролироваться духовной властью в «помыслах», то есть в высших ценностных ориентациях. Отсюда следует вера в сакральность всего земного пространства на Востоке и, соответственно, в необходимость осуществления принципа соборности (А. Хомяков) — организации светского общества по принципу храмовой общины с иерархией священник/царь/пророк, с одной стороны, и народ — с другой, наличием явного или неявного, но обязательного посредника между человеком и Богом и имманентной сакрализацией власти.

3. В обществах такого типа действует принцип уравнительной справедливости: статус человека в обществе определяется скорее не происхождением, связями, деньгами, личными успехами, а служебным усердием, необязательно эффективным, преданностью руководителю. В соответствии с этим принципом административные территории внутри государства должны контролироваться верховной властью, должны в той или иной степени существовать центральное регулирование экономики и государственная монополия на недра.

4. Государства восточного типа основаны на принципе «священной справедливости»: государственность в них — мессианская, свобода не индивидуальна, а коллективна, это свобода народа; у народа соответственно — коллективная судьба, коллективное призвание, нередко или почти всегда — под патронажем власти (нельзя спастись одному, можно спастись только всем вместе и под мудрым руководством правителя, нельзя выделяться (одеждой, политической программой, материальным благосостоянием), нужно быть «как все», если тебе это не позволено свыше. А если тебя выделили свыше, то нормы, применяемые к остальным, перестают на тебя распространяться. Государственность является сакрализованной, и она воспроизводится в локальных сообществах как высшая ценность¹³.

В рамках этих двух подходов можно выписать дуалистическое противопоставление Востока и Запада.

Противопоставление по устройству мироздания

Запад антропоцентричен. В центре мироздания такого типа обществ стоит человек, который является властелином мира, подчиняющим природу и общество. Этот человек в политике использует технологии преобразовательно-модернизаторского типа. Восток теоцентричен. В центре мироздания здесь — трансцендентная воля, которой подчиняется человек. Соответственно, задачей человека является распознать эту волю и действовать в соответствии с ее принципами. Распознать волю помогает светская власть, направляемая духовной («в помыслах»), или светская и духовная власти, слитые в единую сакральную целостность,

¹³ Панарин А.С. Политология. Западная и восточная традиции. — М.: Университет, 2000.

либо духовная власть, стоящая над светской. Поэтому в политике можно использовать мягкие технологии (наставлять «в помыслах»), не нарушающие гармонии общества и природы, а также нравственных законов в самом обществе.

Противопоставление по ценностным ориентациям личности и общества

Запад ориентирован на материальные ценности, соответственно, и общество стремится в идеале ко всеобщему благоденствию, которое понимается, прежде всего, как потребительский рай при жизни. На Востоке приоритетны духовно-религиозные ценности, а общество, соответственно, стремится развиваться, соблюдая нравственно-религиозные принципы; целью такого развития является не только и не столько материальное благоденствие, поскольку материальных благ на всех не хватает, сколько гармония и патриархальное равновесие под патронатом сакральной власти, даже если она ведет общество к отставанию или упадку.

Противопоставление по отношению к собственности

На Западе частная собственность и товарное производство ориентированы на рынок, который, в принципе, уравнивает всех членов общества. На Востоке существует власть-собственность, при которой функции собственника опосредованы причастностью к власти.

Противопоставление по отношениям между светской и религиозной властью

На Западе произошло отделение церкви от государства, была провозглашена независимость политической сферы от нравственно-религиозной традиции. На Востоке политическая власть сакрализована (хотя степень этой сакрализации и может быть различна), религия освящает политическую традицию, в большинстве случаев / часто является государственной религией.

Противопоставление по шкале политического времени

На Западе существует ориентация на будущее, время — линейно, оно непрерывно убыстряет свой ритм. Восток ориентирован на вечность, там политическое время циклично.

Противопоставление по отношению человека к истине

На Западе существует рациональный путь постижения истины: человек признает истинным лишь то, что подвластно его уму и воле. Восток ориентирован на интуитивный путь постижения истины. Истина нужна, чтобы ей служить, она — само бытие, а соответственно, не зависит от воли и ума индивида, определяется свыше и трактуется сакральными персонами, которым индивид должен инстинктивно подчиняться в помыслах и действиях.

Противопоставление по процессу познания мира

На Западе процесс познания сводится к познающей активности субъекта, который исследует свойства объектов. На Востоке процесс познания заключается в слиянии с объектом, его духовном постижении на интуитивном уровне.

Естественно, что такое дуалистическое противопоставление характерно, прежде всего, для традиционных восточных и западных обществ классического типа, существовавших в чистом виде до середины XX века; в современных обществах оно делается все менее выпуклым, так как процессы глобализации и взаимовлияния становятся значительно более значимыми. С XX века явно наметилась тенденция к заимствованию некоторых из упомянутых принципов, как Западом, так и Востоком: Восток все более явно ищет пути использования западного политического и экономического опыта в модернизации, где он существенно отстал, Запад — пути инкорпорирования некоторых восточных моделей управления (к примеру, японских или китайских), которые могут повысить стабильность, прежде всего экономическую. Соответственно, начал происходить процесс взаимовлияния и синтеза, усиленный глобализацией. В то же время в некоторых областях, прежде всего в политической культуре, а частично и в политической системе, экономике, менеджменте, по определенным причинам синтеза и взаимовлияния не произошло либо этот процесс начался только недавно. Одновременно на Западе, на фоне кризиса восточной модели «отложенной модернизации» и в связи с финансово-экономической нестабильностью последних лет возникла тенденция, направленная на переосмысление ценностных основ существования человека-гражданина в обще-

стве, возвращение к истокам западной цивилизации и, одновременно, гармоничному взаимовлиянию и культурному синтезу при сохранении и даже усилении роли базовых западных общекультурных ценностей и их юридической защиты¹⁴. Параллельно на фоне усиления на определенном историческом этапе деятельности международного терроризма в мире произошло, судя по всему, также и переосмысление принципа «неограниченной свободы» суверенного государства по отношению к своему населению и суверенной личности в рамках трансформируемых эволюционным путем принципов функционирования Вестфальской системы международных отношений, которая в основном сохранилась до настоящего времени. В то же время общее повышение целостности мира, ускоренное глобализацией, привело к существенным изменениям: свобода теперь по некоторым параметрам достаточно жестко связана с необходимостью обеспечения безопасности, она больше, чем раньше, связана этическими и юридическими нормами и увязана с принципом справедливости, а фундаментальное право полной суверенной государственной власти над своим народом ограничивается в случае геноцида и/или массовых и грубых нарушений прав человека, носящих преступный характер, нормами международного права и возможностью осуществления международного вмешательства для восстановления справедливости на основе мирового консенсуса, символизируемого соответствующей резолюцией ООН или региональных организаций (гуманитарная интервенция, принуждение к миру)¹⁵. Судя по последним дискуссиям между западными и восточными политиками (М. Мурси и Б. Обама), неограниченная по последствиям свобода слова, как и собственно свобода, имеет тенденцию трансформироваться в концепцию «ответственной свободы слова» («ответственной свободы»), что связано с осознанием как последствий неограниченной свободы, так и ее ограничений.

В этой связи важно понять, какая часть обществ незападного / восточного типа и каким образом осуществляет модернизацию,

¹⁴ El Karoui, Hakim. *Reinventer L'Occident*. Paris: Flammarion, 2010.

¹⁵ Асимметрия мировой системы суверенитета: зоны проблемной государственности / под ред. М.В. Ильина и И.В. Кудряшовой. — М.: МГИМО-Университет, 2011.

догоняющую, копирующую западный опыт, а которая перешла к модернизации как к особому пути развития, альтернативному (но не противопоставленному) западному естественно-историческому типу, то есть к модернизации эволюционного типа без социально-политической дискретности, выражающейся в отсутствии четких периодов взрывного (революционного) и стабильного (эволюционного) развития, и одновременно альтернативной мобилизационной модернизации социалистического / коммунистического типа, — к модернизации, являющейся синтезом западного политического опыта демократии (принципа всеобщей выборности на основе системы открытого и равного социально-политического доступа), конституционного либерализма и автохтонной политической культуры.

Оценка пространственной и аналитической систем координат

Акцентируемая нами необходимость учета пространственно-временного (спатимального и темпорального) фактора в дополнение к структурно-аналитическим критериям исходит из внутренней цивилизационно-географической и культурно-политической логики развития восточных стран. Иначе говоря, пространственно-временной фактор основан на понимании международно-политического макрорегиона как привязанной к территориально-экономическому и национально-культурному комплексу (основанием для выделения служит специфическая однородность географических, природных, экономических, социально-исторических, политических, национально-культурных условий) региональной совокупности явлений жизни, объединенных общей структурой и логикой, таким образом, что эта логика и историко-географические координаты ее существования являются взаимообусловленными. Это определение региона как базового понятия мирового комплексного регионоведения позволяет учитывать расположение в определенной пространственно-временной (или спатимально-темпоральной, если использовать политологический термин) системе координат

нат¹⁶. Такое понимание помогает выявить, в какой степени историко-цивилизационные, этноконфессиональные и культурные особенности формируют специфику политической культуры и как они влияют на специфику эволюции и функционирования политических систем обществ определенного типа в разных регионах мира. Оно хорошо соотносится с расширительным его определением, в соответствии с которым под регионом в широком смысле понимается определенная территория, представляющая собой сложный территориально-экономический и национально-культурный комплекс, который может быть ограничен признаками наличия, интенсивности, многообразия и взаимосвязанности явлений, что выражается в виде специфической однородности географических, природных, экономических, социально-исторических, национально-культурных условий, служащих основанием для того, чтобы выделить эту территорию¹⁷.

Признание данных положений позволит нам не отменять общие закономерности, а дополнить (или, точнее, наполнить) описание общих закономерностей функционирования политических систем региональной и страновой «плотью и кровью» — конкретным анализом специфики политических систем и политических культур других стран и регионов мира во всей сложности их реального функционирования. Предложенный подход помогает понять, почему и как происходят успешные преобразования в обществах, почему в других обществах они не происходят и к каким результатам это приводит в каждом конкретном случае.

¹⁶ Подробную аргументацию см., в частности: Воскресенский А.Д. Теоретико-прикладные аспекты регионального измерения международных отношений // Современные международные отношения и мировая политика / отв. ред. А.В. Торкунов. — М.: Просвещение, 2004. С. 494–500; Воскресенский А.Д. Предмет и задачи изучения региональных подсистем международных отношений // Восток / Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы международных отношений / под ред. А.Д. Воскресенского. — М.: РОССПЭН, 2002. С. 3–14; Воскресенский А.Д. Региональные подсистемы международных отношений и регионы мира (к постановке проблемы) // Восток–Запад–Россия. — М.: Прогресс-Традиция, 2004. С. 141–144.

¹⁷ Восток / Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы международных отношений. / под ред. А.Д. Воскресенского. — М.: МГИМО, 2002. С. 9.

При таком подходе анализ строится на пространственно-аналитическом принципе, а не на превалировавшем ранее противопоставлении спатиального принципа аналитическому. При этом очевидно, что, учитывая региональную / страновую специфику, мы неизбежно должны принимать во внимание три фактора, определяющие соотношение общего и особенного в современном развитии, то есть мы должны понять:

- насколько велика дистанция, отделяющая сравниваемые страны от мировых лидеров, поскольку дистанция, которую нужно преодолеть, определяет последовательность постановки и решения задач политической модернизации;

- каково конкретное соотношение доминирующей идеологии, государственной политики и национальной стратегии развития в конкретном государстве;

- каковы особенности политической культуры сравниваемых стран, как они влияют на процесс формирования политической системы, какова роль традиции в политической культуре и как, напрямую или опосредованно, эти факторы влияют на траекторию развития страны¹⁸.

Таким образом, применяя пространственно-аналитический принцип и принимая во внимание факторы, определяющие соотношение общего и особенного в современном развитии, на наш взгляд, можно будет получить представление о специфике эволюции и функционирования политических систем Востока, не забывая об общих закономерностях. А знание общих закономерностей не будет исключать не только конкретного знания того, как функционируют политические системы тех или иных стран Востока, но и специфики их функционирования. При этом полученные знания не будут оторваны от жизни, а могут быть достаточно легко применены в практической деятельности, то есть помогут показать пути и цели трансформации и модернизации других обществ, отличных от западных или имеющих серьезную незападную специфику.

¹⁸ Можно сравнить с четырьмя положениями, сформулированными Е. Гайдаром. См.: Гайдар Е.Т. Долгое время. — М.: Дело, 2005. С. 82–83. Аргументация развернута в главе 3. Однако, как будет показано ниже, система аргументации и выводы в данной работе другие.

Сравнительный анализ восточной специфики политических систем и политического процесса: общие закономерности, региональная специфика и модели демократии

Действительно, политические институты трансформируются параллельно изменениям в производстве, расселении, уровне жизни, образовании, организации семейной жизни. Изменения в экономической сфере, вызванные процессами современного экономического роста, меняют требования к социально-политическим институтам, которые должны приспособиться к востребованной институциональной гибкости и генерированию инноваций. В традиционном обществе нужны были стабильность и традиции, соответственно, политические институты должны были работать на сохранение традиции, обеспечивающей, в свою очередь, выживание. Именно поэтому до начала XIX века большинство государств использовали форму абсолютной монархии. С начала XXI века политические институты должны работать на максимальную адаптивность к изменениям и генерирование инноваций, чтобы обеспечивать экономическую модернизацию. А потому практически все они в той или иной степени используют политическое устройство, в основе которого лежит всеобщее избирательное право: без осуществления этого права осовременивание (модернизация) нереально, так как затруднено формирование политического консенсуса в обществе, без чего в современном мире невозможно быть конкурентным, а значит, гарантировать выживаемость и развитие своей нации. Таким образом, политическая модернизация определенных параметров социальных структур есть необходимая часть осовременивания, понимаемого как повышение конкурентоспособности наций и государств в новых, более современных условиях. С другой стороны, демократии с развитой рыночной экономикой не отказались от своего традиционного политического устройства, даже если оно и представляет собой монархическую либо теократическую форму правления (к примеру, Великобритания, Ватикан), только ограничив ее таким образом, чтобы этот институт по форме обеспечивал соответствие традиции, но при этом не препятствовал осуществлению прямого избирательного пра-

ва, многопартийности, системе разделения властей — то есть тем параметрам, которые и монархию позволяют называть демократией. Таким образом, не столько конкретный тип политической системы, сколько определенный тип политического устройства (политического режима — режима властвования) может быть назван демократией.

Следующий важный вопрос, возникающий в этой связи: каков диапазон разброса и степени осуществления необходимых и достаточных условий для организации демократического устройства и что является идеальным типом такого устройства? Если мы считаем, что идеальной моделью является только демократия западного типа, то есть европейская и американская модель либеральной демократии, то тогда мировой политический процесс будет описываться в рамках предложенного С. Хантингтоном объяснения в его книге «Третья волна. Демократизация в конце XX века»¹⁹ и имплицитно подразумевать соответствие или несоответствие данной конкретной идеальной модели²⁰. В рамках такого подхода мировой политический процесс будет описываться как процесс политической модернизации западного типа и эволюции всех стран и регионов в направлении европейской либо американской модификации западных либеральных демократий (концепция демократического транзита). Это напоминает подход К. Маркса, который из-за недостатка знаний по Востоку скорректировал свою знаменитую формационную теорию, разработанную на основе политико-экономического анализа передовых экономик западноевропейских государств XIX века, объяснением *ad hoc* — концепцией «азиатского способа производства», которая потом около ста лет дебатировалась мировым и — особенно — отечественным востоковедением, пока диспутанты не убедились в методологической ограниченности такой постановки вопроса. В то же время сегодня много исследователей как в западных

¹⁹ *Huntington S.P. The Third Wave. Democratization in the Late 20th Century.* Norman, 1991.

²⁰ Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня: мировой обзор. — М.: Аспект Пресс, 2002; Дербишайр Дж. и Дербишайр Я. Политические системы мира. — М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004.

странах²¹, так и в России²² высказывают сомнение в том, что теории современной западной политической модернизации (вестернизации) и демократического транзита, определяющие демократии западного типа единственным и идеальным образцом демократического устройства, после событий «9/11» адекватно описывают мировой политический процесс с точки зрения региональных закономерностей и во всем многообразии²³. Подчеркнем, что речь идет не об отрицании политических теорий и концепций демократии, разработанных мировой политической мыслью и апробированных в конкретных странах, не о построении в оправдание собственного отставания и политической несвободы доморощенных лабораторных теорий «в пробирке» в отрыве от мировой политической науки и не об отрицании в целом преобладающей в мире демократической тенденции над авторитарной, поскольку модель демократического управления во всех смыслах — и экономических, и политических, и культурно-цивилизационных — более универсальна, а значит, и более конкурентоспособна.

Речь идет о необходимости расширения методологической базы и «номенклатуры» методологических подходов, в частности, с использованием методологии региональных и пространственно-аналитических подходов, для более адекватного, непредвзятого объяснения мирового политического процесса и поиска конкурентных национально-региональных моделей, соответствующих общим закономерностям и адекватных региональной специфике. *Наиболее очевидным* для подтверждения этой системы аргументов является *фактическое провозглашение* современной западной политической наукой ограниченными либеральными демократиями после долгой полемики и колебаний политических систем тех государств, своеобразие которых никак не вписывается в первоначальную западную модель политического устройства (наиболее

²¹ Закария Ф. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами. — М.: Ладомир, 2004.

²² См., к примеру, Володин А.Г. Современные теории модернизации: кризис парадигмы // Политическая наука. 2003. № 2. С. 8–29; Карозерс Т. Конец парадигмы транзита // Политическая наука». 2003. № 2. С. 42–65

²³ Подобные сомнения отнюдь не отрицают значения этих теорий в конкретных и конкретно-временных обстоятельствах.

очевидно в случае восточноазиатских Японии, Тайваня, позже — Малайзии и Сингапура, потом — Турции, в будущем, возможно, Египта), но которые все же являются демократиями, и возникшие в современных мировых общественных науках рефлексии по поводу возможности и/или необходимости построения незападных (точнее, незападноцентричных) политических теорий и теорий международных взаимодействий²⁴. Это означает точное осознание условий, в соответствии с которыми конкретная страна может быть признана демократией другими и, одновременно, без которых конкретное общество никогда не будет считаться демократичным как другими демократическими государствами, так и населением своей собственной страны, даже если политическая элита этой страны будет на этом настаивать или считать, что население в принципе не готово принимать участие в управлении из-за своей малообразованности, неготовности, отсутствия пассионарности или других причин. Один из классиков западной политологии (и автор блестящих трудов по сравнительной политической синологии) Л. Пай не только признал наличие «незападного» (в его терминологии) политического процесса, но и сформулировал 17 закономерностей, которые определяют специфику этого процесса. Работы Л. Пая, ранее считавшиеся имеющими ограниченную теоретическую применимость, в последнее время были переизданы и стали активно использоваться в образовательном процессе в ведущих университетах мира.

Таким образом, модель политики в обществах незападного типа в основном определяется формой общественных и личных взаимоотношений, а власть, авторитет и влияние в значительной степени зависят от социального статуса. Поэтому политическая борьба сконцентрирована не на альтернативных политических курсах, а на проблемах влияния. Процесс рекрутирования в политику в обществах такого типа фактически является процессом культурной социализации, при этом базовая структура западной политической жизни — общинная, а политическое поведение прямо или косвенно связано с общинной идентификацией. Вследствие этого политические группы в западных обществах

²⁴ Non-Western International Relations Theory / ed. by A. Acharya, B. Buzan. N.Y. Routledge, 2010.

ориентированы на какой-либо аспект общинной политики, а не на политическую сферу деятельности, и, чтобы устоять в политической борьбе, политические партии в этих странах должны выражать свое мировоззрение и отстаивать определенный образ жизни. В этом смысле они скорее напоминают общественные движения, чем собственно политические партии, а в политической жизни резко возрастает роль клик и политических группировок. В таком контексте политическая лояльность становится обусловленной не политическими целями, а скорее чувством идентичности с какой-либо общественной группой («социальной корпорацией»), и связанные с политической лояльностью проблемы разрешаются на уровне и внутри групповых интересов. Борьба за власть идет не между партиями, представляющими разные политические интересы, и не между группами, соревнующимися для доказательства превосходства своих административных методов, а между различными образами жизни. В обществах такого типа нет единого политического процесса, а есть несколько практически независимых политических процессов, связанных с разными образами жизни населения. Именно поэтому и политически значимые посты в странах такого рода нередко не имеют четко определенных границ, государственная бюрократия может фактически превратиться в партию (точнее, в партию власти), а армия — выступить в роли правительства.

Хотя в незападных странах обычно довольно много неофициальных политических организаций, они действуют либо как объединения, сформированные для защиты интересов своих членов, либо представляют интересы правительства и/или наиболее влиятельной политической партии (движения), то есть мобилизуют население для поддержки господствующей группы, а не работают как группы политического давления. Политик национального масштаба в этих странах должен прибегать к лозунгам общего характера, поскольку у него отсутствует возможность четко определить скрытые потребности населения, вместо того чтобы формулировать четкую позицию по определенным проблемам. Соответственно, облеченный властью необязательно должен обнаруживать и решать проблемы, достаточно просто находиться в центре политического, то есть общинного, процесса (ездить на оленях, водить самолет, нырять в океан и так далее). Поэтому в

незападных обществах главенствующим типом лидера является харизматический, а политические системы функционируют без участия политических «брокеров».

Описанная Л. Паем структура западного политического процесса хорошо объясняет его специфику. Но, признав отличие западных обществ от восточных (на основе чего и выведена Л. Паем специфика западного политического процесса) и сформулированную нами специфику восточных обществ как части западного мира, мы можем попытаться выстроить критерии системы тех государств с западным политическим процессом, которые все же можно назвать демократиями. Иными словами, оттолкнувшись от методологического постулата — в разных системах одинаковые институты могут выполнять различные функции и в разных системах разные институты могут выполнять одинаковые функции — и признав не только то, что политическая культура может определять политическую систему, но и согласившись с фактом плюрализма политических культур и, соответственно, взглядов на политическую систему и политику вообще (в частности, не отрицая того факта, что демократия не идеальный способ правления, но наилучшего человеческого политическая мысль пока не придумала²⁵), мы будем должны признать наличие разных типов обществ (западного и западного, где в западном типе существует особый подтип восточных обществ) и разных путей их трансформации при наличии общих закономерностей и единых ключевых параметров, определяющих направление и характер этих трансформаций. Таким образом, далее мы можем также констатировать следующее.

- Существуют разные виды, модели демократий, не только европейская и американская, а, скажем, западного, в том числе и азиатского типа (японская, индийская, южнокорейская, тайваньская, израильская, турецкая и др.), причем демократии «другого» (западного/азиатского) типа могут, по-видимому, достаточно сильно отличаться от европейской и аме-

²⁵ Само классическое высказывание, как известно, принадлежит У. Черчиллю, применительно к Востоку эта мысль удачно развернута в «Эссе о демократии» в кн.: Эволюция политических систем на Востоке: (Иран, Пакистан, Турция: традиции и демократизация). — М.: ИВ РАН, 1999. С. 3–16.

риканской модели, что обусловлено своеобразием социально-политических структур и политической культуры в этих странах, но при этом все же являться демократиями.

- Существует специфика, культурная и социально-психологическая, то есть связанная с особенностями культуры (в частности политической), национальной психологии и национального характера (скажем, обусловленная особой ролью конфессионального или какого-либо другого фактора, к примеру, связанного с существованием правовой системы особого рода /шариат/).

- Существуют незападные политические системы и политические культуры, которые не лучше и не хуже, а просто другие (подобно тому как мужской пол не лучше/хуже женского, а просто другой пол) и, возможно, более приспособлены для решения политических проблем специфических обществ иного, чем западные, типа.

- В проблеме типологизации политических систем и их сравнении с эталонами есть достаточно большая доля идеологизированности и субъективности, поскольку методологически любая типологизация связана с редукцией и интерпретацией.

- Признание факта существования демократий другого типа, возможно, позволит сформулировать объективные, а не субъективные критерии для определения либеральной демократии, незападной, нелиберальной демократии, то есть позволит выделить несколько моделей демократического устройства, отличающихся значительным своеобразием. И речь в данном случае идет не о появлении «демократий с прилагательными», а о необходимости более рафинированных типологизаций, которая обусловлена наличием структурно-политической и региональной / национальной специфики, связанной, в свою очередь, с различиями траекторий конкретно-исторического развития и национальной культуры.

Роль социальных порядков в концептуализации вариативности моделей демократического правления

Российская обществоведческая школа (зарубежное регионоведение, сравнительная политология, политическое востоковедение, сравнительная мировая политика) – одна из первых на-

циональных социально-гуманитарных научных школ, которая не только осознала, но и стала целенаправленно изучать новую мировую тенденцию повышения роли стран Востока в глобальных процессах, соединив в объяснении этого процесса мировые теории международных отношений и автохтонную традицию изучения общественных наук, изначально основанную на ньютоно-декартовом научном видении мира, но в целом академически незашоренную регионально-страновыми предубеждениями в силу особой исторической судьбы нашей страны, находящейся географически, исторически, демографически, экономически и политически «между» Востоком и Западом. Особую роль в этом процессе сыграло наличие собственной, мирового класса, востоковедной традиции, очень рано обратившей внимание на роль структурных факторов (концепции азиатского способа производства, власти-собственности, азиатского деспотизма, «генома» Востока в трудах Л.Б. Алаева, Л.С. Васильева, Н.А. Иванова, О.Е. Непомнина, Н.А. Симонии и др. востоковедов), объясняющих отличия во внутренней организации Запада и Востока — двух крупнейших структурно отличных макрорегионов мира, состоящих из разного количества структурно однородных и структурно различных национальных государств с разного типа социальными порядками. Осмысление этих феноменов шло в русле дискуссии о «восточном феодализме» и «азиатском способе производства», сначала ведущейся в рамках марксизма, но к концу XX в. переросшей рамки только одной обществоведческой концепции. Однако в целом структурные исследования в международной сфере зарубежного регионоведения и сравнительного политического востоковедения, получившие дополнительный внутренний импульс к развитию в России после распада СССР, достаточно долгое время в самой России, как и в странах Запада, считались локальной экзотикой, которой в глобальном анализе можно было пренебречь, поскольку судьба мира, как считалось, решается на Западе, а созданные там теории наиболее адекватно объясняют мировую политику, международные отношения и политико-экономическую реальность. Такой взгляд на мировое развитие либо стопроцентно поддерживался, либо также стопроцентно оспаривался, а оспаривание рассматривалось, прежде всего, как признак ретроградности. Это привело к ситуации, когда

предлагалось слепо копировать сначала западную, а затем, когда это встретило экономические и внутривластные затруднения, точно так же слепо копировать восточную модель развития без учета последствий их применения к российской реальности / российской специфике. Эта специфика либо полностью отрицалась, либо чрезмерно выпячивалась, в зависимости от чего авторский анализ интерпретировался как прогрессивистский либо как традиционалистский.

Однако в начале XXI в. ситуация в мире изменилась кардинальным образом: глобализующийся мир стал как бы сжиматься, а на первый план стали выходить проблемы новой, более тесной взаимозависимости природы и человека, людей, национальных сообществ, народов, стран между собой в процессе устойчивого поступательного развития, без решения которых само существование человечества становилось проблематичным. В связи с этим и сами западные исследователи и политики сначала стали отмечать, а потом и объяснять новую тенденцию повышения роли стран Востока в мировой политике, пытались предложить новое целостное объяснение специфике процессов, происходящих в разных регионах мира. Возникла мировая дискуссия внутри взаимосвязанных частей западного, открытого для обсуждения новых тенденций, и наиболее открытой и продвинутой части восточного политического и интеллектуального сообществ (Э. Саид, Ф. Фукуяма, С. Хантингтон, А. Франк, П. Макнилл, Д. Лэндс, Е. Гайдар, Р. Капур, М. Махатхир, К. Махбубани, М. Хатами, Н. Фергюссон, Р. Нейсбит и др.) о роли региональных факторов в экономико-политическом развитии мира, хотя сам термин «региональный фактор», по крайней мере на начальной стадии дискуссии, и не употреблялся. Затем реальность нового века (события «9/11» и мировой финансово-экономический кризис) заставила пересмотреть некоторые из догм казавшихся незыблемыми парадигмальных представлений прикладных общественных наук и обратиться к незападно-центричным, объективистским объяснениям мировых политических и экономических процессов, пока все еще не представленным в виде целостных логически непротиворечивых объяснений. В соответствии с этой новой тенденцией, объясненной в

исследовании Д. Норта, Д. Уоллиса и Б. Вайнгаста²⁶, существуют три типа социального порядка: примитивный, естественный (в другой терминологии – ограниченный) и открытый. Примитивный социальный порядок сегодня в целом неконкурентоспособен и сфера его распространения сокращается, оказываясь во все более суживающихся, депрессивных и отстающих региональных сегментах (точнее — фрагментах) мира. Существование естественного / ограниченного социального порядка (в системе аргументации Д. Норта, Д. Уоллиса и Б. Вайнгаста он не нуждается в вычленении специальных структурно-временных дифференцированных этапов) проходит в свою очередь определенные временные этапы: хрупкое естественное государство, базисное естественное государство и зрелое естественное государство. Однако, судя по всему, существуют и структурные подтипы естественного социального порядка, по-видимому, уже на этапе зрелого естественного государства: архаизированный и традиционалистский, анклавный, анклавно-конгломеративный, конгломеративный, гибридный, переходный. Эти подтипы соответствуют разным временным / пространственным этапам эволюционного развития национальных сообществ и обладают достаточной степенью своеобразия, что оказывает существенное влияние на способы и формы конфигурирования внутренней и внешней сфер жизни этих сообществ. По-видимому, существуют и разные культурно-исторические подтипы государств открытого социального доступа, во всяком случае, сегодня можно говорить о европейской и американской моделях, а также незападной (японская, израильская и др.) модели, но этот вопрос по разного рода практическим причинам (необходимость консолидации стран открытого социального доступа, особенно в связи с появлением международного терроризма) в политической теории подробно не рассматривался просто потому, что концептуализация и переход к новой, более продвинутой и совершенной социальной модели был важнее фиксации различий внутри этой модели.

²⁶ Норт Д., Уоллис У., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. М.: Издательство Института Гайдара, 2011.

Сегодня примерно половина всех существующих государств принадлежат к государствам с естественным социальным порядком, практикующим ограниченный социальный и политический доступ. Кроме этого, существует и социальный порядок открытого доступа, который создали, активно поддерживают и развивают 25 государств. Круг государств с системой открытого доступа постепенно расширяется, и сегодня их количество приближается к 100. Этап самого значительного расширения государств с таким типом социального порядка пришелся на период после распада СССР. Государства с естественным и открытым социальными порядками активно конкурируют друг с другом на международной арене, причем форму и способы этой конкуренции определяют примерно 40–50 государств: 25–30 государств с открытым социальным порядком и 20–30 государств с естественным социальным порядком охранительного характера. По мере эволюционного развития человечества и технологий уничтожения жизни либо ее продления формы этой конкуренции смещаются от военных, приводящих к неисчислимым людским и катастрофическим экономическим потерям, к невоенным, требующим все больших интеллектуальных ресурсов для разработки стратегий консенсусного, эволюционного, соревновательного развития. Остальные государства либо пользуются в той или иной степени порядком открытого доступа, импортировав соответствующие институты, либо не могут его построить в силу причин, прежде всего внутреннего характера. К естественному (социальный порядок ограниченного доступа) принадлежит большее количество государств, но открытый (социальный порядок открытого доступа) создал более высокий уровень жизни, защитил его мощнейшим военно-политическим блоком, покоящемся на фундаменте высокоинтегрированной экономики рыночного типа, быстрее реагирует на непредвиденные политико-экономические обстоятельства и активно расширяется. Этот социальный порядок является в целом более конкурентным и более легитимным, поскольку основан на демократическом правлении, подразумевающим прямое участие народа в управлении через систему открытых и транспарентных выборов и строго оговоренную по срокам и процедурам периодическую ротацию политических и экономических управленцев, позволяющую привлечь считающихся большинством в

обществе профессионально наиболее компетентными на срок, в течение которого можно рационально воспользоваться их компетенциями в максимальной степени, но без применения системы насилия, принуждения или прямого / косвенного экономического подкупа. Такой социальный и политический порядок лучше гасит негативные внешние и внутренние импульсы, при экономических кризисах показывает меньшую глубину падения и отката назад, создал политические предохранители против возникновения системных кризисов и в силу этого стабильнее и в целом интенсивнее и быстрее развивается, создавая населению более благоприятные условия существования, основанные, по крайней мере, последние 200 с лишним лет на массивном внедрении интеллектуальных инноваций (социальных и технологических). В целом, наш сегодняшний образ жизни и был создан странами, придумавшими, в конечном счете, сначала для себя самих систему открытого и равного социального доступа, а затем предложившими их другим в качестве социальной инновации. Другие, более ранние западные теоретические концепции и практические воплощения вариантов этой системы (коммунизм, государственный социализм) в исторической перспективе показали свою несостоятельность, а незападные циклически воспроизводили иерархизированные культурно-цивилизационные модели, которые либо были недостаточно универсальны, либо приводили к экономическому и технологическому отставанию. Сегодня ограничение социально-политического доступа на каком-то отрезке исторического развития можно объяснять культурно-цивилизационной спецификой и компенсировать повышением эффективности государства, которое обеспечивает поступательное движение от одного этапа организации социального порядка к другому, но в исторической перспективе альтернативы этой системе не просматривается.

К государствам с открытым социальным порядком, ядро которых компактно расположено в Европе и Северной Америке, примыкает географически разнородная группа государств переходного (неконсолидированного) типа, которые двигаются в направлении построения системы открытого социального доступа, но находятся на разных исторических этапах этого процесса. В количественном отношении группа государств с открытым соци-

альным доступом и переходного типа приближается примерно к половине государств – членов мирового сообщества. Это самые активные его члены, формирующие все еще разрозненную, но в целом исторически укрепляющуюся систему многосторонних институтов глобального управления. Количество государств с системой ограниченного социального доступа постепенно сокращается из-за их меньшей конкурентоспособности в основном именно потому, что реальной альтернативы социальному порядку открытого и равного социально-политического доступа не предложено или она оказалась несостоятельной, несогласие с этой системой касается некоторых параметров этой системы как неприемлемых по историко-культурным или экономическим соображениям в ряде государств на очень ограниченном этапе их исторического развития, а на более длительный период — для ограниченных сегментов политической элиты, которая хочет обусловить сроки своего правления только биологическими ограничениями своего жизненного цикла.

Ранее считалось, что переход от естественного социального порядка к открытому в национальных сообществах происходит автоматически и спонтанно по мере экономического развития и повышения экономического благосостояния, главное только понять и осознать эту историческую закономерность, подобно тому как в свое время была осознана и обоснована историческая закономерность неизбежности перехода всех стран от капитализма к социализму, а затем и к коммунизму во всемирном масштабе, и скопировать соответствующие институты. В настоящее время часть американских и европейских исследователей и политиков стали считать, что построение системы открытого и равного социального доступа есть некоторая спонтанная аномалия социальной эволюции, невозможная для повторения всеми странами в силу социально-политической неготовности народа и/или нежелания политических элит этих стран. Параллельно возникло объяснение, в соответствии с которым в действительности переход части государств к системе открытого доступа имел свою собственную жесткую логику: императив развития, основанного на создании экономического пространства, шире, чем территория национального государства, требовал трансформации национального суверенитета таким образом, чтобы обес-

печивать контроль только ключевых параметров, без чего было бы невозможно как активное принятие извне инвестиционных, финансовых и торговых потоков, так и свое собственное расширяющееся экономическое проникновение на внешние рынки²⁷. Понимание этого императива потребовало трансформировать и развить теории национальной и международной безопасности. Необходимость поддержания высокого уровня технологического развития и использование миграционных потоков извне как способ решения демографических проблем и «притока мозгов» требовал открытого международного доступа к высококонкурентным национальным системам образования. Появление крупных иноэтничных компонентов в результате многолетней миграции и необходимость инкорпорирования диаспор на условиях равноправия в иное по этническому составу общество способствовало концептуальному оформлению этого процесса (теории «плавильного котла», мультикультурализма и др.) и принятию системы открытого и равного социального доступа как ответа на решение вопроса о системном кризисе в результате изменения демографических параметров и этнической составляющей сложной социальной системы, которая по каким-то причинам ограничивает социальный доступ на основе этнонационального, этноконфессионального, конфессионального, социального или какого-либо иного нетранспарентного или же консенсусно не поддерживаемого большинством общества критерия.

Упрощая, можно сказать, что система открытого и равного социально-политического доступа (демократическое правление) предоставляет возможность участия в управлении всем гражданам на разных уровнях на основе транспарентных условий, понятных всему обществу и консенсусно одобренных им, но, одновременно, не означает простого доступа к управлению всех и каждого, так как и эта система обладает своими заградительными механизмами. Однако эти заградительные механизмы не включают в себя априори этнические, конфессиональные или социальные критерии, а основаны, прежде всего, на критерии определенного уровня профессиональных компетенций и тре-

²⁷ Зиглер Ч. Различия в восприятии суверенитета США, Китаем и Россией // Сравнительная политика. 2012. №1. С. 3–14.

бований для решения соответствующих управленческих задач на соответствующем уровне управления, хотя и могут обладать культурным или историческим своеобразием. Кроме построения саморегулирующейся социальной системы открытого доступа, существуют и другие механизмы управления этой системой²⁸. Однако, каким бы ни был этот механизм, критерии социально-политического доступа в этой системе транспарентны, рациональны, одобряются и поддерживаются всем обществом. Система открытого доступа не анархична, как это могло бы следовать из ее названия, она позволяет на основе жестких, но открытых и транспарентных, понятных критериев, консенсусно признаваемых всем обществом, выдвинуть к управлению наиболее талантливых и подготовленных вне зависимости от их расовой, этнической, конфессиональной, корпоративной принадлежности или политических убеждений, если они не являются экстремистскими и не подрывают существующего конституционного строя. Она также позволяет использовать приемлемые альтернативные модели управления и осуществлять его в течение приемлемого срока с точки зрения биологически оправданных условий концентрации ненасильственным путем усилий конкретного индивидуума на направлении его интенсивной управленческой деятельности.

Последние научные экономико-статистические исследования, в частности, исследования А. Пшеворски, Д. Асемоглу, Д. Робинсона²⁹, а также компании Renaissance Capital, оценивающие изменения в политическом строе и уровень ВВП на душу населения в 150 странах мира за период с 1950 по 2009 г., свидетельствуют, что при годовом валовом доходе менее 5 тыс. долл. на душу на-

²⁸ В частности, одним из них может являться проанализированный В.Л. Макаровым социальный кластеризм, «федерация» равноправных социальных кластеров (сословий нового типа), использующая в качестве ведущего механизма проектную экономику. Макаров В.Л. Социальный кластеризм. Российский вызов. М.: Бизнес Атлас, 2010.

²⁹ К примеру, Przeworski A., Stokes S., Manin B. (eds.) 1997. Democracy, Accountability, and Representation. New York: Cambridge University Press; Przeworski A., Alvarez M., Cheibub J.A., Limongi F. 2000. Democracy and Development. New York: Cambridge University Press; Przeworski A. 2005. Democracy as an Equilibrium, Public Choice 123, p. 253–273 и др.

селения построение устойчивого демократического режима маловероятно, так как при таком годовом доходе продолжает превалировать логика выживаемости. При годовом валовом доходе выше 6 тыс. долл. на душу населения появляется возможность построения демократии. Демократии с высоким уровнем валового внутреннего продукта на душу населения (выше 10 тыс. долл.) формируют устойчивый тип открытого социального порядка (социальный порядок открытого доступа), что позволяет таким обществам устойчиво и относительно стабильно развиваться. Если доход превышает 19 тыс. долл. на душу населения, а консенсус о необходимости перехода к порядку открытого и равного социального доступа по каким-то причинам отсутствует, то вероятность построения социального порядка открытого доступа в государстве с естественным социальным порядком становится маловероятной просто потому, что все такие государства формируют доходы за счет высокой природной ренты, которая позволяет политически «консервировать» общество и удерживать его социальное развитие в рамках определенного, даже традиционалистского или архаизированного порядка, для решения же задач потребления и технологического развития просто «покупая» нужное количество товаров и гастарбайтеров³⁰. Россия еще в 1990-е гг. перешагнула границу годового валового дохода на душу населения в 6 тыс. долл., по-видимому (в зависимости от методик подсчета), приближается к высокому уровню валового внутреннего продукта на душу населения, несмотря на большое расслоение, но прогнозы относительно скорости и качества ее дальнейшего экономического развития и их политических последствий разнятся в зависимости от методик подсчета ВВП, прогноза мировой экономики, разбросов в оценке и интерпретации политического курса и демографических оценок.

Учитывая основные тенденции развития человечества и принципиальную ограниченность природных ресурсов, логично предположить, что в усложняющихся внешних и внутренних условиях поступательного развития при наличии ядерного оружия выработка дальнейшей внешней и внутренней политики госу-

³⁰ См., к примеру, Асемоглу Д., Робинсон Д. Экономические истоки диктатуры и демократии. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2011.

дарств будет нуждаться не в опоре преимущественно на силовые методы, ограниченные оружием массового уничтожения всего человечества как биологического вида, а в умении договариваться с другими, т.е. во все более полном социальном консенсусе при одновременном внутреннем упорядочении. В противном случае системные кризисы и кровопролитные войны прошлого становятся неизбежными и мы вынуждены будем констатировать, что человечество по мере своего исторического развития ничему не учится и не воспринимает исторический опыт³¹.

Таким образом, в процессе трансформации социальных порядков национальных сообществ ключевую роль, судя по всему, играют не только естественно существующие (уровень экономического, политического, социального и правового развития конкретного общества), но и сформированные или формируемые факторы: определенный качественный уровень экономики, понимание исчерпанности циклической модели развития, сознательный консенсус политических элит и общества по вопросу необходимости модернизации и эволюционной трансформации социального порядка и системы обеспечения правопорядка, гарантирующих эволюционную, но стабильную, безопасную и поступательную трансформацию и развитие общества без системных кризисов. Эта модель позволяет строить современные устойчивые политические и социальные институты, без которых, в свою очередь, невозможно проводить дальнейшую экономическую модернизацию, без которой, в свою очередь, невозможно построить сильное, благополучное и свободное государство. Такой комплексный подход позволяет понять внутреннюю связь между формами социального порядка и политическими системами, т.е. роль внутривнутриполитических факторов в развитии и формировании мирового пространства, и по-новому подойти к проблеме влияния внутренних структурных процессов в государствах разного типа на характер международных отношений и процесс мирово-

³¹ Хотя существуют и другие точки зрения: *homo sapiens* не имеет биологических конкурентов, поэтому различные государства и народы конкурируют за доступ к ресурсам путем взаимного уничтожения; пока *homo sapiens* уничтожает друг друга, его биологический конкурент — микробы — уничтожает человеческий вид незаметным для него образом через не поддающиеся, либо плохо поддающиеся лечению заболевания и пандемии.

го развития, т.е. анализировать и прогнозировать влияние разных типов социальных порядков на взаимоотношения государств в международной сфере.

Концепция незападной демократии

Сформулировав параметры, которые влияют на тип и качество политического управления обществами, мы можем категоризировать все многообразие политических систем и политических режимов по шести основным типам базисной идеологии государственного правления и конструирования политического строя, а также по определенным параметрам политического устройства. Сразу оговоримся, что такая классификация условна, однако она важна для формулирования некоторых дальнейших предположений относительно региональных путей политической модернизации, региональной специфики и определения характера связи между политической и экономической модернизациями. Мы можем выделить:

- нестабильные (неустойчивые) демократии;
- демократии (экстралиберальные, либеральные, незападные, нелиберальные);
- конституционные монархии;
- абсолютные монархии;
- военные диктатуры;
- военно-авторитарные республики, авторитарно-коммунистические республики, авторитарные республики.

В либеральной демократии всегда очевидны конституционная форма правления; свободные выборы в законодательный и исполнительный орган; наличие многопартийной системы; баланс трех ветвей власти (исполнительной, законодательной, судебной); наличие независимого судебного права; судебная гарантированность реальной защищенности личных свобод на основе конституции; эффективность и стабильность правительства, которое ограничивается существованием автономного плюралистического общества и подотчетно электорату. В принципе, либеральную демократию можно определять как четкое соотношение между демократией (то есть проведением открытых, свободных и справедливых выборов) и конституционным либерализмом

(верховенство закона, права частной собственности, разделение властей, наличие свободы слова, собраний вплоть до институализированной политической оппозиции).

Все демократии отличает ряд параметров (условий). Власть в них должна быть легитимна. Легитимность предполагает, что власть выборна и сменяема, а доступ к ней определяется на основе открытого и равного социально-политического доступа; лидер государства должен избираться народом путем свободных и честных выборов либо коллегией выборщиков, которые выбраны на основе ясной процедуры свободных и честных выборов, а не отбора на основе нетранспарентных и оспариваемых частью общества правил; законодательная власть, в зависимости от того, является ли демократия прямой или представительной, должна быть выборной (но ее необязательно выбирать прямым и всеобщим голосованием), эффективной — исполнительная власть должна быть автономна и подотчетна, а судебная власть должна быть независима от законодательной и исполнительной (то есть и государство, и граждане в равной степени обязаны подчиняться закону). Естественно, что также должны осуществляться всеобщие гражданские (политические) права. Без этих общепринятых условий политическая система в современном обществе не может считаться и никогда не будет признана демократичной, а любая другая менее конкурентна в долгосрочной перспективе.

Что же касается следующих четырех параметров (условий), то степень их осуществления, судя по всему, варьируется в зависимости от того, являются ли государства экстралиберальными, либеральными демократиями, демократиями либо незападными или нелиберальными демократиями. В соответствии с этими параметрами в государстве пресса должна быть независимой и контролировать путем обсуждения (в разной степени, от прямого до косвенного влияния на власть в зависимости от особенностей национальной политической культуры) процесс принятия политических решений. Должны соблюдаться принципы индивидуальной свободы человека (включая свободу выражения мнения), причем способы соблюдения этих принципов могут, судя по всему, варьироваться и обеспечиваться как существованием гражданского общества, гражданским правом, которое гарантирует наличие у человека неотчуждаемой частной собственности,

позволяющей ему иметь независимую от государства сферу деятельности, так и справедливым и легальным перераспределением государственных доходов (в демократиях эгалитарного типа) либо особой ролью конфессионального фактора (свободный моральный выбор на основе религиозных постулатов, ответственная свобода слова, справедливое и легальное перераспределение на основе религиозных постулатов). Должна наличествовать конкуренция различных политических сил (хотя она и может некоторым образом ограничиваться на определенных этапах исторического развития, в частности, через существование доминантной партии, с целью поддержания определенных правил конкуренции, и через разную степень и формы институализации политической оппозиции: от существования в достаточно жестких системных рамках «под зонтиком» доминантной партии до признания возможности существования оппозиционной политической партии вплоть до ее права стать правящей через систему открытого политического соревнования, осуществляемого на основе рациональных и справедливых правил). Должна обеспечиваться достаточно высокая (но разная) степень открытости общества в зависимости от особенностей его политической культуры и конфессиональной специфики. Должны существовать четкие (в том числе и юридические, но не только юридические, а возможно, и через систему неформальных конфессиональных ценностей и моральных постулатов) гарантии прав меньшинства в случае поражения на выборах, то есть поражения в политическом соревновании.

По вопросу о степени осуществления параметров демократии в зависимости от национальной специфики и конкретных условий политического развития стран (т.е., в действительности, по вопросу о правилах управления системой социально-политического доступа на основе ряда ограничений, связанных с национальной / культурной / конфессиональной / политической спецификой локальных обществ) и идет последние десять лет острая дискуссия среди политиков и политологов Запада и Востока, отражением которой стало появление разного рода концепций: прав человека (в разных интерпретациях на Западе) и азиатских ценностей (Ли Куан Ю, Махатхир, Махбубани), ислама и гражданского общества (Хатами), теории «трех представительств» (Цзян Цзэминь),

социалистического гармоничного общества (Ху Цзиньтао), суверенной демократии (В. Сурков). Концепция управляемой (закрытой) демократии применяется преимущественно для описания способа организации власти в демократиях участия (ограниченные плебисцитарные демократии) и, соответственно, по своему типу отличается от предыдущих. Этот способ управления открыто ограничивает социально-политический доступ к управлению определенными правилами: самый яркий пример — 6-я статья Конституции СССР, обуславливавшая социально-политический доступ членством в КПСС. Традиционалистско-идеологизированные модели авторитарного, неплюралистического политического режима на основе концепции социального / социалистического консерватизма с закрытым моноконфессиональным и/или моноэтническим социально-политическим доступом в полиэтнических и поликонфессиональных государствах являются шагом назад даже по сравнению с режимом ограниченной плебисцитарной демократии. Такого рода модели ограничивают свободу больше, чем управляемая или плебисцитарная демократия, так как они не основаны на нормах права, в силу чего порождают все более жесткие версии национализма и факторы национально-конфессиональной дифференциации. Это, в конечном счете, неизбежно приводит не к консолидации общества, а к возникновению тенденций социально-политического отторжения у значительной части населения, что порождает антагонистические этноконфессиональные и политические конфликты, усиление напряжения во взаимоотношениях с соседями, протест или апатию у активных, но не допущенных к управлению слоев общества; предполагает проведение насильственных модернизаций скачкообразного типа, дающих ограниченные результаты в ограниченные исторические периоды с долгосрочными отрицательными демографическими и социальными последствиями, и приводит страны, выбравшие такие модели, к международной изоляции или ориентации на наиболее консервативные международные партнерства, а значит, к дальнейшему и все большему отставанию как в политическом, так и в экономическом развитии по сравнению со странами, отдавшими предпочтение исторически апробированным моделям развития на основе творческого совершенствования теории и ее практического применения. По-

литические режимы с закрытым или жестко ограниченным социальным доступом в силу своей архаичности, как правило, имеют сложные отношения со всеми другими менее архаичными политическими режимами, не обязательно демократиями. Один из самых ярких крайних примеров такой модели развития — КНДР.

В экстралиберальных и либеральных демократиях все параметры демократии максимизированы, причем все государства такого типа обладают самой высокой долей ВВП на душу населения, то есть у них есть прочный экономический базис для гарантирования максимизированного выполнения всех упомянутых условий. Эти режимы до самого последнего времени были наиболее успешными в построении экономически и духовно-плюралистических конкурентных обществ, и есть большие основания считать, что именно они окажутся наиболее гибкими в преобразовании своих политических и экономических систем в процессе формирования нового экономического и технологического уклада и выхода на новые уровни развития. У «просто демократий» эти параметры находятся в определенном балансе. В нестабильных (неустойчивых) демократиях отсутствует историческая легитимизация, а следовательно, устойчивость демократических институтов, политический процесс носит персонафицированный характер, отсутствует баланс социальных и политических сил. Нестабильные демократии могут трансформироваться как в демократии и либеральные демократии, так и в нелиберальные демократии и политические режимы других типов, вплоть до диктаторских.

В нелиберальных демократиях существуют (в идеале) открытые, свободные и достаточно справедливые выборы (то есть наличествует демократия), но отсутствует либо сильно ограничен конституционный либерализм, т.е. социально-политический доступ в политических режимах такого типа ограничен не полностью транспарентными и принятыми только частью общества условиями. Самым нелиберальным видом нелиберальных демократий, которые находятся на грани с авторитарными режимами, судя по всему, являются «демократии участия» (ограниченные плебисцитарные демократии). Такие режимы подразумевают лидерство авторитарно-доминантной партии при небольшом и жестко контролируемом расширении народного участия в по-

литическом процессе, как правило, на низовом уровне, и руководство им при помощи норм права. Одновременно в таких режимах авторитарно-доминантная партия, как правило, избегает введения всеобщего избирательного права (либо каким-либо путем ограничивает его), не приветствует создания действенного парламента, введения системы сдержек и противовесов, а также проведения выборов с участием нескольких партий. Ее легитимность при этом обеспечивается и поддерживается приемлемыми на конкретном историческом этапе уровнями эффективности доминантной партии, поддерживающей справедливость (перераспределение благ) и политическую стабильность, что обеспечивает эволюционный переход к более конкурентному политическому режиму, гарантирующему дальнейшее благоприятное развитие нации.

В незападных демократиях существует иное, чем в либеральных, соотношение демократии и конституционного либерализма, в то же время они в целом более демократичны (и более конкурентоспособны), чем нелиберальные демократии или демократии участия. Все незападные демократии осуществляют поступательное движение в обеспечении все более открытой системы социально-политического доступа. В политических системах такого типа социально-политический доступ может контролироваться системой высококонкурентного доступа к определенным высоким, международно признанным уровням образования (этот уровень в некоторых случаях даже выше, чем в некоторых демократических государствах с системой открытого и равного социально-политического доступа), не достигнув которых невозможно заниматься политической и управленческой деятельностью практически ни при каких обстоятельствах. Политическая конкуренция в них может осуществляться «под зонтиком» доминантной партии, но политическая конкуренция, в принципе, существует как необходимая часть политической жизни, а не заменена «зачисткой» соперников, конкуренцией кланов и ведомств или имитацией политической деятельности. В демократиях такого типа может существовать система «персонализированного политического выбора», но нет несменяемости власти или неподсудности политических назначенцев. Система «персонализированного политического выбора», как правило,

уравновешивается особо жесткой, но справедливой и не нарушающей закон системой персонального наказания для провинившихся или несправившихся (Сингапур, Южная Корея периода 1970–1980-х гг.). Кроме того, там религия может играть особую, в том числе и освященную государством и законом, роль (ислам в Малайзии, иудаизм в Израиле, буддизм в Шри-Ланке, *панчасила*³² в Индонезии). В настоящее время незападными азиатского подтипа демократиями являются Турция, Ливан, Израиль, Иордания, Япония, Индия, Южная Корея, Малайзия, Сингапур, Тайвань, Шри-Ланка, Индонезия, причем западные демократии на Большом Ближнем Востоке, так же как и в Африке, не определяют тенденций регионального развития, а в Большой Восточной Азии — определяют. Пока открытым с точки зрения политической теории остается вопрос, являются ли западные демократии, то есть национальные конституционно-либеральные демократии и их подтип — восточные, азиатские, самостоятельным устойчивым подтипом демократий или же они неизбежно должны трансформироваться в либеральные, либо нелиберальные. Ответ на этот вопрос зависит от того, смогут ли эти страны, в конечном счете, перейти к системе открытого и равного социально-политического доступа или нет, так как внутри группы существует достаточно широкий разброс параметров социально-политического доступа, приближающих некоторые из них к демократиям либерального типа (Япония, Южная Корея, Тайвань), а другие — к нелиберальным (Сингапур, Малайзия, Индонезия).

Кроме того, западные азиатские демократии осуществили (в разной степени) синтез западного и восточного мировосприятия. Индивидуум там свободен, но нравственные законы и установления (включая религиозные) играют очень большую роль. При этом собственно церковь как институт (вне зависимости от преобладающей религиозной конфессии) в большинстве случаев отделена от государства и свое влияние на общество осуществляет нравственным и этическим примером. Общество там является социентричной самодетерминирующей системой, но та его сфера, которая определяется конфессиональными предпочтениями, может быть и космоцентрична, если это не мешает эф-

³² Особый вид государственно-синкретической идеологии.

фективности государства и не противоречит личным пристрастиям, то есть такие общества конгломеративны и плюралистичны за счет своей конгломеративности. В государственной сфере жизни в обществах данного типа существует примат правового государства, в котором приоритетны универсальные юридические (конституционно-правовые) нормы. Экономика таких государств достаточно прозрачна и функционирует, при всей своей национальной специфике (как, например, экономики исламских демократий), на основе международных норм. В политике в обществах, синтезировавших две традиции, существует равенство шансов, но может доминировать определенная политическая сила (так называемая доминантная партия). Это не формируемая властью партия, а партия, формирующая власть. Хотя политическая конкуренция в таких странах может быть некоторым образом ограничено упорядочена, авторитаризм практически всегда является гражданским, а не военным, он просвещенный, и цель его — модернизация общества, а не консервация традиционализма или усиление охранительных тенденций. То есть традиционные связи не означают снижения роли личности, а доминирование коллективных ценностей контролируется коллективным здравым смыслом. Соответственно, в политическом процессе важно устоявшееся и проверенное, соответствующее доминирующим политическим нормам, но здоровое и не традиционалистское. При этом существует и консенсус: точка зрения меньшинства, если она рациональна, будет принята во внимание, а доминантная точка зрения, прежде всего, станет способствовать рациональной модернизации государства, а не монополизации политического процесса определенной политической силой ради сохранения собственной власти любым путем. С течением времени доминантные партии в таких обществах, как правило, допускают формирование политического плюрализма и конкурентной многопартийности, поскольку в противном случае политическая и экономическая составляющая общества начинают стагнировать. В обществах данного типа существуют взаимоотношения граждан с государством. Это означает, что государство может предъявлять требования гражданам только в той степени, в которой само служит гражданам, при этом роль государства (а часто и религии) более выпукла, чем в западной

(либеральной) традиции, за исключением западных стран католического ареала, где у религии особая роль. Государство в азиатских демократиях играет направляющую роль в социальных трансформациях, но при этом не ограничивает экономическую конкуренцию и поощряет политику создания рабочих мест. В таких обществах действует принцип разделения властей, однако он может быть скорректирован в соответствии с нормами традиционной политической культуры или определенными конфессиональными положениями. Власть в обществах данного типа выборная, осуществляется большинством, доступ к ней открыт, но она регулируется обязательными конституционными правовыми нормами (в ряде стран с определенной национальной спецификой) и при этом может распространяться на некоторые сферы частной жизни шире и проникать в них глубже, чем в обществах западного типа, в частности, влияя на формирование справедливости в обществе и на процесс перераспределения благ. В то же время принципы функционирования власти в таких обществах включают легитимность, эффективность, власть не отчуждена от народа и не узурпирует доступ к материальным ресурсам под разными предлогами, а судебная власть независима от первых двух ветвей и является главным институтом и конечной эффективной инстанцией поддержания справедливости в обществе, а не подрывает ее.

В незападных (восточных) демократиях, строящих общество синтетического типа, ценности не всегда полностью отделены от интересов, но наличие демократических выборов делает итоги политического соревнования неокончательными, так как через определенное, достаточно короткое, время можно снова законно прийти к власти, а проигравшие не будут навечно отчуждены от власти, отправлены в эмиграцию (как в нелиберальных демократиях или демократиях участия) или физически уничтожены (как в диктатурах). В обществах такого типа могут оставаться сословные и другие перегородки, но существует и достаточно динамичная социальная мобильность (даже для низших каст в Индии). Национальный суверенитет как принцип гарантии от внешнего нелегитимного воздействия (включая финансовое в политической конкуренции) там довольно жестко, но рационально охраняется (соответствующие особые законодательные акты

существуют, к примеру, на Тайване, в Южной Корее). Принципы равноценности мировых культур, терпимости, свободной соревновательности сосуществуют в разной степени, в зависимости от степени толерантности конкретного общества и его традиционной культуры, и даже в таких открытых восточных обществах, как японское, начинают сущностно обсуждаться только в самое последнее время.

В подобных режимах властвования возможно сочетание разных принципов синтеза: к примеру, кандидаты в лидеры могут выдвигаться на основе традиционных представлений о системе отбора, а процедура выборов и передачи власти осуществляться по современному образцу, на основе процедуры свободных и честных выборов, в рамках прописанного конституцией процесса (Индия, Тайвань, Малайзия)³³.

Данные количественного анализа соответствующих типов политического правления, распределенные по регионам³⁴, показывают, что в Африке наблюдается самый большой разрыв между фактически противоположными формами правления — неустойчивыми демократиями и авторитарными режимами. Действительно, неустойчивые демократии, как правило, склонны акцентировать элементы демократии в ущерб конституционному либерализму. Авторитарные режимы могут акцентировать конституционный либерализм, а могут этого и не делать, но все авторитарные режимы негативно относятся к демократическим нормам, т.е. все они ограничивают социально-политический доступ на основе каких-либо нетранспарентных параметров, норм или условий, поддерживаемых только каким-либо узким сегментом общества. Исключением являются только некоторые режимы просвещенного авторитаризма, хотя и опирающиеся на определенные социально-политические сегменты общества, но не применяющие прямое насилие и расширяющие свою поддержку за счет наличия сверхдоходов в сочетании с управленческой эффективностью на основе высокой конкурентности правящей элиты. Важно

³³ Воскресенский А.Д. Политические системы и модели демократии на Востоке. — М.: Аспект Пресс, 2007. С. 5.

³⁴ Там же, с. 170–173.

отметить, что африканский опыт показал: демократия на слабой экономической основе без порядка, обеспеченного достаточно жесткими нормами конституционного либерализма, нежизнеспособна и трансформируется, как правило, в авторитарный режим. Некоторые из провозглашенных африканских демократий прошли и через диктаторские режимы (к примеру, Гана, Танзания, Кения). Сегодня из относительно успешных африканских демократических режимов можно назвать только ЮАР и Ботсвану. В то же время неустойчивых демократических режимов в Африке — подавляющее большинство, при этом пока неясно, какую модель политического устройства внутри категории демократии они со временем выберут. Одновременно нельзя гарантировать, что эти режимы не трансформируются в другие, отнюдь не демократические, то есть что им вообще удастся сохранить демократию.

На Большом Ближнем Востоке ситуация гораздо сложнее. Пожалуй, если говорить о восточных макрорегионах, она самая сложная и противоречивая. На Большом Ближнем Востоке явное меньшинство демократий, преобладают монархии и авторитарные (президентские и суперпрезидентские) республики. В то же время некоторые страны региона (как республики, так и монархии) встали на путь политического реформирования. Поскольку важнейшей частью политической культуры стран данного региона является конфессиональный, точнее исламский, фактор, результаты процесса модернизации будут зависеть от того, какую роль в нем сыграет ислам и как исламские нормы станут трактоваться в обществе. Особенностью политической культуры стран Большого Ближнего Востока является то, что традиционная мусульманская правовая доктрина (*фикх*) в принципе не предлагает однозначных ответов по вопросам организации политической власти. Исламская политическая модернизация предполагает *иджтихад*, то есть рациональное решение по вопросам, на которые шариат не дал однозначных ответов. Таким образом, проведение политической модернизации в регионе делает актуальным те принципы *фикха*, которые допускают зависимость норм от места, условий и времени (иными словами, зависят от региональной специфики), а также от «исключительных интересов», предполагающих легализацию нововведений, прямо не запрещенных

шариатом³⁵. Как справедливо отмечает Л. Сюкияйнен, «презумпция дозволенности всего того, что прямо не отвергается Кораном или Сунной Пророка Мухаммада, применяется тогда, когда речь идет о принятии мусульманским миром западных достижений, относящихся к выборам и политическому плюрализму»³⁶.

Исламская правовая и политическая мысль не имеет прямых жестких предписаний, касающихся устройства власти, если они не касаются противопоставляемых исламу институтов, которые расцениваются как угроза традиционным ценностям³⁷. Именно эти положения привели к синтезу достижений западной политической мысли, западного политического устройства и традиционных ценностей мусульманской политической культуры в ряде стран Азии (Турция, Малайзия, Индонезия). Однако традиционалистское понимание норм ислама может воспринимать и все прямо не упомянутое в Коране и Сунне как угрозу традиционным ценностям — в этом случае синтеза не получается. Тогда даже ограниченная политическая модернизация в обществе или встречается в штыки, или откладывается на неопределенное время, что, в конечном счете, может привести к феномену «отложенной модернизации», результатом чего могут стать политическая нестабильность, социальный взрыв и даже гражданская война.

Особенности и специфика моделей политического устройства стран Большого Ближнего Востока заключается в том, что в регионе присутствуют несколько жестко конкурирующих моделей политической модернизации и социально-политического доступа, продвигаемых гражданскими властями, военными и исламистами. Все продвигаемые этими тремя политическими силами модели апеллируют к конфессиональным базисным установкам политической культуры региона, воспринимаемым по-разному, причем ни одна модель пока не получила полного признания как универсальная и определяющая политическое развитие всего региона. Ускорение в странах Большого Ближ-

³⁵ Сюкияйнен Л. На западный лад с исламским акцентом. Политико-правовая система ряда мусульманских стран готова к последовательному реформированию // НГ-религии. 15 января 2007 г. С. 4.

³⁶ Там же.

³⁷ Мелкумян Е. С. Политические реформы в арабских странах: принципы и ценностные ориентации // Восток, 2006, № 6. С. 119.

него Востока процесса смены власти сопровождается попытками исламистов и фундаменталистов продвинуться в верхние политические эшелоны и форсировать проведение модернизации исламистско-реформистского и/или исламистско-традиционалистского (в зависимости от условий конкретных стран) толка по турецкой, иранской либо по еще более жесткой модели. Акцент на исламистско-традиционалистских началах привел к усилению внешнего военно-политического влияния, прежде всего США, которые попытались силой инициировать в регионе форсированное развитие модернизации западного типа (вестернизации) в ее американизированной форме, особенно после актов международного терроризма «Аль-Каиды».

Специфика политического устройства подавляющего большинства государств этого региона, кроме основополагающего влияния конфессионального фактора в его разной интерпретации, заключается также и в том, что армии этих стран сильно политизированы и нередко гражданскими властями эффективно не контролируются. Более того, кое-где армии превратились фактически в один из наиболее эффективных государственных институтов либо в единственный дееспособный орган государственного управления³⁸, то есть там действует в большинстве случаев чрезвычайная система гарантирования общественной стабильности. Особенность военно-гражданских отношений на Большом Ближнем Востоке состоит в том, что армия и спецслужбы пытаются (иногда достаточно успешно) определять специфику развития основных политических процессов, выступать гарантом политического развития, политической стабильности либо напрямую вмешиваться в определение направления, скорости проведения и последовательности этапов политического развития³⁹. Превратившись в один из мощнейших центров влияния, армия и спецслужбы стали организатором ряда политических переворотов и мятежей (Сирия, Ирак, Египет, Йемен, Турция, Алжир, Пакистан, Мавритания) либо напрямую вмешивались в подде-

³⁸ Ахмедов В.М. Армия и власть на Ближнем и Среднем Востоке в эпоху глобализации и модернизации // Аналитические доклады. Выпуск 5(10). М.: МГИМО-Университет. Июнь 2006. С. 3.

³⁹ Подробнее см.: Армия и власть на Ближнем Востоке: от авторитаризма к демократии / под ред. В.М. Ахмедова. — М.: ИВ РАН. 2002.

ржание внутренней стабильности (Алжир, Ирак, Йемен, Сирия). Приход военных во власть в ряде стран региона (Египет, Сирия, Ирак) на определенном, исторически очень коротком, этапе оказал положительное влияние на их развитие, инициировал сдвиги в политической структуре общества и, в конечном счете, оказал влияние на выбор той или иной модели развития. При этом, с одной стороны, таким образом удалось укрепить центральную власть, консолидировать общество и мобилизовать население на решение острых социально-экономических проблем, с другой стороны, в тех государствах региона, которые не смогли быстро отойти от этой модели, надолго утвердился авторитаризм, причем по большей части отнюдь не в его просвещенных формах, а развитие демократических институтов управления и гражданского общества было прервано⁴⁰. Стабилизировав общество, военные практически во всех странах Большого Ближнего Востока оказались неготовыми профессионально, а также проявили непоследовательность в проведении политических, экономических реформ и осуществлении преобразований в обществе, особенно если эти преобразования противоречили корпоративным интересам силовых структур. Постепенно гражданские власти ряда государств Большого Ближнего Востока научились взаимодействовать с армией как с политической силой, и в регионе, во всяком случае, в экономически и политически наиболее развитых странах, начала работать новая модель развития: рычаги управления в государстве стали постепенно передаваться гражданским политикам, была осуществлена деполитизация армии, усилен поиск механизма действенного контроля над ней.

Таким образом, на Большом Ближнем Востоке наблюдается жесткое противостояние разных моделей политического устройства, причем общая составляющая вектора политической модернизации пока неоднозначна. В целом в регионе авторитарная и традиционалистская составляющие в политических режимах не ослабевают, хотя в принципе осовремениванию и демократизации нет реальной альтернативы, поскольку без них очень сложно, а с определенного момента и невозможно осуществить

⁴⁰ Армия и власть на Ближнем Востоке: от авторитаризма к демократии / под ред. В.М. Ахмедова. — М.: ИВ РАН, 2002.

экономическую модернизацию, без которой маловероятно повышение мировой конкурентоспособности отстающих в развитии стран региона⁴¹. Возможно, именно из-за противостояния разных моделей политического устройства регион пока и не может предложить решение проблем политической модернизации как части целостной модели интенсивного регионального социально-экономического развития. Кроме того, отложенная политическая и экономическая модернизации, т.е. длительное ограничение социально-политического доступа на основе нетранспарентных и субъективно трактуемых правил и установлений, могут, в конечном счете, в конкретных случаях, послужить причиной социального взрыва, длительной политико-экономической дестабилизации или даже гражданской войны.

В Восточной Азии наблюдается наименьшая поляризация моделей правления, что, по-видимому, способствует формированию компромисса различных политических сил по поводу общего вектора политической и экономической модернизации региона. Модернизация (приближение к современности) в Восточной Азии воспринимается не как вестернизация, то есть неизбежность движения государственных образований в сторону западной модели развития, а как особый путь развития, в рамках которого осуществляется синтез западного политического опыта (демократии), норм конституционного либерализма и автохтонной политической культуры во всем ее конкретном конфессиональном, страновом, региональном своеобразии (вестминстерская модель и кастовая система в Индии; буддийская государственность и демократия в Шри-Ланке; до последнего времени — доминантная роль либерально-демократической партии в Японии; особая роль исламского конфессионального параметра в Малайзии и синкретической идеологии *панчасила*, ограничивающей ислам и обеспечивающей конфессиональный плюрализм при мягком доминировании ислама в Индонезии; наличие доминантного харизматического политического лидера — министра-наставника в Синга-

⁴¹ Косач Г.Г. Саудовский демократический эксперимент: внутренние предпосылки // Арабские страны Западной Азии и Северной Африки. Выпуск 6. — М.: Центр стратегических исследований, 2007. С. 64–67; В.А. Мельянецев. Арабо-исламский мир: сравнительная оценка макроэкономической и социальной результативности. Там же. С. 130–136.

пуре; китаизированный марксизм, внутривластьная демократия, прямые выборы на низовом административном уровне, упор на законность и конфуцианскую этику в КНР). Подавляющее число политических режимов в этом макрорегионе — демократии, нестабильные демократии и конституционные монархии, они и задают общий вектор регионального развития. Режимов с другим вектором политического развития — жестко авторитарным либо военным правлением — меньшинство и ни один из них не может предложить сравнимой по успешности модели экономического роста.

В этом макрорегионе наибольшее количество незападных демократий, то есть тех стран, которые сумели синтезировать демократические принципы открытого социально-политического доступа и конституционный либерализм с особенностями своей политической культуры, включая специфику конфессиональной организации общества и, в некоторых странах, — государства. В этих странах культурно-цивилизационная специфика может влиять на формы функционирования системы открытого социально-политического доступа, не уничтожая в принципе эту систему. Именно среди этих стран до мирового финансово-экономического кризиса и находились показывающие наиболее впечатляющий региональный (и мировой) экономический рост (Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур), причем этот рост осуществляется не на основе мобилизационной модели развития насильственного типа, а на основе модернизации как особого, синтетического пути, не западного и не мобилизационного типа. Собственно говоря, только эти государства и смогли превратиться из развивающихся в развитые и догнали Запад фактически по всем параметрам, невзирая на свой географический или демографический размер, ресурсную обеспеченность и так далее, изменив экономическую и политическую карту мира. Теперь, когда к такому типу развития может постепенно присоединиться Китай, Восточная Азия начинает превращаться в центр мирового экономического роста XXI века. Сегодня, опираясь на опыт развития последних 200 лет государств с разного типа политическими и экономическими системами и разными типами социально-политического доступа, с достаточно большой степенью уверенности можно сказать, что никакой другой путь не станет успешным для населения этих стран.

Китай все же пока являет собой особый случай в регионе. Эта страна сохранила свою специфическую политическую культуру в виде китаизированного марксизма, к началу XXI века синтезировав ее с некоторыми положениями трансформированной и модернизированной традиционной политической культуры конфуцианства (в частности, этические представления)⁴². На локальном (низовом, уездном и поселковом) уровне начат эксперимент с внедрением открытого социально-политического доступа, т.е. введены прямые выборы, в то время как на верхнем существуют элементы конституционного либерализма (верховенство закона, конституционное признание и судебная защита частной собственности, частично — разделение властей, частично — свобода слова и собраний). Система ограниченного открытого социального доступа была довольно широко введена в Китае, по предложению Дэн Сяопина, в экономике (семейный подряд и «двухколейная» экономика), а затем частично и в разной степени — в научно-образовательной сфере, экспортных отраслях, секторах электроники и хай-тека. Такая модель «демократии участия» приблизила страну к модели нелиберальной и, одновременно, незападной демократии, обеспечив успех проведения экономической модернизации. В конечном счете, судьба построения этой модели в Китае будет зависеть от воплощения в жизнь провозглашенной концепции построения «гармоничного общества» (*хэсе шэжухэй*) и научной модели развития, в центр которой поставлен конкретный человек⁴³.

Заключение

Проанализированный конкретный региональный и страновой материал, структурированный в соответствии с концептуальными положениями, показывает, что именно регион Большая Вос-

⁴² Воскресенский А.Д. Большая Восточная Азия: мировая политика и энергетическая безопасность. — М.: Ленанд, 2006.

⁴³ Гоуцзянь шэжухэй чжуи хэсе шэжухэй вэньда замысел и построение гармоничного социалистического общества в вопросах и ответах. — Пекин: Хунци чубаньшэ, 2005; Галенович Ю.М. Девиз Ху Цзиньтао: социальная гармония в Китае. — М.: Памятники исторической мысли, 2006. Интересно сравнить эту концепцию с идеей «сбережения народа», высказанной российскими мыслителями и политиками (А. Солженицын, В. Путин).

точная Азия является важнейшим мировым полигоном выработки модели политической модернизации, дающей удачный синтез демократических форм правления (системы открытого и равного социально-политического доступа, т.е. участия всего народа в управлении государством) и особенностей функционирования автохтонной политической культуры (общих закономерностей и региональной / цивилизационной специфики), результирующих, соответственно, в моделях впечатляющего экономического роста немобилизационного типа (Япония, Тайвань, Сингапур, Южная Корея, Индия, Китай). В Восточной Азии к концу XX века (Сингапур, Малайзия, Тайвань, Южная Корея, Китай) опытным путем была найдена удачная сущностная форма экономической и ненасильственной политической модернизации, которая, отсекая неэффективные, нежизнеспособные и нерациональные компоненты политической системы, одновременно укрепляла и ускоряла процесс экономической модернизации: сначала создавая экономическую базу (с внешней помощью или с опорой на собственные силы, в зависимости от конкретных условий страны) и законодательно вводя экономический либерализм, затем, проводя все более широкое, постепенное и одновременно жесткое, но рациональное законодательное введение норм и правоприменение конституционного либерализма, поощрение меритократии и формирование на ее основе эффективной бюрократии, далее осуществляя постепенную дальнейшую демократизацию (т.е. расширяя границы социально-политического доступа вплоть до его полной открытости) в зависимости от способности политической культуры конкретного общества «переваривать» и осваивать политические изменения. Важно отметить, что во всех странах Восточной Азии, которые добились экономического процветания, формы и скорость осуществления этой модели были различными, но базисные параметры оставались неизменными. Исключения из этой модели касались только государств с импортированной моделью демократии (Индия, Япония), да и то детальный анализ японского и индийского опыта выхода на высокие темпы экономического роста скорее подтверждает, чем опровергает, это положение.

Во всех этих странах, даже на этапе частичного ограничения социально-политического доступа, политическая элита, осущест-

вляющая преобразования, выдвигалась на основе принципов меритократии, то есть административно продвигались по карьерной лестнице только образованные, эффективные и некоррупцированные управленцы, отстраивались, прежде всего, те политические институты, существование которых признавалось необходимым на основе международного опыта, а их укоренение, успешное и эффективное функционирование было необходимо и возможно именно в этих государствах. При этом политическая элита создавала эффективные и в целом справедливые политико-экономические системы (Сингапур, Малайзия, Тайвань), где можно было преуспеть без коррупции и кумовства, что получало одобрение и поддержку народа, а некоторые страны по мере роста эффективности постоянно и целенаправленно, но также в зависимости от конкретных условий, расширяли формы и степень участия всего народа в управлении государством и степень демократичности политической системы (т.е. постепенно открывали социально-политический доступ) вплоть до возможности легального перехода власти к оппозиционной партии (если она представляла детально проработанную конкурентную программу, получающую одобрение через выборы большинством населения) и добровольной передачи власти новому победителю на следующих выборах в случае поражения (Индия, Республика Корея, Тайвань, Япония). В странах, где сложилась система доминантной партии, эта партия заключала своеобразный «социальный договор» с населением: ее доминирование на определенное время в политико-экономической сфере компенсировалось форсированным созданием эффективной неполитизированной и жестко контролируемой бюрократии, введением системы ротации политической элиты, избавлением от коррупции, созданием прозрачного правового государства, жесткой правовой либерализацией экономической системы, повышением жизненного уровня всего населения при рациональной имущественной дифференциации, гарантировавшей справедливое, легальное и ненасильственное перераспределение благ внутри общества. При осуществлении такой модели не надо было силой «мобилизовывать» население. Понимая, что проводимые реформы экономически освобождают людей, делают социально-политический доступ открытым и равным, повышают степень их свободы, прежде всего — экономической, а затем и политической и,

в конечном счете, улучшают жизнь за обозримый период существования одного поколения (10–15 лет), а не ради абстрактного будущего, население этих стран просто повышением своей экономической активности в рамках рационального курса модернизации сделало такую модель успешной. В этих условиях все население без насильственных «мобилизаций» превращалось в «агента модернизации». Такому обществу не нужна идеология в традиционном понимании этого слова — т.е. какое-либо обоснование отказа или ограничения в социально-политическом доступе при сохранении монопольного права насильственного изъятия неизбираемым меньшинством части произведенной большинством прибавочной стоимости ради каких-либо целей, так как национальная модель преобразований на основе открытого и равного социально-политического доступа консолидирует нацию самым успехом своего осуществления. Такой путь ориентирован на снижение социально-политической конфликтности в обществе, а не на ее увеличение.

Доминантная партия и харизматические лидеры в государстве выступали гарантами справедливости выборов и рациональности принимаемых политических и экономических решений, отсекая нерациональных или лоббируемых узкоклановых решений, жестко, но в целом доброжелательно обеспечивали постепенное вызревание элементов многопартийности в процессе острой фракционной борьбы внутри партии и «отпочкования» в определенный момент новых политических партий, включая даже партии оппозиционного толка, которые начинали бороться за голоса избирателей, но при этом не подрывали фундаментальных правил состязательности, признания очевидности поражения на свободных и справедливых выборах и передачи власти победителю в случае своего поражения. Если же возникали опасения возможности подрыва фундаментальных правил состязательности доминантной либо оппозиционной партией или экстремистски настроенными группами, в качестве гаранта выступало государство в лице его специализированных институтов и резервных механизмов защиты конституционного строя, что обеспечивало понимание всем населением важности их существования. Нужно отметить, что харизматические лидеры типа Дэн Сяопина и Ли Куан Ю сами достаточно долго оставались у власти при молчаливой поддержке большинства населения без исключи-

тельной опоры на военизированные структуры только потому, что гарантировали непреклонность выдвижения наиболее способных к решению задач управления (а не на основе кланового или корпоративного принципа) и осуществления определенной конституцией и законами тотальной ротации властных элит и бюрократии, которая обеспечивала периодическую (без превышения пятилетнего срока) сменяемость этих структур, а значит, непрерывное повышение конкурентоспособности национального государства. Именно поэтому они и не вошли в историю как диктаторы, в отличие от многих других политических деятелей. При этом в сегодняшнем мире удержание высшей власти под различными нелегитимными предложениями более оговоренных конституцией сроков воспринимается практически всеми политическими режимами, за исключением наиболее одиозных, как персональный неуспех политика и политической элиты страны в эволюционной трансформации системы к ее более конкурентному и, как следствие, более стабильному состоянию и успешному развитию.

Такой тип политической модернизации можно назвать консервативным в том смысле, что он первоначально опирается на достаточно узкий сегмент политической поддержки трех институтов в различном сочетании в зависимости от условий конкретной страны (армейские круги / силовые структуры, спецслужбы и/или доминантная партия), если нет другой политической силы, которая бы обладала высокой степенью ответственности, политической воли и направленной мотивации, из которых только преимущественная опора на доминантную политическую партию позволяет, в конечном счете, расширять народное участие в управлении страной и добиваться впечатляющих темпов экономического развития. Содержательное обозначение этой модели — национально-либеральный консерватизм или демократия с национальной спецификой.

Этот тип политической модернизации в Восточной Азии не цементировал традиционные, консервативные, мешающие развитию сегменты общества, а обеспечивал ту необходимую степень политической стабильности (Тайвань, Южная Корея, Сингапур), которая позволяла обществу стремительно развиваться, прежде всего — экономически. При этом наличие харизматического ли-

дера, сохраняющего власть в течение долгого времени с опорой на доминантную партию (к примеру, Чан Кайши и Гоминьдан, Ли Куан Ю и Партия народного действия, Дэн Сяопин и КПК), позволяет поддерживать легитимность при осуществлении такого типа модернизации в течение достаточно долгого периода времени только в том случае, если в обществе происходит очевидный эволюционный переход к упорядоченному, эффективному и в целом к более свободному и открытому экономическому и политическому состоянию, а эти изменения становятся реальными для населения в относительно короткие (три-четыре года) сроки. При этом историческая заслуга Дэн Сяопина и Ли Куан Ю как раз и заключалась в том, что они оставались неформальными гарантами существования стабильности при обязательной периодической ротации всего высшего эшелона власти, в дальнейшем не оставляя за собой формальных высших постов управления государством (Дэн Сяопин сохранял только пост председателя Военного совета при ЦК КПК, обеспечивая гражданский контроль над армией, и пост председателя Ассоциации игроков в бридж, что дополнительно подчеркивало его отход от активной политической жизни, а Ли Куан Ю — пост министра-наставника). Сегодня по похожему, в целом, пути движутся и страны Латинской Америки⁴⁴.

Однако все равно рано или поздно модернизация делает необходимой либерализацию политической системы в ответ на необходимость повышения общей конкурентоспособности трансформируемого национального государства. С 1978 года Китай также вступил на этот путь, но масштабы страны, численность населения, специфика формирования политической элиты внутри КНР (наличие левой консервативно-традиционалистской оппозиции внутри государства и партии, полностью не сломленной даже всеочевидностью провала «большого скачка» и «великой пролетарской культурной революции»; неоднозначность во многих случаях позиции армии и спецслужб; сохраняющие, несмотря на жесткие антибюрократические и антикоррупционные меры, бюрократизация и коррумпированность доминантной партии) делает путь перехода от экономической либерализации к поли-

⁴⁴ Красильщиков В. Бразильские уроки для России. Без демократии успешная модернизация страны невозможна // Независимая газета, 8 августа 2012 г. С. 5.

тическому трансформированию более сложным, неоднозначным и трудным, чем в Японии, на Тайване или в Сингапуре. В то же время эволюционный процесс смены властной номенклатуры и политической элиты, происходящий путем введения жесткой системы ротации партийного аппарата, его постоянного конкурентного омоложения (т.е. постепенного омоложения на основе профессионализма и меритократии, а не сталинско-маоцзэдуновских принципов выдвижения лояльной вождю молодежи в виде отрядов хунвэйбинов и «красной профессуры» для идеологического обоснования этой политики), увеличение легитимации путем расширения применения принципа главенства закона для всех, включая партийную номенклатуру, стоящую в Китае, как в свое время в СССР, над другими номенклатурами (самый яркий пример — дело Бо Силая и его жены), делает такой путь развития китайской нации эволюционно необратимым.

Изучение с точки зрения политической теории специфики модели незападной демократии азиатского типа, то есть национальной конституционно-либеральной демократии (Япония, Тайвань, Сингапур, Индия, Малайзия, Шри-Ланка), а также моделей эволюционной трансформации нелиберальных демократий (авторитарные республики либо конституционные монархии, к примеру, Таиланд) и так называемых демократий участия (плебисцитарные демократии — Китай) в незападные демократии может помочь найти пути формирования данной модели и в других странах (в частности, в России). Такой путь дает возможность избежать как драматических внутренних политических потрясений (политические протесты и волнения), всегда имеющих негативные экономические последствия для народа, так и внешнего отторжения, также чреватого долгосрочными негативными экономическими последствиями (отток капитала, сокращение иностранных инвестиций, препятствий в перетоке /трансфере или покупке/ новейших технологий). Естественно, что в других странах баланс факторов, составляющих существо этой модели, будет, скорее всего, отличным от наблюдаемых в Японии, Индии, на Тайване, в Сингапуре, Китае, ряде наиболее успешных стран Латинской Америки, подобно тому как соотношение факторов является неодинаковым и в самих этих странах по сравнению друг с другом.

Глава 11. Незападная демократия на Западе

Главное заявление различных проектов «Незападной демократии» состоит в том, что демократия не должна воплощать присущие современным западным демократическим системам институциональные черты, и прежде всего оппозицию, организованную в политические партии и соревнование за контроль над правительством в форме электорального соревнования. Эту позицию изложил первый президент Индонезии Сукарно, рассматривавший парламентскую демократию как внешнее заимствование, которое «включает понятие активной оппозицию, и именно добавление этого понятия привело к сложностям, с которыми мы сталкиваемся в последние 11 лет» [Goh Cheng Teik, 1972, p. 231]. Политические традиции Индонезии, как утверждал Сукарно, предполагают принятие коллективных решений через консенсус. Демократия должна быть «управляемой», основываться на взаимном сотрудничестве, а не на партийных конфликтах.

Это заявление, равно как и стоящая за ним аргументация, является каноническим и не подлежит оспариванию, даже если оно растворяется в многочисленных вариантах. Точка отсчета одна: либо общество по природе является гармоничным и люди представляют собой единое целое, либо целью политики является сохранение сотрудничества и гармонии. Политические разногласия — явление искусственное, ложное, инициированное эгоцентричными и конфликтными политиками. Если позволить им организоваться, особенно в политические партии, то они будут представлять опасность. Как только конфликты выйдут на политическую поверхность, остановить их будет очень трудно, и они могут привести к распаду строя или даже к гражданским

войнам¹. Более того, мы видим в этих мольбах и то, что Шмиттер и Карл [Schmitter, Karl, 1991] называли «заблуждением электорализма», когда чисто процедурные правила не обязательно приведут к здоровым и хорошим результатам. Как заметил Лагерспетц [Lagerspetz, 2010, p. 30], «мысль о том, что чисто механические, бессодержательные процедуры могут определить, что нам следует делать, вызывает глубокое беспокойство». В конце концов, практика принятия решений на основе консенсуса корнями уходит глубоко в национальные традиции (националистические призывы никогда не наносят особого ущерба), а «формальная демократия» представляет собой чуждый западный импорт.

Михаил Леонтьев, российский тележурналист, защитник «суверенной демократии», в интервью польской газете «Дженник» 19 января 2008 г. заявил, что «российская политическая система — по содержанию, хотя и не по форме — ничем не отличается от действующих чопорных западных демократий». Это заявление вторит конфуцианству и исламу, которые, по словам Келлера [Keller, 2010, p. 4], «склонны определять демократию как процедуру или механизм, чьё влияние нисколько не угрожает конфуцианской или исламской сущности, часто интерпретируемой как ценность...». Но если отличается форма, то, наверно, отлично и содержание? И зачем тогда политические проекты, в которых содержится отказ от основных характеристик политической организации, всюду определяемой как демократия, сохраняют это название? Этот вопрос приводит нас в «зал зеркал»: один вопрос — какими могут быть эти устройства, и второй — почему они заявляют, что такие устройства называются «демократиями» [Dunn, 2005]? Можно утверждать, что те формы политического устройства, которые сложились на Западе и присвоили определенное наименование, не являются лучшими для отдельной «незападной» страны. Я могу лишь разделить недоумение Данна [Dunn, 2003, p. 5]: «Я бы хотел подчеркнуть не столько невероятность идеи единого глобального критерия легитимности, сколько странность выбранного нами критерия: странность выбора названия демократии для обозначения того, как везде должна

¹ О важности гармонии и опасениях конфликтов в конфуцианстве см.: Nathan, 1986 and Hu, 2000.

осуществляться политика, и при всех, кроме самых неблагоприятных, обстоятельствах». Тем не менее, возможно отражая амбивалентность всего проекта, на это название претендуют все. Даже название «Корейская Народно-Демократическая Республика» является имитацией названия штата Род-Айленд в соответствии с конституцией штата 1641 г., первым назвавшим себя «демократическим или народным правлением».

Вопрос ещё больше осложняется и запутывается, когда становится понятно, что совсем недавно стало нормой называть «хорошее» правление «демократией»; причем название является внешним, точнее, американским экспортом. Когда в США, Франции, Испании и ряде новых независимых латиноамериканских государств появились новые политические системы, они не назывались «демократиями». Это название постепенно получило позитивную коннотацию в первой половине XIX в. [Hansen, 2005, p. 2]², но граница между политическими системами продолжала проходить между монархиями и республиками. Только после Первой мировой войны произошел прорыв, спровоцированный Вудро Вильсоном. Как отметил Манела [Manela, 2007, p. 39ff], Вильсон позаимствовал язык «самоопределения» у Ленина, но, чтобы противостоять присущему этому языку призыву, он добавил «согласие быть управляемыми». Таким образом, он использовал язык самоопределения в более общем, неконкретизированном смысле и свел этот термин к «народному суверенитету», представляя международный порядок, который бы основывался на демократических формах правления. Разумеется, при правительстве Вильсона заработала мощная пропагандистская машина, продвигавшая концепцию «хорошего» правления во всем мире. В результате «демократия» стала общеупотребляемым словом с новым смыслом, которого раньше не было. Мониторинг прессы, не только американской, но и государств-союзников, показывает тенденцию использования слова «демократия» в вильсоновском достойном и достижимом смысле [Graubard, 2003, p. 665].

² Возможно, первым, кто использовал термин «представительная демократия» вместо «республики» в Латинской Америке был перуанский конституционалист Мануэль Лоренцо де Видаоре в 1827 г. [См. Rivera, 2009].

Зачем тогда придерживаться названия этого отчетливо чуждого имплантата, отрицая институциональные установки у его истоков? Неопровержимая в наше время претензия, содержащаяся в названии, состоит в том, что определенные политические установки воплощают «правление народа». Демократия может быть «представительной» (как на Западе), «опекунской» [Keller, 2010, p. 9], «управляемой» (как в Индонезии) или «суверенной», с государством во главе (как в России). Политические установки, «форма» или «функция» могут варьироваться в зависимости от традиций и обстоятельств, но их «содержание» остаётся неизменным, поскольку это просто разные формы народного правления. Замечание Шмитта [Schmitt, 1993, p. 372], что «демократия — отождествляет доминирующих и подчиненных, управляющих и управляемых, приказывающих и повинующихся» не случайно: до тех пор пока государство действует по завету народа и от имени «народа», различные институциональные установки могут привести к одному политическому идеалу — в этимологическом смысле к демократии или правлению народа. Более того, «единство», «гармония» и «сотрудничество» делают мир более разумным и справедливым, чем с результате процедурного управления конфликтом.

Я не собираюсь здесь обсуждать эти заявления, какими бы спорными они ни являлись. Я лишь хотел подчеркнуть, что эти убеждения лишь с небольшими вариациями разделяли основатели представительных институтов на Западе. Лозунг «едины мы стоим», предполагал только один вариант «стояния». Потребовалось больше века, чтобы западные теоретики демократии обнаружили, что можно выстоять, даже разделившись. Несмотря на то что среди нормативных политических философов проскальзывают нотки ностальгии по «консенсусу», мы знаем, что политические институты позволяют справиться с конфликтами, что конфликты можно структурировать, регулировать и сдерживать, что чисто процедурные правила могут вполне эффективно управлять конфликтами мирным способом, не прибегая к силовым методам, что политическая оппозиция на самом деле может повысить качество коллективных решений, а самое, может быть, важное, — что избрание правительства путём достаточно свободных выборов является единственным возможным способом привить политическую свободу в разделенных обществах. Я не

сторонник того, чтобы воспринимать каждодневную жизнь в условиях демократии как привлекательное зрелище, я не защищаю специфические институты и правила. Моя главная мысль состоит в том, как показывает западный опыт, что при наличии организованных конфликтов общества могут с определенными трудностями научиться жить в мире и что демократия – система, обеспечивающая мирное сосуществование без исключительной опоры на силу.

Далее рассматриваются основные характеристики консенсусальной основы представительного правления на Западе. Основной урок этой истории заключается в том, что взгляды на политику могут меняться. Завершает главу общий аргумент о пластичности политических «традиций».

Запад

Представительное правление на Западе зародилось из идеологии, постулирующей основополагающую гармонию интересов в обществе. Исходя из предположения, что общество характеризуется гармоничным сочетанием ценностей и интересов, «классическая»³ концепция представительного правления предполагала существование того, что можно определить как нечто общее и общественное, общее благо, интерес или воля. Роль представительных институтов заключалась в определении и воплощении этого общего интереса. Эта роль, таким образом, эпистемологична — поиск истины. Истину еще предстояло найти, поэтому делиберация должна была привести к консенсусу. Политические расколы, как представлялось, не благоприятствовали поиску истины. Их могли вызвать страсти или интересы, поэтому они становились опасными и провоцировали гражданские конфликты. Как только определено общее благо, то его реализация осуществляется представителями без вмешательства обычных граждан. Таким образом, организованная оппозиция правительству рассматривалась как препятствие.

³ Вслед за Шумпетером, я считаю «классической» теорией представительного правительства ту идеологию, которая была сформирована в конце XVIII в., а не в Древней Греции.

Гармония интересов

Предложенные политическими мыслителями концепции общего и общественного интереса, блага и воли, отличаются друг от друга, и терминологическое многообразие не случайно. Одно из отличий заключается в том, будет ли общее благо сформулировано независимо от индивидуальной воли каждого или будет определено их агрегирование. Руссо разделял первый подход, утилитаристы поддерживали второй. Другое отличие касалось того, будут ли общие интересы определены всеми людьми в результате какого-то процесса или только узким кругом просвещённых.

Используя современный аналитический аппарат, мы можем выделить два типа ситуаций, при которых интересы общества будут гармоничными.

1. *Индивидуальные воли совпадают в том смысле, что один и тот же миропорядок является лучшим для всех и каждого.* Мы все хотим предотвратить внешнее вторжение; мы все хотим эвакуировать прибрежный городок в случае приближения смерча и т.д. Заметим, что то же самое справедливо и в случае, когда каждому безразлично, что делать, пока все поступают одинаковым образом.

Если интересы гармоничны в таком смысле, то решение каждого будет таким же, как решение всех остальных. Конечно, было бы неправильно утверждать, что другие хотят того же: если другие заставят меня сделать то же самое, что я сам заставляю себя сделать, то я подчинюсь, но — себе. Более того, законодательная процедура теряет значимость: когда все хотят одного и того же, процедуры приведут к одному решению. Любой и каждый набор «всех» сможет диктовать всем остальным с их согласия. В конце концов, это решение вызовет спонтанное подчинение: если каждый индивид будет жить по законам, выбранным им самим, то никого не придётся принуждать следовать им.

В такой ситуации разногласия могут возникнуть только при условии, если индивиды не уверены в том, какое решение является лучшим. Например, все члены присяжного суда единодушно хотят осудить обвиняемого, если он виновен, и оправдать его, если он невиновен. У судей нет других интересов, кроме как осу-

ществлять правосудие. Поэтому если истинное состояние вещей (виновен, невиновен) будет установлено, решение в отношении дальнейших действий будет единодушным. Каждый житель захочет эвакуировать прибрежный городок при угрозе смерча и не захочет, если такой угрозы нет, поэтому существует только один вопрос, будет ли смерч. Процесс коллективного принятия решения сводится к поиску истины. Его роль эпистемологична [Coleman 1989]. Если возникают разногласия, то они будут чисто когнитивными.

2. *Преследование индивидуальных интересов ведёт к коллективно неоптимальному результату.* Образцом такой ситуации является дилемма заключенного: в ситуациях, когда каждый заключённый преследует только свои интересы и ценности, все получают худшие результаты. Коллективный результат индивидуальных рациональных действий является социально неоптимальным. Примеров достаточно. Допустим, что каждый захочет отнять собственность другого, но, если каждый попытается это сделать, в результате каждый будет бороться, а не инвестировать, жизнь станет мрачной, жестокой и короткой. Или, допустим, я хочу поймать как можно больше рыбы из озера, но того же хочешь ты — в результате через какое-то время каждый из нас поймает меньше рыбы.

Как мы можем исправить ситуацию? Мы можем принять законы. Законы определяют, что никто не может воровать или ловить рыбу сверх нормы и что нарушения будут основанием для наказания. Предположим, мы должны проголосовать за этот закон или позволить каждому гражданину принимать решения самостоятельно. Поскольку согласие с этим законом улучшает положение всех и каждого, голосование в его пользу будет единодушным. Наш общий интерес состоит в том, чтобы все соблюдали закон, а наша общая воля в том, что все должны его соблюдать. Более того, индивиды свободны действовать в общих интересах, *только* если закон заставляет каждого действовать таким образом. В естественном состоянии я знаю, что, если я буду действовать в общих интересах, другие — не будут, поэтому я не смогу и не буду свободным делать то, что для меня является наилучшим.

Заметим, однако, что действия в общих интересах не всегда соответствуют лучшим интересам каждого в отдельности, когда

и другие поступают так же. Если другие инвестируют, мне всё же станет лучше, если я буду отнимать у них их накопленную собственность. Если другие не ловят рыбу сверх нормы, мне все равно будет лучше, если я буду это делать. Нас придётся принуждать не действовать в наших индивидуальных интересах против нашей индивидуальной воли. Таким образом, общая воля не является агрегированием воли отдельных индивидов⁴.

Коллективно выгодный результат может подкрепляться рациональной моралью. Предположим, я задам вопрос: «Чего бы я не хотел, чтобы другие делали по отношению ко мне?». Ответ один: они не должны воровать мою собственность или ловить рыбу сверх нормы. Я бы хотел, чтобы все в своём поведении руководствовались правилом: «Не делай другим то, что ты бы не хотел, чтобы другие делали по отношению к тебе». Все индивиды захотят, чтобы все другие приняли это правило. Это единственное правило, которое может быть принято всеми, и если мы следуем всеобщему разуму, мы все его примем. Все и каждый захотят жить по одним и тем же законам, «сам разум желает этого» [Kant, 1793].

Безотносительно к природе общего блага такая идеология исходит из посылки, что существует одна истина, которая либо является самоочевидной, либо может быть открыта, в духе Дж. С. Милля, при наличии свободного противоборства мнений. Характеристика этой идеи, данная Берлиным [Berlin, 2002, p. 191–192], достойна, чтобы её процитировать *in extenso*:

«Любой рационально мыслящий исследователь может в принципе обнаружить все истины и так их представить, что всем остальным рациональным людям не останется ничего иного, кроме как принять их... Исходя из этого предположения, проблема политической свободы была разрешена при установлении справедливого порядка, дающего каждому индивидууму всю свободу, на которую имеет право рациональное существо... и только иррациональность со стороны людей (по этой доктрине) может заставить их желать угнетать, эксплуатировать и унижать друг друга. Рациональные люди уважают принцип разума другого...».

⁴ По данному вопросу см. полемику между Грофманом и Фелдом [Grofman and Feld, 1989], Истлундом [Eastlund, 1989] и Уолдроном ([Waldron, 1989].

Боязнь расколов

Эта идеология по природе враждебна любым политическим разногласиям. Люди представляют собой единый организм, и «никакой организм, телесный или политический, не выживет, если его части преследуют противоположные цели» [Ball, 1989, p. 160]⁵. Сторонники представительного правления были уверены, что, если народ объединен по природе, его можно расколоть только искусственным путём. По словам Хофстадтера [Hofstadter, 1969, p. 12], мыслители XVIII в. «часто постулировали то, что общество должно быть пропитано духом согласия и управляться на основе консенсуса, стремящегося к единодушию. Партии с их злобным и лживым духом лишь только провоцировали социальные конфликты, которых можно было избежать ...»⁶. «Нет ничего, чего бы я не боялся больше, — заметил Джон Адамс, — чем разделения республики на две великие партии со своим лидером, которые бы вырабатывали противоположные политические меры» [цит. по Dunn, 2004, p. 39]. Основатели представительных институтов не видели середины между консенсусом и гражданской войной, гармонией и физическим разрушением.

Впрочем, ни Сийес, ни Мэдисон, ни Руссо не считали, что консенсус должен охватывать все вопросы: по словам Сийеса [цит. по: Pasquino, 1998, p. 48], «то, что люди объединяются в общих интересах, совсем не означает, что они все свои интересы делают общими». Всё, что требуется, так это соглашение по базовым принципам, по словам Руссо [Rousseau, 1984, p. 66], «по вопросу,

⁵ Один из руководителей Коммунистической партии Китая Ху Цяому опасался: если «мы не будем едины (в своих мыслях), то наши шаги будут беспорядочны. Кто-то потянет на восток, кто-то — на запад, кто-то — на юг или север, и рядовые члены не будут иметь возможности двигаться вперёд. Тогда мы не сможем объединить наши силы в стойкий организм и двигаться к нашей общей цели; мы расколемся на мелкие фрагменты и ничего не добьемся» (цит. по: Ну 2000: 101).

⁶ «Партийный дух, — поучал Джордж Вашингтон в своём прощальном послании 1796 г. [George Washington, 2002, p. 48], — служит отвлечению общественного внимания и ослаблению государственной власти. Это пробуждает в обществе необоснованную зависть и ложные тревоги, разжигает вражду между отдельными слоями общества, временами приводит к бунтам и восстаниям. Он открывает дверь зарубежному влиянию и коррупции...»

в котором сходятся все интересы»⁷. Классическая аргументация гласила, что люди могут не соглашаться по многим вопросам, но при этом утверждала, что лишь некоторые ценности или интересы связывали людей вместе так сильно, что общее подавляло все различия.

В традиции, заложенной Юмом, социальные разногласия рассматривались как неизбежные: по словам Мэдисона, учившегося на трудах Юма [Федералист 10], «скрытые причины крамолы заложены в природе человека». Юм [Hume, 2002 (1742)] и сам считал, что разногласия материального порядка гораздо менее опасны тех, в основе которых лежат принципы, особенно религиозные ценности или привязанности. И Юм, и Мэдисон полагали, что партийные разногласия могут и должны быть сдержаны и смягчены с помощью правильного дизайна представительных институтов. Главным достоинством Конституции США, отмеченным в первом предложении «Федералиста» № 10, было то, что «среди многочисленных преимуществ, которые сулит нам хорошо учрежденный Союз, ни одно не заслуживает более пристального рассмотрения, чем присущая ему способность сокращать и умерять разгул крамольных сообществ». Возможно это парадоксально, но одним из решений проблемы партийных расколов является единственная партия, объединяющая всех во имя достижения общего блага. По словам Хофстадтера [Hofstadter, 1969, p. 23], главным сторонником такого решения был Джеймс Монро. «Злом является *партийный* конфликт, — постулировал Монро, — а единственная партия может принести пользу и быть достойной похвалы, если она сможет стать всеобщей и достаточно сильной, чтобы объединить общий интерес и заглушить партийные раздоры...». Монро не считал законодательный *запрет* оппозиции легитимным. Скорее он надеялся на то, что «единственная партия благодаря своему всеобщему и всеохватному характеру положит конец партийности». Но единство должно было быть достигнуто, и единство должно было восторжествовать. Как предсказывал Юм, «если... отдельные интересы не контролировать и не дать им обратиться к общественности, то от тако-

⁷ Полная цитата: «Если бы не было некоего вопроса, по которому сходились все интересы, не могло бы существовать ни одно общество».

го правительства не стоит ждать ничего, кроме фракционности, беспорядка и тирании».

Оппозиция как препятствие

Хофстадтер [Hofstadter, 1969, p. 9] отмечал: «Когда они (отцы-основатели) начали свою работу, они очень много говорили — на самом деле они говорили почти непрерывно о свободе, и они понимали, что свобода предполагает некоторое пространство для оппозиции. Но у них не было ясного представления о том, как оппозиция должна проявляться, поскольку они также ценили общественное единство и гармонию, не продумав вопрос о том, как оппозиция, проявляющаяся через организованные политические партии, может поддерживать свободу, при этом не слишком разрушая эту гармонию». Лаво [Lavaux, 1998, p. 140], в свою очередь, отмечал: «Концепции демократии, вышедшие из традиции общественного договора, не определяют роль меньшинства, а тем более, роль оппозиции. Демократия, понимаемая как тождественность правителей и управляемых, не оставляет места признанию права на оппозицию...». Понятие, что люди могли свободно выражать свой протест против избранного большинством правительства, завоёвывало признание везде, включая США, постепенно и с трудностями. В конце концов, Хофстадтер [Hofstadter, 1969, p. 7] прав: «Это нормально для правительства — рассматривать организованную оппозицию как разрушительную и нелегитимную по сути силу».

Большинство, а возможно и все сторонники демократии считали, что если народ по природе един, то разделить его можно только искусственно. Партии или «группировки» рассматривались скорее как неправильное разделение по природе единого организма и продукт амбициозных политиков, чем отражение каких-то разногласий или конфликтов. Более того, отрицание политических расколов не ограничивалось партиями. Как подчеркивал Розанваллон [Rosanvallon, 2004], хотя демократия не должна была быть прямой, она была «непосредственной» в том смысле, что между избирателями и их представителями не должно быть никаких посредников. Вспомним знаменитую фразу Ле Шапилье: «Нет больше никаких корпораций внутри государства — нет

ничего кроме отдельных интересов каждого индивида и общего интереса. Никому не должно быть дозволено внушать гражданам посреднические интересы, отдавая их от общественности духом корпорации» [Rosanvallon, 2004, p. 13].

Розанваллон [Rosanvallon, 2004] подчёркивает, что во Франции коллективные действия были неподходящим инструментом для протеста или воздействия на действующее правительство. Последний декрет Учредительного собрания 1791 г. гласил: «Никакие общества, клубы или ассоциации граждан независимо от формы не имеют права на существование, равно как и любые виды контроля над действиями легальных властей; ни при каких обстоятельствах они не могут выступать коллективно от имени других граждан, будь то при подаче петиции или делегации, участии в общественных церемониях или с любой другой целью» [Rosanvallon, 2004, p. 59]. Этот принцип, казалось, перемещался: Конституция Уругвая 1830 г. признавала нелегальной организацию граждан в ассоциации [Lopez-Alves, 2000, p. 55].

В противовес Манину [Manin, 1997, p. 167], подобные мнения высказывались и в США. Как предупреждал Хофстадтер [Hofstadter, 1969, p. 8], «когда отцы-основатели начали свое предприятие по созданию республиканского конституционализма в 1788 г., идея легитимной оппозиции еще не была полностью разработана и готова к воплощению. Мы неверно поймем их политику, если будем изучать ее настолько анахронично, чтобы полагать, что у них имелась зрелая концепция легитимной оппозиции...». Вот что писал Ной Вебстер Джозефу Пристли в своём знаменитом письме:

«В нашей стране власть находится в руках не народа, а его представителей. Власть народа, по существу, ограничена непосредственным использованием права голоса... Поэтому и слово "демократ" используется как синоним французского якобинца. Кроме того, эта мысль появилась в связи с попытками контроля со стороны общественных организаций, и слово стало означать человека, который пытается проявить недолжную оппозицию или влияние на правительство посредством частных клубов, тайных интриг или публичных сборищ, противных конституции. Под республиканцами же мы понимаем друзей нашего представительного правления, которые полагают, что в государстве не-

допустимо никакое воздействие, которое не было бы санкционировано конституцией и законами».

Таким образом, когда президент Вашингтон назвал клубы «самообразованиями», он имел в виду их нелегальность, так как лишь должным образом созданные органы и избранные представители могут обсуждать или оказывать давление на общественно значимые вопросы [Palmer, 1964; Peterson, 1973, p. 7]. Прощальное послание Вашингтона, написанное в 1796 г.⁸ содержит столь поразительную нетерпимость к любой оппозиции, что его стоит процитировать *in extenso*:

«Любые препоны на пути отправления законов, любые союзы и ассоциации, созданные под любым уважительным предлогом с действительным намерением осуществлять руководство или контроль над конституционными властями, препятствовать им или запугивать их в ходе принятия ими решений и осуществления действий, наносят ущерб этому основополагающему принципу [долг каждого индивида подчиняться установленному правительству] и носят пагубный характер. Они способствуют возникновению фракционной борьбы, приданию ей чрезвычайной роли, замене делегированной воли нации волей партии — зачастую небольшого, но искусного и предприимчивого меньшинства общества — и, принимая во внимание чередуемые триумфы партий, превращению государственных органов власти в зеркало, отражающее непродуманные и нелепые прожекты фракций, а не в орган реализации последовательных и цельных планов, поддерживаемых всеобщим мнением и отвечающих взаимным интересам» [Washington, 2002, p. 47].

По мнению Палмера [Palmer, 1964, p. 526–567], «Гамильтон, поддержанный Вашингтоном, полагал, что оппозиция его действиям была оппозицией всему правительству. В силу того что партий современного типа тогда ещё не существовало, причем не было ни идеи, ни необходимости в их существовании, даже признанные вопросы... принимали большие масштабы, становясь вопросом об уместности самой оппозиции или о праве граждан выражать не-

⁸ Это послание никогда не было озвучено. Отдельные части были написаны Гамильтоном: Эллис [Ellis, 2002, p. 152] слышит голос Гамильтона в формулировании принципа, взятого в скобки.

согласие, критиковать и вести работу против должностных лиц»⁹. Манин [Manin, 1997, Chapter 6] замечал, что пришествие партий воспринималось как кризис, равносильно тому, как сейчас воспринимается их слабость. Генри Питер, лорд Броухэм, в 1839 г. отозвался о партийном правительстве как о «самом аномальном положении вещей — то есть о такой организации политической сферы, которая систематически исключает по меньшей мере половину великих людей каждой эпохи из службы стране и заставляет оба класса находиться в бесконечном конфликте друг с другом, а не работать на общее благо». Хотя они продвигали демократию, привязывая представителей к представляемым и предлагая точные платформы на выбор, партии тем не менее рассматривались как структуры, разрушающие дискуссию и подрывающие разделение властей. Термин «партийное правительство» был негативным, имеющим коннотацию конфликта, мотивированного личными амбициями политиков, «одержимости получения власти после победы на выборах»¹⁰, продвижения партикулярных интересов, всё вместе — довольно неприглядная картина. Требовалась спасение в лице какой-то нейтральной, сдерживающей власти, такой, как бразильский император в Конституции 1825 г. или президент в Веймарской конституции¹¹. Даже это решение было дезавуировано в результате партийной политики; в конце концов, президентов начали выбирать в результате соглашений между партиями. И когда провалилось это решение, для ограничения партийного правительства возник конституционный пересмотр независимым судом с целью сдерживания партийного правительства [Pasquino, 1998, p. 153].

⁹ Доказательство того, что оппозиция рассматривалась правительством США в период между 1794 и 1800 гг. как нелегитимная, можно найти у Данна [Dunn, 2004], Стоуна [Stone, 2004] и Вайсбергера [Weisberger, 2000].

¹⁰ Эта цитата из работы президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, из книги Скэрроу [Scarrow, 2002, p. 1].

¹¹ Взаимосвязь между появлением партий и необходимостью сдерживания правительства отмечал Генри Сент-Джон, виконт Болингброк, в 1738 г.: «Непризнание партий и управление страной в качестве доброго батюшки являлось неотъемлемой характеристикой «короля-патриота», именно поэтому и заслужившего своё прозвище. Вашингтон в своём Прощальном послании отмечал, что партии обладают добродетелью в условиях монархии, когда король мог бы быть для них арбитром, но не в условиях демократии.

Выводы

Как утверждает классическая теория, представительное правление невозможно при отсутствии гармонии интересов: политические разногласия ведут к насилию, гражданской войне. Разногласия — признак нарушений, либо неполной информации, либо партикулярных интересов. Голосование было задумано как рациональная альтернатива единодушию¹². В середине XVIII в. французский политический теоретик Гаспар Реаль де Курбан [Palmer, 1959, p. 64] написал, что, если бы выборы проходили на основе конкуренции, «учитывая природу людей, среди них не было бы согласия по поводу заслуг, каждый бы считал себя или своего лидера более достойным, чем другие, что привело бы к конфликту или даже гражданской войне». Дж. С. Милль [Mill, 1991, p. 230] считал, что этнические и лингвистические расколы делают представительное правление «почти невозможным»¹³. Тем не менее очевидно, что, несмотря на строгие предупреждения о следствиях партийных расколов и независимых союзов, представительные институты во многих странах смогли перевести конфликты в институциональное русло.

О политическом использовании «традиций»

Теперь, когда мы знаем, что представительные институты могут допускать политическую конкуренцию, в рамках которой политические партии и другие посреднические организации определяют интересы и ценности и которая не приводит к гражданским столкновениям, как нам рассматривать консенсуальную основу вышеупомянутого проекта «незападной демократии»?

¹² Описывая то, что он называет «решениями очевидного консенсуса», Урфалино [Urfalino, 2005] подчеркивает, что «очевидный консенсус требует не единства, но со стороны тех, кто одобряет, — молчаливого согласия» и «вклад участников дискуссии в принятие решений связан с противоречием между равным правом на участие и неравенством влияния».

¹³ «Свободные учреждения практически невозможны в многонациональной стране. Если среди людей нет согласия, особенно если они читают и говорят на разных языках, не может быть и единого общественного мнения, необходимого для работы представительной власти».

Мы теперь думаем, что механизм проведения соревновательных выборов эффективен для структурирования, поглощения и регулирования конфликтов в самых разных условиях; что конфликты могут протекать мирно и не выходить за институциональные рамки, что их можно сдерживать. Никто не вспоминает тот факт, что в Англии до второй половины XVII в. выборы были несоревновательными [Kishlansky, 1986] или что в конце XVIII в. почти все члены английского парламента голосовали единодушно [Bentham, 1809]. Хотя ностальгия по консенсусу всё ещё будоражит умы, мы уже отошли от наших традиций и, как полагали Кельсен [Kelsen, 1928] и Шумпетер [Schumpeter, 1942], мы разработали определение демократии как метода управления конфликтами¹⁴.

Однако политические традиции являются аргументами обеих сторон в дебатах о демократии. Позицию одной стороны изложил Хантингтон [Huntington, 1993], воскресивший «азиатские ценности», утверждая, что некоторые культурные традиции делают невозможным политическое устройство, которым характеризуется демократия на Западе. Другая сторона, чьи взгляды недавно оживил Сен [Sen, 2003], обращает своё внимание на местные политические институты, заявляя, что демократия представляет собой не западный импортированный продукт, а автохтонную традицию.

Хантингтон [Huntington, 1993, p. 40] начал с наблюдения, что «западные представления фундаментально отличаются от тех, которые присущи другим цивилизациям. В исламской, конфуцианской, японской, индуистской, буддистской и православной культурах почти не находят отклика такие западные идеи, как индивидуализм, либерализм, конституционализм, права человека, равенство, свобода, верховенство закона, демократия, свободный рынок, отделение церкви от государства». «И — продолжает он, — усилия Запада, направленные на пропаганду этих идей, зачастую вызывают враждебную реакцию против “империализ-

¹⁴ По иронии судьбы, как отмечал Келлер [Keller, 2010, p. 13], та же самая концепция демократии направляет ее сторонников в конфуцианстве и исламе, которые «стремятся представить демократию в ограниченном, почти механистическом смысле — как систему правил выбора правительств и принятия решений, а не как систему ценностей и образа жизни».

ма прав человека” и способствуют укреплению исконных ценностей собственной культуры, о чем свидетельствует поддержка религиозного фундаментализма молодежью незападных стран». Трудно понять, на основе чего возникло это суждение: большинство исследователей, изучающих исламский религиозный фундаментализм, соотносят усиление протеста с ухудшающимися экономическими условиями жизни городских масс, не с «империализмом прав человека»; подъем религиозного фундаментализма ограничен рядом стран внутри некоторых культурных зон и проявляется в одной из самых «западных» стран – США. Но, что более важно, Кассандрам, предсказывающим борьбу культур [Fukuyama, 1995], стоит оглянуться назад, прежде чем сделать рывок вперед.

Давайте обратимся к давней интерпретации Вебера, согласно которой, как предполагается, он заявил, что протестантизм, в отличие от католицизма, благоприятствует демократии. Во-первых, Вебер не делал подобных заявлений: когда он пришел к выводу о наличии связи между религией и политикой в самом конце «Протестантской этики», он оставил вопрос открытым. Вопреки мнениям Липсета, Алмонда и Вербы или Хантингтона [Huntington, 1984], считающих, что консумматорные по своему характеру культуры менее соответствуют демократии, Вебер [Gerth, Mills, 1958, p. 337–338] утверждал, что политическая роль организованных религий зависит от их интересов, а не от сущности: «Широко варьирующиеся эмпирические позиции, которые занимали исторические религии перед лицом политических действий, были предопределены вовлечением религиозных организаций в интересы властей и борьбу за власть... целесообразностью и использованием религиозных организаций для политического приручения масс, а также потребностью действующих властей в религиозном освящении их легитимности». В исчерпывающем исследовании расцвета европейской христианской демократии Каливас [Kalyvas, 1996] показал, что отношения между католицизмом и демократией развивались в соответствии со стратегическим расчётом католической церкви. Проводя смелое сравнение бельгийского католического фундаментализма (для которого авторитет Римского Папы был абсолютен) и современного алжирского исламского фундаментализма, Каливас [Kalyvas, 1997]

заклучил, что различия связаны с организационной структурой соответствующих религий, а не с их культурным содержанием. Линц и Степан [Linz, Stepan, 1996, p. 453] пришли к таким же выводам в отношении недавних случаев демократизации. Им [Im, 2006] собрал доказательства в пользу того, что в Корее как протестантская, так и католическая церкви поддержали транзит к демократии, конкурируя в дележе религиозного рынка.

Заявлений в отношении других культурных традиций, в частности, конфуцианства и ислама, не так много. Хантингтон [Huntington, 1993, p. 15] писал, что «среди исследователей нет разногласий по вопросу, является ли конфуцианство демократическим или антидемократическим». Бывший президент Тайваня Ли Дэнхуэй [Lee Teng Hui, 1997], обнаружил в традиционном конфуцианстве акцент на ограниченном правительстве, что имеет значение для демократии. В систематическом обзоре публикаций по конфуцианству и демократии Им [Im, 1997], как и другие авторы, увидел довольно пёструю картину: с одной стороны, в конфуцианстве нет понятий гражданского общества, индивидуальных прав (вместо этого есть обязанности людей) или верховенства права, но, с другой стороны, в конфуцианстве заложены глубокие традиции ограниченного правительства, оно признаёт право граждан на протестные выступления против правителей, которые отклонились от предписанного «Пути», а также отличается веротерпимостью и антимилитаризмом. Более того, по крайней мере, в Корее на протяжении шести веков правления династии Чосон существовал плюрализм мнений в общественной сфере.

Не менее сложными являются споры вокруг и внутри ислама. Некоторые западные исследователи убеждены в несовместимости ислама и демократии [Eisenstadt, 1968; p. 25–27; Gellner, 1991, p. 506; Lewis, 1993, p. 96–98]. По мнению Эспозито и Волл [Esposito, Voll, 1996], три основных принципа ислама стали предметом более или менее антидемократических трактовок. Так, принцип единобожия (таухид) хотя и требует согласованности с законами Бога, но всё же оставляет всем образованным мусульманам возможность их интерпретации и необязательно будет несовместимым с системой правления, в которой исполнительная власть «формируется на основе всеобщей воли мусульман, име-

ющих также право ее низложить» [Esposito, Voll, 1996, p. 24], или «с законодательным собранием, члены которого являются представителями народа» [Esposito, Voll, 1996, p. 27]. Точно так же принцип наместничества Бога на земле (хилафа) не должен быть интерпретирован как монархическая идея — он распространяется на всех мужчин и женщин. И наконец, традиции консультаций, консенсуса и независимого суждения могут стать аргументами как в защиту демократии, так и против нее. На самом деле, Эйкельман и Пискатори [Eickelman, Piscatori, 1996] демонстрируют, что подобные интерпретации принципов и в прошлом, и в настоящем используются для обоснования совершенно различных политических устройств.

Имеется несколько причин для сомнения в том, что некоторые культуры или цивилизации, как называет ислам Али Мазруи [Ali Mazrui, 1997, p. 118], либо создают необходимые предпосылки, либо ставят непреодолимые барьеры для демократии. Во-первых, аргументы, связывающие цивилизации и демократию, являются намного позже реальных событий: если многие страны с доминированием протестантизма являются демократическими, то мы начинаем искать в протестантизме черты, которые способствуют продвижению демократии. Если нет демократии в исламских странах, очевидно, что в исламе есть что-то антидемократическое. Эйзенштадт [Eisenstadt, 1968], например, обнаружил нечто в индийской цивилизации, чего нет в конфуцианстве и исламе, но остается загадкой, что бы он нашел, если бы Китай был бы демократией, а Индия — нет.

Во-вторых, в каждой культуре, включая протестантизм, можно обнаружить совместимые и несовместимые с демократией элементы. Протестантская легитимация экономического неравенства, не говоря уже о самой этике эгоизма, предлагает слабую моральную основу для совместной жизни в обществе и мирного разрешения конфликтов. Другие культуры являются авторитарными, но эгалитарными, иерархичными, но уважающими право на протестные выступления, коллективными, но толерантными к многообразию общества и пр. Поэтому каждый может сделать свой выбор.

В-третьих, все религиозные традиции исторически всегда были совместимы с самым широким спектром политических

устройств. Тунис не Афганистан, Северная Корея не Южная, Коста-Рика не Гватемала, послевоенная Германия не гитлеровская Германия. Вариативность различна в разных религиях, но она достаточно широка, чтобы продемонстрировать гибкость этих традиций в отношении политических устройств, с которыми они совместимы.

Последнее и наиболее важное замечание: традиции не создаются раз и навсегда, они постоянно обновляются и открываются [Hobsbawm, Ranger, 1983], на это же указывали и Эйкельман и Пискатори [Eickelman, Piscatori, 1996] в своём исследовании ислама. Лайтин [Laitin, 1995] исследовал в нескольких контекстах роль «культурных антрепренёров» в динамике культурных изменений, приведя серьёзные доказательства того, что, хотя конфликты культур могут привести к разным результатам, это является следствием интересов и стратегий и не связано с примордиальной культурной сущностью. И на самом деле, вышеупомянутый анализ конфуцианской традиции можно представить как попытки открытия демократического конфуцианства. Культура представляет собой материал, который в руках разных портных приобретает различную форму. По мнению Милля [Mill, 1991], «людей можно просто заставить что-то делать, и они будут делать, если они уже привыкли это делать, но люди так же учатся делать и что-то новое».

Традиции не создают непреодолимых барьеров, но их обязательно необходимо использовать как сборочные элементы. Целью проекта по поиску автохтонных корней демократии является вуалирование подобия западного творения. Сейчас это особенно важно, поскольку понятие «демократия» стало использоваться как инструмент в американской империалистической политике, и автохтонная аутентичность может стать источником жизни. Можно легко обнаружить элементы демократии в древней Индии, средневековой Исландии или доколониальной Африке¹⁵. Но предположение, что современная политика в этих местах базируется на политических традициях, будет очень искусственным.

¹⁵ Во время работы учредительного собрания 1946–1949 гг. кто-то процитировал 1000-летнюю надпись, которая «упоминает выборы, проведенные с использованием листьев в качестве бюллетеней и котелков в качестве урн» [Guha, 2008, p. 120].

Безусловно, современная греческая демократия не имеет корней в древнегреческой демократии. Гораздо большее влияние на современную политическую историю Греции оказала английская конституционная монархия, а не Афины. То же верно в отношении Индии: при разработке Конституции 1950 г. ряд политиков настаивал на использовании как основы традиционной системы «панчаяти радж», но в конце концов было решено, чтобы конституция «ориентировалась в большей степени на европейско-американские, чем на индийские примеры» [Guha, 2007, p. 119]. В большинстве стран, получивших независимость в разное время в XX в., представительные институты были продуктом экспорта, или в лучшем случае импорта, даже там, где в становлении политических институтов не доминировало иностранное влияние, они были созданы по мировым образцам того времени. Репертуар институционального выбора являлся всемирным наследием, а не местной традицией.

Часть III. РАЗНООБРАЗИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

ДЖОН ФЕРДЖОН

Глава 12. Институционализация политических изменений

Вступление

Современная демократия обычно обеспечена избранными представителями, победившими в альтернативных выборах (где у инкубентов есть шанс проиграть). Избирателям выборы представляются (тонкой) связующей нитью между тем, что они хотят получить или с чем согласятся, и политикой, выбранной правительством. Но так будет только до тех пор, пока избранные лица могут проиграть следующие выборы или оказываются неспособными использовать преимущества занимаемых должностей с тем, чтобы изолировать избирателей. Для самих избранных представителей выборы — вопрос политической «жизни или смерти». Чтобы выживать и проводить свою политику, им необходимо побеждать или, по меньшей мере, часто побеждать. Поэтому направление политического курса выбирается в расчёте на победу на следующих выборах. Безусловно, вряд ли стоит ожидать, что правительства хорошо разбираются в том, какая политика приведет к этому результату. Взаимосвязь между политическим курсом и тем, что хотели бы получить избиратели, представляется сложной и неопределенной, а во многих случаях — едва уловимой. Более того, в современных демократиях наблюдается сложная внутренняя структура с разделением властей и внутренними ограничителями, что затрудняет координацию политических решений или делает ее невозможной (несмотря на изобретение политических партий). Поэтому правительства довольно часто совершают ошибки — либо потому, что не могут определить, что делать, либо потому что не могут справиться с тем, что, по их мнению, им следует делать. Как результат — до тех пор, пока

выборы хоть в какой-то степени останутся соревновательными, правительства будут иногда проигрывать выборы.

Несмотря на имеющиеся изъяны традиционной демократической концепции, в её защиту обычно приводят следующее: на выборах работает только та политика, которая приводит к хорошим результатам для избирателей. Предполагается, что избранные чиновники должны быть в какой-то степени компетентны, чтобы выбрать такую политику, и ожидается, что в период между выборами они будут проводить именно эту политику. Поэтому если возникает резонанс (из-за провала политики, проигранных выборов и пр.), даже если по электоральным мотивам происходит искажение политики и ее разворот в сторону краткосрочных электоральных целей, даже если предвыборное беспокойство усложняет координацию действий представителей, в остатке — демократия обычно приводит к результатам, приемлемым для электората.

Надо признать, что это — слабый аргумент в пользу демократии, но он становится убедительней лишь тогда, когда во внимание принимаются черты других форм правления. Практически до недавнего времени можно было легко поверить в то, что альтернативные режимы — режимы, при которых не проводятся действительно соревновательные выборы — в основном функционируют значительно хуже, чем демократические. В поддержку этого мнения обычно было принято ссылаться на последовательные волны демократизации в Европе после Второй мировой войны, указывая на крах правых авторитарных систем в 1970-е г., а позже — на крах советской системы. Подобные волны захлестнули также и Латинскую Америку и Азию. Безусловно, были и исключения, в частности Китай, в котором авторитарная система правления достигла высоких результатов.

В соответствии с данной демократической теорией, политические изменения в России могут привести в недоумение. Ни у кого не вызывает сомнения, что крах советской системы повлечёт за собой смятение и беззаконие, расхищение государственных ресурсов жадными и хваткими хищниками, и как следствие — огромные потери, пережитые населением. Естественным было предположить, что россияне захотят восстановления хоть какого-то порядка и законности, даже если при этом придётся заплатить

высокую цену в плане ограничения свободы. Возможно поэтому неизбежным было стремление избирать и переизбирать правительство, обещавшее сконцентрироваться на восстановлении упорядоченного и эффективного правления, которое стремится и обладает потенциалом для ликвидации царившего в 1990-е годы беззакония, предположительно с целью установления со временем подлинной демократии. Так появилось то, что Мигранян [Мигранян, 2011] называет «суверенной демократией». Мигранян полагает, что до того, как возникнет демократическое государство с полным набором политических прав, необходимо ввести гражданские права и свободы, ведущие к развитию устойчивого гражданского общества, способного формировать и артикулировать собственные интересы. Это, по его мнению, требует установления сильного государства, способного определять темп демократизации. «На самом деле понятие “суверенной демократии” возникло в результате восстановления субъектности российского государства как выразителя совокупного интереса народа, чего не было в 90-е годы. Как отмечают исследователи, режимам, находящимся в транзите к демократии, до того как формировать эффективно функционирующие демократические институты и ценности, необходимо иметь государство в качестве эффективного и пригодного для использования инструмента» (Мигранян, 2011)¹.

Безусловно, можно вспомнить додемократические периоды в США (1790-е гг.), Великобритании (начало XVIII в.) или Франции (до 1870 г. и, возможно, снова при де Голле), когда некоторые либеральные права оказывались в какой-то степени ненадежными, что было необходимым предвестником полной институционализации современной демократии. Но у меня всё же сложилось впечатление, что Мигранян на самом деле не говорит о тех гражданских правах и свободах, составляющих

¹ В продолжение вышеупомянутого: «В концепции «суверенная демократия» присутствуют два разнородных понятия, которые, видимо, не позволяют её однозначно воспринимать. С одной стороны, в ней присутствует понятие «суверенитет», который, как правило, применяется к государству как к субъекту международных отношений. С другой стороны — «демократия», которая характеризует форму правления, что, в принципе, не зависит от степени суверенитета государства [Мигранян, 2011].»

суть дискурса о конституционных демократиях: права, которые обеспечивают защиту граждан от действий тиранических правительств, — таких как произвольные аресты, подавление свободы слова и совести и пр. Напротив, он полагает, что суверенная демократия наделяет людей и группы правами, которые они могут использовать для защиты от людей, в частности от сильного частного бизнеса, от олигархов, появившихся на обломках Советского Союза. Обычно такие права обеспечиваются обыкновенным, в большей степени чем конституционным правом, что предполагает создание государственных институтов и практик, таких как эффективная система уголовного права при наличии государственного аппарата, способного к принуждению (наличие судов, полиции, прокуратуры и пр.). Предполагается использование частного права, а также гражданского и договорного права, чтобы обеспечить безопасность взаимодействия людей и защитить их интересы от халатности и беспринципности. Иными словами, нужен целый комплекс государственных институтов, достаточно сильных, чтобы контролировать частное беззаконие.

Насколько я понимаю, суверенная демократия не ставит своей задачей контроль над правительством через установление конституционных ограничителей на чиновников, но нацелена на усиление государства по отношению к могущественным частным акторам, появившимся вслед за развалом советской системы. Миграяна, похоже, не волнует вероятность появления угрозы для граждан со стороны гос. аппарата. В этом отношении российская ситуация резко отличается от той, что сложилась в США в 1790-е годы, когда государство оказалось в руках федералистов, которые ввели репрессивное законодательство (в частности закон «О чужестранцах» и закон «О подстрекательстве к мятежу») с тем, чтобы подавить политическую оппозицию. Но разработчики конституции поняли, что могущественный государственный аппарат включает опасность в себе и должен быть ограничен: либо изнутри (введение практики сдержек и противовесов между государственными институтами), либо извне (создание конституционной защиты против несправедливых действий правительства). Допускаю, что сторонники суверенной демокра-

тии предполагают введение таких ограничителей в будущем. Но как только происходит концентрация власти, будущее имеет обыкновение отдаляться.

В любом случае спустя десять лет после первых выборов Путина появились сомнения в том, стало ли восстановление порядка и законности всего лишь (необходимым) первым шагом в направлении к современной демократии или же постоянным положением вещей, при котором тонкое звено в цепочке демократии (соревновательные выборы) предположительно было разорвано в пользу системы, при которой инкубенты либо могут быть уверены в своем перевыборе, либо сами назначают своих преемников. Другими словами, ряду исследователей кажется возможным, что Россия застряла в полудемократическом забвении.

Может быть, хаос, спровоцированный разрушением советской системы, стал причиной того, что при оценке современного российского политического контекста на ум приходит Гоббс (Hobbes, 1651). Такое ощущение, словно россияне, подойдя к краю пропасти, заглянули в нее и, увидев анархию, пришли в ужас, наделив Левиафана неограниченными полномочиями, отказавшись от введения правовых и политических ограничителей на правительство. Возможно поэтому люди часто вспоминают и Карла Шмитта: как может в действительности (!) случиться так, чтобы Левиафан был ограничен законом (Schmitt, 2000)? Даже когда общество и государство вышли (выходят) из-под контроля? Вы, должно быть, шутите. Но такие разговоры идут уже десять лет, и остается только надеяться на то, что это чудовище вернется в чулан, и дверь будет заперта. Настало время двигаться вперед и установить конституционные ограничения на государство во имя свободы и демократического правления, даже если Шмитт прав, а если ситуация снова пойдет по худшему сценарию, всегда можно будет вернуться к жестким мерам.

Я могу привести только три основные причины, почему ответ может быть «нет» или «не сейчас». Во-первых, прошло недостаточно времени, или проблемы порядка ещё не решены. Разные варианты такого подхода говорят о больших или меньших временных рамках, но все они, кажется, признают, что когда придет время, продвижение в сторону демократии будет пра-

вильным, естественным и неизбежным. Во-вторых, политический класс, то есть те, кого избирают или могут избрать, слишком дезорганизован или не вызывает доверия или эгоистичен, чтобы электоральная связь между правительством и гражданами могла стать основой, заслуживающей доверия, поддержки для проведения хорошей и эффективной политики. В-третьих, возможно, следует признать, что современная демократия не слишком подходящая форма правления для России: страна является очень разнородной в этническом, лингвистическом и религиозном плане. Кроме того, граждане не доверяют ни друг другу, ни правительству, что препятствует эффективности демократического правления. Поэтому Россия должна идти своим путём. Очевидно, этот негативный ответ является наиболее глубоким и основывается на двух посылах, одну из которых я рассмотрю далее. Первая: для России на самом деле существует более подходящий вариант устройства собственного государства. Правда, я не знаю, какой именно. Вторая: демократия является слишком негибкой формой правления, чтобы развиваться в условиях разрушающегося мультиэтнического общества, пораженного цинизмом и недоверием и имеющего ужасный опыт авторитарического правления.

В известном плане эти соображения имеют давнюю историю и уходят к Монтескье и, возможно, Аристотелю. Идея заключается в том, что некоторые режимы лучше «подходят» для определённого типа обществ. По мнению Монтескье, география и климат являются главным источником вариации общественных устройств (Montesquieu, 1989). Руссо (Rousseau, 1947) и Аристотель (Aristotle, 1958) считали, что социальная и экономическая гомогенность были важными факторами, позволяющими определить демократическое правление. Конечно, и Руссо, и Аристотель на самом деле занимались проблемой досовременной (и требующей доработки) прямой демократии, основанной в значительной степени на народном участии, и вполне может быть, что современные демократии, то есть те, которые полагаются на выборы для отбора лидеров, могут допустить высокий уровень гетерогенности общества. Но и сейчас могут существовать ограничения относительно типа демократического правления, позволенного данным обществом: если население

не чувствует себя «народом» с общими интересами, то даже современное демократическое правление станет невозможным или непривлекательным².

Но даже при условии, что кто-то сохраняет оптимизм в отношении развития демократии в России, всё же, как мне представляется, необходимо подумать о мотивации политических лидеров. Как я уже подчёркивал, Мигранян не уделяет внимания проблемам ответственности, что, напротив, беспокоит аналитиков западной демократии. Он убеждён, что Путин и Медведев руководствуются намерениями привести Россию к демократии (неустановленного характера) и не считает, что оба всецело намерены сохранить власть в своих руках. «Российские руководители отдают себе отчёт в том, что на Западе сложилось некое идеальное представление о демократии, которая, несмотря на свойственные ей недостатки, тем не менее, обеспечивает наилучшие возможности для экономического роста и благосостояния населения, а также для более высокой конкурентоспособности на мировом рынке высокотехнологичных продуктов. Однако для того чтобы Россия пошла по этому пути естественным образом, а не под управлением внешних сил, она должна быть по-настоящему суверенным государством, определяющим основные направления своего экономического развития, темпы экономических и политических трансформаций и последовательность их реализации». В этом отношении Мигранян рассматривает сегодняшних российских лидеров как конституционных акторов – как обычных политиков, способных руководствоваться принципами, а не собственными интересами.

² Оба эти автора считают, что гетерогенность предпочтений делает демократическое правление сложным или невозможным. Джеймс Мэдисон, как известно, полагал, что гетерогенность предпочтений может стать формой защиты от тирании (Hamilton, 1961). Поэтому он ратовал за установление национального правительства в большом и географически разнообразном обществе, так как, по его мнению, гетерогенные интересы не дадут сформироваться тираническому большинству. Можно сказать, что Мэдисон был заинтересован в сокращении демократических элементов в предложенной конституции. В недавно вышедшей книге Скотт Педж подчёркивает важность понимания различий между гетерогенностью предпочтений (что приводит к плохой работе демократии) и когнитивной или профессиональной гетерогенностью (которая улучшает ее функционирование) (Page, 2007).

Эта обнадеживающая точка зрения всё же содержит угрозу. Практически невозможно встретить бескорыстных конституционных акторов, как, например, Джордж Вашингтон или Нельсон Мандела. Такие лидеры рассматривают оппонентов как политически наивных и менее нравственных, и убеждают себя в том, что они сохраняют власть во имя интересов народа. Эти взгляды никогда не бывают беспочвенными, но они служат оправданием легкого курса — использование власти для предупреждения всех вызовов, закрывая глаза на то, что страна может получить преимущество от системы, в которой могут появиться новые лидеры, и в которой избиратели могут отличать плохих лидеров от хороших.

Что хорошего или плохого в демократии?

Если демократия хороша, то это либо потому что она по природе хороша, потому что она даёт возможность народу управлять народом в соответствии с законами, которые народ сам принимает или участвует в их принятии, или потому что у неё хорошие результаты. Но проблема с объяснением сути печально известна: в каком смысле можно говорить о «твоем» участии в управлении «тобой» в соответствии с «твоими» «его (индивида)» законами, если они были приняты без твоего участия, а твой голос — всего лишь один из миллиона других, востребованный один раз в несколько лет? Вы могли бы сказать, что вы наделяете властными полномочиями некоторых людей и, подчиняясь их правлению, отдаёте свой голос на выборах (причем не обязательно победителю). В этом смысле выборы (хотя и редкие) олицетворяют собой акт временного делегирования власти лидерам, которые будут предпринимать действия от вашего имени. Когда вы вызываете сантехника починить водопроводный кран, можно сказать, что ваш кран починен вашими усилиями, хотя и опосредованно. То же самое можно сказать и об управляемости. Но использование правления большинства и большое число других голосов противоречат данной аналогии. Кандидат может быть избран независимо от того, голосовали вы или нет, и будет заявлять свои право на управление, поэтому довольно сложно утверждать, что «твои действия» каким-то образом связаны с делегированием полномо-

чий. Вы можете заявить, что Вы не обязаны следовать некоторым законам, если не считаете их правильными – по меньшей мере до тех пор, пока Ваше несоблюдение закона не принесет вреда другим.

С точки зрения последствий демократии, она даёт народу возможность выбора лидеров и ограничения сроков их полномочий. У нас не вызывает беспокойства ваша личная роль в избрании и наказании правителей: нас интересует влияние выборов на их поведение. В центре внимания этого подхода находится не избиратель, а избранник. Выборы могут обязать лидеров взять на себя ответственность за себя и свои действия, это заставит их принимать меры, которые получают поддержку людей. Или же выборы могут встряхнуть ситуацию, разрешив людям избавиться от надоевших (по любой причине) лидеров и освободив место для новых лидеров с новыми идеями. Это оправдание демократии сводится к следующему: демократия – это система, позволяющая отбирать достаточно хороших лидеров (если, конечно, люди способны отличать одного от другого *ex ante*) и, как правило, мотивирует их служить общественным интересам (до тех пор, пока это помогает получать голоса избирателей). Конечно, никто не станет утверждать, что демократическая система идеальна в плане отбора лидеров или их мотивирования, или что любая версия демократии идеально выполняет эти две задачи. Поэтому я считаю, что сущностное оправдание все же необходимо — не потому, что у нас есть некая стройная версия такой теории — а просто потому, что любое оправдание демократии с точки зрения ее последствий обязательно столкнется с незрелостью демократических механизмов отбора и мотивирования, и по этой причине существует мало оснований считать, что последствия демократического правления действительно хороши в сравнении с альтернативными системами правления.

С моей точки зрения, оба оправдания демократии не являются абсолютно убедительными ни по отдельности, ни вместе. Вот почему так часто все возвращаются к ответу Черчилля: не столь демократия хороша, сколь она лучше других систем. Я этого не знаю. Это будет зависеть от тщательного конструирования альтернативных режимов, а это – задача открытого типа и практически безнадежная. Возможно, Черчилль был прав, когда сравни-

вал демократии середины XX века с историческими монархиями и олигархиями или с фашистскими и коммунистическими режимами. Но люди проявляют чрезвычайную изобретательность в отношении новых форм правления, поэтому Черчилль должен был бы пересмотреть свое утверждение. Кроме того, само понятие «демократии» очень расплывчато и плохо сформулировано. Поэтому для такого утверждения Черчиллю необходим был новый набор характеристик: возможно, он обращался исключительно к британской модели – часто называемой Вестминстерской системой дисциплинированного большинства (учитывая, что электоральная система обеспечивает победу партии большинства, кроме выборов 2010 г.), осуществляющего неразделенную суверенную власть в течение пяти лет после выборов. Поэтому нам нужно рассмотреть все возможные варианты демократии и определить, какие из них могут быть институционализированы в определенном контексте. Я предполагаю, что не может быть одного решения для всех контекстов.

Недостатки современной (представительной) демократии, должно быть, зависят от того, как происходит отбор и мотивирование лидеров или от того, каким образом они формируют правительство (или оппозицию) с целью осуществления предпочтительного политического курса: то есть от того, как используются соревновательные выборы. Другими словами, выборы служат источником преимуществ и недостатков демократии. Выборы необходимы для достижения следующих двух вещей: для выбора лидеров для временного управления и для мотивирования лидеров тем, что у них время от времени возникает чувство ответственности перед избирателями. Для того, чтобы система была признана демократической, выборы должны быть в какой-то степени соревновательными: инкубенты не должны иметь слишком много преимуществ, препятствующих их поражению. Здесь имеется в виду то, что инкубентам нельзя сильно исказить правила игры, чтобы их потенциальные оппоненты не лишились полноценного шанса бросить им вызов или чтобы различные экономические и социальные группы, настроенные оппозиционно по отношению к правительственному курсу, не смогли бы оказать какую-либо поддержку потенциальным конкурентам.

Учитывая их контроль над политическим аппаратом, что способствует получению электоральных преимуществ, сложно разработать правила и процедуры, которые могли бы ограничить инкумбента в, казалось бы, естественных для них действиях. Либо инкумбенты должны выучить правила демократического самоограничения, либо, что гораздо сложнее, гражданам нужно научиться реагировать с соответствующим недовольством и быть готовыми сместить инкумбента, который вел себя плохо. Оба механизма сложно внедрить и, по-видимому, *ex ante* совершенно невероятно, что любой из них может быть создан с чистого листа. Вот почему, несмотря на недостатки, современная демократия является настоящим достижением там, где она работает хорошо.

Критика современной демократии фокусируется на вопросе, способствуют ли соревновательные выборы появлению хорошего правительства. Соревновательные выборы могут быть плохим инструментом для отбора: могут быть выбраны люди, абсолютно не подходящие для управленческой работы (демагоги, кинозвезды, состоятельные непрофессионалы, тщеславные эгоцентристы и пр.). Или они могут привести к слишком большой, или малой, или случайной ротации должностных лиц. Соревновательные выборы могут создавать плохие стимулы для инкумбентов (потворство общественным предрассудкам, позиционирование или пропаганда бессмысленных вещей и пр.). Причина этих дефектов кроется в асимметрии информации в современном государстве. С одной стороны, избиратели не вполне владеют информацией в отношении выбранного политического курса. С другой стороны, политический курс, пользующийся поддержкой избирателей, часто приводит к плохим результатам, поскольку избиратели не всегда могут понять причинно-следственную связь между политикой и её результатами и поощрить хорошую политику. Кроме того, политический курс может быть тайно «выкуплен» специальными интересами, которые поддержали инкумбента на выборах. Более того, по-видимому, инкумбенты (в отличие от групп интересов или бюрократов) не имеют технических знаний и не очень хорошо разбираются в выборе эффективной политики и ее осуществлении. Литература о выборе позиции в основном исходит из этих простых идей; как и литература об изменении политики в угоду опросам общественного мнения (Mayhew,

1974). В силу этих (и других) причин, есть основания считать, что электоральные стимулы могут оказаться в некоторой степени разрушительными, и что последующая политика, будет разочаровывать избирателей.

Постоянные разочарования приводят к тому, что избиратели начинают проявлять пресыщенность и цинизм в отношении политиков и снижают уровень своих ожиданий относительно эффективности инкумбента. Причина, по которой инкумбенты все равно выигрывают, кроется в том, что никто рационально не рассчитывает на то, что конкуренты будут работать лучше — поэтому лучше выбрать известного дьявола. Поэтому поражение инкумбента на выборах в большинстве случаев является случайностью: невезенье, например, замешанность в каком-нибудь скандале. Или как в случае с бедным Гордоном Брауном, который въехал в дом 10 по Даунинг стрит, когда финансовый кризис подходил к концу.

Таким образом, значительная часть критики в адрес современной демократии локализует все ее недостатки в ее зависимости от соревновательных выборов. В этой критике кроется предположение, что некоторые другие политические режимы могли бы работать лучше, если бы они могли избежать этого нюанса — регулярных и частых выборов. В этой дискуссии хочу привести пример: при альтернативном режиме, не вполне являющемся современной демократией, и способном так выстроить управление, чтобы не вызвать настоятельных и многочисленных требований перемен, хотя бы до тех пор, пока все идет хорошо, или же когда граждане просто цинично настроены относительно перспектив улучшения — перед правительством стоит выбор, продолжать ли работать так, как работали до сих пор, либо попробовать сдвинуться вперед в направлении современной демократии, проведя действительно соревновательные выборы.

Строительство демократии в реальном времени

Ещё со времён американской и французской революций стало естественным воспринимать конституцию как документ, специально сконструированный усилиями специально созданной конституционной ассамблеи, члены которой стоят вне обычной политики. Возможно предполагалось, что члены этой ассамблеи

видели перспективу, не доступную для политиков-карьеристов: ожидалось, что они сформулируют правила высшего порядка с целью достижения не личного благополучия, а благосостояния всего народа. В письменном виде эта история производит несколько наивное впечатление, поэтому для большей её убедительности требуется некоторый правдоподобный психологический фундамент. Возможно, никто из разработчиков конституций не мог просчитать влияние той или иной статьи закона на их политическое будущее. Или возможно, каждый думал больше о своей исторической репутации, чем о возможности занять какую-то должность. Или, может быть, они считали, что благодарность электората в дальнейшем станет справедливо заслуженной наградой, поэтому нет необходимости добиваться ее.

Правдивы ли эти истории или нет, но каждая предполагает, что наступает конституционный момент, что обычно означает распад предыдущей системы. Что касается России, насколько я понимаю, такой момент, возможно, прошёл. Если должно произойти какое-то движение в сторону демократии, оно должно случиться в реальном времени, а не в какой-то вневременной конституционный момент. И главными действующими лицами станут политические лидеры, которые смогут предвидеть, в какой-то степени, последствия конституционного дизайна для своего политического будущего. Но этот факт не исключает конституционной перспективы. Он просто обращает внимание на то, что конституционные и обыденные моменты обычно переплетаются и что есть основания избегать слишком раннего введения соревновательных выборов.

Отмечу, что такой подход основательно отличается от подхода Пшеворского, объясняющего введение соревновательных выборов личными интересами акторов, и ближе к перспективе Миграняна. Лидеры авторитарных режимов могут иметь сомнения относительно выборов не потому, что они боятся проиграть (хотя они могут быть в ужасе от этого), а из-за беспокойства, что соревновательные выборы могут систематически приводить к плохим результатам. Другими словами, их электоральные колебания могут быть поистине конституционными, а не всецело сформированными корыстными соображениями и стремлением сохранить преимущества своего поста как можно дольше. Заметим также, что

лидеры подобных режимов могут испытывать искушение использовать выборы, если те приносят им какую-то выгоду, но только до тех пор, пока их можно тщательно контролировать, так чтобы отрицательные стимулы соревновательных выборов не помешали их контролю над государственным аппаратом.

Все эти рассуждения сводятся к главному: мы должны видеть в соревновательных выборах двойную перспективу (и также во всём, что происходит между выборами): узкий своекорыстный выбор и конституционное решение. Чтобы опция соревновательных выборов стала привлекательной для инкумбента (для группы ненасытных и импульсивных инкумбентов), выборы должно принести определенные выгоды обществу в целом. Они должны быть уверены в том, что у них есть большой шанс преуспеть в конкурентной системе: что есть политика, которая хорошо работает и может привлечь поддержку избирателей, что они достаточно компетентны, чтобы определить и осуществить такую политику, и что избиратели обычно поощряют такие действия на выборах. И даже если они совершат ошибку (или её допустят избиратели), у них всегда будет реальный шанс скоро вернуться в правительство. Ни во что из указанного не стоит непременно верить, но без такого рода убеждений сложно понять, почему инкумбенты отказываются от права контроля над своей собственной судьбой.

Чтобы соревновательные выборы оказались привлекательными для правительства, как конституционного актора, рассуждения должны быть иными. Они должны считать, что награда в плане ответственности и легитимности является достаточной, чтобы компенсировать затраты при непредвиденных последствиях. Если не случился серьёзный кризис или крах, выбор в направлении демократии должен быть сделан в реальном времени, а не обязательно в ходе работы конституционной ассамблеи. Чтобы иметь действующую современную (электоральную) демократию, те, кто обладает полномочиями сделать выбор, должны захотеть проводить выборы на регулярной основе и вести себя хорошо между выборами. Для этого нужно, чтобы они воспринимали настоящие выборы (в которые все верят) как хороший фактор, если проводить их в определенное время и с не большими промежутками. Но правительствам легче во всё это поверить только при условии, если сегодняшняя критика совре-

менной демократии является несколько преувеличенной (или же ее можно уменьшить соответствующим дизайном системы). Например, негативные последствия электоральной системы можно минимизировать, если использовать какой-нибудь вариант пропорционального представительства, или поручить судам контроль над финансированием избирательной кампании, или создать сильные и дисциплинированные партии, которые могут ограничивать корыстные мотивы отдельных политиков. Есть и другие дисциплинирующие механизмы, остающиеся в определённой степени вне правительственного контроля: свободная пресса, формирование критического общественного мнения, активная и в какой-то степени автономная партийная система, наличие разнообразных и соревнующихся организованных интересов. Но их существование является очень хрупким, так как правительство всегда хочет осуществлять над ними контроль. Более того, в некоторых социальных обстоятельствах правительство может воспринимать их как угрозу для своего существования, поэтому не решится рисковать.

Две модели демократии

В этой части мне бы хотелось обсудить две в определенной степени «крайние» модели демократии — американскую и британскую, — в которых система соревновательных выборов используется совершенно по-разному. Безусловно, эти два государства отличаются друг от друга во многих отношениях, прежде всего по масштабу и внутренней неоднородности, а также по тем ролям, которые основные политические силы в каждой стране играли в политической истории. Мне кажется, эти две модели могут грубо представить конституционный выбор России: либо создавать унитарную или «суверенную» демократию, способную на исключительное регулирование общества и экономики, либо более плюралистическую демократию, которой необходимо вести переговоры с социальными и экономическими силами, а не диктовать свои условия.

Многих может удивить, что американская и британская модели демократии рассматриваются как «крайние», но, по моему мнению, тот факт, что обе модели используют плюральную элек-

торальную систему с одномандатными округами, соответствует данной характеристике. Системы с одномандатными округами имеют две важные черты: во-первых, они вынуждают представителей/инкубентов отдавать предпочтение локальным интересам, то есть, они действуют в качестве посллов от своих округов, а не как представители целого государства (если перефразировать Эдмонда Бёрка, конечно, это было потому, что избиратели видели в нём своего посланника, поэтому Бёрк потратил столько времени, чтобы критиковать этот подход). Во-вторых, системы с одномандатными округами усиливают влияние изменений в числе голосов на распределение мест в законодательных органах. Победитель обычно получает непропорционально большое число парламентских мест. Степень колебаний может составлять 2 и 3, но может быть и значительно выше (там, где действует пропорциональная система — по определению — 1.0)³. Рассмотрим выборы 1979 года в Великобритании, когда победила Тэтчер: консерваторам удалось получить лишь 44% голосов, но этого оказалось достаточным для получения убедительного большинства в 53% мест в парламенте.

Хотя обе страны имеют схожие электоральные системы, у них совершенно разная институциональная организация выборных властей, равно как и организация и согласованность политических партий. Правительство в парламентской системе Великобритании избирается парламентским большинством, и поэтому на общенациональных выборах избираются только отдельные члены парламента. В президентской системе в США члены конгресса избираются отдельно от президента и, что очень важно, часто избираются, когда президента не выбирают. Более того, в Великобритании номинирование кандидатов тщательно контролируется (местными) членами партий, в то время, как в США номинирование происходит в результате праймериз, и партии часто не контролируют ни этот процесс, ни тех, кто идёт на выборы под их знамёнами.

³ Наличие третьих партий усиливает действие этого фактора: поэтому в Великобритании степень колебаний может превысить 3.0, как это случилось в конце XIX в. в США или современной Канаде. Электоральные стимулы пропорциональных систем обычно находятся посередине между этими случаями в зависимости от размера округов. При больших округах минимизируется влияние локальных фрагментированных стимулов, при маленьких (как в системе переходящего голоса) — локальные стимулы намного больше.

И наконец, частично благодаря конституционной организации и процессу номинирования, в Великобритании политические партии намного более дисциплинированно голосуют в парламенте.

Более того, инкубенты в Великобритании не имеют сильной идентификации со своими округами. Они являются в основном (м.б. в первую очередь) доверенными лицами и представителями национальных партий с полномочиями представлять интересы избирателей. В таком контексте организационные проблемы членов партии сведены к минимуму: все они находятся в одной лодке и на выборах либо победят, либо проиграют вместе. Поэтому представители партии во власти, равно как и в оппозиции, имеют весомые причины переподчинять личные мотивации, чтобы их партийной команде удалось реализовать общие цели, позже, возможно, рассчитывая на карьеру внутри партии и на место в правительстве. В итоге британское правительство имеет возможность вносить серьёзные изменения в политический курс после выборов, даже имея незначительный перевес голосов.

В США вся система работает по-другому. Избранные кандидаты практически всегда выдвигаются от избирательных округов. Их карьеры зависят от сохранения тесной связи с округом и в любом случае их выдвижение и избрание зависят от сохранения персональной базы поддержки, частично независимой от местного отделения партии (если оно имеется). Потенциальные конкуренты могут прийти из любого места избирательного округа, либо из партии, либо нет. Поэтому лучшая программа действий должна быть направлена на благополучие своего округа и добиваться привилегий и дотаций из Вашингтона. Неудивительно, что такие чиновники чувствуют себя скорее одинокими волками, чем членами партийной команды. Они могут голосовать, так же как и другие члены партии, но только при условии, что избиратели их округа согласны с позицией партии. При такой системе проводимая политика чаще всего отражает совокупность интересов штата и округа, поэтому даже кардинальные изменения электоральной поддержки на федеральном уровне, не приведут к большим изменениям в законодательстве⁴.

⁴ Подробнее о тенденциях взаимоблокирования в американском избирательном процессе см. Krehbiel, 1998.

Итак, можно обобщить, что одним отличием являются различия в партийных организациях. Мы отметили, что британские партии в большей или меньшей степени являются партиями членства с механизмами для определения партийных позиций и для инструктирования членов партии, каких позиций придерживаться — в американских партиях такого нет. Американские партии являются проницаемыми кандидато-центричными при доминировании групп интересов, и, более того, имеют спорадический характер. Они подобно раковине, которую надевают победившие кандидаты и сбрасывают проигравшие. Иногда они являются каналами для перекачивания финансовых потоков, иногда — особенно в последнее время — их ценят как бренд. Но в целом они практически не контролируют кандидатов, выступающих под их знаменами.

Конечно с позиции правительства, выборы могут быть конкурентными и без большого соревнования внутри округов. Например, в Великобритании правительство может проиграть и проигрывает выборы, поэтому национальные выборы считаются соревновательными. Но в большинстве избирательных округов выборы не представляют угрозы для кандидатов. Около 90% действующих членов парламента, претендующих на переизбрание, побеждают — в большинстве этих избирательных округов чрезвычайно трудно пробиться кандидату от другой партии, поскольку партия власти имеет в них очень сильные позиции. Приблизительно такое же число действующих конгрессменов переизбираются в США, где выборы только 30–40 представителей являются действительно соревновательными, то есть, инкубент имеет реальный шанс проиграть выборы (Cain et al, 1987).

Когда Шумпетер (Schumpeter, 1942) сформулировал свою теорию демократии и когда Даунс (Downs, 1957) углубил и детализировал её, оба думали о хорошо организованной согласованной партийно-избирательной системе в рамках реформы в Великобритании — иногда называемой Вестминстерской моделью, в которой возможно говорить о правительстве как о некой «команде» избранных чиновников. К концу XIX в. в Великобритании сформировались организованные и идеологически дисциплинированные политические партии; правительство формировалось партией, получившей большинство мест в парламенте и находилось у власти до тех пор, пока партия сохраняла парламентское большинство (Cox, 2005; Beer,

1969, 1982). Выборы необходимо было проводить по крайней мере каждые пять лет, и выборы рассматривались как референдум по успехам правительства. Более того, реакция избирателей на действия правительства была в целом равномерной по всей стране: колебания во время промежуточных выборов были примерно одинаковыми в каждом округе (несмотря на то, что поддержка правящей партии во всех избирательных округах была различной). Иными словами, увеличение общей поддержки лейбористов на 1%, соответствовало увеличению поддержки на 1% в каждом избирательном округе. Таким образом, члены правящей партии сознавали, что их электоральные судьбы тесно связаны (через избирателей) друг с другом и с правительством. Поэтому члены победившего большинства понимали, что им, в принципе, легко координировать свои действия для эффективной работы правительства до тех пор, пока они могут управлять своими личными амбициями.

Возможно поэтому не вызывает удивления то, что британцы разработали разнообразные нормы, помогающие координировать действия выборных должностных лиц: представление парламента как единого суверенного органа, нормы ответственности министров (министр должен уйти в отставку в случае несогласия с проводимой правительством политикой), вотум доверия, создание партийных манифестов, в какой-то степени обязательных для членов партии, представление о лояльной оппозиции, которая предлагает и отстаивает свою политику, не находясь в правительстве. Существует множество других норм, которые, можно сказать, составляют культуру политического класса. В США таких норм нет. Конечно, конгрессмены не рассматривают себя как часть единого суверена, нет и ответственности министров. Чтобы понять, как мало эта идея значит для американцев, стоит вспомнить смущение и муки Колина Пауэлла в период перед вторжением США в Ирак. И, наконец, представление об ответственной оппозиции абсолютно чуждо американцам. В США основной задачей оппозиции является сопротивление, причем любыми средствами (честными или нечестными). Партизанская война, которая ведется различными независимыми ячейками, является нормальной тактикой оппозиционной партии между выборами — по крайней мере до тех пор, пока не будет номинирован президентский кандидат за несколько месяцев до федеральных выборов.

Поскольку Великобритания является страной большой и неоднородной, кажется понятным в сравнительном аспекте, что кандидаты и избиратели должны прийти к согласию относительно сущности проведения выборов и работы правительства. Это похоже на игру в регби — каждая сторона начинает жёстко преследовать свои цели, как только мяч оказывается в руках, у каждой стороны есть веские причины координировать свои действия в целях большей эффективности, но никто не может не учитывать того, что периодически вокруг мяча разгораются жаркие битвы. Но каждой стороне нужно знать, что эти жесткие битвы должны вестись по правилам. Эта уникальная и необычная модель — в какой-то момент времени была свойственна Новой Зеландии и в меньшей степени Австралии и Канаде — и не может служить образцом для демократического правления в больших и гетерогенных странах, как США или Россия.

Для сравнения возьмём американскую систему правления, о которой не писали ни Шумпетер, ни Даунс (по иронии судьбы, оба жили именно в США). Хотя избирательная система в США — плюральная система относительного большинства в одномандатных округах — похожа на британскую, она используется гораздо чаще: если британцы голосуют за одного официального представителя (члена парламента) один раз в пять лет, и примерно в это же время за членов местных органов, то американцы голосуют за сотни тысяч чиновников на каждом государственном уровне, и выборы разного плана происходят каждые несколько месяцев⁵. Более того, кандидаты участвуют, или хотя бы пытаются участвовать, в предвыборной гонке индивидуально, а не как члены партии. В любом случае партии являются очень слабыми и в финансовом и в организационном планах, и претенденты на выборные должнос-

⁵ Следует напомнить читателям о том, что среди политологов идут бурные дискуссии по поводу природы и полномочий американских политических партий и того, что означает на самом деле высокий уровень партийного голосования в Конгрессе. Некоторые считают, что идеологически единые партии могут оказывать дисциплинирующее воздействие на своих членов, заставляя их голосовать за законопроекты, которые им не нравятся. Другие полагают, что партии не могут дисциплинировать своих членов, а высокий уровень партийного голосования является следствием «сортировки», когда в партии оказываются люди со схожими взглядами — феномен, усиленный способами номинирования партией кандидатов от партии.

ти вынуждены искать собственные источники финансирования, формировать свой предвыборный штаб и организовывать личную избирательную кампанию. Им приходится давать избирателям обещания и всеми силами пытаться принести пользу округу, они привлекают финансовые средства групп интересов, часто дислоцированных далеко от их собственных избирательных участков. В результате избиратели воспринимают их в значительной степени как местных послов. В свете этих разнообразных электоральных стимулов партийная сплоченность и дисциплина в США, по сравнению с Великобританией, значительно ниже даже сейчас, несмотря на необычно партийный период. Более того, конституционная система в США — частично из-за многообразия регионов и штатов — намного сложнее британской, что находит отражение в разделении властей и тщательно продуманной системе сдержек и противовесов. При такой системе избирателям довольно сложно разобраться, кто же должен нести ответственность за какое-либо бедствие. Поэтому у них возникает желание наказать того, кто больше всего на виду (президента или губернатора). В случае с США более уместна метафора, связанная с игрой в баскетбол или бейсбол — но не регби — в американских играх у индивидов большая и идентифицируемая (часто эгоистичная) роль, и каждый ведёт статистический учёт индивидуальной эффективности, особенно, когда речь идёт о выборе игроков в команду или вознаграждении. Поэтому в таком спорте внедрение командных ценностей чрезвычайно осложнено.

Хотя в некоторых отношениях американская и британская политические системы представляют собой две крайности, они остаются демократическими в том плане, что структура правительства и проводимый политический курс во многом определяются соревновательными выборами. Американская публичная политика всех видов, от федеральной до местной, в отличие от британской, изменяется очень медленно и постепенно. Даже если меняется партийный контроль над правительством, политика обычно быстро не меняется, отчасти потому что избиратели в разных избирательных округах очень непоследовательны в своих оценках, голосуя за действующий демократический конгресс и республиканского президента. Из-за этого политическим лидерам сложно интерпретировать и действовать в соответствии с такими смешанными

результатами выборов. Все знают, что любая такая интерпретация проводится в узкопартийных интересах и вскоре устаревает, поскольку постоянно происходят новые выборы. В силу того что партии недостаточно сильны, политические лидеры вынуждены географически дезагрегировать свою политику, чтобы получить и сохранить большинство для каждого законодательного акта. И это часто ведёт к передаче полномочий — комитеты конгресса, даже отдельные конгрессмены и сенаторы зачастую играют важную роль при распределении государственных льгот. Политика имеет тенденцию к широкому перераспределению благ, хотя не всегда эти расходы эффективны для достижения целей конкретной политики. Такие схемы очевидны не только в таких классических вопросах перераспределения, как финансирование скоростных дорог, очистка воды, противопоаводочный контроль, сельскохозяйственные субсидии и военные базы. Но точно так же всё происходит и в вопросах распределения оборонных заказов, образовательной политики и пр., что очень выгодно малонаселённым штатам, типа Вайоминг или Аляска, потому что у них есть преимущества в представительстве в сенате (Stein, Bickers, 1995; Ferejohn, 1974).

В Великобритании во многом совершенно противоположная картина: выборы Эттли и Тэтчер привели всю страну к социал-демократии (1946) и в неолиберальный рай (в 1979). За выборами всегда следовал период, в течение которого оппозиционная партия разрабатывала и публиковала детальный план политического курса, который она хотела бы осуществить, и после выборов эта политика в значительной степени воплощалась. Выборы 1997 г. и 2010 г. также ознаменовали схожие поворотные пункты, хотя и в меньшей степени. Но ничего подобного не происходило в США, даже после внушительных побед демократов после Великой депрессии. «Новый курс» внёс лишь отдельные изменения в американское общество, только некоторые из них действительно сохранились, но все попали под отравляющее влияние характерных географических форм компромиссов, которых требовала конституционная система. Пока в течение шести лет демократы Рузвельта получали колоссальное большинство, Демократическая партия представляла собой несвязанный союз разнообразных общественных интересов, распределённых по всему идеологическому спектру — от фермеров-южан и либералов из крупных

городов до организованных рабочих. Как только спала острота экономического кризиса, уменьшились шансы на согласие по целостному набору политических программ, равно как и внутри партии не было согласия в вопросе строительства государства всеобщего благоденствия европейского типа⁶.

Судя по этим двум моделям, можно предположить, что соревновательная демократия может принимать разные формы, а «конституционный» выбор модели имеет последствия для работы демократии. Но каждая модель имеет свои преимущества: в США любая группа интересов (или территориальное образование) получит политический голос и сможет участвовать в переговорах по вопросам политики, оказывающей на них воздействие. В результате такой отзывчивости по отношению к интересам, правительственная политика не может сильно изменить общество или экономику, по крайней мере быстро. Поэтому если кто-то считает, что общество развивается достаточно хорошо и имеет низкий уровень социальной несправедливости, то такая система покажется привлекательной. Напротив, при Вестминстерской модели направление политического курса может меняться и весьма радикально в социально-экономической сфере (как было в 1946 и 1979 гг.) — такая модель подходит тем, кому кажется, что обществу необходимы большие перемены (независимо от причин). По моему мнению, нынешних российских лидеров привлекает модель типа британской. Понятие «суверенной демократии» предполагает наличие государственного потенциала к доминированию и трансформации общества, что было бы сложно воплотить при системе фрагментированной власти американского типа.

Интересно, желательно ли или возможно ли в России принять британскую модель? Выборы в Великобритании имеют большие последствия, так как дисциплинированное большинство может резко изменить политический курс, не признавая степень социального, этнического, лингвистического и географического многообразия в стране. Внедрение такой системы сильно увеличит

⁶ Постепенно такое государство сформировалось, но лишь к 1950-м годам, когда долго вынашиваемые политические планы воплотились в сфере социального обеспечения и других программах и сформировали свой электорат из разных политических партий (Eskridge, Ferejohn, 2010).

ставки на выборах, а заодно и искушение инкумбента отложить выборы, или манипулировать ими, или попытаться сохранить власть после неожиданного поражения. Это может стать рецептом катастрофы или, по крайней мере, зависания в состоянии, когда политические лидеры постоянно предлагают обещания, но не реальность настоящего электорального соревнования.

С другой стороны, американская институциональная практика тоже кажется непривлекательной: поскольку американцы отказались от возможности удовлетворять потребности в изменении или реформировании политики в краткосрочной перспективе, они рискуют столкнуться с разочарованием и отчуждением со стороны граждан. И, кроме того, у правительства могут возникнуть сложности в преодолении скрытых источников гетерогенности способом, который поможет сделать страну более управляемой демократией.

Безусловно, эти две модели представляют собой крайние варианты, поэтому выявление или конструирование промежуточных моделей кажется возможным. Например, локализм американской политики может быть ограничен принятием системы пропорционального представительства с большими округами (как в Скандинавии) или системы, комбинирующей пропорциональное представительство и одномандатные округа (как в Германии). Система пропорционального представительства снизит уровень колебаний, сокращая электоральное преимущество партий, набравших большинство голосов. Но при системе пропорционального представительства партия получит большинство голосов с меньшей вероятностью. Хотя уменьшаются электоральные ставки, возникает риск появления коалиционного правительства или правительства меньшинства. При таких «договорных» правительствах формирование политики зависит от постэлекторального торга внутри политического класса. Это может привести к другому набору рисков: если — как это случилось в послевоенной Италии — выборы слабо влияют на формирование правительства и его действия, люди придут к выводу о несоответствии правительства их ежедневным чаяниям. Когда в обществе все хорошо, возможно, это неплохо, но когда назрела серьезная необходимость социальных реформ, то велика вероятность общественной нестабильности.

Дискуссия: политика после транзита

Модели демократии, рассмотренные в предыдущей части, приводят к появлению разного типа оппозиции. Если, например, установить модель, близкую к Вестминстерской, то додемократическая оппозиция, будучи уже хорошо организованной, может преобразоваться в партию, представляя себя как «правительство-в-ожидании», формируя теневой кабинет, разрабатывающий и рекламирующий политический курс, который оно будет проводить, когда придет к власти. Такая практика, конечно, способствует формированию «ответственной» оппозиции. Но до этого те же самые люди раньше считались оппонентами режима с подозрительным происхождением или сторонниками с сомнительной репутацией. Подобная оппозиция выглядит угрожающей существованию режима, у которого появится сильное искушение подавить её или поставить в невыгодное положение. Таким образом, по-моему, если «суверенный» компонент «суверенной демократии» кажется действующим лидерам неотразимым, то «демократический» компонент привлекает их гораздо меньше.

До недавнего времени европейским политическим лидерам казалось разумным не расширять политическое пространство путём ограничения избирательного права или объявления определённых групп интересов нелегальными. Эти ограничения сопровождалось внушающими доверия объяснениями того или иного рода. А иногда — в 1789, 1848 и 1917 годах — такая стратегия создавала условия для революции. Но даже в странах развитой демократии, если по каким-то причинам от подобных официальных действий и отказались, то обычной стратегией являлось использование менее репрессивных методов, удерживающих аутсайдеров за рамками системы. Стандартное руководство по ведению избирательных кампаний в любой системе описывает как заставить сторонников прийти к избирательным урнам, одновременно создавая препятствия для оппозиции. Этому принципу соответствуют любые технологии, иногда очень жёсткие, но принципы остаются прежними.

Стратегии по ослаблению оппозиции, конечно, будут зависеть от структуры возможностей в обществе и политической системе.

Я не настолько хорошо знаю Россию, чтобы описать альтернативы. Но я достаточно уверен в том, что российские политические лидеры очень мотивированы удержать власть в своих руках и использовать те же технологии, которые инкубенты используют во всём мире. В целом инкубенты должны не дать политическим оппонентам возможность получения доступа к ресурсам и выработки координирующей стратегии внутри оппозиции. В любом случае довольно привлекательным приемом будет сокращение доступа к СМИ и рекламе. Также можно попытаться увеличить собственные ресурсы, чтобы было сложно, или даже невозможно бросить им вызов. Всё это — реализация здравого смысла.

В американской модели, наоборот, так как большинство формируется частями, и поскольку кандидаты сами занимаются сбором финансов и организуют предвыборные кампании, оппоненты вынуждены обращаться к различными источникам финансов и избирательной поддержки. Кандидаты вынуждены собственными усилиями финансировать свою карьеру, что затрудняет формирование сплоченных и дисциплинированных партий, поэтому оппозиция обычно раздроблена, а её члены зачастую вынуждены кооперироваться с представителями правящей партии в определении политики. Это означает, что когда оппозиции будет позволено подняться на борт, их додемократическая (воинственная) структура имеет тенденцию к разрушению. Поэтому в американской модели между выборами нет организованной оппозиции. Конечно, есть вторая крупная партия, чьи представители, оказавшиеся в конгрессе, могут претендовать на власть. Но эти люди почти никогда не участвуют в следующих президентских выборах, и их обещания не действуют как обещания потенциальных кандидатов. Что является нормальным для США, так это поведение политической партии, проигравшей выборы, которая начинает партизанскую войну против вновь избранного правительства. Потенциальные кандидаты проигравшей партии, безусловно, подвергают критике новую политику, но только когда она становится непопулярной, а самая жёсткая критика, как правило, исходит от людей с политической периферии, часто даже не имеющих отношения к партии. В любом случае ни один потенциальный кандидат не станет афишировать свой возможный

политический курс задолго до выборов (то есть, до того момента, когда он будет номинирован в качестве официального кандидата от своей партии и уже не сможет избежать упоминания о своих будущих политических планах в случае избрания). И даже тогда кандидаты от оппозиции стараются использовать выборы как референдум по обсуждению провальной политики инкумбента и предпочитают не просить избирателей оценить детали их собственных политических планов.

Глава 13. Политический институт и политический порядок

«Нормальное» существование гегемонии на классической почве парламентаризма характеризуется комбинацией силы и согласия, взаимно уравновешивающих друг друга, и без того, чтобы сила слишком уж явно преобладала над согласием ... Промежуточное положение между согласием и силой занимают коррупция и обман (характерные для определенных ситуаций, когда становится трудно осуществлять гегемонию, а использование силы чревато большими опасностями)».

Антонио Грамши, Тюремные тетради

Вступление

Политический порядок можно поддерживать различными способами, прибегая к многообразию вариантов сочетания силы и согласия [Gramsci, 1971]. На протяжении большей части истории гражданский мир сохранялся при условии, что некие политические силы укрепляли свои доминирующие позиции до такой степени, чтобы их потенциальные конкуренты были достаточно запуганы, чтобы согласиться на выборы, не имея шансов на победу: в «электоральном авторитаризме» нет ничего нового. Тень насилия исчезает только тогда, когда люди становятся настолько богатыми, чтобы не заботиться о возможном выигрыше в борьбе.

Данный анализ ставит целью поместить современную Россию в широкий исторический контекст и проанализировать, по-

чему политический порядок часто сложно установить, почему особенно часто он возникает при доминировании какой-то одной единственной политической силы и, наконец, почему некоторые лидеры соглашаются на проведение соревновательных выборов и покидают свои посты при поражении. В понятие «политический порядок» я вкладываю минимальное значение – прежде всего, отсутствие организованного насилия¹. В этом плане понятие «мирный порядок» является избыточным. Но понятие «порядок» подразумевает любую регулярность, и применение насилия тоже может быть регулярным.

Политический порядок поддерживается сочетанием трёх механизмов: идеологическим убеждением, институциональным регулированием и репрессиями.

Первый механизм, убеждение, основывается на политических мифах [Morgan, 1988]: утверждения о единстве «народа», отсутствии существенных конфликтов в обществе, гармонии ценностей и интересов и консенсусе в коллективной жизни. «Едины мы стоим» — это лозунг, используемый всеми лидерами для обеспечения поддержки своих собственных позиций.

Второй механизм заключается в структурировании возникающих в обществе конфликтов, перенос некоторых из них в институциональные рамки и разрешение в соответствии с определенными правилами.

Наконец, третьим механизмом служит силовое подавление тех конфликтов, которые выходят за пределы институциональных рамок.

Эти механизмы взаимозаменяемы; разнообразные сочетания призывов к единству, регулирования одних конфликтов в институциональных рамках и подавления других приводят к установлению разных типов порядка, но, тем не менее, порядка.

Я бы хотел здесь сфокусироваться на втором механизме — роли политических институтов. Хочу предупредить, что это только первые мысли на эту сложную тему. Более того, данный текст является лишь конспектом большого проекта, и данные заметки весьма схематичны.

¹ В этом определении я разделяю позицию Хантингтона [Huntington, 1968], хотя в дальнейшем наши мнения расходятся.

Текст построен следующим образом: сначала я определяю, что позволяет политическим институтам успешно поддерживать порядок. Затем я подчеркиваю, что порядок можно сохранить с помощью различных сочетаний согласия и силы, и анализирую их детерминирующие факторы. И, наконец, опираясь на огромное количество работ, посвящённых проблеме режимных трансформаций, я предлагаю определенные гипотезы в отношении сравнительной динамики режимов.

Политические институты и политические конфликты

Преамбула

Политические институты регулируют конфликты мирным способом при условии, что организованные политические силы продвигают свои интересы, ценности и амбиции в институциональных рамках и признают любые результаты институционального взаимодействия. Оба пункта данного определения являются необходимыми, поскольку политические акторы могут использовать политические институты, но могут не согласиться с неблагоприятным результатом. «Контрактарианская теорема» гласит: «если акторы согласны с некоторыми правилами, они им подчиняются» или «если они не намерены подчиняться правилам, акторы не согласятся их принимать» — по сути, ошибочна². [Buchanan, Tullock, 1962; Calvert, 1994].

Институциональный порядок превалирует, когда политическая активность ограничена рамками организаций, имеющих институционально закреплённый доступ к представительной системе при условии, что эти организации способны дисциплинировать своих последователей, у которых есть

² По мнению Калверта [Calvert, 1994, p. 33], «если бы некоторые акторы эксплицитно согласились бы на определенный эквilibриум в виде институтов, а затем в определенном смысле прекратили свои дискуссии по поводу институционального дизайна, они бы получили правильный стимул соблюдать это соглашение, обеспечивающее эквilibриум ... Любое достигнутое соглашение автоматически проводится в жизнь (поскольку оно является самоподдерживающимся), что необходимо для разрешения «проблемы сделок».

стимулы продвигать свои интересы через эти институты и толерантно принимать неблагоприятный исход. В частности, конфликты становятся упорядоченными, если политические силы, имеющие доступ к институциональным рамкам, имеют ожидания успеха — сейчас или в недалеком будущем — при продвижении своих интересов через эти рамки, когда альтернативные пути связаны с издержками, а применение силы не принесет результатов.

Заметим, что мышление в стратегических рамках предполагает, что организации могут направлять действия своих последователей. Как заметил в 1936 году Морис Торез, «нужно знать, как закончить забастовку». Организация, по мнению Пизорно [Pizzorno, 1964], обладает стратегическим потенциалом. Организации могут действовать стратегически, только если они могут дисциплинировать своих сторонников — если они могут мобилизовать и демобилизовать их в соответствии со стратегическими соображениями. Если у организаций нет такого потенциала, то политические конфликты приобретают форму неорганизованных, «спонтанных» выступлений.

Институты функционируют под тенью насилия. Чтобы понять суть гражданского мира и политического порядка любого типа, необходимо представлять, что произойдет после его распада. Ни один политический порядок не является полностью мирным, всегда присутствует некоторая доля репрессий, даже если мир доминирует. Кто-то заметил, что «мир на улицах не означает отсутствие насилия». Но возможности любых институциональных рамок по структурированию, поглощению и регулированию конфликтов зависят от неправильных, нарушающих равновесие, последствий насильственного противостояния. В частности, мир удаётся сохранить при таком институциональном дизайне, при котором шанс победы на институциональном поле сравним с шансом преобладания другим способом, преимущественно силовым. Взаимоотношения между военной силой и институциональными шансами становятся менее значимыми, только если люди менее ценят то, что они могут получить в борьбе. Поэтому если конфликты касаются доходов, мир легче сохранить в богатых обществах.

Структурирование конфликтов

Все политические институты структурируют конфликты, превращая организации социальных интересов в политические силы³ и регулируя их доступ в государство.

Когда системы представительных институтов впервые создавались, в ряде стран они запрещали существование «промежуточных» организаций — между индивидами и государством. Как отмечает Розанваллон [Rosanvallon, 2004], если демократия не была прямой, она была «непосредственной», в том смысле, что никто не стоял между гражданами и их представителями. У Ле Шапелье [цит. по Rosanvallon, 2004, p. 13] есть известное высказывание: «Нет больше никаких корпораций внутри государства. Нет ничего, кроме частных интересов отдельных индивидов и общих интересов. Никому не позволено воодушевлять граждан промежуточными интересами, и духом корпоратизма отчуждать их от общественной сферы». То же самое наблюдалось в США: когда президент Вашингтон назвал политические клубы «самообразованиями», он имел в виду, что они являлись незаконными и что только должным образом созданные институты и должным образом избранные представители имеют право обсуждать или оказывать влияние на общественные вопросы [Palmer, 1964]. Я ранее показывал, [Przeworski, 2010a; Rosenblum, 2008], что «фракции» и партии были организациями, которых они больше всего опасались. Некоторым современным институциональным системам всё ещё присущи непосредственные отношения между индивидами и государством.

Самое важное отличие между политическими режимами заключается в их отношении к политической оппозиции. В большинстве режимов подавляются определенные политические идеологии или политические организации. Некоторые режимы запрещают любую оппозицию, некоторые сами решают, каким политическим силам позволено организоваться (например, Египет, см. Lust-Okar, 2005; запрет на участие перонистов в соревновательных выборах в Аргентине в 1963 году; запрет исламист-

³ Выражаю благодарность Карлосу Асуња за то, что он обратил моё внимание на эту роль политических институтов.

ских партий в ряде стран Ближнего Востока). И даже некоторые режимы, обычно считающиеся демократическими, запрещают антидемократические политические силы, (запрет коммунистической партии в Западной Германии, маккартизм в США).

В какой-то момент политические партии стали важнейшей формой организации интересов. Партии превратились в механизм артикулирования и агрегирования интересов, вертикальные организации, которые организовывали участие граждан в государстве. По неясным до сих пор причинам [Manin, 1997, 2007], политические партии со временем начали функционировать нерегулярно, только в период выборов. Они утратили свои функции социальной интеграции общества. Никто не сможет сегодня сказать вслед за Острогорским: «не убеждайте их, включите их в общество». Ежедневный постоянный контакт ушёл в прошлое. А когда партии не поддерживают живого ежедневного вертикального контакта с людьми, которые поддерживают их на выборах, они не могут внести дисциплину в свои политические действия.

Даже при либеральной демократии не всякий тип политической организации сможет найти себе нишу в государственных институтах. Партии конкурируют на выборах, затем занимают должности в структурах исполнительной и законодательной власти и управляют функционированием государства. Группы интересов, будь это бизнес лобби или негосударственные организации, стремятся оказывать влияние на партии, равно как продвигать свои требования, обращаясь напрямую к исполнительной власти, включая нижние эшелоны бюрократии. «Движения», однако, не имеют конкретного институционального адреса в государстве. Не секрет, что политические партии часто перехватывают те инициативы, которые выдвигают не ориентированные на выборы движения. Движения представляют собой форму политической организации, не имеющую своего места в представительных институтах и других органах государства.

Важное отличие в структурировании конфликта является следствием регулирования функционально определенных интересов. Профсоюзы были запрещены во всех европейских странах до середины XIX в. Даже когда им, наконец, разрешили организоваться, в ряде стран государство признавало эти организации из-

бирательно. В то время как в некоторых современных демократиях разрешены многочисленные профсоюзы, «неокорпоративные» установки включают селективное, принудительное и монопольное представительство работающих и работодателей. [Shmitter, 1974]. Фашистская система в классической итальянской форме допускала лишь создание управляемых государством вертикальных организаций всех функциональных групп. В некоторых новых системах «партиципаторной» демократии, как, например, в Эквадоре, эта форма организаций расширилась до образования местных сообществ, которые имели своё коллективное представительство в различных государственных органах. Конечно, в модели «коммунитарной демократии» «свобода индивида» ограничивается моральными устоями. В этой гармоничной и менее конкурентной системе они рассчитывают избежать безнравственности и хаоса, свойственных «Западу» [Keller, 2010, p. 4].

Влиятельные частные интересы имеют более прямой доступ к государству. Не стоит вдаваться в детали — тема достаточно сложная, можно только согласиться с Холмсом [Holmes, 2003] в том, что политические институты абсорбируют политические конфликты, если обладатели экономической и прочими формами власти сочтут полезным переориентировать свои действия на эти институты. Политические институты, автономные от влиятельных интересов, редки и недолговечны. Как показывает опыт «государства развития», такая «встроенная автономия» [Evans, 1995] представляет собой слабый эквилибриум, если политические институты эффективны, они становятся привлекательной целью для частных интересов, и, в свою очередь, если они не включают влиятельные частные интересы, они перестают быть эффективными.

Гражданское право и судебные решения индивидуализируют конфликты и таким образом децентрализуют их. Без обращения в суды конфликты приобретают форму стихийного коллективного протеста: говорят, в Китае ежегодно происходит от четырёх до пяти тысяч случаев коллективного протеста. Когда же индивиды обращаются в суд, конфликты между ними и государством децентрализуются: в Аргентине, например, граждане обратились в суд с жалобой на государство за непредоставление услуг, гарантированных Конституцией [Smulovitz, 2003]. Правовое государс-

тво, таким образом, является каналом переработки конфликтов без коллективной организации истцов.

Итак, государство формирует организацию политических сил, которые смогут появиться на территории политических институтов. Другие политические действия будут либо с трудом приниматься, либо активно подавляться.

Мотивация к участию и повиновению

Каким тогда образом институты регулируют конфликты? Представляется необходимым отдельно рассмотреть роль соревновательных выборов и тех механизмов, которые поддерживают мирный порядок в период между соревновательными выборами и роль несоревновательных выборов.

Выборы

Соревновательные выборы — выборы, в которых избиратели могут отстранить от власти инкумбента, который покидает свой пост при проигрыше — являются одним из механизмов, способствующих мирному управлению конфликтом. Этот механизм прост и учитывая, что я уже ранее анализировал его [Przeworski, 1991, 2005, 2010b; Benhabib, Przeworski, 2006], здесь стоит остановиться только на центральной идее.

Предположим, между политическими партиями или коалициями возникает конфликт по поводу некоторых направлений в политике, и этот конфликт удалось решить раз и навсегда или, по крайней мере, на неопределенный период времени. Проигравшая сторона может отнестись к такому исходу нетерпимо и прибегнуть к силе. Но если проигравшая сторона имеет обоснованную перспективу изменить результат в свою пользу в будущем с помощью той же процедуры, она может предпочесть ожидание борьбы. Представьте политическую преемственность: если на кону стоит вопрос, какая династия будет править страной неопределённое количество лет в будущем, то конфликты по поводу передачи власти легко могут перерасти в гражданскую войну, но если речь идет о всего лишь четыре года правления, проигравшие могут подождать следующего хода.

Выборы побуждают к миру, потому что они создают межвременные рамки. Даже если кто-то думает, что людей больше волнуют рамки, чем процедуры, перспектива выигрыша для партии, симпатизирующей его интересам, вызывает надежду и формирует терпение. Для многих выборы в США в 2000 году стали катастрофой, но мы знали, что в 2004 году будет еще один. Когда выборы 2004 года привели к еще худшим результатам, мы возложили надежду на 2008 год. И как невероятно это не выглядит, но страна, которая избрала и переизбрала Буша и Чейни, проголосовала за Обаму. Выборы являются сиреной демократии. Они постоянно зажигают наши надежды. Мы снова готовы впасть в искушение обещаниями и делать ставки на электоральном кону. Поэтому мы соглашаемся и ждем.

Но этот механизм работает не при всех обстоятельствах. Самым сильным фактором является фактор богатства. Смена партий во власти происходит гораздо чаще, чем перевороты и гражданские войны (их может вообще не быть), в обществах, которые достигли определенного уровня дохода. Имеют ли значение определенные институциональные установки — вопрос спорный. С моей точки зрения, они играют роль в бедных обществах, но не в богатых: в частности, в бедных обществах политические институты должны обеспечить сильнейших в плане экстраинституциональных, преимущественно военных ресурсов, достаточной институциональной властью, чтобы сделать продвижение интересов через институциональные рамки привлекательным⁴. Мы не будем рассматривать, какие институциональные установки приводят к таким последствиям, равно как и открытый вопрос, насколько способствует миру наличие нейтральной «третьей» стороны (например, Конституционного суда) [Ferejohn, 2010; Xi, 2010].

Роль несоревновательных выборов в поддержании политического порядка не так очевидна, поэтому, чтобы ее понять, нужно вернуться в наших рассуждениях на шаг назад. Говоря о

⁴ Комментируя опыт Мексики середины XIX в., Агилар [Aguilar, 1998] указывал, что принятие конституций, узаконивающих верховенство законодательной власти («жесткое разделение властей»), ведет к появлению особых режимов, в которых институционально слабые президенты становятся главнокомандующими.

соревновательных выборах, мы представляем себе электоральное соревнование партий, предлагающих в ходе избирательных кампаний политические платформы, и избирателей, отдающих свои голоса, искренне или стратегически, стремясь максимизировать ожидаемую пользу. Но выборы — это не только борьба за поддержку избирателей, но и нечто большее:

(1). В силу того, что выборы проводятся по определённым правилам — кто имеет право голоса, будет ли голосование прямым или косвенным, тайным или открытым, обязательным или добровольным, как будут агрегироваться поданные голоса и пр., — а также в силу того, что правила влияют на результаты, все выборы подвергаются манипулированию в том смысле, что различные правила приводят к различным результатам. Даже мелкие детали, например, форма и цвет бюллетеня, расположение избирательных участков, день недели — всё может изменить исход голосования. Как отметил один американский политик, «в штате Нью-Йорк законодатели выбирают избирателей, а не избиратели выбирают законодателей», что, по сути, верно: каждые десять лет лидеры двух партий садятся за стол и распределяют избирателей, что приводит к переизбранию 99% представителей.

(2). Многие инкубенты во время выборов, используя возможности государственного аппарата, оказывают влияние на СМИ в свою пользу. Формат официального правительственного списка, представленного избирателям для плебисцитарного одобрения, существовал ещё во Франции в период Директории [Crook, 1996], в эпоху Реформации и был усовершенствован при Наполеоне III [Zeldin, 1958]. Продвижение правительственных кандидатов не являлось нарушением закона, а, наоборот, было обязанностью правителей: в 1822 г. премьер-министр Франции де Виллель издал циркуляр, инструктирующий «Всех членов моего министерства, желающих сохранить свои места, внести свой вклад в рамках своих прав в избрание членов парламента, искренне расположенных к правительству» [Zeldin, 1958, p. 79]. Использование партиями административного ресурса наблюдалось повсеместно как в Латинской Америке, так и в Европе. По примеру Чили после 1831 года [Valenzuela, 1995] несколько латиноамериканских стран установили стабильные системы передачи власти, в которых президенты, завершившие свой срок

полномочий, честно придерживаясь временных ограничений, выбирали преемников и использовали государственные ресурсы для обеспечения их победы на выборах. До 1920 года во всех странах организацией выборов занималась исполнительная власть, а результаты утверждались вновь избранными законодательными органами, поэтому инкубенты обладали широким преимуществом на выборах. Согласно исследованию, проведённому Институтом за демократию и содействие выборам, из 214 стран и территорий в 2006 году эта система все еще преобладала в 26% стран, в 15% стран выборы проводились под контролем исполнительной власти и независимых судебных органов, в то время как номинально независимые выборы проводились в 55% стран [Wall et al, 2006, в оставшихся 4% стран выборы не проводились).

(3). Наконец, в отдельных случаях инкубенты и оппозиция прибегают к мошенничествам. Отметим, что если манипулирование означает создание правил, то мошенничество означает их нарушение, какими бы они ни были⁵. Создание правил и нарушение правил ведет к различным санкциям, даже если они могут привести к одинаковым электоральным результатам. Одно и то же действие, например избирательные пожертвования, может иметь различные значения и вызывать разные реакции, в зависимости от того, разрешены ли они законом или являются нелегальными: «факты нарушений в институциональных рамках отличаются от грубых нарушений закона» [Sánchez-Cuenca, 2003, p. 81–82].

Итак, результаты выборов зависят не только от распределения поддержки избирателей, но и от манипулирования правилами, использования государственного ресурса и степени мошенничества. В силу того, что достаточно трудно оценить относительное влияние каждого из этих факторов, представители власти, когда бы они ни выиграли, всегда подчёркивают свою истинную популярность. Михаил Леонтьев, защитник «суверенной демократии», в своём интервью польской газете «Дзенник» 19 января

⁵ О трудностях выявления мошенничества [см. Anlino, 1995, p. 15–18]. О коррумпированной электоральной практике в Латинской Америке [см. Posada-Carbo, 2000].

2008 года играет на этой неопределённости: «Я не понимаю, что здесь недемократичного, если выборы выигрывает какая-то политическая сила, обладающая подавляющей общественной поддержкой».

Теперь стоит рассмотреть крайний случай: однопартийные выборы, в которых участвуют 99% избирателей и все 99% голосуют за режим. Многочисленные диктаторы, особенно коммунистические, но также и некоторые в Африке и Латинской Америке, каждые несколько лет гордо заявляли о получении 99,28% голосов избирателей. Никто не поверит в «демократичность» таких выборов: ни те, кто голосовал, ни те, за кого голосовали, ни внешние наблюдатели. Такие выборы откровеннейшим образом демонстрируют разницу между голосованием и выборами. Их цель другая — запугать любую потенциальную оппозицию. Заметим, что не так-то просто заставить миллионы людей прийти в определённые места в определённое время и продемонстрировать свою согласие с режимом. Такие выборы свидетельствуют о том, что диктаторы могут заставить «собачку совершить трюк», запугать 99% населения, и тогда любая оппозиция покажется ничтожной.

Другие авторитарные режимы хотят выглядеть демократичными, поэтому они уменьшают результаты, утверждая, что результаты отражают свободное волеизъявление граждан. Разные режимы преследуют разные цели. Проводя соревновательные выборы, инкубенты стремятся получить как минимум голоса, в соответствии с избирательным законодательством необходимые для сохранения власти. В других режимах, например, в Мексике при власти ИРП инкубенты не хотели получать менее 65% голосов, коммунисты — были нацелены на 99%. Но когда цели становятся известны — из результатов предыдущих выборов, то любая неудача в их достижении, любое уменьшение голосов свидетельствует об ослаблении политического контроля и открывает возможности для активизации оппозиции. Безусловно, результаты местных выборов в Польше в 1984 году, когда было получено менее 75%, предсказали падение коммунистического режима: все поняли, что режим больше не контролирует ситуацию. Поэтому лидеры, организующие несоревновательные выборы, должны беспокоиться о результатах. Выборы заставляют лидеров нервничать даже в том случае, когда их власти ничто

не угрожает, потому что невозможность достижения ожидаемой цели делает их уязвимыми перед другими механизмами, ведущими к потере власти — например, военной интервенцией или народной мобилизацией.

Далее, результаты голосования могут быть сфабрикованы либо за счёт манипулирования правилами, либо путём мошенничества. Один из способов рассмотрения искусственно завышенных цифр сводится к следующему: так как эти результаты не заслуживают доверия, они не принимаются оппозицией, следовательно, они не влияют на восприятие силы режима. В этой логике фальсификация результатов будет свидетельством недостаточной поддержки режима гражданами. Но я всё же полагаю, что способность манипулировать правилами и совершать мошенничество демонстрирует силу режима. Анастасио Сомоса, как известно, заявил своему побеждённому оппоненту: «Вы — жалкая личность. Вы возможно выиграли голосование, но я выиграл подсчёт голосов». По моему мнению, не будучи популярным, он обладал достаточным контролем над репрессивным аппаратом, чтобы управлять страной независимо от степени народной поддержки. Он говорил: «Попробуй, сразись со мной!» абсолютно безнаказанно, поскольку физическая сила была на его стороне. Очевидно, что всё же лучше выиграть голоса, чем их подсчёт. Поэтому действительно популярные авторитарные режимы, по крайней мере, пока они могут получить желаемое за счёт манипуляций с правилами, могут не прибегать к мошенничеству. Безусловно, они приветствуют присутствие иностранных наблюдателей или других мониторинговых агентств на выборах, чтобы их победа выглядела более достоверной [Little, 2010]. Но даже в победах, добытых мошенническим путём, всегда можно обнаружить присутствие силового фактора.

Таким образом, инкубенты нервничают не только на соревновательных выборах, или скажем иначе, механизмы ответственности функционируют даже при несоревновательных выборах. Действительно, большое число исследований свидетельствует, что авторитарные режимы имеют электоральный бизнес-цикл [Blaydes, 2006; Block, Ferree, Singh, 2003; Pepinsky, 2007]. Потребление калорий в Египте увеличивается в годы выборов [Blaydes, 2006], а я знаю на собственном опыте, что в Польше

мясо «появлялось» в магазинах перед выборами. Действительно, любые, даже несоревновательные выборы накладывают на власть определённые ограничения. Авторитарные лидеры стремятся к популярности, поскольку при опоре на репрессии они могут стать заложниками репрессивного аппарата, что заставит их нервничать гораздо больше, чем при проведении выборов. Если они достаточно популярны, они могут проводить честные выборы. Поэтому, если они прибегают к мошенничеству на выборах, значит, они не рассчитывают только на популярность среди избирателей и считают, что лучше использовать репрессии, чем подвергать себя риску проигрыша. Поэтому после 1950 года авторитарные лидеры держались у власти дольше, чем демократические.

Между соревновательными выборами, без соревновательных выборов

Соревновательные выборы стимулируют гражданский мир, давая возможность конфликтующим группам мыслить стратегически в межвременных рамках. Несоревновательные выборы, в свою очередь, поддерживают гражданский мир, демонстрируя, что усилия оппозиции будут тщетны, потому что лидеры либо действительно популярны, либо способны удержать власть, даже не имея популярности. Но выборов, соревновательных или нет, может быть недостаточно. Иначе как тогда правительства поддерживают порядок в период между соревновательными выборами или вообще без них? Одинаковы ли эти механизмы в двух типах режимов?

Теперь можно предположить, что в период между соревновательными выборами несложно поддерживать гражданский мир, поскольку перспективы выигрыша на следующих выборах достаточны, чтобы усмирить оппозицию между выборами. Если О'Доннелл [O'Donnell, 1994] диагностировал свертывание политики к выборам как латиноамериканскую патологию, «делегативную демократию», то Джеймс Мэдисон полагал, что именно так должно функционировать представительное правительство: люди не должны играть никакой роли в управлении. Липпман [Lippman, 1956] настаивал на том, что граждане должны «за-

полнить места, но не направлять представителей”. Шумпетер [Schumpeter, 1942] убеждал избирателей в том, что они «должны понимать, что после выборов политика становится делом избранных. Это означает, что они обязаны воздерживаться от указаний в их адрес».

Очевидно, описанная картина не вполне точна. Конфликты относительно политики, конкуренция за политическое влияние – будни политики. Политическая деятельность не ограничивается только выборами или попытками повлиять на результаты будущих выборов. Но соревнование за политическое влияние происходит и в других политических режимах. Чем же особенным отличаются системы с соревновательными выборами?

Этот вопрос был поставлен Кельзенем [Kelsen, 1988, p. 65], который первым увидел демократию как систему для переработки конфликта. Он утверждал, что «применение принципа большинства содержит квазиестественные пределы. Большинство и меньшинство должны понимать друг друга, если они хотят прийти к согласию». Но он считал проблему настолько сложной, что для её решения требовался психоанализ Фрейда и объяснение «подсознательного»: почему уступки большинства меньшинству свойственны демократии? Единственную причину этого он находил в психологии: «Демократия и автократия отличаются друг от друга психологически» [Kelsen, 1988, p. 64].

Правда, при демократии оппозиция может остановить или изменить некоторые действия правительства. Предположим, правительство предлагает непопулярную политику. Если её проведение требует утверждения законодательным органом, то парламент может провалить предложение. Оппозиционные партии могут, например, убедить сторонников правительства изменить свою точку зрения, они могут воспользоваться своими институциональными прерогативами и заблокировать некоторые законопроекты (в Германии в частности, председательство в парламентских комитетах распределяется пропорционально силе партии, в Великобритании Комитет по государственным счетам по договоренности контролируется оппозицией, в Аргентине утверждение законов требует супербольшинства голосов), они могут угрожать обструкцией (во Франции предложение правительства о приватизации электрической компании вы-

звало тысячи поправок; в сенате США — оппозиция тормозит принятие законов) или несотрудничеством низших эшелонов правительства, находящихся под их контролем. Следует заметить, что при соревновательных выборах у оппозиции возникает стратегический выбор: либо принять уступки правительства, либо рискнуть, надеясь сместить правительство на следующих выборах⁶.

Но авторитарные режимы тоже идут на уступки [Grossman, Noh, 1990; McGuire, Olson, 1996; Ginkel, Smith, 1999; Bertocci, Spagat, 2001]. Возможно, это ситуации, когда уступки делаются меньшинством большинству, или некоторым отдельным группам аутсайдеров режима, но они олицетворяют компромиссы в кельзеновском смысле [Kelsen]. Масштабы уступок зависят: во-первых, от необходимости сотрудничества и, во-вторых, от угрозы со стороны оппозиционных сил [Gandhi, Przeworski, 2006]. В плане сотрудничества политические режимы отличаются друг от друга: режимы, живущие за счет ресурсной ренты, не нуждаются в сотрудничестве; те же режимы, которые вынуждены обращаться за займами к банкам, за сельскохозяйственной продукцией к крестьянам, за научными исследованиями к учёным, нуждаются в широком сотрудничестве. В свою очередь, диктаторы становятся диктаторами из-за невозможности победить на выборах, поскольку их интересы не совпадают с интересами большинства населения. Поэтому над диктаторами может висеть угроза восстания, но величина этой угрозы будет варьироваться в разных диктатурах.

Политические уступки подразумевают наличие институционализированного форума с контролируемым доступом, где можно предъявлять требования, которые не выглядят как акты неповиновения, где компромиссов можно было бы достичь без чрезмерного общественного контроля и где достигнутые соглашения можно было облечь в легальную форму и обнародовать. Ганди и Пшеворский [Gandhi, Przeworski, 2006] утверждают, что

⁶ Например, в период президентства Фернандо Энрике Кардозо в Бразилии, большинство партий выразили желание поддержать правительство в обмен на государственное финансирование локальных проектов, в то время как Рабочая партия неизменно голосовала против правительства и выиграла президентские выборы.

законодательные собрания идеально подходят для этой цели, так как диктатор может селективно предоставить доступ определенным группам, а участвующие группы могут формулировать свои требования, не демонстрируя видимую оппозицию диктатуре, а информацию о переговорах можно контролировать. Сам факт существования законодательных органов свидетельствует о том, что, диктатор, по меньшей мере, сообщает о своих намерениях и что существуют внутренние правила, регулирующие prerogatives соответствующих властей [Machiavelli, Bobbio, 1989]. Законодательные собрания являются хорошим механизмом, поскольку они не являются внутренним святилищем диктатора. Наиболее важные решения принимаются диктатором единолично или узкой кликой вокруг него: королевским советом, военной хунтой или комитетом партии. С точки зрения оппозиции, участие в легислатуре даёт ей возможность продвигать свои интересы и ценности в рамках диктатуры, трансформируя её изнутри. Если оппозиция не видит возможности свергнуть диктатора в обозримом будущем, то она может предпочесть ограниченное влияние бесконечному ожиданию.

Независимо от того, являются выборы соревновательными или нет, одним стимулом для уступок является страх перед общественным волнением: массовыми демонстрациями, ведущими к насилию, общими забастовками или мятежами. Когда конфликты выливаются за рамки представительных органов, правительство оказывается перед выбором: либо продолжать свою политику, прибегнув к репрессиям, либо отказаться от политики для успокоения оппозиции. Ни одна из альтернатив не выглядит привлекательно. Спираль протестов и репрессий подрывает политический порядок, а повторяющиеся уступки не позволяют проводить стабильный политический курс. Но если именно страх перед волнением мотивирует правительство идти на уступки, то механизм поддержания мира остается неясным как при соревновательных, так и несоревновательных выборах.

Рассмотрим уменьшение числа массовых демонстраций, бунтов или национальных забастовок в демократиях. В промежутке между 1946 и 1996 годами в Норвегии и Исландии подобные события происходили один раз в десять лет, в Австрии — один раз в шесть лет, и в Швеции — один раз в четыре года [Banks, 1996].

Таким образом, политическая активность в этих странах протекала исключительно в русле институциональных систем. Скорее всего, в этих странах было достаточно перспективы будущих выборов, чтобы держать оппозицию в институциональных рамках в промежутках между выборами. Но вполне возможно и то, что некоторые части потенциальной оппозиции получали определенные уступки, достаточные, чтобы удержать их от неинституционализированных действий.

Представим ситуацию, когда правительство обладает монополией на законодательную инициативу, подкрепленной поддержкой большинства в парламенте. Все законопроекты инициируются исполнительной властью, и все они становятся законами. Более того, правительство действует совершенно легально, поэтому обращения к судебной системе будут тщетны. Теперь проанализируем эту ситуацию с позиции социальной группы, выступающей против конкретной политики. У этой группы нет шанса оказать воздействие на правительственный курс в рамках институциональной системы: правительство хочет проводить политику, легислатура просто штампует законы, а суды не имеют оснований для вмешательства. Самое большее, на что может рассчитывать эта группа в условиях представительных институтов, это то, что если эта политика окажется достаточно непопулярной, правительство проиграет следующие выборы, и политика вернется в прежнее русло. Но представим, что правительство может вполне преуспеть в установлении партийного контроля с целью увеличения шанса на переизбрание. Тогда эта группа ничего не добьется, действуя в институциональных рамках. В этих условиях эта группа может впасть в отчаяние и попытаться прекратить проводимую политику, выйдя за институциональные рамки, например организуя массовые демонстрации, блокируя дороги и мосты. В Италии и Франции подобные события происходят каждые два месяца, в Аргентине – каждые три.

В настоящее время мирные демонстрации, равно как и забастовки, являются стандартным репертуаром демократической оппозиции. Как демонстрируют Пшеворский и другие [Przeworski, 2000], такие формы протеста, являясь нормальной и легитимной частью повседневной жизни в демократиях, тем не менее, не оказывают влияния на экономический рост. Авторитарные режимы

гораздо более уязвимы перед такими событиями, так как они демонстрируют, что режим не контролирует улицы и открывают возможности для краха режима, последствием чего может быть снижение темпов роста. Но даже в демократиях грань между мирным использованием демократического права на протест и нарушением общественного порядка очень размыта и дает возможности для манипуляций. Например, можно процитировать британского премьер-министра Дэвида Кэмерона, высказавшегося по поводу демонстраций студентов против повышения платы за образование, что «протесты являются частью демократии, а насилие и нарушение общественного порядка — нет» («Би-Би-Си»). Фактически, ни демократические, ни авторитарные правительства не любят массовые демонстрации против них. Хотя последние более склонны прибегать к использованию репрессий, оба режима готовы пойти на некоторые уступки.

Не все одинаковы

В принципе, демократические правительства можно сместить с помощью двух механизмов: выборов и того, что можно, в целом, назвать «силой» [Volhken, 2009]. Эти механизмы не являются взаимоисключающими. Правительства, рискнувшие пойти на выборы, не обладают иммунитетом от силового свержения: долгое время главной заботой многих избранных латиноамериканских правительств оставалось удержание власти до истечения срока, а не переизбрание на следующий срок. В стандартном наборе средств, используемых оппозицией во многих странах, есть и «преторианская политика», когда гражданские силы провоцируют выступления военных против правительства.

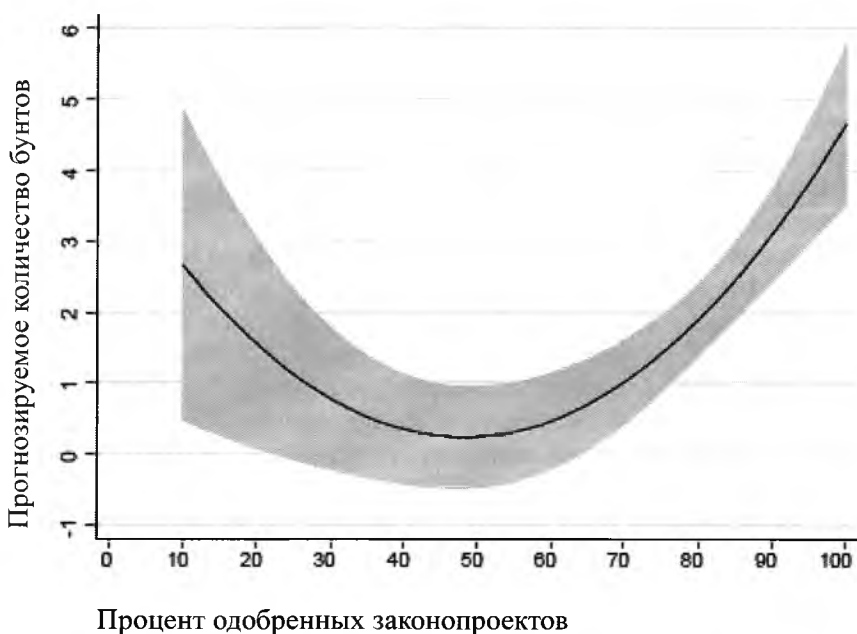
Однако угроза силового свержения имеет эндогенный характер. Соревновательные выборы представляют собой механизм, помогающий избежать использования силы: возможность отстранения инкубентов путём голосования уменьшает привлекательность более дорогих силовых методов, часто ведущих к жертвам. Как сказал председатель лейбористской партии Макгерк в 1919 году:

«Либо мы конституционалисты, либо — нет. Если мы — конституционалисты, если мы верим в эффективность политического

оружия (а мы верим, иначе зачем нужна лейбористская партия?), то тогда будет неумно и недемократично, раз нам не удалось получить большинство на выборах, отвернуться и найти замену промышленным забастовкам» [цит. по Miliband, 1975, p. 69].

Более того, если даже ограничители для демократических и авторитарных лидеров одинаковы, то ставки — разные. Проиграть выборы в демократической стране не такая уж великая потеря (можно и вернуться), в то время как потеря власти в авторитарном режиме может стоить жизни.

Демократии



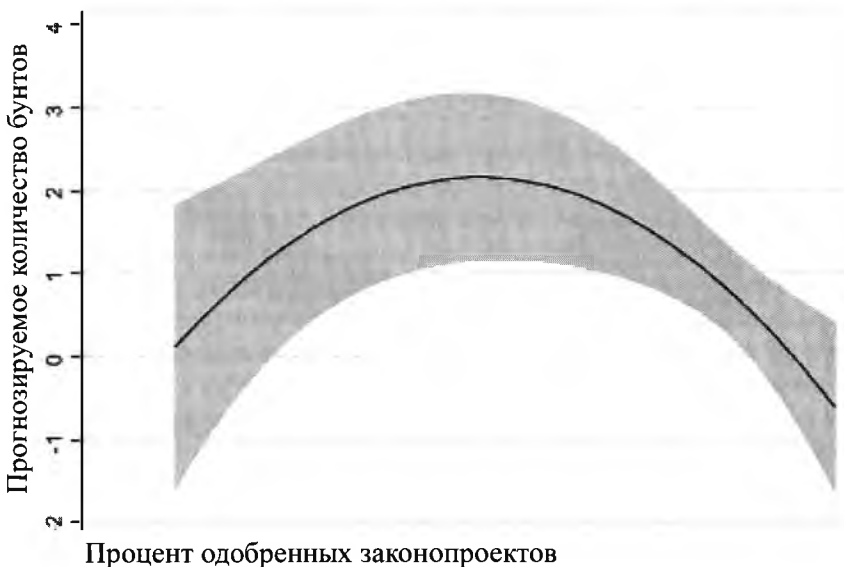
Сайе [Saiegh, 2009] (воспроизводится с его разрешения) получил интересные данные о взаимосвязи между процентом одобренных парламентом законопроектов, инициированных исполнительной властью и количеством бунтов. Правительства не всегда добиваются желаемого в законодательных органах: по мнению Сайе [Saiegh, 2009], при демократиях только 76% предложенных правительством законопроектов было одобрено зако-

нодательными органами в течение совокупных 783 государств-лет, для которых эти данные действительны. В свою очередь, в авторитарных режимах правительства почти всегда — в 96% случаев — добиваются своего [Gandhi, Gochal, Saiegh, 2003].

В условиях демократии (Сайе использует классификацию режимов Альвареса, Чейбуба, Лимонжи и Пшеворского) бунты происходят чаще, когда либо исполнительная власть является неэффективной, либо когда законодательный орган превращается в штамповочную машину для законов.

В условиях диктатуры, однако, эта U-образный изгиб будет изображаться в перевёрнутом виде: протесты становятся более частыми, если хватка режима не слишком сильна.

Диктатуры



Эти схемы можно интерпретировать следующим образом: при демократии институты могут успешно регулировать конфликты, если правительство достаточно эффективно управляет, но при этом, оппозиция имеет право значимого голоса в формировании политики. При диктатуре, однако, любое проявление отсутствия контроля со стороны правительства выводит людей

на улицы. При демократии оппозиция избегает улицы, когда она может добиться чего-либо в институциональных рамках, при авторитаризме оппозиция рассматривает поражения правительств в институциональных рамках как признак слабости и требует большего на улицах.

И оппозиция и репрессии играют разную роль в этих режимах. Если выборы будут соревновательными, оппозиционные инкумбенту силы должны быть достаточно свободны в поиске поддержки и в своих политических действиях против правительства не только в парламенте, но и за его пределами. В демократиях оппозиция может напрямую обращаться к людям, а не только к правительству. Это отличие должно иметь определенные политические последствия, хотя пока я не могу идти дальше размышлений. Следует сначала заметить, возможно не будет никаких последствий, если оппозиция будет непрерывно критиковать правительство, которое, в свою очередь, будет превозносить свои достоинства: слова, продиктованные интересами, не вызывают доверия [Austen-Smith, 1993]. Но если критика оппозиций (намеренно говорю об оппозиции во множественном числе) вполне правдоподобна, то не только избиратели, но и сами инкумбенты смогут понять, и, возможно, модифицировать свои позиции или даже политический курс. Вот что означало для Дж.С. Милля «господство общественного мнения». Когда миллионы людей заполняют улицы, выражая свой протест против реформы системы образования, для правительства это — сигнал не только того, что реформа вызывает оппозицию, но и того, что, возможно, есть проблемы в самих реформах. Манин [Manin, 1997, p. 170] считает, что «свобода общественного мнения является демократической характеристикой представительных систем, так как благодаря ей голос народа доходит до управляющих... Представители не обязаны реагировать на пожелания граждан, но они не могут и игнорировать их: свобода общественного мнения гарантирует возможность выражения желаний и доведения их до управляющих. Представители принимают окончательное решение, учитывая волю народа».

Но каким образом мнение оппозиции принимается во внимание в процессе принятия правительством решений?

Вопрос в том, почему оппозиция вынуждена обращаться к народу, чтобы быть услышанной правительством. Если прави-

тельство рационально, а оппозиция в частных переговорах ведет разумно, правительство должно прислушиваться и реагировать. Ответ может скрываться в мотивации оппозиции. Если оппозицию в первую очередь волнует изменение политического курса, в частных беседах она может указать правительству на его ошибки. Но, получив частным образом информацию о лучшем курсе, правительство станет более эффективным и, возможно, получит преимущество на следующих выборах. Поэтому у оппозиции будет стимул раскрывать недостатки в политике правительства, обращаясь к народу — то есть способом, который может обойтись правительству весьма дорого в электоральном плане. Правительство оказывается, в свою очередь, перед дилеммой: реагировать на замечания оппозиции и признать свои ошибки, или не реагировать и продолжать неэффективную политику. Оба варианта могут иметь негативные электоральные последствия.

В свою очередь, режимы, не проводящие соревновательные выборы, склонны ограничивать публичные высказывания. Хотя некоторые авторитарные режимы допускают публичные обсуждения политических предложений, тем не менее, они ограничивают свободу критики правительства и проводимой им политики. Иногда они используют формальную цензуру, иногда только устанавливают контроль над средствами массовой информации, иногда используют более изощрённые методы. В Мексике при ИРП после опубликования научной статьи, критикующей политику правительства, автора приглашали принять участие в работе специально созданного консультативного совета по этой политике с оплатой в таких астрономических размерах, что критика больше не была слышна. Уровень и специфика ограничений варьируется. Сегодня в Китае допускается в некоторых масштабах критика отдельных направлений политики, но существует абсолютное табу на критику официальных лиц (пока ими не пожертвуют). Но большинство авторитарных режимов налагает запрет на любую публичную критику.

Не вполне очевидно, почему правительства, которые не могут проиграть выборы, тем не менее ограничивают публичные дискуссии. Им есть, что терять? Что-то еще должно быть на кону, например, по какой-то причине они хотят выглядеть непогрешимыми. Возможно, ярлык «авторитарный режим» раскрывает его природу: лидеры должны иметь авторитет и должны быть авто-

ритетными. Действительно одной власти недостаточно: программа Польской коммунистической (объединённой рабочей) партии в 1970-х годах была направлена на «обеспечение власти авторитетом». Когда власти декларируют что-то, любая полемика, даже любое изменение слов может выглядеть как оспаривание власти. Вот почему авторитарная речь, в целом, такая «топорная». Но это уже следствие: если бы лидеры разрешили критику в свой адрес, она бы не рассматривалась как губительная⁷.

Надо признать, что все лидеры, допускающие соревновательные выборы, ведут себя с большими самоограничениями: они меньше воруют, назначают меньше своих друзей и пр. Но если все лидеры нервничают из-за выборов, выборы не являются единственным сдерживающим фактором, объясняющим отличия в режимах. Возможно, это следствие цензуры. В Китае, например, уличить кого-то в коррупции могут только лидеры. Таким образом, авторитарные лидеры более коррумпированы, но граждане об этом не знают, так как лидеры могут препятствовать появлению как информации о коррупции, так и публичных обвинений в коррупции. Авторитарным режимам нужно больше скрывать, поэтому они должны скрывать тщательнее.

Вот так мне видится авторитарный экивилибриум со всеми вариациями и градациями. Любой публичный сигнал, свидетельствующий о слабости правительства, вызывает угрозу смещения неэлекторальными способами, например, в результате военного переворота, народной мобилизации или их сочетания. В силу того, что авторитарные лидеры воспринимают публичную критику режима как угрозу режиму, появление такой критики станет сигналом слабости. Поэтому даже если различные группы потенциальной оппозиции могут говорить с лидерами в кулуарах, публичная критика жёстко подавляется. В этом и состоит отличие от режимов с соревновательными выборами, в которых оппозиция может свободно и публично критиковать правительство в расчёте на победу на следующих выборах.

⁷ В коммунистической Польше джаз считался губительной музыкой империалистических США вплоть до 1950 гг., затем позицию пересмотрели: джаз стали интерпретировать как музыку угнетённых, и были разрешены публичные выступления.

Разные порядки

Как показывает данная дискуссия, политический порядок можно поддерживать с помощью разных сочетаний идеологического убеждения, институциональных уступок и репрессий. Почему же тогда некоторым странам не удаётся установить никакого порядка, некоторые страны поддерживают порядок без проведения выборов, многие проводят выборы, в которых оппозиция либо запрещена, либо не имеет шансов на победу, и наконец, некоторые страны проводят соревновательные выборы.

Перед обсуждением этого вопроса следует понять, почему переработка конфликтов возможна на выборах. Фиарон [Fearon, 2006] прав, указав, что стремления к миру недостаточно, чтобы объяснить проведение выборов. Если все обладают полной информацией обо всём, тогда они также знают, какова ожидаемая выгода от результата политики с учетом относительной военной силы конфликтующих сторон. Зачем тогда проводить выборы, и не проще ли согласиться заранее с ожидаемой выгодой? Более того, в случае вогнутой функции полезности, согласие с уже имеющимся политическим курсом, в плане благосостояния выгоднее, чем поддержка политики меняющихся партий [Alesina, 1988]. Следует рассмотреть другие причины, чтобы понять, почему конфликты, чтобы быть мирными, должны быть переработаны выборами. Пшеворский [Przeworski, 2005] полагает, что политику невозможно сформулировать полностью, и лидеры используют свою исключительную власть, чтобы отступить от любого соглашения. Фиарон [Fearon, 2006] рассматривает выборы как механизм, регулирующий протесты в случаях, когда инкумбент злоупотребляет властью, то есть поворачивает политику в его пользу. Лондреган и Виндиньи [Londregan, Vindigni, 2006] считают выборы дешёвым способом получить информацию об относительной военной силе⁸.

Но не следует рассматривать данный вопрос в рамках функционализма. Нельзя считать, что выборы проводятся, потому

⁸ Симмель [Simmel, 1950, p. 241–242] уже высказывался по этому поводу: «так как все избиратели считаются равными, у большинства есть физическая власть принудить меньшинство ... Процесс голосования помогает избежать немедленного силового соревнования, выявляя его потенциальный результат через подсчёт голосов, чтобы меньшинство убедилось в бесполезности действительного сопротивления».

что они в определенной степени хороши, потому что они ведут к миру или другому рациональному исходу. Выборы проводятся, либо потому что инкубенты хотят провести их, либо потому что противников выборов уже свергли. Лидеры используют механизмы, обеспечивающие им безопасное пребывание во власти. Если безопаснее выборы не проводить, выборов не будет; если безопаснее поводить фальшивые выборы, чем полагаться только на силу, будут проведены несоревновательные выборы; если не в их возможностях использовать достаточно мощный силовой фактор, то тогда они смиряются и рискнут своим постом на выборах.

Это поистине предвзятый взгляд на политиков. Кто-то может надеяться, что некоторые из них — подлинные демократы, желающие подвергнуть себя соревнованию, даже если обстоятельства этого не требуют [Hyde, 2007]. В конце концов, трудно представить себе, чтобы президент Буш или премьер-министр Азнар не провели бы запланированные выборы или стали бы манипулировать правилами, чтобы сделать конкуренцию невозможной, или фальсифицировали бы результаты. Но это потому, что они истинные демократы или потому, что у них нет другого выбора?

Схематически объяснить сравнительную статику различных форм политического порядка [Przeworski, 2010b] можно следующим образом: повлияют ли выборы на смену правительства или нет, зависит от баланса военной силы конкурирующих сторон. Страны втягиваются в гражданские беспорядки, когда государство не в состоянии сдерживать вооруженные вызовы, а политические силы поляризуются в плане предпочтений. В нескольких ближневосточных странах, где не проводятся выборы, лидеры контролируют мощный репрессивный аппарат. Несоревновательные выборы, в которых выборы не служат цели выбора правительств, проводятся в странах, где достаточно мощный репрессивный аппарат держит на расстоянии потенциальную оппозицию, но лидеры боятся стать заложниками этого аппарата. Наконец, выборы будут соревновательными, когда полития не сильно поляризована и когда ни инкубент, ни потенциальные претенденты не имеют подавляющего силового преимущества. Результаты таких выборов не будут оспорены, если армия — неполитизирована, если политические силы — умеренные, или страна обладает высоким доходом.

Одной из причин, почему лидеры хотят проводить выборы, является их стремление обеспечить себе независимость от военных организаций, на которые они опираются с целью сохранения своей власти. При проведении несоревновательных выборов лидерам приходится рассчитывать на согласие государственной бюрократии и уверенность в поддержке со стороны репрессивного аппарата: полиции, тайной полиции, различных родов войск армии. Но целиком и полностью полагаться на армию нельзя, поскольку тогда лидеры станут ее пленником. Победа даже на несоревновательных выборах создает автономный источник власти, и тем самым репрессивные силы, стремящиеся контролировать или даже сместить лидера, оказываются в ситуации, когда им приходится действовать вопреки высказанной воле народа, иногда даже подлинной. Возможно, Путин и является представителем КГБ в правительстве, но, обладая народной поддержкой, он перестает быть просто инструментом КГБ. Играя на двух источниках поддержки — организованная сила и выборы — один против другого, лидеры получают автономию от тех, и других.

Политизированность силового аппарата вбивает клин между государственной силой принуждения и репрессивным потенциалом определенных инкубентов. Государства могут быть чрезвычайно эффективны в организации и монополизации власти принуждения, но те, кто обладают этой властью, должны быть беспартийными, конституционалистами, чтобы контроль над репрессивным аппаратом находился в руках избранных гражданских правительств. Например, на Филиппинах генерал Фидель Рамос оказал поддержку Корасон Акино после того как президент Фердинанд Маркос был обвинен в мошенничестве на выборах 1985 г. Результатом стали мирные соревновательные выборы. В других странах лидеры могут захотеть использовать мощный репрессивный аппарат в партийных целях. Примером может служить ситуация в России, когда по приказу Ельцина подразделение российской армии обстреляло парламент.

Итак, вряд ли стоит удивляться тому, что инкубенты повторно выигрывают выборы. Мирные выборы необязательно, и даже в редких случаях, являются соревновательными. Большинство мирных выборов не являются ни «справедливыми», ни «подлинными», ни «демократическими», если говорить на языке

агентств, занимающихся мониторингом выборов⁹. Хотя сегодня можно услышать голоса тех, кто считает, что мы сейчас являемся свидетелями качественно нового явления — «электорального авторитаризма», такие режимы были преобладающей формой политической организации на протяжении всей истории. Из 2775 проведённых в мире выборов с 1778 г. инкубенты (партии, или индивиды, или их назначенные преемники) проигрывали лишь одни выборы из пяти (База данных политических институтов и политических событий)

Таким образом, выборы происходят в тени насилия. Политическая власть обладает правом на применение насилия. Но не только взаимоотношения с силовым фактором предопределяет результат. Как распорядиться властью, зависит от того, чего нужно достичь, а также от угроз со стороны сторонников и противников.

Динамика режима

Литература, посвященная транзиту к демократии настолько огромна, что вряд ли удастся отметить всё в данной главе. Отмечу только, что представители первой волны этой литературы [O'Donnell, Schmitter, Whitehead, 1986] концептуализировали динамику режима в границах «транзита от» авторитаризма, но не «транзита к» чему угодно. Демократия была чем-то, чего не было в авторитаризме. Как показывает Шапиро [Shapiro, 1999, p. 2], «комментарий Джона Дьюи в отношении прежних демократических революций почти совпадает с нашим: они не столько стремились претворить в жизнь абстрактный демократический идеал, сколько исправить последствия прежних политических институтов». Таким образом, данная формулировка не являлась телеологической: распад авторитарного режима не рассматривался как неизбежный переход к демократии. Один авторитарный режим мог смениться другим или застрять,

⁹ Наблюдатели от Евросоюза хотят, чтобы выборы были «открытыми и честными», ОБСЕ хочет, чтобы они были «подлинными», в то время как Декларация «О принципах международного наблюдения за выборами» Картеровского центра и НДИ требует, чтобы они были «подлинными и демократическими». Все также хотят, чтобы выборы проходили без насилия. См. документы Европейской комиссии (European Commission 2008), ОБСЕ (OSCE 2007), Картеровского центра (Carter Center 2005).

«зависнуть» в какой-то форме, которая не вполне подходит под эту дихотомию (см. Макаренко или Мельвил в данной книге).

Это разъяснение позволяет мне рассмотреть динамику распада авторитарных режимов. Хотя распады обычно классифицируют как происходящие «сверху» или «снизу», из расколов внутри режима или в результате массовой мобилизации, на мой взгляд, все распады следуют динамике, включающей взаимодействие обоих факторов. Авторитарные элиты раскалываются (происходит раскол в элите), когда какие-либо фракции внутри нее (а фракции есть всегда) начинают осознавать, что они могут улучшить свое положение внутри режима при обращении к некоторым аутсайдерам режима. Они пропагандируют внутри авторитарного блока стратегию «по расширению основ режима». Если стратегия успешна, можно наблюдать «оттепель»: на смену приходят либерализаторы, режим становится более включающим, и создается новый эквilibrium. Но когда расколы внутри элиты становятся достоянием общественности, отдельные группы оппозиции, чувствуя слабость режима, требуют дальнейших изменений, мобилизуя своих сторонников. Тогда раскол внутри режима начинает углубляться: в условиях угрозы потери власти сторонники жесткой линии хотят обратиться к репрессиям, либерализаторы — взяли на себя обязательство уменьшить репрессии, а некоторые группы граждан заметно мобилизуются. Исход не является predetermined. Различные авторитарные режимы проходят через мрачные периоды, эвфемистично называемые «нормализацией», но такие периоды не имеют временных ограничений.

В этом случае процесс начинается с раскола внутри режима, в другом — со вспышек народных волнений, что, в свою очередь, поставит элиту перед жестким выбором и приведет к внутреннему расколу. Далее происходит та же динамика, поэтому первоначальные импульсы не важны для последующих событий. Динамика распада режима представляет собой спираль из внутренних расколов и народной мобилизации.

Сложным остаётся вопрос, почему в одних случаях на смену авторитарным режимам приходят новые авторитарные режимы, а в других случаях распад авторитаризма приводит к демократии. Можно опять остановиться лишь на одном аналитическом моменте этой головоломки. Я считаю самым важным следующее: независимо от того, какие лидеры окажутся у руля, они должны отдавать себе

отчёт в том, что если они допустят проведение соревновательных выборов, давая шанс на победу кому-то ещё, то возможные победители ответят им тем же. Действующие инкубенты проведут соревновательные выборы только в том случае, если в случае поражения, они могут рассчитывать на победу на следующих выборах. Являются ли эти расчёты вопросом «доверия» или мнения относительно баланса сил — вопрос неэмпирический. Опыт выборов в США в 1800 г. [Dunn, 2004] показывает, что решение отпустить бразды правления с надеждой на возвращение или возможность возвращения во власть в будущем принимается чрезвычайно тяжело. Решающим также является следующее эмпирическое наблюдение: за выборами, закончившимися мирной передачей власти другой партии, следуют периоды, когда соревновательные выборы являются «нормой», перевороты случаются реже, а избранные правительства могут завершить свой срок полномочий¹⁰. В итоге мы видим твердые свидетельства существования «тропы зависимости», когда тропы расходятся в зависимости от соревновательности первых выборов после распада авторитарного режима. В частности, в постсоветском контексте те страны, в которых после падения коммунизма были проведены соревновательные выборы, продолжали проводить выборы, сопровождающиеся относительно частым чередованием партий во власти. Страны, в которых инкубенты провели несоревновательные выборы, либо сохранили прежнюю власть, либо сталкивались с эпизодами массовых протестов и насильственных действий. Макаренко и Мельвиль (в данной книге) приводят доказательства того, что разница между этими странами заключается, скорее, в политическом лидерстве, чем в объективных обстоятельствах, их позицию разделяет и Мигранян (в данной книге), анализируя период правления Ельцина.

¹⁰ После того как в стране прошла первая смена власти, в последующем каждые третьи выборы заканчиваются мирной сменой власти (0.35 из 1355 выборов). До первой смены власти перевороты случались с частотой в 0.0682 в год, после первой смены власти частота переворотов уменьшается до 0.0310. До первой смены власти годы, когда правительство завершило свой срок полномочий, составляют 0.63 из 6210 лет, после смены власти — 0.82 из 4753 лет. Влияние первой смены власти на перевороты и завершённые сроки полномочий сохраняется в пробит регрессиях при контроле за подушевым доходом. На основе данных по политическим институтам и политическим событиям.

Выводы

Ориентировочно мною сделаны следующие выводы:

1. Соревновательные выборы способствуют поддержанию мирного порядка, так как позволяют конфликтующим политическим силам действовать стратегически с расчетом на будущее. Несоревновательные выборы, в свою очередь, поддерживают гражданский мир, демонстрируя оппозиции тщетность ее действий, потому что лидеры либо действительно популярны, либо, если они непопулярны, они могут удержать власть силой.

2. Независимо от степени соревновательности выборов, лидеры вынуждены считаться с необходимостью поддержания мира на улицах и общественного порядка. Чтобы избежать беспорядков, лидеры любых режимов идут на политические уступки. Но в системах с соревновательными выборами эти уступки являются ответом на критику оппозицией определенной политики, в то время как в авторитарных режимах уступки совершаются в кулуарах, а публичная критика правительства жёстко подавляется. В целом, основное различие между режимами с соревновательными и несоревновательными выборами связано с наличием у оппозиции права прямого обращения к народу.

3. Политический порядок сохраняется в тени силы. Допускают ли лидеры публичную оппозицию, проводят ли они выборы, рискуют ли своей властью, участвуя в соревновательных выборах, — всё это зависит от степени силовой поддержки. Политические режимы можно считать эндогенными в плане взаимоотношений с физической силой. Все лидеры должны заботиться о поддержке репрессивного аппарата, и когда они не могут опираться на такую поддержку, они вынуждены проводить соревновательные выборы.

4. Авторитарный порядок распадается, когда расколы внутри режима становятся всеобщим достоянием, открывая, таким образом, возможности для широкой мобилизации. Распад — это динамический процесс расколов и мобилизации. И всё же падение отдельных авторитарных режимов не обязательно приведет к демократии: на смену им могут прийти другие авторитарные режимы или какие-то промежуточные типы.

БОРИС МАКАРЕНКО,
АНДРЕЙ МЕЛЬВИЛЬ

Глава 14. Как и почему «зависают» демократические транзиты? Посткоммунистические уроки

Проблема

Начало 1990-х годов знаменовалось почти всеобщим демократическим оптимизмом. И в самом деле, это был апогей «третьей волны» демократизации. В политическом дискурсе той поры почти господствовало линейное, если угодно, векторное представление о глобальном политическом развитии: от распада различных форм автократии к либеральной демократии и рыночной экономике. Как если бы после краха коммунизма остались только универсальная политическая цель и ожидаемый результат глобальной динамики — либеральная демократия и свободная рыночная экономика.

Казалось, есть только одна доминирующая во всем мире политическая траектория демократизации, по которой пойдут все страны и народы, — чуть ли не Карл Маркс наоборот, или «Манифест коммунистической партии» *per contra*: все страны станут раньше или позже либеральными демократиями... Одни раньше, другие позже.

Политический мир воспринимался гибким и пластичным — можно успешно «сконструировать» (а не «вырастить»!) демократию [Di Palma, 1991], раз известен единственно подходящий для нее институциональный дизайн, к которому можно приложить соответствующую политическую инженерию. Демократия воспринималась как универсальная ценность и модель со специфическим инвариантом (быть может, в конкретных формах), которая подойдет для всех народов, несмотря на все различия в истории, культуре, уровнях развития и др. [Sen, 1999].

Через 20 лет мир вокруг нас выглядит совсем по-другому: как будто после глобального политического Большого взрыва мы наблюдаем удивительное многообразие политических траекторий — своего рода разбегающиеся политические галактики, движущиеся по всевозможным направлениям и бросающие вызов традиционным типологиям политических режимов. Надежды и иллюзии по поводу ожидавшегося единого и всеобщего вектора глобального политического развития — от авторитаризма к демократии — практически забыты.

Сегодня больше говорят о «демократическом откате» [Diamond, 2008], «диффузии авторитаризма» [Ambrosio, 2010], «демократической стагнации» и «постдемократии» [Crouch, 2004], угрозе вырождения демократии в охлократию или «аудиторную демократию» [Manin, 1997]. Демократические достижения прошлых десятилетий названы всего лишь «лексическими победами демократии» [Данн, 2010]. Сама демократия уже не воспринимается многими как универсальная ценность и модель для подражания. Аргумент о национальных моделях демократии часто служит аргументом для оправдания недемократических практик.

Есть ли основания для «демократического пессимизма»? Трудно дать однозначный ответ. Одни страны, бывшие автократии и диктатуры, вполне преуспели в демократическом строительстве. Другие и вовсе не собирались идти по этому пути — целью псевдodemократических деклараций их лидеров было добиться симпатий западных партнеров. Между этими двумя крайностями — самые разные модели политических трансформаций с противоречивыми и «гибридными» результатами. Самый предварительный аудит итогов «третьей волны» демонстрирует удивительное разнообразие возникших политических режимов — от тех, до которых она практически не докатилась, до тех, которые были ею непосредственно порождены. Если попробовать представить себе глобальный спектр современных политических режимов, то на одном его полюсе расположатся вполне устоявшиеся «старые» демократии и «новые», успешные и консолидированные либеральные демократии, с полными основаниями вступившие в демокра-

тический клуб. Список ставших в нем полными членами варьируется в зависимости от той или иной типологии или индекса [Freedom House, Polity IV, Tatu Vanhanen's ID, The Economist' ID, ВТИ, etc.], но в любом случае не слишком велик — лишь немногие из тех, кто начал гонку, пересекли условную финишную ленту.

И все же в целом результаты режимных трансформаций последних двух с лишним десятилетий не стоит недооценивать. Сегодня мы видим два практически демократических континента — Европу и Америку с немногими остающимися анклавами (Беларусь и Гаити, Венесуэла и Куба, а также зависшая в своем транзите проблемная Россия и др.) и многочисленными «демократиями с изъянами». Новые демократии возникли в Азии и даже в Африке, по сути дела, только арабский мир до самого последнего времени оставался чуждым демократизации [Diamond, 2010]. Но буквально на наших глазах и там начались восстания против диктатур, и некоторые из них — как будто бы пока успешные, несмотря на постоянную угрозу исламского фундаментализма. По всей видимости, основные сражения за демократическое будущее будут разворачиваться как там, так и в неарабских и несоветских регионах Азии и Африки и, конечно же, на пространствах СНГ.

Автократические оппоненты демократизации составляют, если угодно, ядро «реальных недемократий», которые включают в себя типологические различные режимы [Snyder, 2006; Gandhi and Przeworski, 2007; Gandhi, 2008; Brooker, 2009; Charron and Lapuente 2011] — от обломков тоталитарных и посттоталитарных систем до пока что относительно эффективных правящих монархий, персоналистских диктатур, теократий и этнократий, военных режимов и «неудачных» государств, которые по виду кажутся автократиями, но на самом деле неспособны к сколь-нибудь эффективному управлению.

Между двумя этими полюсами — обширная «туманность», своего рода промежуточных режимов, которые совершили некие транзиты и трансформации, но отнюдь не в ожидавшемся демократическом направлении. Они даже близко не подошли к качеству «демократий с изъянами». Вопрос о направленности такого рода трансформационных процессов, а

также вопрос о том, являются ли они промежуточными этапами на пути к будущей демократии, остаются открытыми (вот задачка на будущее для политической компаративистики!). Среди них — самые разнородные как «демократии с прилагательными», так и «автократии с прилагательными» — «нелиберальные демократии» [Zakaria, 1997], «гибридные режимы» [Diamond, 2002], «электоральный авторитаризм» [Schedler, 2006], «конкурентный авторитаризм» [Levitsky and Way, 2002; Levitsky and Way, 2010].

В этом условном спектре рядом со «старыми» автократиями, даже не помышлявшими о демократизации, можно расположить и «новые» автократии разных типов, которые по сути своей как раз и возникли в ходе разнонаправленных политических трансформаций последних десятилетий. Среди них — новые «выборные монархии», наследственные президентства, клановые режимы. Некоторые из них, может показаться на первый взгляд, вообще не были подвержены трансформациям, но это не так. Они либо зависли в своем транзите, либо в конце концов вновь откатились к авторитаризму, став в результате новыми типами автократий. Во многих случаях «новые» автократии вышли из других, привычных форм авторитаризма (такие политические траектории особенно характерны для многих постсоветских трансформаций).

Чем объясняется такое разнообразие результатов режимных изменений последних десятилетий? Почему одни страны попытались стать демократическими, а другие — нет? Почему так много транзитов и трансформаций так и не привели к демократизации? Какие факторы оказались решающими для результатов режимных изменений — отсутствие (или недостаток) объективных (структурных) условий для демократии или субъективные действия политических акторов, вытекающие то ли из их «злой воли», то ли из личных амбиций и интересов, то ли из их непредумышленных ошибок.

Иначе говоря, какие факторы отвечают за демократические транзиты, которые зависли, были деформированы или просто провалились, — отсутствие соответствующих условий для демократии или решения и действия ключевых политических акторов?

Условия vs. действия: две парадигмы в изучении демократии и демократизации

На основании существующей литературы по нашей проблематике можно выделить две парадигмы в объяснении демократии и демократизации — одна делает упор на условия и предпосылки демократии, другая — на те или иные политические решения и стратегии (например, Mahoney and Snyder, 1995). Согласно первому подходу демократия рождается как результат, если угодно, органического развития при наличии определенных условий и предпосылок: «Демократия успешно возникает лишь как кульминация иных социальных и экономических достижений» [Kaplan, 1997: 60]. Такое понимание генезиса демократии наиболее подходит для анализа первой и второй волн демократизации, то есть возникновения демократических политий, начиная с конца XVIII века и вплоть до периода после Второй мировой войны, когда демократия оказывалась не столько целью, сколько результатом — органическим и в чем-то даже побочным — объективных социально-экономических трансформаций [Moore, 1966, Rustow, 1970].

Даже одно перечисление такого рода подходов к анализу структурных условий демократии может занять огромное время. И тем не менее, ради дальнейшего обсуждения мы хотя бы упомянем наиболее важные из них.

Несомненно, самым распространенным здесь является аргумент о том, что главное условие демократии — это общий уровень социально-экономического развития, измеряемый прежде всего по уровню ВВП на душу населения. От Липсета (1959) до Пшеворского и его коллег (2000) появилась масса исследований на этот счет. Соответствующая литература поистине необъятна. В то же время при сохраняющихся разногласиях по поводу целого ряда существенных деталей (например, Epstein, Bates, Goldstone, Kristenza and O'Holloran, 2006) среди исследователей возник базовый консенсус: между уровнем экономического развития и демократией и демократизацией существует взаимосвязь, хотя и не детерминистская. Иными словами, переход к демократии может в действительности начинаться на разных уровнях экономического развития, но чем выше ВВП на душу населения, тем больше

шансов, что демократизация будет успешной и не произойдет возврат к авторитаризму¹.

От Растоу (1970) идет другой широко принятый в современной литературе тезис о том, что обязательным условием демократии является национальная идентичность и эффективное государство [Tilly, 2007; Fukuyama, 2007; Mansfield and Snyder, 2007; Moller and Skaaning 2011]. Политическая культура «гражданского» типа также считается важным условием, позволяющим демократии возникнуть и успешно существовать (эта линия аргументации идет от Алмонда и Вербы (1963) и до Инглехарта и Велзела (2005), Фиша (2009) и некоторых других авторов).

Среди прочих условий демократии часто упоминают отсутствие острых социальных, этнических, религиозных и иных конфликтов [Chirot, 2009], а также благоприятное влияние определенных религиозных традиций (протестантизма и католицизма) и неблагоприятное — ислама, при двойственности отношения к православию, конфуцианству и буддизму и почти полном молчании относительно влияния иудаизма [Fish, 2002; Diamond 2010]. Считается также, что ресурсная зависимость в экономике («нефтяное проклятие») препятствует демократии [Ross, 2001; Treisman 2010]. Существуют аргументы и исследования, акцентирующие роль международных влияний, территориальной близости к «старым» демократиям, влияние колониального наследия, качества

¹ Некоторые авторы, тем не менее считают, что тип политического режима не связан с характером экономического развития — что имеет значение, так это качество институтов, какими бы они ни были: демократическими (индивидуалистическими) или автократическими (коллективистскими). В частности, демократизация, осуществляемая в условиях слабого правопорядка (rule of law) часто ведет к экономическому краху. И наоборот — у развивающихся стран с авторитарными (разной степени) режимами, сохраняющими институциональную преемственность на основе каких-либо разновидностей «азиатских ценностей» (например, в Западной Азии, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и др.) больше шансов для экономического роста, чем у тех стран и регионов (Африка южнее Сахары, Латинская Америка, бывший СССР и др.), где традиционные институты были разрушены [Rorov, 2009; Rorov, 2010]. Противники такого подхода приводят аргументы в пользу того, что радикальные экономические реформы, ведущие к экономическому росту, напрямую связаны не столько с качеством институтов, сколько с уровнем политической конкуренции и открытостью режима [Hellman, 1998].

институтов, даже роль климата и уровня национального IQ [Vanhanen, 2009].

Следует подчеркнуть, что все эти структурные факторы (в разных комбинациях) рассматриваются в современной литературе как очень важные, но все же не предопределяющие условия демократии и демократизации: «От исходных условий во многом зависят шансы выживания демократических режимов. Низкие уровни ВВП на душу населения, высокая степень неравенства в доходах, бедность — все эти факторы ухудшают шансы для демократизации. Однако эта зависимость не детерминистская» [Karstein and Converse, 2008: 61–62].

Среди других структурных факторов, способных серьезно осложнить процессы демократизации (в любом случае — существенно повлиять на менталитет политических акторов), можно выделить преобладание в обществе и в экономике традиционных структур и традиционных ценностей (в терминологии, например, Инглехарта и Велзела). Тип экономики имеет значение и в других отношениях — таких, например, как упомянутая выше ресурсная зависимость, уровень общей модернизации, степень контроля над экономикой и частным сектором со стороны правительства и элит и др. Роль «нефтяного фактора», снижающего мотивацию к политическому плюрализму в режимах с гарантированными экспортными доходами и интерпретированного Хантингтоном (1991) в духе «нет представительству без налогообложения», нуждается в дальнейшем прояснении. Концентрация экономических ресурсов и богатства (особенно экспортных доходов и международной экономической помощи) в руках правящей группировки, слабый частный сектор, высокие уровни коррупции тоже препятствуют демократизации.

Другая разновидность структурных препятствий для демократизации относится к типам существующих социальных расколов. Непримиимые расколы включают такие традиционные формы, как этнические, конфессиональные или сепаратистские (последние зачастую представляют собой лишь географические вариации первых двух). Но мы должны принимать во внимание и другие варианты социальных расколов. Их «мягкие» европейские варианты прекрасно описаны, в частности, Лейпхартом [Lijphart, 1977]. Сегодня это исламские, точнее, арабские обще-

ства [Diamond, 2010] или некоторые посткоммунистические — прежде всего Россия, в которой перед новым режимом в 1990-х годах стояла угроза коммунистической реставрации.

Альтернативный — процедурный, или актор-ориентированный, теоретико-методологический подход возник в контексте изучения демократических транзитов «третьей волны» и основывается на посылке, что не нужно ждать произрастания демократии из объективных предпосылок — напротив, ее можно сконструировать, «вылепить», если придерживаться правильных стратегических и тактических решений: «Не существует предпосылок для демократии, кроме готовности национальной элиты осуществлять демократическое правление» [Diamond, 2003].

Сторонники такого подхода выдвигают свои аргументы. В первую очередь это особенности и характер взаимодействий ключевых политических акторов, чьи решения и действия могут быть решающими для процессов демократизации. Это в том числе «игры» рациональных политических субъектов, особенности «выхода» из авторитарного режима, взаимоотношения с оппозицией, отношение к насилию ради достижения политических целей, уровни допустимой для нового режима политической конкуренции, характер смены или сохранения элит, ротация власти, реальная конкурентность и качество выборов и др. [O'Donnell and Schmitter, 1986; Przeworski, 1992; Linz and Stepan, 1996; Colomer, 2000].

Другая распространенная тема в рамках этого подхода — влияние институционального дизайна на новые демократии (прежде всего режимные эффекты президентско-парламентских и пропорционально-мажоритарных систем при всех их разновидностях). Наконец, и это одна из ключевых тем в последних исследованиях «отклонившихся» или неуспешных демократизаций, наличие либо отсутствие эффективных институциональных ограничителей, сдерживающих возможность политического произвола исполнительной власти, независимо от конкретного институционального дизайна, [Fish, 2006; Fish and Wittenberg, 2009].

При всех различиях в этих подходах, не стоит все же преувеличивать их противоположность. Объективные структуры во многом воспроизводят себя с помощью субъективных действий, а выбираемые субъективные решения имеют свои объективные

исторические, социально-экономические, политические основания. Как заметил А.Пшеворский по поводу актор-центрированного подхода к демократии и демократизации: «Необходимо нечто большее, нежели сами выборы, чтобы выборы состоялись» [Przeworski, 1999: 24].

«Нет никаких сомнений, что структурные факторы — политические, экономические, социальные и относящиеся к культуре — имеют особое значение при объяснении процессов демократической консолидации и соответствующих задач. Поскольку же многие из этих факторов не могут быть изменены в краткосрочной перспективе, мы должны сконцентрироваться на тех факторах, которые могут стать объектами политической инженерии... Вновь проявившееся внимание к экономическим условиям, благоприятным или неблагоприятным для демократии, это важный момент. Тем не менее, мы не можем исключать возможность преодоления этих факторов влияния другими — такими, как политическое лидерство и политическая инженерия» [Linz, 2007: 136].

Как нам представляется, важно взглянуть на «реально существующие демократии» (равно как и «недемократии») сквозь специфические «генетические» линзы, то есть не столько как на достигнутый результат, сколько как на процесс. Такой подход особенно важен применительно к изучению новых демократий и траекторий их развития. Разные политии существуют на разных этапах своего эволюционного развития и сталкиваются с разными типами задач. Одни из них развивались столетиями и постепенно формировали свои демократические институты, у других за плечами лишь пара десятилетий или того меньше. Перед такими новичками могут стоять еще и другие вызовы, например, государственного строительства и национальной интеграции. И все же обстоятельства истории не могут оправдывать попытки отложить демократизацию «на потом».

Описанные выше два теоретико-методологических подхода (один — структурный, акцентирующий роль предпосылок демократии, и другой — процедурный, подчеркивающий роль политических решений и действий политических акторов) представляют собой альтернативные объяснения возникновения демократии. Посмотрим теперь, в какой мере структуры и акторы могут объяснить нам, как и почему попытки демократизации в

посткоммунистических странах зависали или оказывались безуспешными.

Как и почему попытки демократизации не удавались?

Может ли структурный подход предсказать или объяснить судьбу демократических транзитов? В самом деле, с учетом того, что мы знаем об объективных условиях и демократии, можно утверждать, что некоторые (или даже многие) страны лишены сегодня таких предпосылок². Так, многие эмпирические исследования последнего времени, похоже, подтверждают наличие сильной корреляции между низкими уровнями социально-экономического развития и неудавшимися демократическими транзитами. Это же относится и к случаям ресурсной зависимости, доминированию в обществе ислама (и мусульманского населения), слабым традициям независимой государственности и национальной идентичности [Fish and Wittenberg, 2009]. И тем не менее, структурные предпосылки сами по себе (как и их отсутствие) не могут предопределить исход демократического транзита — приведет ли он к возникновению консолидированной демократии или «демократии с изъянами», гибридного режима или новой автократии. Можно, конечно, высказать гипотезу, что существуют некие «запретительные пороги» неблагоприятных структурных условий, которые обрекают на неудачу любые попытки демократизации. Но эта гипотеза нуждается в эмпирической проверке и дальнейшей концептуализации. Если мы хотим объяснить успехи и провалы в попытках демократизации, нужно очень тщательно разобраться в процедурных факторах, решениях и действиях ключевых политических акторов.

Заметим при этом, что недавние *large-N* сравнительные исследования факторов, влияющих на уровни демократии в 142 странах мира за период 1972–2000 годов, осуществленные Дж. Теореллом и А. Хадениусом (2007) и Дж. Теореллом (2010), в значительной мере подтверждают сформулированные выше об-

² Т. Ванханен [Vanhanen, 2009], например, утверждает, что, независимо от решений и действий политических акторов, существуют «структурные пределы» для демократизации (климат и национальный IQ), и поэтому некоторые страны никогда не станут демократиями.

шие предположения: высокие уровни социально-экономического развития не могут предсказать со 100-процентной вероятностью появление демократии, однако они, скорее всего, станут преградой для авторитарного регресса — это, кстати, соответствует выводам А. Пшеворского и его коллег [Przeworski et al, 2000]. Далее, богатство природных ресурсов, в особенности нефти, способно оказывать антидемократический эффект, как и ислам в качестве господствующей религии. В целом же, выводы этих авторов «подтверждают антиструктурный, актор-ориентированный, «беспредпосылочный» подход к демократизации» [Teorell and Hadenius, 2007: 69].

Несомненно, роль этих и других объективных условий и предпосылок и их влияние (либо отсутствие такого влияния) на траектории политических трансформаций последних десятилетий нуждаются в дальнейшем детальном изучении. Но, как бы то ни было, зависшие и неудавшиеся демократизации в посткоммунистических странах, судя по всему, нужно пытаться объяснять, обращаясь к анализу субъективных политических решений и действий. Это вовсе не означает игнорирования влияния объективных структур. Тем не менее, речь идет о вполне определенном смещении аналитического фокуса.

В самом деле, во многих исследованиях последних лет при объяснении успешных и неудачных попыток демократизации акцент сделан как раз на процедурных, актор-ориентированных факторах. В одних случаях вина возлагается на самих акторов: «Исполнительная власть своим произволом может похоронить демократизацию» [Fish and Wittenberg, 2009: 258]. Подчеркивается распространенный вывод об угрозе, проистекающей от чрезмерной исполнительной вертикали власти [Linz, 1990; Fish, 2004], особенно при отсутствии ее эффективных институциональных ограничителей в виде законодательной и судебной власти [Kapstein and Converse, 2008]. Хотя влияние того или иного институционального дизайна, избранного для новых демократий, продолжает обсуждаться (и результаты этих обсуждений не во всем однозначны), большинство исследований свидетельствуют все же о наличии зависимости между парламентскими системами и устойчивостью новых демократий. Кроме того, сравнительный анализ страновых казусов (особенно в посткоммунистическом

мире) показывает, что сохранение, пусть *de facto*, или мимикрия старых элит со своими специфическими интересами и моделями воспроизводства власти — это тоже один из важных факторов, препятствующих демократизации и ведущих к недемократическим результатам.

Потенциально еще одной серьезной преградой на пути демократизации становятся нерешенные проблемы государственного строительства, а также нации-формирования, в особенности характерные для многих посткоммунистических стран. Для большинства «старых» демократий была характерна следующая последовательность развития — вначале в войнах и насилии возникали современные европейские государства [Tilly, 1990] и лишь затем начиналась демократизация. Таким образом, формирование качественных и эффективных государственных институтов исторически предшествовало возникновению и распространению демократических процедур. Сегодня эта историческая закономерность нередко используется как аргумент против «поспешной» демократизации в форме утверждения логики «последовательности» (*sequencing*): вначале — сильная государственность (в России бы сказали — «вертикаль власти») и лишь потом — построение демократического режима. Иными словами, демократизация при отсутствии качественных и эффективных институтов чревата неуправляемостью и хаосом [Fukuyama, 2004; Полтерович и Попов, 2006, Fukuyama 2007; Mansfield and Snyder, 2007].

Это сильный, но не во всем убедительный аргумент. Действительно, «демократия есть форма правления в современном государстве. Таким образом, без государства современная демократия невозможна» [Linz and Stepan, 1996: 17]. Однако проблема в другом — государство не абстракт, существуют разные типы государственности и политических режимов. Государства по-разному понимают свои приоритеты и по-разному исполняют свои функции. Общий тезис о том, что государство является предпосылкой демократии нуждается в конкретизации и развитии³.

³ Показательно в этом отношении уточнение, сделанное А. Хадениусом [Hadenius 2001]: в современных условиях не любое государство является предпосылкой демократии и условием демократизации, а государство особого рода — «взаимодействующее государство» (“interactive state”), т.е. такое, которое развивает связи с гражданским обществом и отвечает на его запросы.

Да, исторически создание современных европейских государств и государственное строительство предшествовали формированию демократических институтов и практик. Но является ли это убедительным основанием для экстраполяции этой последовательности в сегодняшний мировой контекст? Многомерная и разнонаправленная логика мирового политического развития требует дифференцированного подхода к вопросу о последовательности государственного строительства и демократизации. Существует множество теоретических и эмпирических свидетельств того, что процессы государственного строительства и формирования демократических институтов и практик могут быть параллельными и комплементарными, т.е. взаимоподкрепляющими. Р. Роуз и Д. Шин, например, эмпирически, на материале стран ЦВЕ, подтверждают возможность, образно говоря, «строительства» или «ремонта» государственного корабля прямо в море» (“[re]building the ship of state at sea”), т.е. строительства изначально демократических институтов в переходных странах «третьей волны» [Rose and Shin, 2001; см. также Elster J. et al., 1998]. М. Брэттон и Э. Чанг на основе эмпирического анализа особенностей режимных изменений в ряде транзитных африканских стран приходят к выводу о взаимообусловленности процессов государственного строительства и демократизации [Bratton and Chang, 2006]. Дж. Карбоне и В. Мемоли на более широкой выборке приходят к аналогичному выводу [Carbone and Memoli, 2011/2012].

Остается, конечно, непроясненным вопрос о том, каков реально тот минимальный «порог» государственной состоятельности (state capacity), начиная с которого возможна демократизация, поскольку по понятным причинам она невозможна в условиях «несостоятельных» государств. Вопрос этот в литературе в принципе поставлен, но ответа на него еще нет, как нет и соответствующих эмпирических исследований [Capelli, 2008; Fortin, 2011].

Не до конца ясен и ответ на вопрос о том, какими должны быть политические стратегии ключевых акторов в условиях характерного для переходных стран дефицита эффективных и качественных государственных институтов. А. Гржимала-Бюссе и П. Луонг [Grzymala-Buse and Luong, 2012], например, на основе сравнительного анализа посткоммунистических трансформаций

выделяют две модели альтернативных стратегий: одна ориентирована на интересы «ранних победителей», выигравших от приватизации государственной собственности и стремящихся к консервации статус-кво и минимизации конкуренции, другая — на «защиту проигравших», т.е. сохранение условий для реальной экономической и политической конкуренции, в ходе которой «ранние проигравшие» имеют шансы для реванша в соответствии с демократическими процедурами. Фактически, это развитие аргументов Дж. Хеллмана [Hellman, 1998] о «победителях, которые получают все». Напомним, что Дж. Хеллман в определенном смысле полемизирует с логикой так называемой «J-кривой», в соответствии с которой едва ли не основное препятствие на пути продолжения реформ в транзитных странах связано с неизбежным ухудшением социально-экономического состояния в начале транзита, поскольку реформы на начальном этапе ухудшают состояние экономики и политической стабильности, порождая неизбежное сопротивление «ранних проигравших» (прежде всего «новых бедных» из очень разных социальных групп и ущемленных в своем статусе «бывших аппаратчиков»). Проблема, соответственно, заключается в том, как преодолеть неизбежный спуск в «долину транзита» (ставшее классическим выражение А. Пшеворского. См. Przeworski, 1992) или «долину слез» [Schmitter, 2005], чтобы достичь «вершины» реформ, которые должны улучшить положение всех групп переходного общества. Аргументы Дж. Хеллмана заключаются в том, что у «ранних победителей» нет мотивов к продолжению реформ, поскольку они получили доступ к экономической ренте в условиях «плохих» государственных институтов.

Заметим, что это очень сильный аргумент против зарубежных и отечественных пропагандистов идеи о том, что авторитаризм на начальных этапах транзита предпочтителен, т.к. может способствовать экономическим и иным реформам. Так, действительно, бывало в 1980-х гг., когда в повестке дня был переход от аграрных обществ к индустриальным (Ю. Корея, Тайвань и др.), но ни разу — в случае современных переходов от индустриальных к постиндустриальным, инновационным, высокотехнологичным обществам.

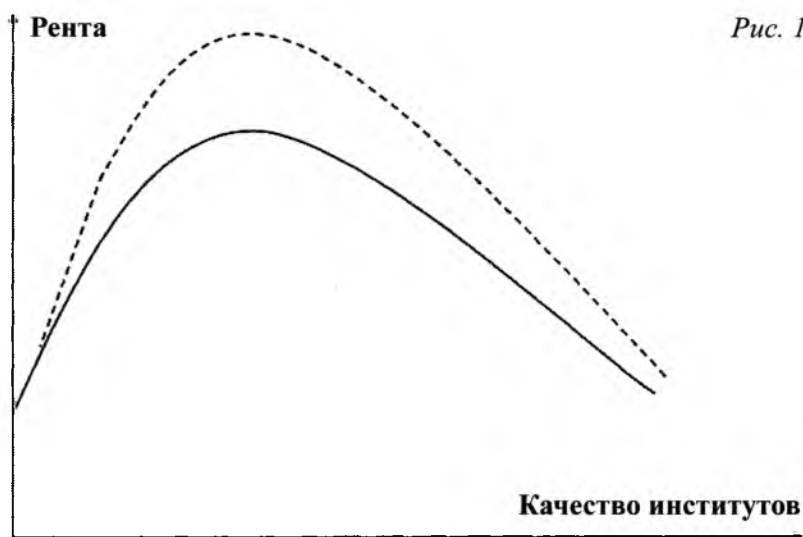
Мы готовы продолжить эту логику рассуждения и распространить ее не только на экономическую, но и политическую

ренту. Это особенно актуально для рассматриваемых нами ниже посткоммунистических стран, в которых в начальной точке транзита отсутствовали рыночные отношения: во многих из них по этой причине собственность и власть оказались тесно переплетенными, т.е. к экономической ренте добавилась и политическая. Дело в том, что в «зависших» в своем транзите (или вновь «сползших» к авторитаризму) посткоммунистических странах элиты-победители завоевали положение, образно говоря, «царя горы» и обеспечили себе гарантированное извлечение политической и экономической ренты. Они по сути дела лишены мотивов и у них просто нет интересов для формирования качественных институтов управления и демократических практик. Созданные ими «плохие» (т.е. коррумпированные, непрозрачные и неэффективные) институты для них как раз являются «хорошими», они выполняют функции, для которых были созданы, и закрепляют соответствующую «институциональную ловушку» [Гельман, 2010]. Как следствие, происходит «захват государства», в том числе силовой [Волков, 2002], и дальнейшее закрепление «большого», но «слабого» (с точки зрения качества институтов) авторитарного государства [Петров, 2011]. Экономическая и политическая рента, а не приоритеты гарантии собственности и экономической и политической конкуренции, становятся главным побудительным мотивом для препятствия реформам и поддержания «стабильности статус-кво», которая в свою очередь оказывается одним из основных препятствий на пути демократизации.

Вот попытка визуализации этой проблемы. (См. рисунок 1). Тем самым, реальные преграды для продолжения реформ создаст не сопротивление «ранних проигравших», от которых нужно якобы «изолировать» становящееся как бы из благих соображений, чуть ли не поневоле авторитарным государство и режим, а как раз «ранние победители», всеми силами стремящиеся не допустить реального продолжения реформ или выхолостить их содержание, сделать их сугубо имитационными.

Мы далее модифицируем «кривую победителей» Дж. Хеллмана, которая имеет в виду преимущественно экономическую ренту, и включаем в нее фактор политической ренты, т.е. установки на сохранение всеми возможными средствами политического статус-кво и недопущение открытой политической конкуренции

(поскольку в данном случае политическая рента, т.е. обеспечение монополии на власть, является условием для извлечения ренты экономической).



В этой схеме мы видим положение «царя горы» для тех элитных групп в посткоммунистических странах, которые сумели гарантированно обеспечить для себя политическую и экономическую ренту и которые поэтому лишены мотивов как для улучшения качества институтов, так и для обеспечения политической конкуренции (по вертикали — уровни извлечения политической и экономической ренты; по горизонтали — качество институтов). Стабильность и статус-кво для них главная задача. В противном случае они обоснованно опасаются утраты своего привилегированного положения. Дополнительная пунктирная кривая — это зашкаливающие за реальные уровни извлечения политической и экономической ренты тревоги и опасения «ранних победителей», которые в случае восстановления политической и экономической конкуренции боятся не только статусного падения и утраты захваченных привилегий, но даже и уголовного преследования за свои деяния, как это уже случалось в некоторых посткоммунистических и других транзитных странах... Схема по-

казывает, что пунктирная «кривая опасений» всегда выше реальных уровней извлечения ренты и выше самого пика «царя горы». Даже в случае гипотетического «спуска с холма», т.е. сдвига в сторону политической и экономической конкуренции, уровень опасений «ранних победителей» за свою судьбу и собственность все равно остается выше (Это, кстати говоря, вариация одной из классических проблем, поднятых еще на ранних этапах транзитологических исследований, прежде всего применительно к латиноамериканским странам, получившая название «проблемы истязателя»⁴).

Не может не возникнуть и вопрос о том, что и почему может побудить элиты-победители в положении «царя горы» начать реформы, которые в случае открытой конкуренции будут грозить им утратой статуса и, как минимум, части захваченной государственной собственности? В принципе, такие победительные мотивы могут порождаться разными обстоятельствами. Во-первых, расколами в стане элит-победителей, в том числе появлением в них реформаторского крыла (это тоже одна из классических транзитологических тем). Во-вторых, подъемом новых и достаточно сильных элитных групп, не связанных с интересами «ранних победителей» и стремящихся к установлению новых эффективных и качественных институтов и политических и экономических порядков. В-третьих, усиливающимся давлением «снизу» (преимущественно в форме того, что в современной литературе по обсуждаемой нами проблематике получило название «мирных демонстраций»), на которое «царь горы» уже не в состоянии не обращать внимания — при том, что если воспользоваться известным рассуждением Г. О’Доннелла об эволюции бюрократического авторитаризма [O’Donnell, 1973], «цена репрессии» начинает превосходить «цену терпимости» и побуждать к изменениям. Заметим, однако, что здесь вполне вероятна и обратная реакция — «закручивание гаек» и крен от умеренного к открытому авторитаризму с репрессиями, ужесточением режима и пр. В-четвертых, давлением внешней среды. Речь здесь идет вовсе не о политическом давлении определенных государств или организаций, против которого «зависшие» в своем транзите пост-

⁴ См., например, Huntington, 1991.

коммунистические страны выстроили мощные «суверенные» заслоны. Речь идет о широком мировом контексте глобализации экономических процессов и транснационализации процессов политических. Это также условия, предъявляемые к деятельности в рамках международных экономических и политических структур, в контексте глобальных информационных процессов и др.

Все это важные вопросы, которые, однако, выходят за рамки нашего материала. Но это очень перспективные в теоретическом и практическом планах сюжеты для дальнейших исследований.

* * *

Мы далее, с учетом всего вышесказанного, предпринимаем попытку проанализировать и сравнить роль и влияние условий и действий (то есть основных структурных и процедурных факторов) на результаты зависших и провалившихся демократических транзитов последних двух с небольшим десятилетий. Наша выборка состоит из 29 посткоммунистических стран, включая Монголию, которые за это время продемонстрировали различные траектории политических трансформаций, повлекшие за собой разные режимные результаты.

Какими бы рейтинговыми и оценочными инструментами (включая экспертные опросы) ни пользоваться, сравнительный анализ выявляет лидеров демократических трансформаций — Чехию и Словению. За ними идут Венгрия (до последних нескольких лет), Словакия и, пусть с оговорками, прибалтийские страны. Рядом с ними — другие новые демократии, которые в силу различных причин не в полной мере достигли качества демократической консолидации и/или имеют своего рода «родовые пятна»: Польша, Румыния, Болгария, Монголия, большинство стран бывшей Югославии (за исключением Словении), а из числа постсоветских государств — Украина и Молдова. В числе этой, условно говоря, второй лиги страны относительно успешной демократизации. Они в основном на верном пути...

На другом полюсе — «новые недемократии», страны с различными типами авторитарного правления, одни из которых напоминают традиционные автократии, другие нуждаются в дальнейшей типологизации и концептуализации. В их числе Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и

Туркменистан. Между этими условными полюсами — необычные гибриды, зависшие в транзите, остановившиеся в демократизации и часто демонстрирующие новые авторитарные тенденции: Россия, Армения, Грузия, Киргизия.

Нас в особенности интересуют страновые казусы, которые сползают в то, что часто называют «серой зоной» [Carothers, 2002], либо движутся вспять, к новым разновидностям авторитаризма.

Влияние структурных предпосылок и процедурных факторов на исход транзита: благоприятные и неблагоприятные случаи

На основании имеющихся данных и научной литературы мы можем предположить, что структурные предпосылки не сыграли решающей роли в падении коммунизма и начале посткоммунистических преобразований; однако в ряде важных аспектов они либо способствовали переходам к демократии, либо тормозили их. Действительно, если мы рассмотрим, какие факторы обычно считаются предпосылками для демократизации, то обнаружим, что практически ни в одной из посткоммунистических стран набор таких предпосылок не был предельно неблагоприятным (хотя, естественно, степень благоприятности существенно различалась у разных государств): даже более бедные страны не находились в состоянии отчаянной нищеты; лишь в одном случае (Таджикистан) этнические или другие расколы, свойственные традиционным обществам, привели к разрушающей государственность гражданской войне; ни внешние факторы, ни собственные силовые ведомства не навязывали этим государствам откровенно авторитарные модели развития. Если в стране и присутствовал ислам, то он не был чрезмерно влиятельным, фундаменталистским или политизированным (Таджикистан опять является исключением). Более того, экономические структуры этих обществ должны были совершить переход от командно-плановых сегментов советско-коммунистического «бюрократического рынка» к независимым рыночным экономикам, а политические структуры — сформироваться в институты независимого государства, так что ни экономика, ни политика ни в коем случае не были стагнирующими или им-

мобильными (что часто рассматривается как структурное препятствие для демократизации).

И напротив, субъективные, актор-ориентированные факторы (стратегические и тактические решения, институциональный выбор, политика исполнительной власти, отношения между старыми и новыми элитами, роль гражданского общества, проведение выборов и так далее) оказались критически важными для исхода политических преобразований. В некоторых случаях решения ведущих политических акторов внесли существенный вклад в обеспечение успеха перехода к демократии, в других — обусловили их провал или породили новые формы авторитарного правления. Выбор политического курса оказывается решающим в определении общего вектора политических преобразований, но в то же время для консолидации демократии необходим, по крайней мере, минимальный набор структурных предпосылок.

Поэтому для определения радикально различающихся результатов посткоммунистических преобразований минувших двух десятилетий необходимо исследовать актор-ориентированные факторы: почему, как и в какой степени политические акторы и общества в целом вносили свой вклад в успех или неудачу демократизации. При этом, разумеется, обнаружится и их корреляция как с благоприятными, так и с неблагоприятными структурными предпосылками, но она не даст универсального объяснения: кто бы мог на старте преобразований предположить, что аграрная Молдова или полукочевая Монголия продвинутся по пути демократизации дальше, чем Казахстан или Беларусь?

Более легко анализу поддается западная часть посткоммунистического пространства (включая Балканы), где и структурные предпосылки, и осуществлявшийся политический курс были благоприятны для демократизации. Со структурной точки зрения к демократизации были предрасположены (хотя и в разной степени) все центральноевропейские государства. По мере того, как они проходили через «шоковую терапию» или более мягкие версии структурных реформ и переориентировали экономику на пространство Евросоюза, и уровень, и тип их экономик становились совместимыми с прочими европейскими странами. Их периферийная роль на европейском рынке и более низкие уровни развития (только лучшие из них сравнимы с более бедными эконо-

миками ЕС) порождают бесчисленные проблемы в политической сфере, особенно в годы мирового финансового кризиса, однако уровень этих проблем все же недостаточно высок, чтобы поставить под сомнение демократический характер их политики. Все они соседствуют со странами Евросоюза (по суше и/или морю). Ни одна из их экономик не страдает от «нефтяного проклятия» или чрезмерной концентрации экономических активов в одной отрасли (имея в виду, что такая отрасль могла бы стать опорной базой инкубентов, не желающих делиться контролем над ней с оппозицией). Культурное наследие большинства из них — европейское и христианское (принадлежащее всем трем основным конфессиям христианства — католицизму, протестантизму и православия). Межэтнические проблемы либо не были значительными, либо эффективно контролировались элитами повсюду, кроме нескольких республик бывшей Югославии, однако за исключением Косово и Боснии и Герцеговины, которые еще не решили в полной мере проблем построения собственной государственности, даже эти постъюгославские государства, прошедшие через серьезные потери и гражданские войны (в первую очередь — Сербия и Хорватия), к концу второго десятилетия посткоммунистических трансформаций уверенно движутся по пути демократизации.

Разбирая различия, упомянутые в приведенном выше обзоре, мы должны отметить, что некоторые из стран этого географического пространства сталкивались с относительно невысокими структурными барьерами для демократизации: Чешская Республика и Словакия, чей развод был «бархатным», Словения, Венгрия, Польша и три прибалтийских государства (с оговоркой о до сих пор неинклюзивном характере демократических политических в Латвии и Эстонии) представляют собой почти безоговорочные «истории успеха» демократизации. Что же касается прочих стран в западной и юго-западной (за исключением северо-западного «угла» — Словении) Европе, то их успех в демократизации никак нельзя считать заранее предопределенным: более низкий уровень экономического развития, более слабая промышленность (повсюду), более высокий уровень межэтнической напряженности (Болгария, Румыния, Сербия, Хорватия, Македония, Босния и Герцеговина), даже гражданские войны. Однако с временными лагами и более высокими издержками все эти страны достигли зна-

чительного прогресса в демократизации — они либо стали демократиями, либо неуклонно приближаются к этому статусу. Делая такой вывод, мы не оцениваем качество демократии в центрально-европейских и балканских государствах — ограничимся лишь высказыванием Константы Геберта, журналиста варшавской «Газеты Выборчей»: по его словам, центральноевропейцы «выучили словарь демократии, но пока не освоили ее грамматику».⁵

Структурные предпосылки и актор-ориентированные факторы будут рассматриваться в нашем последующем анализе как независимые переменные. Третья независимая переменная — исход посткоммунистических преобразований периода «третьей волны» (с фокусом на 29 посткоммунистических странах). Мы операционализируем эту переменную на основе индекса демократии журнала *Economist* за 2010 год⁶:

- (1) полные демократии — Чешская Республика;
- (2) «демократии с изъянами» — Словения, Эстония, Венгрия, Литва, Словакия, Польша, Латвия, Румыния, Хорватия, Болгария, Украина, Молдова, Сербия, Черногория, Македония, Монголия;
- (3) гибридные режимы — Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Россия, Армения, Киргизия;
- (4) авторитарные режимы — Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан⁷.

⁵ Записано одним из авторов из выступления К. Геберта на семинаре в Таллине в 1998 году.

⁶ Этот индекс избран нами по причине его относительной простоты и прозрачности, а также достаточно высокой степени точности и диверсифицированности страновых показателей (в сравнении, например, с рейтингами Freedom House). Корреляция этого индекса с другими измерениями, например с соответствующим субиндексом индекса трансформации Фонда Бертельсмманна, достаточно высока. В 2011 г. Украина перешла в категорию «гибридных режимов», а Россия — в категорию «авторитарных», однако в обоих случаях они заняли высшие позиции в соответствующих категориях, поэтому мы сочли предпочтительным рассматривать их в рамках тех категорий, в которых они пребывали на протяжении нескольких предыдущих замеров.

⁷ В этой выборке нет, по крайней мере, одного важного типа современных недемократических политических режимов — тех, которые в силу тех или иных причин вообще не вступали на путь транзита. Можно предположить, что это связано с разными обстоятельствами: они «слишком бедные» или «слишком богатые», либо там «слишком много порядка» и все под авторитарным контролем, или «вовсе нет порядка», то есть это «неудавшееся государство».

В такой логике зависимой переменной становится влияние структурных и актор-ориентированных факторов на последствия посткоммунистических изменений политических режимов.

На основе существующей литературы и доступных данных мы принимаем допущение, что структурные и актор-ориентированные факторы могут быть как благоприятными, так и неблагоприятными для демократии и демократизации. Из структурных факторов, потенциально оказывающих благоприятное или неблагоприятное воздействие на вектор преобразований, мы в первую очередь принимаем во внимание показатель душевого ВВП и индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), рассчитываемый Программой развития ООН. Актор-ориентированные факторы тоже могут оказывать благоприятное или неблагоприятное воздействие на природу вновь создаваемого политического режима. Так, имеется достаточно фактических свидетельств в пользу того, что конструкция политических режимов, приводящая к произволу в действиях посткоммунистической (особенно — постсоветской) бюрократической вертикали, оказывается «поцелуем смерти» для молодых демократий. Этот субъективный фактор становится одним из рассматриваемых параметров в нашем анализе. Смена или сохранение у власти (хотя и в новом обличье) старых элит — еще один такой параметр. На темпы, сценарии и последствия преобразований влияли и многие другие факторы: территориальная целостность, сепаратистские или гражданские войны, острота существующих в обществе противоречий, интенсивность внешних воздействий, модели передачи власти и так далее.

Уместными представляются следующие предварительные суждения:

высокий уровень социально-экономического развития является важным фактором, но не предопределяет направление и результат транзита; большинство посткоммунистических стран, осуществивших более или менее успешный переход к демократии («полные демократии» или «демократии с изъянами» по классификации индекса демократии журнала Economist), начинали транзит с достаточно высокого уровня ВВП на душу населения,

в среднем примерно с 5 тыс. долларов,⁸ и достаточно высокого уровня развития человеческого потенциала⁹. Но имеющиеся данные не позволяют делать обобщения: так, среди демократий (пусть и «с изъятиями») мы видим Монголию и Молдову с их низкими уровнями ВВП/чел. на старте (в Монголии — 1,693 долл., в Молдове — 2,776) и ИРЧП (в обоих случаях — средние). Напротив, Россия, будучи гибридным режимом на сегодняшний день, стартовала с вполне благоприятных «структурных» позиций: ВВП/чел. — 8,941 долл. и высокий уровень ИРЧП. Авторитарные Казахстан и Беларусь тоже начинали трансформацию с относительно высоких структурных параметров: Казахстан — 4,684 долл. (ВВП/чел.), Беларусь — 4,747 долл.; у обоих — относительно высокие уровни ИРЧП. Однако эти благоприятные условия не помогли. Объяснения нужно искать в действии других факторов.

В то же время есть основания утверждать, что благоприятные структурные факторы представляют собой важные условия для демократической консолидации: «лидеры демократизации» (по большинству рейтингов — Чехия и Словения) стартовали со значительно более высоких уровней ВВП на душу населения (соответственно — 11,209 долл. и 11,827 долл.) и высоких уровней ИРЧП. Здесь благоприятные объективные предпосылки подкрепляют политическую инженерию.

Анализируя нашу выборку стран и переменные, мы можем также заключить, что неблагоприятные структурные предпосылки в некоторых случаях могут быть преодолены посредством правильных политических решений, избранной стратегии и тактикой действий. Наш метод — качественный сравнительный анализ казусов.

⁸ Согласно данным Всемирного банка: Чехия — 11,209 долл. (1990); Словения — 11,827 (1990); Эстония — 6,959 (1991); Венгрия — 8,721 (1989); Литва — 8,846 (1991); Словакия — 7,609 (1989); Польша — 5,474 (1990); Латвия — 7,169 (1991); Румыния — 5,317 (1989); Хорватия — 9,699 (1990); Болгария — 5,711 (1989); Украина — 5,505 (1991); Македония — 5,656 (1990).

⁹ По данным ПРООН: Чехия — 0,897; Словения — 0,857; Эстония — 0,872; Венгрия — 0,893; Литва — 0,881; Словакия — 0,897; Польша — 0,874; Латвия — 0,868; Хорватия — 0,857; Болгария — 0,865 и Македония — 0,857 (высокие уровни РЧП на старте трансформаций); Румыния — 0,733 и Сербия — 0,797 (средние уровни).

Это подводит нас к выводу о критической важности факторов деятельности политических акторов — их предпочтений и конкретных решений. В целом ряде случаев благоприятные предпосылки не обеспечили успешных переходов к демократии — решающими факторами стали процедурные. А в других случаях, напротив, отсутствие благоприятных объективных условий было компенсировано конкретными субъективными решениями.

В этой связи уместно привести несколько общих рассуждений о факторах политических решений.

Стержневым фактором осуществления политики во многих посткоммунистических странах выступал почти полный консенсус элит относительно общей цели «вхождения в Европу». В этих странах элиты не строили демократию как таковую — они строили европейскую идентичность своей страны, перенося на национальную почву ценности, институциональные устройства, нормы и практики «старой Европы». Тезис Л. Даймонда «не нужно ничего, кроме политической воли» к таким случаям неприменим. Как отмечено выше, при всех различиях между этими странами структурные предпосылки в них не были заведомо неблагоприятны для демократизации. Даже там, где структурные факторы были менее благоприятными, политические акторы предпринимали последовательные усилия по их преодолению, чтобы сократить отставание своих стран от стандартов Запада (или Евросоюза). Наиболее очевидный пример намеренной вестернизации — осуществлявшаяся в этих странах политика в отношении этнических меньшинств и/или подавление любых попыток реанимировать территориальные притязания к соседям. Обратная сторона такой деятельности политических акторов — роль западных советников и консультантов, к которым в таких государствах охотно прислушивались не только в том, что касалось экономических реформ (в этой области западные советники сыграли важную роль в большинстве посткоммунистических стран), но и в вопросах политического устройства. В ряде случаев такими «иностранцами» были побывавшие в эмиграции (Швеции, Канады и других западных странах) люди, вернувшиеся на родину, чтобы помочь расчистить завалы коммунистического наследия.

Подобное наблюдение указывает еще на один фактор, по которому посткоммунистический мир четко разделяется по границам

СССР 1939 года. К востоку от этой границы коммунистическое правление длилось на одно поколение (20 лет) дольше, чем в его западной части, и там к моменту падения коммунизма практически не осталось людей, по личному опыту помнивших «жизнь до коммунизма» и способных рассказать об этом опыте, дать совет и психологические стимулы реформаторам. Суммируя оба этих фактора, можно сказать, что для западной части посткоммунистического мира «поход на Запад» являлся не абстрактным лозунгом, а конкретным «бизнес-планом», подкрепленным во многом заимствованным ноу-хау. К востоку же от этой границы, как показано ниже, только Молдова предпринимала намеренные, хотя и не вполне успешные, попытки перенять европейские институты и практики.

Наконец, третье общее рассуждение касается выбора институционального устройства государства. Западная (относительно границ 1939 года) часть посткоммунистического мира выбрала парламентскую или премьер-президентскую модели [Shugart and Carey, 1992], которые, по общепринятому в современной сравнительной политологии мнению, более благоприятны для демократизирующихся государств, поскольку при таких моделях власть оказывается разделенной, возникают гарантии от персоналистских авторитарных поползновений, стимулируется вовлечение общества в политику. [Linz, 1990; Shugart and Carey, 1992; Fish, 2006]. Отметим, что именно транзиты 1990-х годов побудили многих политологов, занимающихся подобными темами, пересмотреть и переопределить свои подходы, уделять большее внимание деталям институционального устройства (этот процесс описан в работе Р. Элджи, 2005). В восточной же части посткоммунистического мира, как правило, избиралась президентская или президентско-парламентская модель государственного устройства. В той же логике пропорциональная (или смешанная) избирательная система стимулирует разделение власти и поиск компромиссов в политике и помогает избежать ситуаций, в которых «победитель получает все» [Hellman, 1998] — если вернуться к схеме Хеллмана, в смысле как политической, так и экономической «ренты». Результат воздействия таких институциональных выборов показан ниже в таблице 1. Заметим, однако, что выбор институционального устройства, несомненно, являет-

ся процедурным фактором, но это не означает, что политические элиты (и лидеры) абсолютно свободны в своем выборе. Выбор в пользу сильной президентской власти, сделанный большинством государств СНГ, был предопределен не только традиционной склонностью этих обществ к персонализированной власти, но и такими факторами, как наличие антагонистических водоразделов в обществе (как в России) или задачами строительства с нуля национальной государственности, которая востребовала харизматичного (в меру возможности) «отца нации».

Таблица 1.

Взаимосвязь между политическим режимом, избирательной системой и демократизацией

Тип режима / Избирательная система	Пропорциональная	Смешанная	Мажоритарная	Всего
Парламентский	4 демократии <i>Чехия, Латвия, Эстония, Словакия</i>	2 демократии <i>Венгрия Литва</i>	0 демократий	6
	0 гибридных режимов	1 гибридный режим <i>Албания</i>	0 гибридных режимов	1
	0 авторитарных режимов	0 авторитарных режимов	0 авторитарных режимов	0
Премьер-президентский	7 демократий <i>Болгария, Польша, Румыния, Словения, Сербия, Черногория, Хорватия</i>	1 демократия <i>Македония</i>	1 демократия <i>Монголия</i>	9
	1 гибридный режим <i>Босния и Герцеговина</i>	0 гибридных режимов	0 гибридных режимов	1
	0 авторитарных режимов	0 авторитарных режимов	0 авторитарных режимов	0

Президентско-парламентский	1 демократия <i>Молдова</i>	0 демократий	1 демократия <i>Украина</i>	2
	0 гибридных режимов	3 гибридных режима <i>Армения, Грузия, Россия</i>	0 гибридных режимов	3
	0 авторитарных режимов	0 авторитарных режимов	0 авторитарных режимов	0
Президентский	0 демократий	0 демократий	0 демократий	0
	0 гибридных режимов	1 гибридный режим <i>Киргизия</i>	0 гибридных режимов	1
	0 авторитарных режимов	2 авторитарных режима <i>Азербайджан, Таджикистан</i>	4 авторитарных режима <i>Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Беларусь</i>	6
Всего	13	10	6	29

Примечания

Типология политических режимов, основанная на работе М. Шугарта и Кэри [Shugart and Carey, 1992], фиксирует институциональный выбор каждой страны на начало 1990-х годов; классификация по уровню демократичности — на The Economist Intelligence Unit's Index of Democracy 2010. Обратим внимание, что из двух режимов с относительно сильным президентом, Молдова стала в 2001 году парламентской республикой, а Украина несколько раз меняла свою избирательную систему и имела премьер-президентский режим в 2006–2010 годах. Граница между чисто президентским и президентско-парламентским режимом на постсоветском пространстве условна: определять ее только по конституционной формулировке исполнительных полномочий президента некорректно, если роль парламента вообще и в формировании кабинета министров, в частности, чисто номинальна. По первым конституциям президент возглавляет исполнительную власть и/или реально не делит полномочий с парламентом в ее формировании в: Туркменистане, Таджикистане,

Азербайджане, Казахстане, Киргизии (в последних двух случаях поправки к конституциям наделили парламент более широкими полномочиями в этой области); в Узбекистане и Беларуси формально требуется утверждение кандидатуры премьера парламентом, но парламенты в этих странах никогда не обладали реальной автономией от президентской власти.

Последствия политических решений

Центральная Азия

Обзор преобразований мы начинаем с субрегиона, в котором объективные предпосылки для демократизации со всех точек зрения были менее благоприятными, чем во всех остальных частях посткоммунистического мира, а именно — с Центральной Азией (Киргизстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан). Эти «предпосылки недемократии» включают:

самый низкий уровень социально-экономического развития: ВВП на душу населения на старте транзита в Киргизстане составлял 1,697 долл., в Таджикистане — 2,080, в Узбекистане — 1,457 и в Туркменистане — 2,596, и только в Казахстане он был существенно выше — 4,684;

все эти страны (тоже за исключением Казахстана) имели средние уровни индекса развития человеческого потенциала, с острыми разрывами между благополучными городскими регионами и крайне слабо развитой инфраструктурой в сельской местности.

Этнический фактор в этих странах требует «стереоскопического» анализа. Все они имели заметное меньшинство европейских (преимущественно — восточнославянских) национальностей (в Казахстане — почти половина населения), это меньшинство было преимущественно городским и более образованным. С одной стороны, наличие такого меньшинства могло бы способствовать либерализации политической жизни, но, с другой стороны, элита коренной нации рассматривала его как угрозу пророссийского ирредентизма и возможное препятствие на пути национального строительства. Почти повсеместно (особенно — в Узбекистане) присутствовали и другие меньшинства, но они не сыграли важной роли в политической жизни, если не считать от-

дельных вспышек насилия на этнической почве, как, например, во время волнений в Киргизии в 2010 году.

Исламский фактор также оценивается неоднозначно. С одной стороны, семь десятилетий светской власти означали, что ислам лишился глубинных корней, а правящая элита была почти исключительно светской. С другой стороны, например, в Ферганской долине (проходящей через Узбекистан, Таджикистан и Киргизстан) угроза исламского фундаментализма и терроризма существовала на протяжении всего рассматриваемого периода.

Более важным и напрямую влияющим на политические преобразования фактором представляется традиционная (немодернизированная) структура общества, затрудняющая демократизацию. Этот фактор включает в себя и аграрное перенаселение, и клиентилистские системы связи в низах общества, а также клановую структуру всего общества. В сочетании с исламской культурной традицией он породил эффект, охарактеризованный Э. Геллнером [Gellner, 1994] как «государственность, навязанная городу племенными союзами» — аллюзия, восходящая к знаменитой «Мукаддиме» арабского философа XIV века Ибн Халдуна. Гражданская война между региональными кланами (с наложением религиозного фактора на территориальный) в Таджикистане, разделение на три племенных союза — жуза — в Казахстане, противостояние «севера» и «юга» в Киргизии — лишь наиболее явные примеры того, как традиционная структура общества влияет на формирование ткани национальной политики.

Еще одна предпосылка «недемократии», как сейчас принято считать, — «нефтяное проклятие». Когда речь идет о странах с невысоким уровнем экономического развития, трудно дать однозначный ответ, является ли наличие в стране запасов минерального топлива благословением или проклятием. Две центральноазиатские страны, не обладающие таким богатством, Таджикистан и Киргизстан, остаются самыми бедными среди посткоммунистических государств, с ВВП на душу населения, едва превышающим 2 тыс. долларов (143-е и 139-е место в 2009 году по мировой иерархии МВФ)¹⁰; такая бедность серьезно осложняет не только

¹⁰ World Economic Outlook Database-April 2010, International Monetary Fund. Accessed on April 21, 2010.

экономическое, но и политическое развитие. Благополучие остальных трех стран относительно (из-за различий в уровне добычи углеводородов и численности населения): Узбекистан занимает 131-е место, Туркменистан — 104-е, и лишь Казахстан поднялся до 70-го места в той же иерархии.

В подобной ситуации политические решения в стране должны приниматься с учетом весьма неблагоприятной конфигурации структурных факторов. Правящие элиты в первую очередь занимались строительством национальной государственности, включая создание «национальных мифов», обеспечением доминирования коренного населения, и в частности — господства «клана правителя» (как бы он ни определялся) в политической сфере. Это фактически и предопределило институциональный выбор в пользу президентской модели с минимальными или нулевыми сдержками и противовесами. В дискурсе власти идея демократии звучала либо чисто декларативно, либо сопровождалась бесчисленными оговорками о «национальной модели», необходимости «воспитания демократической традиции» и тому подобными. Следует отметить, что в Центральной Азии (за исключением Таджикистана) элиты в наименьшей степени (по сравнению с другими частями постсоциалистического мира) подвергались ротации и обновлению, даже сегодня правящий класс в них состоит из постаревших советских элит и их прямых наследников.

Два центральноазиатских государства — Туркменистан и Узбекистан — практически не заигрывали с идеей демократии, никогда не имели хотя бы формально многопартийных систем, а Туркменистан до последнего времени — даже реального парламента. Киргизия долго считалась наиболее либеральным из всех центральноазиатских государств, а прежний президент А. Акаев имел имидж демократизатора; в Казахстане в 1990-х годах существовала определенная степень плюрализма на выборах, и руководство страны стремилось к созданию позитивного имиджа на Западе; Таджикистан сумел выйти из гражданской войны через соглашение о национальном примирении, разделе власти с оппозицией, и плюрализм в крайне ограниченной форме существует там даже сейчас.

Однако общая оценка актор-ориентированных факторов в этих странах все же негативна для демократизации. Над правящими элитами довлел страх не потери большинства во власти, но даже

появления серьезной оппозиции, которая, по их представлениям, дестабилизировала бы ситуацию. Их страхи были разнообразны (в разных комбинациях): вызов со стороны исламских радикалов (которые, по их представлениям, могли бы получить в условиях свободной конкуренции существенную поддержку в отсталых сельских районах); конкуренция со стороны высокообразованного городского восточнославянского населения; усиление популизма в обществе с высоким имущественным расслоением; но самое главное — вызов со стороны конкурирующих кланов и группировок в правящей элите.

Именно с этой целью в государствах Центральной Азии (за исключением Узбекистана) проходили многочисленные референдумы по поправкам к конституциям и продлению срока полномочий президентов (в Казахстане и Узбекистане у власти до сих пор находятся последние руководители республиканских коммунистических партий), реформировались парламенты и менялись избирательные системы, и все эти мероприятия без исключения были направлены на укрепление президентской власти. С. Ниязов, умерший в 2006 году, был пожизненным президентом Туркменистана. Намеренные изменения институтов власти дополнялись жестким контролем над СМИ и пространством интернета, избыточным применением административного ресурса, то есть манипуляций на выборах и тому подобным. Результатом этих процессов явилась не только консолидация власти, но и радикальное сокращение политического плюрализма.

Единственным исключением из этого общего тренда стал Киргизстан. Опасаясь цветной революции, президент А. Акаев прибег к жесткому контролю над парламентскими выборами 2005 года, в результате чего последовал государственный переворот, получивший название тюльпановой революции; новое руководство стало фактической коалицией северных и южных кланов, которые на протяжении первых двух лет делили власть. Однако постепенно новый президент К. Бакиев добился такой степени концентрации власти и ресурсов, что оппозиция (состоявшая не только из северян, но и из части его собственных южан) восстала и свергла президента — отметим, что это произошло вскоре после того, как Бакиев выступил с идеей «консультативной демократии», при которой оппозиция дает советы

и критикует правительство, но не участвует в борьбе за власть. Переходная администрация Киргизии разработала новую конституцию, в соответствии с которой во второй раз в современной истории страны предпринимается попытка ввести систему разделения властей. Выборы в октябре 2010 года привели к образованию многопартийного парламента и трехпартийной правительственной коалиции, которая обрела власть в конце 2010 года, и продемонстрировала свою жизнеспособность.

Подводя итоги, мы можем заключить, что в Центральной Азии объективные предпосылки (быть может, в некотором смысле исключением является Казахстан?) были неблагоприятными для демократизации. Однако действия политических акторов практически ничего не изменили в этой ситуации, напротив, они еще более отдалили даже гипотетические перспективы демократических изменений. Стороннему наблюдателю непросто оценить, насколько преувеличенными были «страхи перед плюрализмом», испытываемые центральноазиатскими правящими элитами. Единственное, что не подлежит сомнению: ничего не было сделано для создания механизмов разрешения межэлитных конфликтов (Киргизию, пожалуй, следует признать исключением, но и там эти попытки до недавнего прошлого оказывались малоэффективными). По крайней мере в тех странах, где объективные условия были менее неблагоприятными, вполне возможной представлялась большая степень плюрализма, которая могла бы породить более либеральную политическую атмосферу, способствующую видоизменению неблагоприятных структурных предпосылок.

Таким образом, в центральноазиатском субрегионе наблюдалась тесная корреляция негативных объективных предпосылок с действиями политических акторов, препятствующих демократизации. В других частях посткоммунистического пространства мы будем наблюдать как более мягкие наборы структурных предпосылок, так и большее разнообразие политических стратегий.

Закавказье

В трех государствах Закавказья (Армения, Азербайджан и Грузия) структурные предпосылки носили неоднозначный характер.

Из социально-экономических условий ключевым фактором следует признать не уровень экономического развития, не индекс человеческого развития (оба показателя там ниже среднего по посткоммунистическому миру), а разрушительные войны, через которые все три государства прошли в начале 90-х годов прошлого века. Грузия и Азербайджан утратили в пользу сепаратистов часть своей территории, и травма этой потери и приток беженцев еще более понизили шансы на демократизацию. Разумеется, побочным эффектом такого раскола стала более высокая этническая гомогенность нации, но, в отличие от Молдовы, рассматриваемой ниже, мы не можем объективно оценить влияние этого фактора на политическое развитие. Армения в результате войны получила в качестве союзника самопровозглашенное и непризнанное государство — Нагорный Карабах, но одним из последствий военных действий стало доминирование ветеранов этой войны (как выходцев из Карабаха, так и из самой Армении) в национальной политике. При всех этих различиях, Армения и Грузия прошли через отчаянно плохую экономическую ситуацию, а Азербайджан столкнулся с проблемой аграрного перенаселения. Экономически мотивированная эмиграция из всех трех государств была и остается важной проблемой развития.

Христианская политическая культура Грузии и Армении и попытки их сближения с Западом способствовали демократизации; Азербайджан выстроил тесные отношения с Турцией и также искал сближения с Западом в целях модернизации страны.

Влияние ислама в шиитском Азербайджане было слабее, чем в Центральной Азии (по меньшей мере, там не было исламских фундаменталистов), слабее было и влияние традиционных общественных институтов, но оба эти фактора все же присутствовали в политической жизни. Азербайджан — единственная из трех стран, отмеченная «нефтяным проклятием», проблемой для политического развития, но в то же время — благословением для экономики.

В таких условиях Грузия и Армения были более предрасположены к плюралистической политике, но, в отличие от западной части посткоммунистического мира, «вестернизация» оставалась лишь общей концепцией, зачастую подрываемой борьбой за

власть. В политике Азербайджана «вестернизации» отводилась меньшая роль.

Все три государства не избежали насильственных смен власти. Президент Гамсахурдия в Грузии, Муталибов и Эльчибей в Азербайджане были свергнуты (добавим попытку переворота в Азербайджане в 1995 году); цветная революция отстранила от власти Шеварднадзе в Грузии; «тихий переворот» произошел в 1998 году в Армении, когда первый президент Тер-Петросян был вынужден уйти в отставку, высшие руководители армянского государства (включая сильного премьер-министра и спикера парламента и бывшего кандидата в президенты) были расстреляны в стенах парламента. В Армении (в 1996-м и 2008 годах) и Грузии (в 2008 году) имели место массовые протесты против результатов президентских выборов, а качество этих выборов подвергалось серьезной критике со стороны международных наблюдателей (тем не менее в целом признавших итоги выборов).

Парадоксальным образом такие коллективные действия и цветную революцию (но не перевороты) можно признать свидетельством того, что режимы в Грузии и Армении не были консолидированными автократиями. В их парламентах существует плюрализм, законодатели целенаправленно вносили в конституции поправки, направленные на расширение полномочий парламентов. Азербайджан же, напротив, последовательно ужесточал законодательство о партиях и выборах и сохранял сильную президентскую власть, которую умирающий президент Алиев передал в 2003 году своему сыну Ильхаму.

Азербайджанский пример можно признать мягкой версией центральноазиатского авторитаризма, а остальные две страны — гибридными режимами. В этом случае «гибридность» следует трактовать как сочетание «добрых намерений» политиков с высоким уровнем конфронтации в борьбе за власть и неспособностью элит выработать и соблюдать правила игры, которые могли бы укоренить политический плюрализм.

Восточная Европа

Четыре восточноевропейские страны постсоветского пространства (Беларусь, Россия и Украина, в меньшей степени

Молдова) со структурной точки зрения, казалось бы, выглядели более предрасположенными к демократизации, и действительно Украина и Молдова стали электоральными демократиями.

С социально-экономической точки зрения это была самая развитая часть Советского Союза (не считая Прибалтики) во всех отношениях, включая диверсифицированность промышленности, уровень жизни, образования, урбанизации и так далее. За исключением Молдовы (наименее развитой из всех), они и сегодня опережают страны юго-восточной Европы, ставшие демократиями. Обратной стороной высокого уровня развития стало значительное влияние отношений власти и собственности на поведение политических элит. В России, в отличие от остальных трех государств субрегиона, в полную силу действовало так называемое нефтяное (точнее, нефтегазовое) проклятие; парадоксальным образом в облегченной форме им заразились Украина и Беларусь: транзит российских углеводородов через их территорию в Европу стал значимой отраслью их экономик.

С точки зрения политической культуры все эти страны были христианскими (преимущественно православными). Значительная часть немалого исламского населения России (в первую очередь живущего в Поволжье) была модернизирована, но в то же время республики Северного Кавказа сохраняют пережитки традиционных обществ, в которых ислам испытывает сильное давление со стороны фундаменталистских тенденций, конкурирующих с традиционным исламом, и в которых сохраняются и традиционные клановые структуры.

Беларусь представляет собой относительно гомогенное в этническом плане общество: в отношениях между этническими русскими и белорусами не наблюдалось проблем. На Украине напряженности в отношениях с крымскими татарами были ограниченными по масштабу, а межэтнические отношения русских с украинцами, далеко не идиллические, развивались в политическом поле, внося свой вклад в углубление водораздела между востоком и западом страны, описываемого ниже. Территориальная целостность Молдовы была нарушена отколом Приднестровья (с более высокой долей восточнославянского населения) после непродолжительной гражданской войны. Однако Молдове этот раскол принес не только национальную травму, но и более вы-

сокую степень гомогенности общества, которая способствовала снижению конфронтационности в политике.

Еще один структурный фактор, оказавший (хотя и по-разному) влияние на преобразования во всех странах, — это проблема национальной идентичности. Молдова до сих пор находится в поисках определения своей общности или отличия от Румынии, в то же время находя у себя место для восточнославянского, тюркского и болгарского меньшинств. Раздел между Восточной и Западной Украиной, коррелирующий с определением близости страны к России или Западу, сохраняет первостепенную важность для национальной политики и, по нашему мнению, создаст базу для объективного плюрализма в украинском обществе, который способствует демократизации. В Беларуси «западный вектор» преобразований был самым слабым из всех европейских посткоммунистических государств, равно как слабейшим было чувство особой национальной идентичности (прозападные националисты в Беларуси остались маргинализированным меньшинством). Наконец, Россия, метрополия прежней империи, была единственной страной на этом пространстве, в которой посткоммунистическое развитие не воспринималось как «национальное возрождение», а напротив, зачастую трактовалось как «национальная катастрофа». Кроме того, Россия несла уникальное бремя сверхдержавы и обладала огромным ядерным арсеналом, что значительно повышало риски хаотизации политики и косвенно способствовало усилению авторитарных тенденций в политических элитах.

Таким образом, фактор идентичности по-разному проявил себя в этих четырех странах, усиливая демократизационные тенденции в Молдове и на Украине и ослабляя их в Беларуси (однозначно) и России (с оговорками).

Когда речь идет о Беларуси, мы фактически встаем перед дилеммой «курица или яйцо»: побуждала ли слабость национальной идентичности элиту страны к отказу от приватизации и других структурных реформ или, напротив, именно эгоизм элит обусловил замораживание ситуации и отказ от социально-экономических и политических реформ, а со временем побочные эффекты российского нефтяного процветания и экономического роста помогли белорусскому режиму укорениться (при этом,

как и в Центральной Азии, ротация элит носила ограниченный характер)? Конституционная реформа, радикально ослабившая полномочия парламента, ничем не сдерживаемая президентская власть, абсолютно марионеточная партийная система, репрессии против оппонентов (включая аресты оппозиционных кандидатов в президенты), манипуляции на выборах — все это роднит белорусский режим с центральноазиатскими. При том, что структурные предпосылки в этой стране были более благоприятными, актор-ориентированные факторы намеренно сохраняли и воспроизводили институциональное устройство, заведомо лишенное плюрализма и либеральных начал.

Молдова представляет собой едва ли не полную противоположность: скорее аграрная, чем индустриальная, значительно отстающая по уровню жизни (ВВП/чел. в 1992 году — 2,776 долл.; в 1994-м — 1,261 долл. и всего лишь 2,975 дол. в 2008-м), но вместе с тем это единственная из стран СНГ, которая намеренно строила модель своего политического развития по западному образцу, точнее, следуя примеру соседней и этнически родственной Румынии. Если в Европе последнюю долгое время считали аутсайдером трансформационных процессов, то для Молдовы она выступала моделью и целевым ориентиром модернизации. Даже сегодня душевой ВВП в Молдове в 4,5 раза ниже, чем в Беларуси (что делает ее самым бедным государством в Европе). Приватизация в этой стране запоздала, она остается преимущественно аграрной, значительная часть ее населения работает в Европе и России. Процесс урегулирования конфликта с приднестровскими сепаратистами фактически заморожен. Однако политический режим Молдовы на всех стадиях ее развития обеспечивал стимулы для плюрализма: поражение действующего президента при президентско-парламентской республике, конституционная реформа 2000 года, превратившая страну в парламентскую республику (последняя имела противоречивые последствия и привела к абсолютному доминированию в парламенте Партии коммунистов). Однако режим и при этом доминировании оставался плюралистичным и относительно либеральным, и коммунисты после поражения на выборах 2009 года были вынуждены уйти из власти. Пример Молдовы показывает, что правильный и последовательный выбор политического курса мо-

жет демократизировать даже бедную и слаборазвитую страну, но равным образом он показывает, что демократия сама по себе не гарантирует решения экономических проблем. Пройдя через три раунда не давших однозначных результатов выборов в период с апреля 2009-го по ноябрь 2010 года, неспособная на протяжении двух с половиной лет (до марта 2012 г.) избрать в парламенте президента и достичь действенных соглашений о разделе власти, Молдова демонстрирует как успехи, так и провалы демократизации, вызванной актор-ориентированными факторами.

Украина добилась успехов в демократизации во втором десятилетии своего посткоммунистического развития, а до этого представлялась страной с неэффективным президентским режимом и попытками концентрации президентской власти. Однако корни украинской демократизации следует искать в 90-х годах прошлого века, в плюрализме общества, порожденном расколом на «восток» и «запад» (как описано выше). Этот водораздел сочетался с плюрализмом групп интересов (часто их называют региональными кланами). Эти группы не имеют в реальности ничего общего с одноименными кланами и племенами Центральной Азии, представляющими собой пережитки традиционного общества. Изначально Украина избрала президентско-парламентскую модель с некоторой автономией парламента. Все эти факторы обеспечили успех украинского плюрализма, благодаря которому на Украине — впервые на всем пространстве СНГ (!) — действующий президент потерпел поражение на выборах. На референдуме 2000 года президент Украины получил поддержку своим начинаниям по расширению полномочий президентской власти, но так и не решился воплотить их в жизнь. Именно этот плюрализм провел Украину через оранжевую революцию и конституционный переход к премьер-президентскому режиму. Демократический опыт, обретенный в 2004–2005 годах, не принес стране ни экономического процветания, ни даже консолидации демократии (хотя власть на президентских выборах и переходила из рук в руки три раза из четырех), но он помог Украине прийти к относительно свободным и честным выборам и дал первые уроки раздела власти и разрешения конфликтов. В отличие от Молдовы, где политические действия элит намеренно развивали плюрализм, украинские элиты к обучению и

привыканию к навыкам сосуществования и конкуренции скорее принуждались силой обстоятельств.

Очевидно, именно этот фактор позволил молдавской элите сохранить плюралистичность режима в период затяжного политического кризиса. На Украине же победивший на выборах в 2010 г. Виктор Янукович (напомним, не допущенный к власти «оранжевой революцией» в 2004 г.) отменил конституционные поправки, вводящие премьер-президентскую республику, добился большинства в Верховной Раде и осуждения на тюремный срок своего основного соперника, экс-премьера Юлии Тимошенко. Столь жесткие методы концентрации власти ввергли Украину в новый виток политического кризиса и предельно осложнили ее отношения с Евросоюзом. Только следующий раунд выборов (с уже четвертым в истории Украины изменением избирательной системы — на сей раз — от чисто пропорциональной — на смешанную) покажет, повернула ли Украина вспять свою демократизацию, или — как это было в 2004–2005, кризис власти вынудит украинскую элиту продолжить строительство плюралистических политических институтов.

Российский случай представляется наиболее проблематичным. Обладающая большими природными богатствами и располагающая в целом благоприятными структурными предпосылками, Россия пережила периоды угрозы распада государственности, сепаратизма Чечни, продолжительной войны на Кавказе и террористической угрозы, не устраненной и поныне. Хотя ротация элит была здесь значительной по масштабу, и новая бизнес-элита внесла немалый вклад в формирование сегодняшнего политического класса, именно в России более чем в любой другой стране постсоветского пространства элементы старой военно-силовой элиты вошли в политический истеблишмент, и их консервативная ментальность остается значимым обстоятельством в российской политике.

По совокупности объективных и субъективных факторов можно заключить, что с точки зрения поведения политических акторов белорусский сценарий для России все же был более вероятным, чем украинский или молдавский, если бы не существовало еще одного субъективного обстоятельства. Речь о центральной роли российской политической элиты в разгроме коммунизма в

самом сердце империи и последовавшего антагонистического раскола в элите и нации в целом. Плюралистичность российской политики в 90-е годы не была тождественна демократии, но она помогла преодолеть антагонизм в отношениях с элитой «старого режима» и заложила основы рыночной экономики. Президентско-парламентская республика для такого режима представлялась оптимальным режимом: более сильный оппозиционный парламент заблокировал бы реформы, еще более сильное президентство сделало бы режим слишком похожим на белорусский.

Попытное движение следующего десятилетия может объясняться как объективными, так и субъективными факторами: восстановление дееспособности государства (в любом случае неизбежное после кризиса легитимности власти 90-х годов), радикальный рост доходов от нефти, постоянные «фантомные боли» потеррянной империи и страхи конкуренции за власть и собственность в стране, которая прошла через крайне противоречивую приватизацию огромных экономических активов. Эти явления *de facto* означали, что к началу нынешнего века в России сложилась новая, более негативная конфигурация структурных и актор-ориентированных факторов. Еще более усилило антидемократизационные тенденции неприятие цветных революций: в реакции на них правящей элиты и преувеличенное представление о роли Запада в этих событиях на «заднем дворе» России, и боязнь возможного повторения таких событий на российской почве.

Не подлежит сомнению, что демократизация в России должна была бы носить более осторожный и эволюционный характер, чем в других европейских постсоветских государствах, и озабоченность российских политических элит сохранением стабильности и минимизацией рисков вполне понятна: и изначальная степень антагонизма (продемонстрированная, в частности, расстрелом мятежного парламента в октябре 1993 года), и страх хаоса в ядерной сверхдержаве убедительно объясняют нежелание российских элит идти на риск. Однако при этом не подлежит сомнению, что степень плюралистичности российской политики за минувшее десятилетие существенно снизилась, входные барьеры на рынке политической конкуренции ощутимо выросли, а качество электоральных процедур подвергается все более суровой критике.

Набор структурных условий в России был слишком сложным, а потому уникальным, вряд ли способным дать почву для обобщений. Один урок из российского опыта все же можно извлечь: негативные предпосылки для демократизации могут возникать или усугубляться и по ходу трансформационных процессов, а набор негативных явлений не ограничивается неудачами в экономическом развитии, напротив, такую роль может сыграть и экономический рост, основанный на «нефтяном проклятии». Российские элиты были вынуждены играть по правилам плюрализма и искать компромиссы именно тогда, когда страна жила в условиях жестких расколов, а ее переходная экономика лежала в руинах. Когда же эти расколы были преодолены, а экономика стала демонстрировать уверенный рост, нужда в «плюрализме поневоле» отпала, и политика стала функцией от объективных условий.

Возможно, именно Россия демонстрирует, что взаимовлияние структурных и процедурных факторов носит «спиралевидный» характер. Более высокий уровень социально-экономического развития и быстрый рост в первом десятилетии века привел к тому, что экономический кризис (который Россия, кстати, пережила относительно мягко благодаря накопленным на экспортных доходах резервам) породил острое расхождение между ожиданиями граждан (в первую очередь — сформировавшегося среднего класса). Последовавшее падение доверия эффективности власти усугубилось шоками от ее фактической несменяемости (когда стало ясно, что страну вновь возглавит В. Путин) и нарушений на выборах, привело к массовым и повторяющимся уличным протестам.

Под влиянием этих протестов российский правящий класс пошел на ограниченные реформы политической системы, демонтирующие некоторые ограничители плюрализма, возведенные в минувшее десятилетие. Однако страх утраты монополии на власть и связанный с нею контроль над экономическими активами порождает и типичную для «царя горы» охранительную тенденцию: либерализация законодательства о партиях и возвращение прямых выборов губернаторов обставляется существенными ограничениями, ужесточается законодательная рамка для публичных акций и деятельности неправительственных органи-

заций. Объективно ситуация требует от власти преодоления отставания политической системы от «переросшего» ее общества, однако государство надеется реализовать некий «необонапартистский» сценарий¹¹, в котором оно будет способно управлять чуть расширившимся плюрализмом при помощи более изоциренного арсенала ограничителей для оппозиции и гражданского общества.

Некоторые выводы

Дает ли проведенный анализ какое-либо новое знание о факторах, способствующих или препятствующих демократизации или иным образом влияющих на исход преобразований? Ответ, скорее всего, будет положительным, но не детерминистским.

Если мы рассмотрим в качестве наиболее объективной предпосылки уровень социально-экономического развития, то обнаружим, что среди стран с уровнем душевого ВВП выше среднемирового (10,725 долл., согласно данным МВФ за 2010 год) крайне мало недемократий. По большей части это «ресурсно проклятые» авторитарные режимы Персидского залива и другие нефтедобывающие государства; выше этой планки находятся также Венесуэла, Россия (страны с «нефтегазовым проклятием»), Белоруссия (по нашей логике испытывающей «нефтяное проклятие» в легкой форме). Из этого наблюдения следует несколько выводов.

1. Как бы мы ни определяли итоги трансформаций конца XX – начала XXI века, они сделали демократию доминирующей формой общественного устройства в зажиточных странах, хотя и не без серьезных оговорок, и выходящей за пределы традиционного домена иудео-христианской цивилизации. В нашей выборке посткоммунистических стран все государства с уровнем благосостояния выше среднемирового и не испытывающие «нефтяного проклятия» превратились в демократии разного уровня совершенства (Белорусь может считаться исключением).

2. «Ресурсное проклятие» (в большинстве случаев синонимичное проклятию нефтяному) становится важной перемен-

¹¹ См. А. Пшеворский, гл. 13 в этой книге.

ной, объясняющей, почему зажиточные страны не становятся демократиями. Как свидетельствует индекс демократии журнала *Economist* за 2010 год, если ввести экспорт нефти как «фиктивную переменную» в корреляцию между уровнем развития демократии и душевым доходом, значение корреляционного показателя в этой регрессии практически удваивается (с одной трети до 60%). Воздействие «ресурсного проклятия» на политическое развитие анализировались многократно [Huntington, 1991; Ross, 2001; Diamond, 2003; Polterovich, Popov, Tonis, 2008; Treisman, 2010]. Мы хотели бы добавить к этому анализу лишь один важный нюанс: в переходных обществах «ресурсное проклятие» зачастую предопределяет вектор политического курса. Оно не только наделяет правителей ресурсами для содержания репрессивного аппарата и перераспределения материальных благ, но, что особенно важно, дает им возможность уклоняться или бесконечно откладывать перемены в любом смысле этого слова: оно помогает правящей элите укорениться, строить узкие распределительные коалиции, уделять меньше внимания эффективности управления, поддерживать жизнеспособность устаревших политических практик (архаичных, традиционных, авторитарных). Соответственно, элиты в этих странах мотивированы на концентрацию властных полномочий, максимизацию экономической и политической ренты, усугубляемой, как мы показали, еще большими страхами ее утраты, а не на раздел их и создание механизмов выработки компромиссов: доминированию власти в таких государствах труднее бросить вызов. Ни одна из посткоммунистических стран с высоким уровнем нефтедобычи не добилась успехов в демократизации.

3. В современном мире бедные государства имеют шанс не только на демократизацию, но и на жизнеспособность демократии. На посткоммунистическом пространстве мы находим лишь один (и то не бесспорный) пример того, как бедность оказала влияние на процесс преобразований, способных в принципе превратиться в демократизацию: Киргизстан (и то в сочетании с другими факторами). Молдова и Монголия, Македония и Черногория добились в демократизации существенного прогресса. Однако демократизация в этих странах нуждается в более пристальном

анализе, с рассмотрением каждого фактора, объясняющего ее успехи и неудачи. Например, можно было бы сравнить наборы структурных предпосылок и актор-ориентированных факторов в этих «не вполне зажиточных» странах, с одной стороны, и в «гибридных» странах с сопоставимым уровнем душевого дохода (например, Грузии или Армении) — с другой.

4. Что касается прочих часто называемых структурных предпосылок, опыт изучения посткоммунистического пространства позволяет дополнить общепринятые в науке установки рядом существенных нюансов. Государственность, определяемая в первую очередь в понятиях «территориальной целостности» и «национального единства», несомненно, остается важным фактором, но не должна восприниматься как абсолют. Даже вспышки этнического насилия, утрата части территории и/или населения, ощущение национальной катастрофы (временные либо постоянные) не закрывают дверь для демократизации, что продемонстрировано Хорватией, Молдовой и Сербией, не говоря уже о менее очевидных случаях. Если действия элиты сильно мотивированы потребностью «стать Европой», если горячая фаза конфликта позади, а противоречия между большинством и меньшинством (этническим или конфессиональным) взяты под контроль, то в ряде случаев (Молдова, Хорватия) общества становятся менее гетерогенными, что открывает путь к демократизации (порой, правда, дорогой ценой). Однако там, где «незавершенная государственность» налагается на другие негативные предпосылки и/или стремление элит к демократизации слабо либо совсем отсутствует, демократизация становится невозможной. Крайняя бедность (по евразийским стандартам) воспроизводит острые социальные конфликты как в Киргизстане или Таджикистане; менталитет «осажденной крепости» как в Грузии или Армении. А преувеличенные опасения «слабости государства» как в России легитимизируют авторитарные тренды и не позволяют выработать курс, ведущий к демократизации.

5. Если мы добавим к этим наиболее важным предпосылкам другие факторы, такие как политическая культура, смена элит, то в нашем уравнении окажется слишком много неизвестных, чтобы прийти к однозначным аналитическим заключениям. Для политической науки это означает следующее.

(а) Общая закономерность во всех трансформациях, независимо от того, ведут ли они к демократизации, состоит в относительном уменьшении значимости объективных предпосылок и расширении сферы, в которой ведущими становятся субъективные, актор-ориентированные факторы. Эта закономерность ни в коем случае не носит абсолютного характера: взаимоусиление негативных предпосылок может образовать критическую массу, исключаящую демократизацию или заводящую ее в тупик; в каких-то обществах влияние «нефтяного проклятия» может предопределять судьбу этих обществ на неограниченно долгий срок. «Агенты перемен» могут «строить демократию на ровном месте» только тогда, когда набор структурных предпосылок преимущественно позитивен для демократизации, как произошло в описанных выше случаях центральноевропейских стран, но поле для их деятельности в любом случае расширилось.

(б) Обзор политических преобразований в посткоммунистических странах наглядно демонстрирует роль, которую в них сыграли актор-ориентированные факторы. Демократизация происходит там, где элиты, вольно или порой невольно, избирают институциональное устройство и развивают практики, способствующие более развитому и лучше институционализированному плюрализму, разрешению конфликтов и вовлечение общества в политику. Выбор такого политического курса изначально может диктоваться внешними факторами, например, стремлением «приблизиться к Европе», но со временем они укореняются и обретают собственные стимулы развития. Истории «побед акторов над структурами» — это Молдова и Украина, Сербия, Хорватия, Черногория, возможно — Румыния и Болгария. Список достаточно обширен, чтобы характеризовать это явление как полноценный тренд.

(в) В других случаях элиты избирают политический курс, препятствующий развитию плюрализма и враждебный либерализму. Такой выбор всегда делается намеренно, чтобы сохранить контроль над благами «ресурсного проклятия», монополию на власть и/или из страха социального протеста. Порой, однако, такой выбор подается собственному обществу как вынужденный или камуфлируется заявлениями о «национальном пути» к демократии. Такие случаи — тупики демократизации. Из нашей выборки

Россия и Украина — примеры таких «застрявших транзитов» — и будущее развитие событий покажет, возможна ли в них эволюционная демократизация, или выход из подобного тупика возможен лишь через коллапс социальной модели (в более бедных странах) или смену элит под воздействием либо поколенческих, либо внешних факторов, требующих специального анализа.

(г) Выше уже упоминалась необходимость анализа каждого конкретного случая. Отметим теперь одно из измерений такого анализа, имеющее прямое отношение к оценкам дальнейшего развития посткоммунистических стран. В отличие от всего остального мира они начали свои трансформации с близкого к нулевому уровня развития рыночных отношений в экономике. В этом регионе мы и сейчас найдем примеры того, как демократия возникала параллельно с рождением или возрождением «буржуа», если вспомнить знаменитую максиму Дж. Баррингтона Мура «нет буржуа — нет демократии» [Moore, 1966]. Центральная и Юго-Восточная Европа не только построили демократии с рыночной экономикой, но и доказали их состоятельность: даже тяжелое воздействие экономического кризиса в 2008–2010 годов не нанесло серьезного ущерба их демократическим институтам и практикам, в отличие от многих других европейских демократий (по оценкам индекса демократии журнала *Economist* за 2010 год.). Но этот «буржуа» будет продолжать развиваться даже в недемократических странах. В последнее десятилетие впечатляющие результаты показала модель авторитарного экономического роста в Китае, служащая образцом для многих недемократических стран третьего мира: это выглядит глобальным вызовом демократии как «единственной игры в городе». Модели экономического роста в странах «нефтяного проклятия», таких как Россия, Казахстан или Азербайджан, не приносят значимых свидетельств роста запроса на демократизацию. Напротив, новейшие исследования среднего класса в России¹² показывают, что у современного российского «буржуа» развиваются как продемократические,

¹² Григорьев Л.М., Макаренко Б.И., Салмина А.А., Шаститко А.Е. Средний класс после кризиса: экспресс-анализ взглядов на политику и экономику. / Л.М. Григорьев [и др.]. — М: МАКС-Пресс, 2010.

так и проавторитарные запросы, первые связаны с модернизацией, вторые — со страхом хаоса или попыток «реванша» со стороны менее удачливых социальных слоев в случае, если страна вступит на путь демократизации.

Наши выводы ни в коем случае не носят заверщенного характера. Преобразования во многих посткоммунистических странах отнюдь не закончены. Структура всех экономик, в том числе — в недемократических странах, продолжает видоизменяться, и общий тренд этих изменений — прорыночный. Недемократические правители и те вынуждены имитировать демократические процедуры и проводить выборы. Демократические ценности и либеральные практики являют себя постсоветским гражданам даже через кривые зеркала авторитарных режимов. С другой стороны, после кризиса 2008–2010 годов на повестку дня вновь вернулся вопрос о качестве демократии и госуправления даже в домене устоявших демократий. На обозримое будущее в дискурсе о демократии очевидно будут доминировать темы пределов демократической волны 1989–2010 годов и вызов демократии со стороны китайской модели развития. Но в новый раунд обсуждения судеб демократии мы входим с лучшим пониманием ее основных трендов и осознанной потребностью более нюансированного изучения взаимовлияния объективных и субъективных факторов развития каждого трансформирующегося общества.

Послесловие: противоречия и неразрешенные вопросы

Вступление

Цель данной работы состояла в том, чтобы рассмотреть российскую политическую практику в контексте того, что мы знаем о «реально существующих демократиях», а также обогатить теории демократии, используя специфический российский опыт за последние двадцать лет. Обе задачи сопряжены с определенными трудностями. Книга представляет собой противоречивые взгляды об истоках формирования сегодняшней российской политической системы, её стабильности и будущего, о теоретических принципах, наилучшим образом объясняющих эволюцию российской политики, а также о нормах, которых нужно придерживаться при оценке современного политического режима России. Безусловно, падение авторитарного режима не обязательно приведет к демократии, но остаётся неясным, является ли политический режим современной России переходным или стабильным, стоит ли рассматривать его как смешение демократических и авторитарных компонентов, как некую оригинальную форму «незападной демократии», является ли он результатом «провалившегося» транзита к демократии или определённым этапом на пути к ней. В конце концов, можно поставить вопрос о том, почему вообще Россию нужно рассматривать с позиций теории демократии, можно ли объяснить Россию через призму демократии, или демократия — это просто нормативный проект. Нормативного подхода к демократии вполне достаточно, чтобы подтвердить наши перспективы.

Как было отмечено в предисловии, мы разрешили некоторые вопросы. Но мы надеемся, что мы заострили некоторые вопросы, поняли, какие предположения ведут к каким выводам, определили рамки, за которыми факты больше не разрешают проти-

воречий, исключили влияние политических и нормативных обязательств при определении диагнозов, прогнозов и оценок. По крайней мере, наши авторы, которые занимались исследованием вопросов демократии не один год, были неожиданно встревожены этими попытками, обнаружив несостоятельность теорий демократии для понимания реалий российской политики. Значительная часть книги представляет собой полемику с А. Миграняном, стойким защитником российского политического режима, что свидетельствует о силе его аргументов. Многие авторы не скрывают своего здорового скептицизма в отношении к реально существующим демократиям. Тем не менее, некоторые члены нашего авторского коллектива предлагают такую же жесткую защиту демократии, несмотря на её несовершенство. Мы видим её достоинства в плане политических свобод, наличия политической оппозиции, конкурентных выборов. Надо признать, Мигранян тоже признает эти достоинства: его позиция состоит в том, что не демократия является нежеланной в России, а что Россия не готова к такому пониманию демократии. В целом, разногласия касались больше путей, по которым должна идти Россия, чем вероятной цели её развития.

Открытые вопросы

Два вопроса пронизывают всю книгу. Один касается взаимосвязи между государством и демократией: является ли «сильное государство» — по крайней мере, в определенном смысле этого термина — предпосылкой для политической конкуренции или же государство становится сильным только в условиях политической конкуренции? Второй вопрос связан со стабильностью российского режима и возможностью демократических реформ сверху.

Государство и демократия.

Что первично: сильное государство или демократия? Взаимосвязь данных понятий имеет свою историю. В 70-е годы государство было в центре исследований политологов. Когда на политическом горизонте возникли вопросы перехода к демократии,

государство просто исчезло из интеллектуальной сферы. Мнение О'Доннелла (1993) о том, что «без участия государства не может быть демократии», было спасительным, но его проигнорировали. Вновь этот вопрос поднял Тилли (2004), сформулировавший его не в контексте «предпосылок», а в терминах независимых траекторий «государственной состоятельности» и «защищенных консультаций», взаимосвязь которых предопределяет форму политического режима. Особое внимание Тилли уделил России: «Мы, возможно, оценим Путина как автократа, начавшего предпринимать антидемократические шаги для достижения этого (демократического) результата».

Концепция «суверенной демократии» основывается на идее, что государство должно быть «сильным» до того, как станет возможной мирная политическая конкуренция. Миграция в данной книге настаивает на том, что только сильное государство может управлять процессом создания демократических институтов и ценностей. Понятно, что необходим некий административный, бюрократический ресурс для существования институционализированной политической конкуренции и даже для проведения выборов на территории государства. Вряд ли может считаться жизнеспособной демократия, если государство не обладает какой-то монополией на применение силы на своей территории, способностью поддержать территориальную целостность даже в условиях давления со стороны сепаратистов. Без такого государства и демократия, и диктатура будут непрочными. Но всё же у нас нет ответа на вопрос, что требуется государству, чтобы стать сильным. Слабая оппозиция? Усиленная полиция? Отношение к политическим требованиям как подрыву? Подавление любой формы сопротивления решениям исполнительной власти? Подавление разногласий в СМИ? Сильное государство в этом смысле может лишь обеспечить прочность статуса элит и подавление всех форм политической активности.

Вдумайтесь в ответ Генеральной прокуратуры на официальный запрос Государственной Думы о том, кого следует отнести к пособникам террористов в России: к тем, кто потворствует существованию терроризма в России, относятся не только радикальные исламистские организации, но и мнимые «борцы»

за права человека, оппозиционеры, идеологи «демократизации» России по западному образцу и русские националисты.

То, что иногда декларируется как «развитие потенциала», может быть не более, чем «сокрытие его отсутствия». (Холмс, в данной книге). Концентрация политической власти в руках государственного аппарата может служить сигналом появления неконтролируемой и неоспоримой власти. Отсутствие организованной оппозиции является далеко не признаком «силы» государства: оно может быть просто обособленно от общества, обеспечивая себя в большей степени за счет ренты от естественных ресурсов, чем за счёт труда миллионов. Это то, что отличает Россию от Китая. Государства могут выглядеть «сильными» из-за слабости гражданского общества. Более того, государственный аппарат может целенаправленно сохранять слабость последнего с помощью репрессий и манипуляций вместо переработки конфликтов через государственные институты. Такое государство может состоять из монополизировавшей власть верхушки, контролирующей органы безопасности, бюрократического аппарата и послушного общества. По мнению Ферджона (в этой книге), в дискуссиях по поводу сильного государства отходят на второй план права отдельных людей на защиту от государства.

Пшеворский (в этой книге) высказывает совершенно противоположное мнение о том, что государство является «сильным» не только, когда оно обладает бюрократическим потенциалом для поддержания порядка, сбора налогов и их распределения на общественные нужды, но когда оно также успешно структурирует, поглощает и регулирует возникающие в обществе конфликты. В этом смысле государство будет сильным, когда оно может противостоять организованным конфликтам, когда оно стимулирует сильные интересы к переработке конфликтов через институциональные легальные рамки. Государство будет сильным, когда серьёзные конфликты разрешаются за счёт выборов, результаты которых принимаются всеми противоборствующими сторонами. Именно так закончились майские события во Франции в 1968 году; всеобщая национальная забастовка в Испании в 1988 году завершилась выборами, которые выиграло правительство, а забастовка шахтёров в Великобритании в 1974 году — выборами, которые правительство проиграло. Потенциал и эффективность режима определяет-

ся уровнем поддержки и доверия со стороны общества, а не правящей элиты или внешних наблюдателей или нормативной теорией.

Так что лодка должна быть построена в открытом море. Если для власти/потенциала государства необходимо сотрудничество общества, демократия и государство должны быть построены одновременно. Как настойчиво отмечается в последних исследованиях, в западноевропейской истории прослеживается неразрывная связь между воинской повинностью, налогообложением и представительством. Лозунг «Нет налогообложению без представительства!» демонстрирует суть взаимоотношений между государственным строительством и политической конкуренцией.

Стабильность режима и реформы «сверху»

Другим вопросом, вокруг которого развернулись дискуссии, является вопрос, насколько стабилен сегодняшний политический режим в России. Мигранян рассматривает его как этап политического развития, настаивая на том, что политическая эволюция будет результатом реформ сверху. Воскресенский видит его как этап в процессе модернизации. Мельвиль в ходе наших дискуссий заявил: «Путинизм представляет собой консолидированную систему со слабыми политическими институтами». Соловей также полагает, что российская система является «не промежуточной, а стабильной», отнеся эту стабильность за счёт целенаправленной политической демобилизации сверху. Макаренко считает, что режим не стабилен, а государство — стабильно. В свою очередь, Холмс отмечает, что режим, держась на одном человеке, не может быть стабильным.

Очевидно, что отлична сама концепция стабильности в этих оценках. Воскресенский и Мигранян рассматривают современный политический режим в России как некий этап в процессе развития, в ходе которого должны быть созданы, или появиться спонтанно предпосылки к демократии, после чего авторитарная власть примет решение сдать свои монопольные позиции. Таким образом, Воскресенский (в данной книге) полагает, что изменения в экономической жизни общества заставят адаптироваться социо-политические институты и по прошествии какого-то времени проводить экономическую модернизацию без политической

станет невозможным. Ряд авторов относится к теории модернизации с её функционалистской логикой как к давно устаревшему концепту и отрицает любые телеологические подходы к политической динамике. Такое расхождение во взглядах сформировало два центральных вопроса в «транзитологии»: нуждается ли демократия в некоторых экономических, социальных и культурных предпосылках и развивается ли она стихийно в условиях, когда эти предпосылки существуют. Не стоит рассматривать здесь эти вопросы. Правильнее будет спросить: имеет ли смысл считать, что Россия в некотором роде «пока не готова» к демократии и, если когда-нибудь будет готовой, случится ли это в результате мудрого решения властей. Стоит отметить, что можно принять теорию модернизации и не согласиться с Миграняном, считая, что Россия уже готова к демократии, возможно, уже на протяжении какого-то времени. А кое-кто может отвергнуть подход предпосылок и подвергнуть сомнению приверженность российских лидеров демократии¹. Пшеворский (Глава 11) задаётся вопросом об ограничивающем воздействии политических традиций, Макаренко и Мельвиль (Глава 14) считают, что при формировании политических траекторий в посткоммунистических странах гораздо большую роль сыграли решения властей, нежели унаследованные традиции. В наибольшей степени противостоял Миграняну Соловей (см. данное послесловие): «Парадоксально, но в определенном смысле в России демократия не развилась, а деградировала. Пик вовлечённости граждан в политику, подъём массовой политической активности, наиболее честные и справедливые выборы в России имели место в 1990-91 годах. Впоследствии были сформированы политические институты, усовершенствованы процедуры, разработано избирательное законодательство, но сама демократия как форма участия, как стимулирующий миф была выхолощена, и выборы были пронизаны коррупцией. Более того, на протяжении десяти лет Кремль про-

¹ Инструментальную значимость структурного подхода откровенно прокомментировал британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, заявивший, что строительство демократии в Великобритании заняло длительное время и что Египет после Мубарака должен подождать, прежде чем проводить свободные выборы. Очевидно, что, по мнению господина Кэмерона, Египет не готов к демократии, поскольку выборы могут привести к неприятным для него результатам.

водил постоянную и целенаправленную политику отчуждения людей от политики. И вполне преуспел».

Интересно, почему в период Ельцина партийная система не прошла путь кристаллизации? Мигранян (в своей главе) отмечает, что в США на выборах между демократами и республиканцами не бывает большой разницы, поскольку партии весьма близки и в том, что они делают, и в том, что они предлагают. И это так. Безусловно, как показывает выше Мигранян, что мирные свободные выборы вполне возможны при условии, что если партии, способные войти в правительство, не имеют особых расхождений. Но тогда возникает вопрос, почему же Россия не смогла создать такую партийную систему, при которой расхождений было бы немного и при которой элиты, если пользоваться подходом Боббио (1987), скорее предлагают, чем навязывают их. Не потому ли, что Твидли не доверяет Твидлumu, что тот вернет власть? Первые случаи смены власти во многих странах были драматичными, начиная с США в 1800 г. Сложить бразды правления не только трудно психологически, но и опасно, поскольку требует веры в то, что другие захотят продолжать начатое. Конечно, Ельцин испытывал страх, разделявший его западными сторонниками, напуганными победами коммунистов на выборах. На ранних стадиях раскол в партийных рядах был чрезвычайно глубок, и после победы на выборах Твидлум мог вполне сослать Твидли в ГУЛАГ (а в 1996 году Твидли почти запретил Твидлума).

Если опустить вопрос о предпосылках, то возникает другой: может ли демократия быть создана по «указу» сильного государства. Есть что-то парадоксальное в утверждениях, что правящие круги должны сначала консолидировать свою власть, чтобы потом можно было бы от неё отказаться. Зачем же начинать реформы, которые могут привести к потере власти? Одно из возможных объяснений сводится к тому, что правящие круги боятся революций, восстаний, убийств и прочих форм насильственного свержения. Иногда возникают такие условия, когда для инкумбента лучше потерять власть в результате выборов, чем рисковать, удерживая власть силой. Но заслуживают ли доверия уверения в поддержке политической конкуренции при отсутствии такой угрозы? Чтобы согласиться с тем, что целью сегодняшних правящих кругов России является переход к демократии, необходима вера в то, что

политические инициативы правящих кругов будут направлены в большей степени на артикуляцию стратегии демократизации, чем на консолидацию власти, кроме того и что эта стратегия будет доведена до полного завершения. Чтобы такая стратегия вызывала доверие, особенно при отсутствии сильных требований снизу, она должна быть сформулирована и обнародована в виде конкретного плана реформ, реализация которых была бы под контролем российских граждан. Как отмечает (в данной книге) Мараваль, такие обязательства взял на себя Адольфо Суарес в Испании. Но в России российские лидеры не сделали ничего подобного.

Если нет инициативы сверху, то каковы перспективы демократического движения снизу? Соловей поставил такой вопрос: существуют ли в России латентные требования перемен. Происходит ли в России демобилизация масс сверху, или же массы являются политически апатичными? Можно ли ожидать спонтанного выступления масс, спровоцированного отчаянными жизненными условиями? Может быть, что и при отсутствии репрессий организованной оппозиции нет просто потому, что люди не видят возможности улучшения своего положения через политическую деятельность? До известной степени вопрос приобрёл методологический оттенок: что может послужить свидетельством латентных требований перемен? Опросы общественного мнения не дают полной картины. Частные беседы могут быть более информативными, но сведения, полученные после таких бесед, очень разнятся и их трудно свести воедино. Но что мы знаем наверняка, этот «апатичный эквилибриум» может оказаться весьма хрупким: мы все были свидетелями расцвета «Солидарности» в Польше, численность которой за шесть недель увеличилась до 16 миллионов участников летом 1980 года.

Одной из форм взрыва протеста в явно апатичных обществах являются «цветные революции», анализ которых содержится в материале Соловья. Легко заметить, что соревновательные выборы представляют опасность для правящих элит, если оппозиция будет стремиться к захвату власти независимо от того, проиграет она или выиграет, особенно, если она способна организовать, чтобы перейти от выборов к революции. При таких условиях инкубенты при приведении соревновательных выборов окажутся в проигрыше: либо они проиграют выборы, либо окажутся пе-

ред лицом гражданского неповиновения. Уэйнгаст (1997) и Фирарон (2006) выявили механизмы, провоцирующие революции в результате выборов, а Такер (2007) использовал их для анализа цветных революций: Если инкубенту не удастся получить подавляющего числа голосов, то отдельные, не связанные друг с другом граждане поймут, что таких недовольных деятельностью правительства, как они, много, тогда координация протеста может привести к успешному смещению правительства. Выборы служат сигналом для самих избирателей, не только для правительства. Махинации с подсчётом голосов могут до некоторой степени замаскировать этот сигнал, но не остановить революцию. Дискуссионным остается вопрос о влиянии этих революций, особенно на Украине, на политическую стратегию российских лидеров. Мигранян не признаёт влияния украинских событий на российских лидеров, а Соловей считает, что украинский призрак способствовал появлению «суверенной демократии».

Сама постановка вопроса о готовности или неготовности к демократии всегда сомнительна и зачастую лицемерна. Демократия рождается не тогда, когда подавляющая часть элит и большинство граждан «цивилизуются», приобретая навыки толерантности и гражданской культуры: это скорее результат, чем предпосылки демократии (Schmitter, Karl 1991. P. 47). Демократия появляется тогда, когда прогрессивные элиты проявляют мудрость, чтобы признать необходимость тщательной разработки и соблюдения правил политического соревнования. Их мотивы в этом случае выглядят идеалистическими, но гораздо чаще — эгоистичными: они относятся к своим оппонентам с достоинством, рассчитывая на аналогичное отношение в случае поражения на выборах.

Безусловно, нельзя считать, что общественные предпосылки, уровень развития и паттерны политических размежеваний не имеют значения. Однако во многих странах, где условия жизни — если взять такие показатели, как экономический рост, уровень образования, социального неравенства и др., — намного хуже, чем в России, добились гораздо большего на пути к демократии: примерами могут служить ближайшие соседи России, Молдавия и Монголия. Лакмусовая бумага, демонстрирующая справедливость утверждений того, что Россия (или любая другая страна) не готова для демократии, весьма проста: в большинстве случаев аргумен-

ты относительно предпосылок к демократии (или их отсутствия) служат оправданием для отсутствия демократизации или обозначением препятствий, которые необходимо преодолеть.

Будущее демократии

Развитие демократии в России, без всякого сомнения, тесно взаимосвязано с судьбами демократий в остальном мире. Является ли демократия универсальным будущим для всего человечества? Выживет ли демократия в тех странах, которые недавно встали на её путь? Эти вопросы вполне уместны для обсуждения, поскольку в последние годы вновь появились сомнения в отношении будущего демократии. Мы всё чаще слышим об «отступлении» демократии (Индекс демократии журнала «Экономист») или «эрозии» демократии (Дом свободы и Фонд Бертельсманна). Остановимся, по крайней мере, на трёх факторах, которые вызывают тревогу:

(1) Глобальный экономический кризис внёс большую долю сомнения относительно эффективности западной капиталистической модели, и косвенно — либеральной демократии. Осознание этого само по себе нанесло серьёзный удар по «мягкой силе» демократии, её возможности «формировать предпочтения у других», по определению Ная (2004). Последующие удары по имиджу демократии были нанесены стагнацией в экономике, снижением социальных расходов и реакцией в форме общественных протестов и беспорядков во многих европейских странах. Эти явления часто воспринимаются как ухудшение качества демократии.

(2) Ещё больше «мягкая сила» демократии пострадала в результате неудачных попыток бывшей американской администрации наладить её «экспорт». Независимо от геополитических мотивов и итогов американского военного вторжения в Ирак и Афганистан, лицемерные заверения «продвижения демократии» подорвали доброе имя демократии как в демократических, так и не в демократических странах.

(3) Одновременно власти Китая продолжают демонстрировать бурное развитие экономики и общества, тем самым создавая для недемократических режимов (особенно в странах третьего мира) альтернативную модель для подражания.

Означает ли всё это, что демократия на самом деле находится на стадии распада? Ответ должен быть отрицательным. В отличие от первых двух, третья волна демократизации не испытала отката. Хотя некоторым странам, создававшим впечатление готовности к демократическим процессам, не удалось добиться последовательного движения вперёд (Россия в их числе), большинство из них всё же достигли минимального порога демократических преобразований, а некоторые даже пошли дальше. В переломный момент смены веков некоторые страны, казалось, «застряли» в посткоммунистическом лагере, к таким относятся очень отличающиеся друг от друга страны, в частности, Хорватия, Сербия и Украина — тем не менее, у них произошёл ощутимо успешный «повторный старт» транзита. Возможно то, что действительно рушится, так это надежды на то, что импульс «третьей волны» будет длиться вечно, охватывая всё новые и новые страны: скорее разрушение надежд, а не действительное отступление. Но недавние события на Ближнем Востоке вновь подпитали надежды.

Предсказывать, как эти тренды будут развиваться во второй декаде XXI века, довольно сложно. Демократия обязательно сохранит свою конкурентноспособность и нормативную привлекательность. Хотя нет ничего неизбежного в продвижении к демократии. Ни экономической, ни социальной модернизации недостаточно, чтобы механически заслонить демократию. Никаких «предпосылок» недостаточно. Противоречивость мнений в этой книге сводится к следующему: существуют ли некоторые условия, необходимые для установления демократии и присутствуют ли такие условия на самом деле сегодня в России. И если все мы согласны с тем, что в России демократия возможна, существенные расхождения начинаются в вопросе, насколько эта возможность будет реализована в ближайшем будущем. Вне всяких сомнений, если можно извлечь какой-то исторический урок из практики создания стабильных демократических режимов, то только тот, что этот процесс был полон случайностей и неопределённостей. Мы можем сожалеть и можем надеяться, но вместе с тем мы должны принять как данность, что Россия открыта для будущего, и только сами россияне могут решить, каким оно будет.

БИБЛИОГРАФИЯ

Ахмедов В.М. Армия и власть на Ближнем Востоке: от авторитаризма к демократии. М., ИВ РАН, 2002.

Ахмедов В.М. Армия и власть на Ближнем и Среднем Востоке в эпоху глобализации и модернизации // МГИМО-Университет. Аналитические доклады. М., 2006. Вып. 5(10). С. 3.

Виноградов А.В. Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности. М., Памятники исторической мысли, 2005.

Володин А.Г. Современные теории модернизации: кризис парадигмы // Политическая наука. М., 2003. № 2. С. 8–29

Воскресенский А.Д. Восток/Запад: Региональные подсистемы и региональные проблемы международных отношений. М., МГИМО, 2002.

Воскресенский А.Д. Большая Восточная Азия: мировая политика и энергетическая безопасность. М., Ленанд, 2006.

Воскресенский А.Д. Политические системы и модели демократии на Востоке. М., Аспект Пресс, 2007.

Воскресенский А.Д. Восток и политика: политические системы, политические культуры, политические процессы... М., Аспект Пресс, (ред). 2011.

Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. — Пер. с фр./ Общ. ред. и вступ. ст. Ю.С. Степанова. М., Прогресс, 1995.

Григорьев Л.М., Макаренко Б.И., Салмина А.А., Шаститко А.Е. Средний класс после кризиса: экспресс-анализ взглядов на политику и экономику. М., МАКС-Пресс, 2010.

Грызлов Б.В. Приветственное выступление на Международной конференции, посвященной 105-летию парламентаризма в России [<http://tyumen.er.ru/?news=3574>]

Даль Р. Демократия и ее критики. М., РОССПЭН, 2003.

Дербишайр Дж., Дербишайр Я. Политические системы мира. М., РИПОЛ КЛАССИК, 2004.

Закария Ф. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами. М., Ладомир, 2004.

Ильин М.В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий. М., РОССПЭН, 1997.

Ильин М.В. Фундаментальная идея человечности и ее понятийные и контрпонятийные выражения в индоевропейской культурной традиции / Ильин М.В. (ред.) Концептуализация политики. М., МОНФ, 2001.

Ильин М.В. Суверенитет: вызревание понятийной категории в условиях глобализации // Политическая наука. М., 2005. № 4.

Ильин М.В. Суверенитет: развитие понятийной категории // Суверенитет. Трансформация понятий и практик / ред. Ильин М.В., Кудряшова И.В. М., МГИМО, 2007.

Ильин М.В., Кудряшова И.В. Асимметрия мировой системы суверенитета: зоны проблемной государственности. М., МГИМО-Университет, 2011.

Иноземцев В. (Ред.) Демократия и модернизация. К дискуссии о вызовах XXI века. М.: Европа.

История Востока. Т. 1. Восток в древности / Отв. ред. В.А. Яковсон. М., ВЛ РАН, 1999. История Востока. Т. 2. Восток в Средние века / Отв. ред. Л.Б. Алаев, К.З. Ашрафян. М., ВЛ РАН, 1999.

История Востока. Т. 3. Восток на рубеже средневековья и нового времени / Отв. ред. Л.Б. Алаев, К.З. Ашрафян, Н.И. Иванов. М., ВЛ РАН, 1999.

История Востока Т. 4. Кн. 1–2. Восток в новое время. / Отв. ред. Л.Б. Алаев и [др]. М., ВЛ РАН, 2004, 2005.

Кавелин К.Д. Наш умственный строй // Статьи по философии русской истории и культуры. М., Правда, 1989.

Карозерс Т. Конец парадигмы транзита // Политическая наука. М., 2003. № 2. С. 42–65.

Косач Г.Г. Саудовский демократический эксперимент: внутренние предпосылки. В кн.: Арабские страны Западной Азии и Северной Африки. М., Центр стратегических исследований, 2007. Вып. 6. С. 64–67.

Концептуализация политики / ред. М.В. Ильин. М., МОНФ, 2001.

Кудряшова И. Суверенитет. Трансформация понятий и практик. М., МГИМО, 2008.

Ланда Р.Г. Цивилизация, формация и социум на Востоке // В кн.: Социальный облик Востока / Отв. ред. Р.Г. Ланда. М., ВЛ РАН, 1999. С. 15–28.

Мелкумян Е.С. Политические реформы в арабских странах: принципы и ценностные ориентации // Восток. М., 2006. № 6. С. 119.

Мельянцев В.А. Арабо-исламский мир: сравнительная оценка макроэкономической и социальной результативности // Центр стратегических исследований. М., 2007. Вып. 6. С. 130–136.

Мигранян А.М. Переход от тоталитарно-авторитарных режимов к демократии // Век XX и мир. М., 1988. № 12.

Мигранян А.М. Механизм торможения в политической системе и пути его преодоления // Иного не дано. М., 1988.

Мигранян А.М. Долгая дорога к европейскому дому // Новый мир. М., 1989. № 7.

Мигранян А.М. Нужна железная рука? // Литературная газета. М., 1989.

Мигранян А.М. Россия в поисках идентичности // Международные отношения. М., 1997.

Мигранян А.М. Нищета Лидерства // Политический класс. М., 2005. № 9.

Мигранян А.М. Век Империи прошёл? Почему перестройка закончилась распадом страны // Стратегия России. М., 2005. № 4.

Мигранян А.М. Что такое путинизм? // Стратегия России. М., 2004. № 3.

Мигранян А.М. Приемником Путина будет сам Путин // Известия. М., 2006. 9 октября.

Парсонс Т. Система современных обществ. М., Аспект Пресс, 1997.

Петров Н. Обилие слабого государства. // Pro et Contra. — 2011. Том 15. № 5.

Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. Русская система // Полис. М., 1997. № 3.

Пивоваров Ю.С. Русская история как Русская идея // Национальная идея: история, идеология, миф / ИСП РАН; отв. ред. Г.Ю. Семигиню. М., Современная экономика и право, 2004.

Пивоваров Ю.С. Русская власть и исторические типы ее осмысления // Российская полития на рубеже веков / отв. ред. С.В. Михайлов. М., Полития, 2001.

Полтерович В. и Попов В. Демократия, качество институтов и экономический рост. // Прогнозис. 2006. № 3.

Полтерович В., Попов В., Тонис А. (2008). Нестабильность демократии в странах, богатых ресурсами. // Экономический журнал ВШЭ. 2008. № 2.

Родин И. Суверенную демократию придумал Иван Грозный // Независима газета. М., 2011. С. 3.

Россия сегодня: Политический портрет в документах, 1985–1991. М., 1991. С. 449.

Роцин Е. История понятия суверенитет в России // Исторические понятия и политические идеи в России / Копосов Н., Кром М., Потапова Н. (ред.). СПб., ЕУСПб, Алетейя, 2006.

Рэгин Ч. Особенности компаративистики // Современная сравнительная политология. Хрестоматия. М., Общественный научный фонд, 1997. С. 33.

Социальный облик Востока / отв. ред. Р.Г. Ланда. М., ВЛ РАН, 1999.

Стенограмма заседания Государственной Думы 22 апреля 2011 года [<http://transcript.duma.gov.ru/node/3427/>]

Сюкияйнен Л. На западный лад с исламским акцентом. Политико-правовая система ряда мусульманских стран готова к последовательному реформированию // НГ-религии. М., 2007. С. 4.

Цымбурский В.Л. Идея суверенитета в посттоталитарном контексте // Полис. М., 1993. № 1.

Запись программы (вед. К. Ларина) радиостанции «Эхо Москвы» от 27.11.2006 [<http://www.sps.ru/?id=217458>]

Acharya A., Buzan B. Non-Western International Relations Theory // New York & London. Routledge, (eds.) 2010.

Achen C., Bartels L. Blind Retrospection: Electoral Responses to Drought, Flu, and Shark Attacks / Working Paper 2004/1999. Madrid, Instituto Juan March, 2004.

Afsaruddin A. The Islamic State: Genealogy, Facts, and Myths // The Journal of Church and State. 2006. 48. P. 153–173.

Aghion P., Caroli E., García-Peñalosa C. Inequality and Economic Growth: the Perspective of the New Growth Theories // *Journal of Economic Literature*. 37. P. 1615–1660.

Agnew J (ed.). 1997. *Political Geography // A Reader*. New York, Arnold, 1999.

Aguiar Rivera, José Antonio. Oposición y Separación de Poderes La Estructura Institucional del Con.icto 1867-1872 // *Metapolitica* 2. 1998. P. 69–92.

Alagappa M. Coercion and Governance: The Declining Political Role of the Military in Asia. Stanford: Stanford University Press, (ed.) 2001.

Alberto A. Credibility and Convergence in a Two-Party System with Rational Voters // *American Economic Review*. 1988. — 1978. P. 796–805.

Almond G., Verba S. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton, Princeton University Press, 1963.

Alonso, Sonia, Rubén Ruíz-Ru.no. Political Representation and Ethnic Con.ict in New Democracies // *European Journal of Political Research*. 2007. 46. P. 237–267.

Ambrosio T. Constructing a Framework of Authoritarian Diffusion. Concepts, Dynamics, and Future Research // *International Studies Perspectives*. 2010. November.

Annino A. Introducción / In Annino (ed.), *Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX*. Fondo de Cultura Económica. México, 1995.

Appelbaum B., Nakashima E. Banking Regulator Played Advocate over Enforcer // *The Washington Post*. 2008. November 23. www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/11/22/AR2008112202213.html (Дата посещения 30.06.2009)

Aristotle. *Politics* / Ernest Barker, trans. — Oxford, Oxford University Press, 1958.

Austin M., Vidal-Naquet P. Économies et sociétés en Grèce ancienne. Paris, Armand Colin, 2007[1972].

Austin-Smith D. Information and Influence: Lobbying for Agendas and Votes // *American Journal of Political Science*. 1993. 37 (3). P. 799–833.

Bagehot W. The English Constitution. Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 1963.

Bairoch P. The Economic Development of the Third World since 1900. London, Methuen, 1975.

Bajaj V. Countrywide Financial Borrows \$11.5 Billion to Shore Up Cash // The New York Times, 2007. August 17. www.nytimes.com/2007/08/17/business/worldbusiness/17ihmortgage.1.7152315.html (Дата посещения 30.06.2009).

Baker P., Glasser S. Kremlin Rising: Vladimir Putin and the End of the Revolution. New York, Scribner, 2005.

Ball T. Party / In Terence Ball, James Farr, and Russel L. Hanson (eds.) // Political innovation and conceptual change. – Cambridge, Cambridge University Press, 1989. P. 155–176.

Banks A. S. Cross-National Time-Series Data Archive // <http://www.databanks.sitehosting>. 1996.

Barro R. Determinants of Democracy // Journal of Political Economy. 1999. December.

Barry E. A Jittery Night in Moscow After Rumors of a Demonstration // New York Times. 2010. December 15.

Bartels L. The Economic Consequences of Retrospective Voting // University of Rochester (unpublished). 1988.

Beer S. British Politics in the Collectivist Age. New York, Vintage Paperback, 1969.

Beer S. Modern British Politics: Parties and Pressure Groups in the Collectivist Age. N.Y., Norton, 1982.

Bates R.H. Area Studies and the Discipline: A Useful Controversy // PS: Political Science and Politics. 1977. 30 (2). P. 166–170.

Benabou R. Inequality and Growth / In Ben Bernanke and Julio Rotemberg (eds.), NBER Macro.economics Annual (vol. II). Cambridge, MIT Press, 1996. P. 11–92.

Benhabib J., Przeworski A. The Political Economy of Redistribution under Democracy // Economic Theory. 2006. 29. P. 271–290.

Benjamin W. Illuminations [Theses on the Philosophy of History, 1940]. N.Y., Schocken Books, 1969.

Benveniste E. Le Vocabulaire des institutions indo-européennes 1 et 2. Paris, Minuit, 1969.

Berlin I. Liberty [Two Concepts of Liberty, 1958]. Oxford, Oxford University Press, 2002.

Bertocchi G., Spagat M. The Politics of Cooptation // Journal of Comparative Economics. 2001. 29. P. 591–607.

Blaydes L. Electoral Budget Cycles under Authoritarianism: Economic Opportunism in Mubarak's Egypt // Paper presented at the Annual Meeting of the Midwest Political Science Association / Chicago, IL, 2006.

Block S., Ferree K., Singh S. Multiparty Competition, Founding Elections, and Political Business Cycles in Africa // Journal of African Economics. 2003. 12. P. 444–468.

Blumenthal S. The Permanent Campaign. Boston, Beacon Press, 1980.

Bobbio N. The Future of Democracy. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1989.

Bodin J. On Sovereignty. English translation by J. Franklin. Cambridge, Cambridge University Press, 1992 [1576].

Bogdanor V. Our New Constitution / Public Lecture (May 2), Gresham College. Oxford, 2007.

Boix C. Democracy and Redistribution. N.Y., Cambridge University Press, 2003.

Boix C., Stokes S.C. Endogenous Democratization // World Politics, 2003.

Bolingbroke, Henry Saint-John Viscount. The Patriot King and Parties / In Susan E. Scarrow (ed.), Perspectives in Political Parties. – N.Y., Palgrave Macmillan, 2002 [1738]. P. 29–32.

Bourke R., Geuss R. Political Judgment. Cambridge, Cambridge University Press, 2009.

Bowles S., Gintis H. Productivity Enhancing Egalitarian Policies // International Labor Review. 1995. 134. P. 559–585.

Brandolini A., Smeeding T. Inequality Patterns in Western Democracies. Cross-Country Differences and Changes over Time / In Pablo Beramendi and Christopher Anderson (eds.), Democracy, Inequality, and Participation. N.Y., Russell Sage Foundation, 2008.

Bratton M. Formal versus Informal Institutions in Africa // Journal of Democracy. 2007. 18(3). P. 96–110.

Bratton M. and Chang E. State Building and Democratization in Sub-Saharan Africa: Forwards, Backwards, or Together? // Comparative Political Studies. 2006. Vol. 39. No. 9.

Braudel F. The Perspective of the World. Vol. 3 of Civilization and Capitalism 15th-18th Century. Berkeley, University of California Press, 1992.

Braudel F. A History of Civilizations. N.Y., Penguin Books, 1993.

Brewer-Carias, Allan R. (ed.). Forthcoming. Constitutional Courts as Positive Legislators. A Comparative Law Study. Cambridge, Cambridge University Press.

Brinton C. The Anatomy of Revolution. N.J., Prentice-Hall, 1952.

Brook T. The Asiatic Mode of Production in China. Armonk. N.Y., M.E. Sharpe, (ed.) 1989.

Brooker P. Non-Democratic Regimes (Second Edition). N.Y., Palgrave Macmillan, 2009.

Brooks D. The Broken Society // New York Times Op-ed. 2010. March 19.

Brown A., Gray J. Political Culture and Political Change in Communist States. N.Y., Holmes and Maier, (eds.). 1977.

Brumberg D. Liberalization vs Democracy: Understanding Arab Political Reform // Carnegie Endowment for International Peace, Working Papers. 2003. Number 37.

Brus W. From Revisionism to Pragmatism: Sketches to a Self-Portrait of a Reform Economist / In Kovács, Janos, and Márton Tardos (eds.), Reform and Transformation in Eastern Europe. London, Routledge, 1992.

Bruszt L., János Simon. Political Culture, Political and Economic Orientations in Central and Eastern Europe during the Transition to Democracy. Budapest, Hungarian Academy of Sciences, 1991.

Buchanan J. M., and Tullock G. The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. Ann Arbor, University of Michigan Press, 1962.

Cain B., Ferejohn J., Fiorina M. The Personal Vote. Cambridge, MA, Harvard University Press, 1987.

Calichman R., Namjun J. K. The Politics of Culture. New York & London, Routledge, 2010.

Calvert R. Rational Actors, Equilibrium, and Social Institutions / In J. Knight and I. Sened (eds.), Explaining Social Institutions. — Ann Arbor, University of Michigan Press, 1994.

Capelli O. Pre-Modern State-Building in Post-Soviet Russia. 2008.

Carbone G. and Memoli V. Does Democracy Foster State Consolidation? A Panel Analysis of the “Backwards Hypothesis”. http://www.sociol.unimi.it/papers/2012-04-19_G.%20Carbone%20e%20V.%20Memoli.pdf

Carothers T. The End of the Transition Paradigm // Journal of Democracy. 2002. January.

Carter Center. Declaration of Principles for International Election Observers / <http://www.cartercenter.org>. 2005.

Charron N. and Lapuente V. Which Dictators Produce Quality of Governments? // Studies of Comparative International Development. 2011. Vol. 46. No 4.

Chirot D. Does Democracy Work in Deeply Divided Societies? / In Z. Barany and R.G.Moser (Eds.). Is Democracy Exportable? N.Y., Cambridge University Press, 2009.

Clapham C. The Political Dilemmas of Military Regimes / In: C. Clapham, G. Philip. The Political Dilemmas of Military Regimes. — Worchester, Billeng & Sons Limited. 1985. P. 1–26.

Cohen F. Proportional versus Majoritarian Ethnic Conflict Management in Democracies // Comparative Political Studies. 1997. 35. P. 607-30.

Coleman J. Rationality and the justification of democracy / In Geoffrey Brennan and Loren E. Lomasky, eds. Politics and Process. New York: Cambridge University Press. 1989. P. 194–220.

Colomer J. Strategic Transitions. Game Theory and Democratization. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 2000.

Colomer J. Political Institutions. Oxford, Oxford University Press, 2001.

Colson E. Tradition and Conflict. Chicago, Aldine, 1974.

Colton T. Transitional Citizens: Voters and What Influences them in the New Russia. Cambridge, MA., Harvard University Press, 2000.

Connolly K. Angela Merkel Punished by Voters for Dithering Over Greek Bailout / www.guardian.co.uk/business/2010/may/09/angela-merkel-german-regional-election. // The Guardian. 2010. May 9. (Дата посещения 09.28.2010).

Cordesman A.H. Saudi Arabia: Guarding the Desert Kingdom. Boulder, Westview Press, 1991.

Cox G. The Efficient Secret: The Cabinet and Development of Political Parties in Victorian England. Cambridge, Cambridge University Press, 2005.

Crook M. Elections in the French Revolution. Cambridge, Cambridge University Press, 1996.

Crozier M. Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission. N.Y., New York University Press, 1976.

Curran J., Seaton J. Power Without Responsibility. The Press, Broadcasting, and News Media in Britain. London, Routledge, 1997.

Dahl R. A Preface to Democratic Theory. Chicago, University of Chicago Press, 1956.

Dahl R. Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven, Yale University Press, 1972.

Dahl R. On Democracy. New Haven, Yale University Press, 2000.

D'Alimonte R. Democrazia e competizione. Rivista italiana di scienza politica XIX (2), 1989. P. 301–319.

De Martino F. Storia della Costituzione Romana. Napoli, Jovene, et al. 1951.

Democracy Index. Democracy in retreat. A report from the Economist Intelligence Unit. – London, 2010.

Diamond L. Thinking About Hybrid Regimes // Journal of Democracy. 2002. April.

Diamond L. Can the Whole World Become Democratic? Democracy, Development, and International Politics // Paper 03'05. Center for Study of Democracy. University of California, Irvine. 2003.

Diamond L. The Democratic Rollback // Foreign Affairs. 2008. March–April.

Diamond L. The Spirit of Democracy. N.Y., Times Books/Henry Holt and Company, 2008.

Diamond L. Why Are There No Arab Democracies? // Journal of Democracy. 2010. January.

Di Palma G. To Craft Democracies. An Essay on Democratic Transitions. Los Angeles, University of California Press, 1991.

Diskin A., H. Diskin H., R. Hazan. Why Democracies Collapse: The Reasons for Democratic Failure and Success // International Political Science Review. 2005.

Downs A. An Economic Theory of Democracy. N.Y., Harper Collins, 1957.

Drèze J., Sen A. Hunger and Public Action. Oxford, Oxford University Press, 1989.

Dunn S. Jefferson's Second Revolution: The Election Crisis of 1800 and the Triumph of Republicanism. Boston, Houton Mifflin, 2004.

Dunn J. Western Political Theory in the Face of the Future. Cambridge, Cambridge University Press, 1979.

Dunn J. Democracy: A History. N.Y., Atlantic Monthly Press, 2005.

Dunn J. Democracy and its Discontents //The National Interest. 2010. March/April.

Easterly W. The White Man's Burden. Why the West's Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good. N.Y., Penguin, 2006.

Edelman M. The Symbolic Uses of Politics. Urbana & Chicago, University of Illinois Press, 1964.

Eickelman D.F., Piscroti J. Muslim Politics. Princeton, Princeton University Press, 1996.

Eisenstadt S.N. The Protestant Ethic Theses in the Framework of Sociological Theory and Weber's Work / In Eisenstadt (ed.), The Protestant Ethic and Modernization: A Comparative View N.Y., Basic Books, 1968. P. 3–45.

Elgie R. From Linz to Tsebelis: three waves of presidential/parliamentary studies? / Democratization. 2005. 12 (1).

Elgie R. The Perils of Semi-Presidentialism. Are They Exaggerated? / Democratization. 2008. P. 49–66.

Elster J., Offe C., Preuss U.K. Institutional Design in Post-Communist Societies: Rebuilding the Ship at Sea. Cambridge University Press. 1998.

Enelow J., Hinich M. The Spatial Theory of Voting. N.Y., Cambridge University Press, 1984.

Epstein D.L., Bates R., Goldstone J., Kristenza I., O'Holloran S. Democratic Transitions // American Journal of Political Science. 2006. July.

Eskridge W., Ferejohn J. A Republic of Statutes. New Haven, Yale University Press, 2010.

Esposito J.L., John O. Islam and Democracy. N.Y., Oxford University Press, Voll. 1996.

Estlund D., Waldron J. Democratic Theory and the Public Interest: Condorcet and Rousseau revisited // Am. Pol. Sci. Rev. 1989. Vol. 83. P. 1317–1340

European Commission. Handbook for European Union Observation, 2nd edition. http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/eu_election_ass_observ/docs/han. 2008.

Evans P. Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. – Princeton, Princeton University Press, 1995.

Fearon J. Electoral Accountability and the Control of Politicians: Selecting Good Types versus Sanctioning Poor Performance / In Adam Przeworski, Susan Stokes, Bernard Manin (eds.), Democracy, Accountability, and Representation. N.Y., Cambridge University Press, 1999.

Fearon J. Self-Enforcing Democracy / Paper presented at the 2006 Annual Meetings of the American Political Science Association. Philadelphia, PA, 2006, August 31–September 3.

Ferejohn J. Pork Barrel Politics. Stanford, Stanford University Press, 1974.

Ferejohn J. Incumbent Performance and Electoral Control // Public Choice. 1986. 56. P. 5–25.

Ferejohn J. Must Preferences Be Respected in a Democracy? / In David Copp, Jean Hampton, and John Roemer (eds.), The Idea of Democracy. N.Y., Cambridge University Press, 1993.

Ferejohn J. Accountability and Authority / In Adam Przeworski, Susan Stokes, Bernard Manin (eds.), Democracy, Accountability, and Representation. N.Y., Cambridge University Press, 1999.

Fiorina M.P., Abrams S., Pope J.C. Culture War? The Myth of a Polarized America. N.Y., Pearson Education, 2006.

Epstein D.L., Bates R., Goldstone J., Kristenza I., O'Holloran S. Democratic Transitions // American Journal of Political Science. 2006. July.

Fish S. Islam and Authoritarianism // World Politics. 2002. October.

Fish S. Nondemocratization in the Postcommunist Region / Paper presented at the conference on Democratic Advancements and Setbacks: What Have We Learned? Uppsala, Sweden, 2004. June 11–13.

Fish S. Stronger Legislatures, Stronger Democracies // Journal of Democracy. 2006. 17.

Fish S. Encountering Culture / In Z.Barany and R.G.Moser (Eds.). Is Democracy Exportable? Cambridge. N.Y., Cambridge University Press, 2009.

Fish S., Wittenberg J. Failed Democratization / In C.W.Haerpfer. — P.Bernhagen, R.E.Inglehart, and C.Welzel (Eds.) / Democratization. Oxford . N.Y., Oxford University Press. 2009.

Fortin J. Is There a Necessary Condition for Democracy? The Role of State Capacity in Postcommunist Countries. // Comparative Political Studies. 2011. Vol. 20. No. 10.

Fraile M. Political Knowledge and the Logic of Voting / In José María Maravall and Ignacio Sánchez-Cuenca (eds.), Controlling Governments. Voters, Institutions, and Accountability. N.Y., Cambridge University Press, 2008.

Frank, Andre G. ReOrient. Global Economy in the Asian Age. Berkeley, University of California Press, 1998.

Freeland Ch. Sale of the Century: Russia's Wild Ride from Communism to Capitalism / Crown Business, 2000.

Fukuyama F. State-Building and World Order in the 21st Century. Ithaca – New York: Cornell University Press. 2004.

Fukuyama F. The Primacy of Culture // Journal of Democracy. 1995. 6. P. 7–14.

Fukuyama F. Liberalism Versus State-Building // Journal of Democracy. 2007. July.

Fusi J.P. Franco. Madrid, Ediciones El País, 1985.

Gandhi J. Political Institutions under Dictatorship. Cambridge – New York: Cambridge University Press. 2008.

Gandhi J., Gochal J., Saiegh S. Governments. Legislative Defeats under Dictatorship / Paper prepared for Annual Meeting of MPSA. 2003. April 3–6.

Gandhi J., Przeworski A. Cooperation, Cooptation, and Rebellion under Dictatorships // *Economics and Politics*. 2006. 18 (1), P. 1–26.

Gandhi J. and Przeworski A. (2007). Authoritarian Institutes and the Survival of Autocrats // *Comparative Political Studies*. 2007. Vol. 40. No. 4.

Geertz C. Interpretation of Cultures. N.Y., Basic Books, 1973.

Gellner E. Civil Society in Historical Context // *International Social Science Journal* 1991. 129. P. 495–510.

Gellner E. Conditions of Liberty: Civil Society and Its Rivals. London, Hamish Hamilton, 1994.

Gerschenkron A. Economic Backwardness in Historical Perspective. Cambridge, Harvard University Press, Belknap Press, 1962.

Gerth H.H., Wright Mills C. Eds. From Max Weber: Essays in Sociology. N.Y., Oxford University Press, 1958.

Ginkel J., Smith A. So You Say You Want a Revolution: A Game Theoretic Explanation of Revolution in Repressive Regimes // *Journal of Conflict Revolution*. 1999. 43, 3, P. 291–316.

Ginsburg T. Judicial Review in New Democracies. Cambridge, Cambridge University Press, 2003.

Göbel C. Towards a Consolidated Democracy? Informal and Formal Institutions in Taiwan's Political Process / <http://www.soas.ac.uk/taiwanstudies/workingpapers/.le24471.pdf>

Goh Cheng Teik. Why Indonesias Attempt at Democracy in the Mid-1950s Failed // *Modern Asian Studies*. 1972. 6. P. 225–244.

Goldstone J. Towards a Fourth Generation of Revolutionary Theory / *Annual Review of Political Science*. 2001. 4. P. 139–187.

Goldstone J. Comparative Historical Analysis and Knowledge Accumulation in the Study of Revolutions / In Mahoney J., Rueschemeyer D. (eds.), *Comparative Historical Analysis in the Social Sciences*. – Cambridge, Cambridge University Press, 2003. P. 41–90.

Graetz M., Shapiro I. Death by a Thousand Cuts: The Fight over Taxing Inherited Wealth. Princeton, NJ, Princeton University Press, 2005.

Gramsci, A. Prison Notebooks. Edited by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith. N.Y., International Publishers, 1971.

Graubard, S.R. Democracy / In The Dictionary of the History of Ideas. University of Virginia Library: The Electronic Text Center. 2003.

Green J. When Voters and Parties Agree: Valence Issues and Party Competition // Political Studies. 2007. 55. P. 629–55.

Grofman B., Feld S. Rousseau's General Will: A Condorcetian Perspective // American Political Science Review. 1989. 82. P. 567–576.

Grossman H., Suk Jae Noh. A Theory of Kleptocracy with Probabilistic Survival and Reputation // Economics and Politics. 1990. 2, 2. P. 157–171.

Grzymala-Buse A. and Luong P. The Diversity of Post-Communist State Outcomes: Revisiting the State (Manuscript). 2012.

Grzymala-Busse A. Rebuilding Leviathan: Party Competition and State Exploitation in Post-Communist Democracies. Cambridge, Cambridge University Press, 2008.

Guha, Ramachandra. India After Gandhi: The History of World's Largest Democracy. N.Y., HarperCollins, 2008.

Hadenius A. Institutions and Democratic Citizenship. Oxford: Oxford University Press. 2001.

Halperin M., Harris J. The Way to Win. N.Y., Random House, 2006.

Hansen M.H. The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Oxford, Blackwell, 1991.

Hamilton A., Madison J., Jay J. The Federalist Papers. (Clinton Rossiter ed.) N.Y., New American Library, 1961.

Hansen M.H. The Mixed Constitution versus the Separation of Powers: Monarchical and Aristocratic Aspects of Modern Democracy / History of Political Thought XXXI (3). 2010. P. 509–531.

Harrington J. The Impact of Re-election Pressures on the Fulfillment of Campaign Promises // Games & Economic Behavior. 1993. 5. P. 71–97.

Hassner P. Russia's Transition to Autocracy // Journal of Democracy. 2008. April.

Haxthausen, August von. 1847–1852. Studien über die innern Zustände, das Volksleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Russlands. Bd. 1. Hannover, 1847; Bd. 2. Berlin, 1847, Bd. 3. Berlin, 1852

Heath A., Jowell R, Curtice J. Labour's Last Chance? The 1992 Election and Beyond. – Aldershot, Dartmouth Publishing, 1994.

Hedlund S. Russian Path Dependence. – London, Routledge, 2005.

Held D. Models of Democracy. Cambridge, Polity Press, 1987.

Hellman J. Winners Take All: The Politics of Partial Reforms in Postcommunist Transitions // World Politics. 1998. January.

Hobbes T. Leviathan. London, 1951.

Hobsbawm E., Ranger T. Eds. The Invention of Tradition. Cambridge, Cambridge University Press, 1983.

Hoffman D. Oligarchs: Power and Wealth in the New Russia. N.Y., Public Affairs, 2002.

Hofstadter R. The Idea of the Party System: The Rise of Legitimate Opposition in the United States, 1780–1840. Berkeley, University of California Press, 1969.

Hollard V. Le rituel du vote. Les assemblées du peuple romain. Paris, CNRS Editions, 2010.

Holmes S. Passions and Constraints: On the Liberal Theory of Democracy. – Chicago, University of Chicago Press, 1995.

Holmes S. Lineages of the Rule of Law / In José María Maravall and Adam Przeworski (eds.), Democracy and the Rule of Law. N.Y., Cambridge University Press, 2003. P. 19–61.

Horowitz D. Ethnic Groups in Conflict. Berkeley, University of California Press, 1985.

Hu, Shaohua. Confucianism and Western Democracy / In Suisheng Zhao (ed.), China and Democracy. N.Y., Routledge, 2000. P. 55–72.

Hume D. Of Parties in General / In Susan E. Scarrow (ed.), Perspectives in Political Parties. N.Y., Palgrave Macmillan, 2002 [1742]. P. 33–36.

Huntington S.P. Political Order in Changing Societies. 1968.

Huntington S.P. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. University of Oklahoma Press, 1991.

Huntington S.P. The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs. 1993. 72(3). P. 22–49.

Hyde S. The Observer Effect in International Politics: Evidence from a Natural Experiment // World Politics. 2007. 60(1).

Illarionov A. The Siloviki in Charge // Journal of Democracy. 2009. 20 (2). April.

Im, Huyg Baeg. The Compatibility of Confucianism and Democratic Civil Society in Korea / Paper presented at the IPSA XVII World Congress. Seoul, Korea, 1997. August. P. 17–21.

Im, Hyug Baeg. In Cheng Tun-Jen and Deborah A. Brown (eds.), *Religious Organizations and Transitions to Democracy in Asia*. N.Y., Sharpe, 2006.

Inglehart R., Welzel C. *Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence*. — Cambridge, Cambridge University Press, 2005.

Issacharoff S. Forthcoming. *Constitutional Courts and Democratic Hedging*.

Jack A. *Inside Putin's Russia*. London, Granta Books, 2004.

Kalyvas S.N. *The Rise of Christian Democracy in Europe*. Ithaca, Cornell University Press, 1996.

Kalyvas S.N. *Religion and Democratization: Belgium and Algeria* / Paper prepared for delivery at the Annual Meeting of the American Political Science Association. Washington, D.C., 1997. August. P. 28–31.

Kampfner J. *Freedom for Sale*. N.Y., Basic Books, 2010.

Kant I. *The Principles of Political Right / Kant's Principles of Politics*. Edited and translated by W. Hardie, B.D. Edinburgh, T&T, Clark. 1891 [1793].

Kaplan R. *Was Democracy Just a Moment?* // *The Atlantic Monthly*. 1997. December.

Kapstein E., Converse N. *Why Democracies Fail* // *Journal of Democracy*, 2008. October.

Keller F.B. *Apropriating Democracy: a Comparison between Argumentative Strategies for Confucian and Islamic Democracy*. 2010.

Kelsen H. *Vom Wesen und Wert der Demokratie*. Tübingen, Mohr, 1929.

Kelsen H. *La Démocratie. Sa Nature-Sa Valeur*. Paris, Economica, 1988 [1929].

Kennedy P. *The Rise and Fall of the Great Powers*. N.Y., Vintage books, 1989.

Key V.O. *The Responsible Electorate*. N.Y., Vintage Books, 1966.

Keyssar A. *The Right to Vote. The Contested Story of Democracy in the United States*. N.Y., Basic Books, 2000.

Kishlansky M. Parliamentary Selection: Social and Political Choice in Early Modern. 1986.

Klingemann H.-D., Hofferbert R., Budge I. Parties, Policy, and Democracy. Boulder, Westview Press, 1994.

Kotkin S. Armageddon Averted: The Soviet Collapse: 1970–2000. Oxford, Oxford University Press, 2001.

Krastev I. Russia and the European Order, Sovereign Democracy Explained // *The American Interest*, 2008. Nov/Dec.

Krehbiel K. Pivotal Politics: A Theory of U.S. Lawmaking. — Chicago, University of Chicago Press, 1998.

Krugman P. Wall Street Whitewash // *The New York Times*. 2010. — December 16. www.nytimes.com/2010/12/17/opinion/17krugman.html?_r=2&scp=2&sq=krugman&st=cse / (Дата посещения 30.06.2009).

Kwon H.-J. Making a Confucian Country: Cultural Discourses and Representation of Confucian Tradition in South Korea / *Proceedings of the Second Biennial Conference of Korean Studies Association of Australasia Conference*. Melbourne, Monash University, 2001. P. 66–76.

Labaton S. The Reckoning: Agency's'04 Rule Let Banks Pile up New Debt // *The New York Times*. 2008. October 3. / www.nytimes.com/2008/10/03/business/03sec.html (Дата посещения 30.06.2009).

Lagerspetz, E. Wisdom and numbers // *Social Science Information*. 2010. 49, P. 29–60.

Laitin D. National Revivals and Violence // *Archives Européennes de Sociologie*. 1995. 36. P. 3–43.

Landes D. The Wealth and Poverty of Nations. London, Abacus, 2000.

La Palombara J. Democracy, Italian Style. New Haven, Yale, University Press, 1987.

Laqueur W. Revolution / In David L. Sills (ed.), *International Encyclopedia of the Social Sciences*. N.Y., The Macmillan Company and The Free Press, 1968. Vol. 13. P. 501–507.

Lavaux P. Les grands démocraties contemporaines. 2nd edition. Paris, PUF, 1998.

Leibniz und Landgraf Ernst von Hessen-Rheinfels. ed. by Chr. Von Rommel. Frankfurt am Mein, 1847. Vol. I. P. 369.

Lenin V.I. Report on the Unity Congress of the RSDLP / In V.I. Lenin, Collected Works. – M., Progress Publishers, 1965. Vol. 10.

Levitsky S., L. Way L. The Rise of Competitive Authoritarianism // Journal of Democracy. 2002. April.

Levitsky S., L. Way L. Competitive Authoritarianism. N.Y., Cambridge University Press, 2010.

Levy C.J. Medvedev Names New Mayor of Moscow // Moscow Times. 2010. October 15.

Lewis B. Islam and Liberal Democracy // Atlantic Monthly. 1993. 271(2). P. 89–98.

Li Cheng. Elite Transformation and Modern Change in Mainland China and Taiwan: Empirical Data and the Theory of Technocracy // The China Quarterly. 1990. 121. P. 1–35.

Lijphart A. Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. New Haven, Yale University Press, 1999.

Lincoln W. B. The Problem of Glasnost' in Mid-Nineteenth Century Russian Politics // European Studies Review. 1981. 11. P. 171–188

Linz J.J. The Perils of Presidentialism // Journal of Democracy. 1990. 17. P. 51–69.

Linz J.J. Some Thoughts on the Victory and Future of Democracy / In D.Berg-Schlosser (Ed.). Democratization. The State of the Art (Second Revised and Updated Edition). Opladen and Farmington Hills, Barbara Budrich Publishers, 2007.

Linz J.J., Valenzuela A. The Failure of Presidential Democracy. Comparative Perspectives. Baltimore, Johns Hopkins University Press, eds.1994.

Linz J.J., Stepan A. Problems of Democratic Transitions and Consolidation: Southern Europe, South America and post-Communist Europe. – Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1996.

Lippmann W. The Public Philosophy. N.Y., Mentor Books, 1956.

Lipset S.M. Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy // American Political Science Review. 1959. 53. P. 69–105.

Lipset S.M. Political Man: The Social Bases of Politics. Garden City. N.Y., Doubleday, 1960.

Lipset S.M. The Social Requisites of Democracy Revisited // American Sociological Review. 1994. 59. P. 1–21.

Londregan J., Vindigni A. Voting as a Credible Threat // Working Paper, Department of Politics. Princeton University. 2006.

López-Alves F. State Formation and Democracy in Latin America, 1810–1900. Durham, Duke University Press, 2000.

Lust-Okar E. Structuring Conflict in the Arab World: Incumbents, Opponents, and Institutions. N.Y., Cambridge University Press, 2005.

MacCulloch R. The Impact of Income for the Taste for Revolt // American Journal of Political Science. 2004. 48. P. 830–848.

Machiavelli N. Discourses on Livy [1531] / English translation attributed to Henry Neville, first published in 1675. 1772.

Madison J. The Federalist Papers by Alexander Hamilton, James Madison and John Jay / Edited by Gary Wills. N.Y., Bantam Books, 1982 [1788].

Mahbubani K. The New Asian Hemisphere. The Irresistible Shift of Global Power to the East. N.Y., Public Affairs, 2008.

Mahoney J., Snyder R. Rethinking Agency and Structure in the Study of Regime Change / Unpublished Manuscript. Department of Political Science. Berkeley, CA, 1995.

Manela E. The Wilsonian Moment: Self-Determination and the International Origins of Anticolonial Nationalism. Oxford, Oxford University Press, 2007.

Manin B. Principes du Gouvernement Représentatif. Paris, Calmann-Lévy, 1996.

Manin B. The Principles of Representative Government. Cambridge, Cambridge University Press, 1997.

Mansfield E., Snyder J. The Sequencing Fallacy // Journal of Democracy. 2007. Vol. 18. No. 3.

Maravall J.M. Regimes, Politics, and Markets. Oxford, Oxford University Press, 1997.

Maravall J.M. Accountability and the Survival of Governments / In Carles Boix and Susan Stokes (eds), The Oxford Handbook of Comparative Politics. – Oxford, Oxford University Press, 2007.

Maravall J.M. Accountability in Coalition Governments // The Annual Review of Political Science. 2010. 13. P. 81–100.

Mason T. The Primacy of Politics. Politics and Economics in National Socialist Germany / In Stuart E. Woolf (ed.). The Nature of Fascism. London, 1968.

McFaul M. Russia's Rough Ride / In L. Diamond, M. Plattner, Y. Chu, and H. Tien (eds.). Consolidating Third Wave Democracies. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1997.

McGuire M., Mancur O. The Economics of Autocracy and Majority Rule: The Invisible Hand and the Use of Force // Journal of Economic Literature. 1996. 34. P. 72–96.

McNeil W. The Rise of the West: A History of the Human Community. Chicago, University of Chicago Press, 1963.

Mayhew D. The Electoral Connection. New Haven, Yale University Press, 1974.

Mazrui A.A. Islamic and Western Values // Foreign Affairs. 1997. 76 (5). P. 118–132.

Means G.P. Soft Authoritarianism in Malaysia and Singapore // Journal of Democracy. 1996. 7. P. 103–117.

Meisner M. Li Ta-Chao and the Origins of Chinese Marxism. Cambridge, MA, Harvard University Press, 1967.

Miliband R. Parliamentary Socialism: A Study in the Politics of Labour. London, Merlin Press, 1961.

Mill J.S. Considerations on Representative Government. Cambridge, Cambridge University Press, 1991 [1857].

Moene K.O., Wallerstein M. Social Democracy as a Development Strategy / In Pranab Bardham S. B., Wallerstein M (eds.). Globalization and Egalitarian Redistribution. Princeton, Princeton University Press, 2005.

Moene K.O., Wallerstein M. Earnings Inequality and Welfare Spending: A Disaggregated Analysis // World Politics. 2006. 55. P. 271–97.

Moller J. and Skaaning S.E. Stateness First? // Democratization. 2011. Vol. 18. No. 1.

Montesquieu. The Spirit of the Laws (Anne Cohler, Basia Miller and Harold Stone, trans.). — Cambridge, University Press, 1989.

Morgan E.S. Inventing the People: The Rise of Popular Sovereignty in England and America. N.Y., W.W. Norton, 1988.

Moore B. Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World. Boston, Beacon Press, 1966.

Nathan A.J. Chinese Democracy. Berkeley, University of California Press, 1986.

Nathan A.J., Shi T. Cultural Requisites for Democracy in China: Findings from a Survey // *Deadalus*. 1993. 122. P. 95–123.

Naurin E. Promising Democracy: Parties, Citizens, and Election Promises. Gothenburg, University of Gothenburg, 2009.

New York Times. Bank Bonuses, Bigger Than Ever, in the Spotlight. 2010. January 10. dealbook.blogs.nytimes.com/2010/01/10/banks-prepare-for-bigger-bonuses-and-publics-wrath (Дата посещения 28.09.2010).

New York Times. German Banks Have Big Investment in Greece. 2010. April 28. dealbook.blogs.nytimes.com/2010/04/28/german-banks-have-big-investment-in-greece (Дата посещения 28.09.2010).

Nye J. The Soft Power. The Means to Succeed in World Politics. N.Y., Public Affairs, 2004.

Nippel W. Mischverfassungstheorie und Verfassungswirklichkeit in Antike und früher Neuzeit. Stuttgart, Klett-Cotta, 1980.

Nippel W. Antike oder moderne Freiheit? Frankfurt a Main, Fischer Verlag, 2008.

O. Donnell G. On the State, Democratization, and Some Conceptual Problems: A Latin American View with Glances at Some Postcommunist Countries // *World Development*. 1993. 21. P. 1355–1369.

O. Donnell G. Delegative democracy // *Journal of Democracy*. 1994. 5(1).

O. Donnell G. Democratic Theory and Comparative Politics / In *Dissonances. Democratic Critiques of Democracy*. Notre Dame, IN, University of Notre Dame Press, 2007.

O. Donnell G. Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism. University of California Press. 1973.

O. Donnell G, Schmitter P.C., Whitehead L. Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1986.

Odynova A. Medvedev Fires 5 as Moscow Chokes // *Moscow Times*. 2010. 5 August.

Offor F. The Quest For Good Governance In Africa: What Form Of Democracy Is Most Suitable? // *The Journal of Social, Political and Economic Studies*. 2006. 31. P. 265–277.

Oleinik A. (ed.) *Reforming the State without Changing the Mode of Power? On Administrative Reforms in post-Socialist Countries.* N.Y., Routledge, 2009.

O.Neil, P., Fields K., Share D. *Cases in Comparative Politics.* New York. & London, W.W. Norton & Company, 2010.

OSCE. *Election Observation Handbook.* Fifth edition. 2007. <http://www.osce.org/publications/odihr/>

Page S. *The Difference: How the Power of Diversity Creates Better Groups, Firms, Schools, and Societies.* Princeton, Princeton University Press, 2007.

Page B., Shapiro R. *The Rational Public.* Chicago, University of Chicago Press, 1992.

Palmer R.R. *The Age of the Democratic Revolution: vol. I. The Challenge.* Princeton, Princeton University Press, 1959.

Palmer R.R. *The Age of the Democratic Revolution: vol. II. The Struggle.* Princeton, Princeton University Press, 1964.

Pan P. Thousands in Russia protest government in a Day of Wrath // *Washington Post.* 2010. March 21.

Panitch L. *Social Democracy & Industrial Militancy: The Labor Party, the Trade Unions and Incomes Policy, 1945–1974.* Cambridge, Cambridge University Press, 1976.

Panitch L. *The Development of Corporatism in Liberal Democracies // Comparative Political Studies.* 1977. 10. P. 61–90.

Papadopoulos Y. *Démocratie directe.* Paris, Economica, 1998.

Pasquino P. Emmanuel Sieyes, Benjamin Constant et le gouvernement des modernes. Contribution à l'histoire du concept de représentation politique // *Revue française de science politique.* 1987. 37(2). P. 214–229.

Pasquino P. *Political Theory. Order and Threat / Nomos, XXXVIII: Political Order: 19–40.* 1996.

Pasquino P. *Sieyes et L.Invention de la Constitution en France.* – Paris, Editions Odile Jacob, 1998.

Pasquino P. Machiavelli and Aristotle: The anatomies of the city // *History of European Ideas.* 2009. 35 (4). P. 397–407

Pasquino P. *Democracy Ancient and Modern: Divided Power / In M.H. Hansen (ed.), Athenian Demokratia .Modern Democracy: Tradition and Inspiration.* Vandoeuvres-Genève: Entretiens sur l.Antiquité classique de la Fondation Hardt. 2010. P. 1–50.

Pepinsky T. Autocracy, Elections, and Fiscal Policy: Evidence from Malaysia // *Studies in Comparative and International Development*. 2007. 42. P. 136–163.

Persson T., Tabellini G. Is Inequality Harmful for Growth? // *American Economic Review*. 1994. 84. P. 600–21.

Petrov N. Freely Elected Mayors a Dying Breed // *Moscow Times*. 2010. June 1.

Petrov N., Lipman M., Hale H.E. Overmanaged Democracy in Russia: Governance Implications of Hybrid Regimes / *Russia and Eurasia Program*. Number 106. February 2010

Pettit P. Democracy, Electoral and Contestatory / In Ian Shapiro and Stephen Macedo (eds.), *NOMOS XLII: Designing Democratic Institutions*, N.Y., New York University Press, 2000. P. 105–44.

Pivovarov Y., A. Fursov. The Russian System as an attempt to interpret Russian history // *Polis*. 2001. 4. P. 37–48.

Polterovic V., Popov V., Tonis A. Nestabylnost demokratii b stranah bogatih resursami (Instability of democracies in resource wealth countries) // *Ekonomicheskii zhurnal VShE*. 2008. 2.

Popov V. Lessons from the Transition Economies. Putting the Success Stories of the Postcommunist World onto a Broader Perspective // *UNU-WIDER Research Paper*. — 2009. — 15.

Popov V. The Long Road to Normalcy. Where Russia Now Stands // *UNU-WIDER Working Paper*. 2010. 13.

Popper K. The Open Society and its Enemies Revisited // *The Economist*. 1988. 307 (23 April). P. 25–28.

Posada-Carbó E. Electoral Juggling: A Comparative History of the Corruption of Suffrage in Latin America, 1830–1930 // *Journal of Latin American Studies*. 2000. 32. P. 611–644.

Posner R. *Law, Pragmatism and Democracy*. Cambridge, Harvard University Press, 2003.

Powell C. *España en Democracia. 1975–2000*. Barcelona, Plaza & Janés, 2001.

Przeworski A. *Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America*. Cambridge, Cambridge University Press, 1991.

Przeworski A. et al. *Sustainable Democracy*. Cambridge, Cambridge University Press, 1995.

Przeworski A. Minimalist Conception of Democracy: A Defense / In I. Shapiro and C.H. Cordon (Eds.). *Democracy's Value*. Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

Przeworski A. Why Do Political Parties Obey results of Elections? / In Adam Przeworski and J.M. Maravall (eds.). *Democracy and the Rule of Law*. N.Y., Cambridge University Press, 2003.

Przeworski A. Democracy as an Equilibrium // *Public Choice* 123. 2005. P. 253–273

Przeworski A. *Democracy and the Limits of Self-Government*. N.Y., Cambridge University Press, 2010a.

Przeworski A. Force, Wealth, and Elections / Working Paper. Department of Politics. New York University, 2010b.

Przeworski A., Wallerstein M. Structural Dependence of the State on Capital // *American Political Science Review*. 1988. 82. P. 11–29.

Przeworski A., Stokes S., Manin B. *Democracy, Accountability, and Representation*. N.Y., Cambridge University Press, eds. 1997.

Przeworski A., Alvarez M., Cheibub J.A., Limongi F. *Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950–1990*. N.Y., Cambridge University Press, 2000.

Przeworski A. et al. PIPE Data Set: Political Institutions and Political Events in the World since 1788 / Department of Politics, New York University, 2010.

Putin V. President Putin opposes attempts to export democracy // *Interfax*. 09.30.2005.

Pye L., Pye M. *Asian Power and Politics: The Cultural Dimensions of Politics*. Cambridge, Harvard University Press, 1985.

Pye L., Verba S. *Political Culture and Political Development*. Princeton, N.J., Princeton University Press, eds. 1965.

Pye L. The Non-Western Political Process // *Journal of Politics* 1956.20, P. 468–486

Pye L. (ed.) *The Confrontation Between Discipline and Area Studies / In Political Sciences and Area Studies: Rivals and Partners*. Bloomington, Indiana University Press, 1975. P. 3–22

Reinkingk D. *Biblische Policey*. Frankfurt a Main, 1653.

Reynal-Querol M. Ethnicity, Political Systems and Civil Wars // *Journal of Conflict Resolution*. 2002. 46. P. 29–54.

Rhodes J.P. *The Athenian Boule*. Oxford, Clarendon Press, 1972.

Riasanovsky N.V. Russian Identities: A Historical Survey. N.Y., Oxford University Press, 2005.

Riker W. Liberalism against Populism. — Prospect Heights, Waveland Press, 1982.

Rosanvallon P. Le sacre du citoyen: Histoire du suffrage universel en France. Paris, Gallimard, 1992.

Rosanvallon P. Le Modèle Politique Français: La société civile contre le jacobinisme de 1789 à nos jours. Paris, Seuil, 2004.

Rose R. A Supply-Side View of Russia's Elections / East European Constitutional Review. 2000. 9 (1/2) (winter/spring).

Rose R. and Shin D. Democratization Backwards: The Problem of Third-Wave Democracies // British Journal of Political Science. 2001. Vol. 31. No. 2.

Rosenblum N.L. On the Side of the Angels: An Appreciation of Parties and Partisanship. Princeton, Princeton University Press, 2008.

Ross M. Does Oil Hinder Democracy? // World Politics. 2001. April.

Rousseau J.-J. Du contrat social. Edited by Robert Derathé. Paris, Gallimard, 1964 [1762].

Rousseau, J.-J. The Social Contract (Ernest Barker, trans). Oxford, Oxford University Press, 1947.

Rustow D. Transitions to Democracy: Towards a Dynamic Model // Comparative Politics. 1970. 2. P. 337–363.

Sachsenröder W. Party Politics and Democratic Development in East and Southeast Asia a Comparative View / In W. Sachsenröder (ed.), Political Party Systems and Democratic Development in East and Southeast Asia. Aldershot, Ashgate Publishing Company, 1999. P. 1–36.

Said E. Orientalism. N.Y., Random House, 1978.

Saiegh S. Ruling by Statue: Evaluating Chief Executives. Legislative Success Rates // Journal of Politics. 2009.

Sánchez-Cuenca I. Power, Rules, and Compliance / In José María Maravall and Adam Przeworski (eds.). Democracy and the Rule of Law. N.Y., Cambridge University Press, 2003. P. 62–93.

Sanderson S.K. Civilizations and World Systems. Studying World Historical Change. Walnut Creek, CA, Altamira, (ed.) 1995.

Sartori G. Parties and Party Systems. Vol. 1. Cambridge, Cambridge University Press, 1976.

Scarrow S.E. Ed. Perspectives in Political Parties. N.Y., Palgrave Macmillan, 2002.

Scheer R. The Great American Stickup: How Reagan Republicans and Clinton Democrats Enriched Wall Street While Mugging Main Street. N.Y., Nation Books, 2010.

Schedler A. (Ed.). Electoral Authoritarianism. The Dynamics of Unfree Competition. Boulder, Lynne Rienner, 2006.

Shevtsova L. Lonely Power. Washington, DC: CEIP, 2010.

Schiffirin H. Sun Yat-sen and the Origins of Chinese Revolution. Berkeley, University of California Press, 1970.

Schmidt Y. The Show Trial of Mikhail Khodorkovsky // Wall Street Journal. 2010. May 20.

Schmitt C. The Crisis of Parliamentary Democracy. Cambridge, MIT Press, 1988 [1923].

Schmitt C. The Liberal Rule of Law / In Arthur Jacobson and Bernard Schlink (eds.). Weimar: A Jurisprudence of Crisis. Berkeley, University of California Press, 2002. P. 294–300.

Schmitter P. Still the Century of Corporatism? // The Review of Politics. 1974. 36. P. 5–131.

Schmitter P, Lynn K.T. What Democracy Is... and Is Not // Journal of Democracy. 1991. 2. P. 39–52.

Schumpeter J. Capitalism, Socialism and Democracy. N.Y., Harper and Row, 1942.

Schwartz M. Restlessness in Russia's Western Outpost // New York Times. 2010. March 25.

Selden J. De jure naturali et gentium juxta disciplinam Ebraeorum. London, 1640.

Sen A. Democracy as a Universal Value // Journal of Democracy. 1999. July.

Sen A. Democracy and Its Global Roots: Why democratization is not the same as Westernization // The New Republic. 2003. October 6.

Shapiro I. Democratic Justice. New Haven, Yale University Press, 1999.

Shapiro I. The State of Democratic Theory. Princeton, NJ, Princeton University Press, 2003.

Shapiro I. The Real World of Democratic Theory. Princeton, Princeton University Press, 2011.

Shugart M., Carey J. Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics. Cambridge, Cambridge University Press, 1992.

Sieyes E.J. Discours sur le veto royal // Archives Parlementaires, vol. VIII. 1789. 7 septembre.

Sieyes E. Qu'est-ce que le tiers état? Edited by Roberto Zapperi. Genève, Droz, 1970 [1789].

Simmel G. The Sociology of Georg Simmel. Translated, edited, and with an introduction by Kurt H. Wolf. N.Y., Free Press, 1950 [1908].

Sixsmith M. Putin's Oil: The Yukos Affair and the Struggle for Russia. London, Continuum, 2010.

Snyder R. Beyond Electoral Authoritarianism: The Spectrum of Nondemocratic Regimes / In A. Schedler (Ed.). Electoral Authoritarianism. The Dynamics of Unfree Competition. Boulder. London, Lynne Rienner Publishers, 2006.

Sonner M., Wilcox C. Forgiving and Forgetting: Public Support for Bill Clinton during the Lewinsky Scandal // PS. Political Science & Politics. 1999. 32. P. 554–557.

Spence J.D. The Search for Modern China. N.Y., W.W. Norton & Company, 1990.

Staveley E.S. Greek and Roman Voting and Elections. Ithaca. N.Y., Cornell University Press. 1972.

Stein R., Bickers K. Perpetuating the Pork Barrel. — Cambridge, Cambridge University Press, 1995.

Stone G.R. Perilous Times. N.Y., W.W. Norton, 2004.

Surkov V. Sovereignty — it is a political synonym of competitiveness / In PRO sovereign democracy. M., Europe Press (In Russian), 2007.

Suryadinata L. The Decline of the Hegemonic Party System in Indonesia: Golkar after the Fall of Soeharto / Contemporary Southeast Asia : A Journal of International and Strategic Affairs. Singapore, Institute of Southeast Asian Studies, 2007. 29. P. 333–358.

Stimson J., MacKuen M., Erikson R. Dynamic Representation // American Political Science Review. 1995. 89. P. 543–565.

Stokes D. Spatial Models of Party Competition // American Political Science Review. 57. 1963. P. 368–377.

Stokes D. Valence Politics / In Dennis Kavanagh (ed.), Electoral Politics. Oxford, Clarendon Press, 1992.

Stokes S. Public Support for Market Reforms in New Democracies. N.Y., Cambridge University Press, ed. 2001.

Stone L. Theories of Revolution // World Politics. 1966. 18. P. 159–176.

Talbott S. The Russia Hand: A Memoir of Presidential Diplomacy. N.Y., Random House, 2002.

Talmon J.L. The Origins of Totalitarian Democracy. London, Secker and Warburg, 1952.

Taylor L.R. Roman Voting Assemblies: From the Hannibalic War to the Dictatorship of Caesar. Ann Arbor, University of Michigan Press, 1966.

Teorell J. Determinants of Democratization. Explaining Regime Change in the World, 1972–2006. N.Y., Cambridge University Press, 2010.

Teorell J., Hadenius A. Determinants of Democratization: Taking Stock of the Large-N Evidence / In D.Berg-Schlosser (Ed.). Democratization. The State of the Art (Second Revised and Updated Edition). Opladen and Farmington Hills, Barbara Budrich Publishers, 2007.

Tilly Ch. Democracy. N.Y., Cambridge University Press, 2007.

Tilly Ch., Blockmans W. P. Cities and the Rise of States in Europe Ad. 1000 to 1800. Boulder, Westview Press, eds. 1994.

Toprak B. Islam and Democracy in Turkey // Turkish Studies. 2005. 6. P. 167–186.

Treisman D. Oil and Democracy in Russia / Working Paper 15667. NBER Working Paper Series. 2010.

Tucker J. Enough! Electoral Fraud, Collective Action Problems, and Post-Communist Colored Revolutions // Perspective on Politics. 2007. 5. P. 535–551.

Ufen A. Political Party and Party System Institutionalization in Southeast Asia: Lessons for Democratic Consolidation in Indonesia, the Philippines and Thailand // The Pacific Review. 2007. 21, P. 327–350.

Urfalino P. "La decision par le consensus apparent: description et propriétés." Unpublished paper. Paris, CESTA/EHES- CNRS, 2005.

Urfalino P. La décision par consensus apparent: Nature et propriétés // Revue européenne des sciences sociales. 2007. 95. P. 47–70.

Valenzuela S.J. The Origins and Transformation of the Chilean Party System / Working Paper #215. The Helen Kellog Institute for International Studies, University of Notre Dame, 1995.

Vanhanen T. The Limits of Democratization. Climate, Intelligence, and Resource Distribution. Augusta, Washington Summit Publishers, 2009.

Vassiliev L. Istoriya Vostoka (History of the East). M., Nauka, 1995.

Voskressenski A.D. Russia and China. A Theory of Inter-State Relations. London & New York, Routledge Curzon, 2003.

Voskressenski A.D. Regional Studies in Russia and Current Methodological Approaches for Social/Historical/Ideological [Re] construction of International Relations and Regional Interaction in Eastern Eurasia / In Ieda Osamu and Uyama Tomohiko (eds.), Reconstruction and Interaction of Slavic Eurasia and Its Neighboring Worlds. Sapporo, Slavic Research Center, Hokkaido University, 2006. P. 3–42

Voskressenski A.D. Politicheskiye Systemi I Modeli Demokratii na Vostoke (Political Systems and Models of Democracy in the East). M., Aspekt Press, 2007.

Walder A.G. The Party Elite and China's Trajectory of Change // China: An International Journal. 2004. 2. P. 189–209.

Wall A., Ellis A., Ayoub A., Dundas C., Rukambe J., Staino S. Electoral Management Design: The International IDEA Handbook. Stockholm, International IDEA, 2006.

Wang G. Introduction: The Study of Southeast Asian Past / In Anthony Reid and David Narr (eds.), Perception of the Past in South East Asia. Singapore, Heinemann, 1979.

Wang G. De-Westernizing Communication Research. New York & London, Routledge, 2010.

Washington G. Farewell Address to Congress / In Susan E. Scarrow (ed.), Perspectives in Political Parties. N.Y., Palgrave Macmillan, 2002 [1796]. P. 45–50.

Weber M. The Vocation Lectures. Translated by Rodney Livingstone. Indianapolis, Hackett, 1921 (2004).

Weber M. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. N.Y., Charles Scribner's Sons, 1958.

Weber M. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology (2 volumes). Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1978.

Weber M. Parliamentary Government in Germany / Political Writings. Cambridge, Cambridge University Press, 1994.

Weingast B. Political Foundations of Democracy and the Rule of Law // American Political Science Review. 1997. 91. P. 245–263.

Weisberger B.A. America Afire: Jefferson, Adams, and the First Contested Election. N.Y., HarperCollins Publishers, 2000.

Wittfogel K. Oriental Despotism: Comparative Study of Total Power. New Haven, Yale University Press, 1957.

Williamson M. Stanley Baldwin; Conservative Leadership and National Values. Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

Wittman D. The Myth of Democratic Failure: Why Political Institutions are Efficient. Chicago, University of Chicago Press, 1995.

World Economic Outlook Database. Washington, DC: International Monetary Fund. October 2010.

Xi, Tianyang. Constitutional Mediation and Political Compromise in Dynamic Conflicts / Ms. Department of Politics, New York University, 2010.

Zaller J. The Nature and Origins of Mass Opinion. N.Y., Cambridge University Press, 1992.

Zaller J. Floating Voters in U.S. Presidential Elections: 1948-2000 / In Willem Saris and Paul Sniderman (eds.), Studies in Public Opinion: Attitudes, Nonattitudes, Measurement Error, and Change. Princeton, Princeton University Press, 2004.

Zakaria F. The Rise of Illiberal Democracy // Foreign Affairs. 1997. 76(6). P. 22–43.

Zakaria F. The Future of Freedom. Illiberal Democracy at Home and Abroad. N.Y., Norton and Company, 2003.

Zakaria F. The Post-American World. N.Y., W.W. Norton & Company, 2009.

Zeldin T. The Political System of Napoleon III. N.Y., W.W. Norton, 1958.

Научное издание

ДЕМОКРАТИЯ В РОССИЙСКОМ ЗЕРКАЛЕ

Монография

Под редакцией А.М. Миграняна и А. Пшеворского

Согласно Федеральному закону РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ
данная продукция не подлежит маркировке

Оформление *М.М. Петухова*
Компьютерная верстка *В.С. Поляничева*

Подписано в печать 03.06.2013
Формат 60x84¹/16. Усл. печ. л. 30,2.
Тираж 500 экз. 1-й завод 50 экз. Заказ № 463.

Издательство «МГИМО-Университет»
119454, Москва, пр. Вернадского, 76

Отпечатано в отделе оперативной полиграфии
и множительной техники МГИМО(У) МИД России
119454, Москва, пр. Вернадского, 76



ISBN 978-5-9228-0961-0



9 785922 809610